

СПОРЫ О СКАЗКЕ В  
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КРИТИКЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ

ДЕТСКИЕ ЧТЕНИЯ

2021 № 1 (019)

Составители: Анна Димьяненко и Инна Сергиенко

Подготовка текстов: Анна Димьяненко и Евгения Лекаревич

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие . . . . .	437
Краткие биографические сведения об авторах статей . . . . .	438
ЕВГЕНИЙ КЕМНИЦ	
Полное собрание сказок Андерсена; Волшебные сказки (1864) . . . . .	444
ЕВГЕНИЙ КЕМНИЦ	
Волшебные сказки Перро (1866) . . . . .	448
ЕВГЕНИЙ КЕМНИЦ	
Новые сказки; Русские сказки; Волшебные сказки для детей старшего возраста, изданные Анной Зонтаг (1869) . . . . .	454
ЕВГЕНИЙ ПРИЛЕЖАЕВ	
Значение сказок в элементарном образовании (1872) . . . . .	463
НИКОЛАЙ ТРЕСКИН	
О переработке сказок Андерсена для детского чтения (1879) . . . . .	469
ПАВЕЛ ЗАСОДИМСКИЙ	
Значение фантастического элемента в детской литературе (1880) . . . . .	473
ИВАН ФЕОКТИСТОВ	
Андерсен и Вагнер как авторы сказок для детей (1881) . . . . .	505
З-СКИЙ П.	
Свет и тени (1882) . . . . .	525
ПАВЕЛ ЗАСОДИМСКИЙ	
Благия намерения (1882) . . . . .	544
Н. П.-Я.	
Индийские повести; Сказки Андерсена; Сказка о том, как правда с земли пропала (1883) . . . . .	555
Х. А.	
Сказка «Деньги»; Гадкий утенок . . . . .	557
ИВАН ФЕОКТИСТОВ	
Свод мнений В. Г. Белинского (1884) . . . . .	559
ИВАН ФЕОКТИСТОВ	
Сказки, как материал для детского чтения (1885) . . . . .	606

ИВАН ФЕОКТИСТОВ	
Собрания сказок для детского чтения (1886) . . . . .	630
НИКОЛАЙ ЗАВЬЯЛОВ	
Сказка и значение её в области воспитания (1887) . . .	652
ЯКОБ ФРОШАМЕР	
О значении фантазии в педагогической области (1888)	668
М. АРТЕМЬЕВА	
Детская мечтательность (1889) . . . . .	677
НАТАЛЬЯ ЛЕОНТЬЕВА	
Нечто о детской литературе (1891) . . . . .	698
ЕКАТЕРИНА БАЛОБАНОВА	
Собрание сочинений Андерсена: в 4-х томах; Иллюстрированные сказки Андерсена. Полное собрание 6-ти томах (1894) . . . . .	706
Е-В В.	
Мысли В. П. Острогорского о детском чтении (1894) .	710
Е. Т.	
Сказки З. Топелиуса, профессора Александровского (1894) . . . . .	714
М. А. Ч.	
Воспитательное значение сказки (1894) . . . . .	716
С-В. ИР.	
Сказки в деле воспитания первого детства (1894) . . .	720
ИВ. Г-ИЙ	
Воспитательное значение сказок Ф. Адлера (Перевод с англ. Ив. Городецкого) (1895) . . . . .	725
ПЛАТОН КРАСНОВ	
Датский сказочник (1895) . . . . .	735
АЛЕКСАНДР АЛФЕРОВ	
Сказки Андерсена (1896) . . . . .	742
Е. С.	
Бессмертный творец сказок (1898) . . . . .	758
АНДРЕЙ ФИЛОНОВ	
Народные русские сказки в изложении П. Полевого (1899) . . . . .	779

С. А-В.	
Гений сказки (1900) . . . . .	791
АЛЕКСАНДРА БОСТРОМ	
О значении сказок (1903) . . . . .	794
АЛЕКСАНДР НАЛИМОВ	
Сказки, как детское чтение (1903) . . . . .	808
ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВ	
Великий сказочник: несколько слов о жизни Андерсена, его историко-литературном значении, об отношении поэта к детям и педагогических достоинствах его сказок (1906) . . . . .	814
ДМИТРИЙ ГАЛАНИН	
Детское чтение (1910) . . . . .	832
ЦЕЗАРЬ БАЛТАЛОН	
Вопрос о детском воображении и его воспитании (1913)	859
АЛЕКСАНДРА КАЛМЫКОВА	
Еще раз о сказке, как материале для детского чтения (1913) . . . . .	873
АННА УДИНЦЕВА, ВАСИЛИЙ ЗЕЛЕНКО	
В защиту сказки (1913) . . . . .	877

## ПРЕДИСЛОВИЕ

В Приложении к 19 номеру «Детских чтений» помещены статьи и рецензии, дополняющие основной архивный блок «Споры о сказке», подготовленный Сергеем Ушакиным. В каждой из публикаций, охватывающих период с 1864 г. по 1913 г., так или иначе затрагиваются вопросы, связанные с вхождением сказки — литературной и фольклорной — в детское чтение. Полувековой до-революционный период «споров о сказке» демонстрирует широкую амплитуду взглядов педагогической критики: от категорического неприятия жанра сказки (Е. Кемниц, Н. Трескин) до восторженно-го отношения (И. Феоктистов, Я. Александров).

Поиск материалов осуществлялся путем просмотра педагогических и литературных журналов второй половины XIX — начала XX в., таких как «Учитель», «Воспитание и обучение», «Педагогический листок», «Педагогический сборник», «Женское образование», «Неделя», «Школьная жизнь» и др. За единичными исключениями все работы, рассматривающие сказку в качестве жанра детской литературы, написаны представителями педагогического экспертного сообщества. Литературные критики обращались к этому вопросу нечасто, в основном в связи с юбилеями известных сказочников, выпуском собраний сочинений, новых переводов и пр.

О большинстве авторов статей, заметок и рецензий нам удалось составить небольшие биографические справки. В числе пишущих о сказке — широко известные публицисты и теоретики детского чтения (М. К. Цебрикова, И. Феоктистов, Ц. Балталон), детские писатели и беллетристы (Н. Позняков, П. Засодимский, Е. Сысоева, А. Бостром), ученые (А. Погодин, Е. Балобанова), общественные деятели (Х. Алчевская, А. Калмыкова), учителя гимназий, народных и воскресных школ (Н. Леонтьева, Я. Александров). Значительная часть материалов подписана псевдонимами или инициалами авторов, не все из которых на сегодняшний день нам удалось раскрыть.

*Инна Сергиенко*

## КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ СТАТЕЙ

*Александров Яков* — учитель, преподавал в церковно-приходской школе, начальной школе, городском училище и средних учебных заведениях.

*Алферов Александр Данилович* (1862–1919) — педагог, деятель просвещения. Родился в Москве, в 1886 г. закончил Московский университет. Преподавал литературу и русский язык в Земледельческой школе Московского общества распространения технических знаний, в Екатерининском институте благородных девиц, в частных женских гимназиях. Разрабатывал методику преподавания словесности. Сотрудничал с газетой «Русские ведомости», где публиковал статьи по педагогике и детскому чтению. После 1917 г. вместе со своей супругой-педагогом создал под Москвой детскую колонию, впоследствии преобразованную в показательную школу 1-й и 2-й ступени.

*Артемьева М. (Цебрикова Мария Константиновна* (1835–1917)) — писательница, литературный критик, участница движения за права женщин, общественно-политическая деятельница. Цебрикова является одним из наиболее ярких публицистов 1870-х–1890-х гг., писавших о детской литературе. С конца 1860-х гг. Цебрикова сотрудничает с педагогическим журналом «Детский сад» (в 1877 г. переименован в «Воспитание и обучение»), с 1876 г. становится его неофициальным издателем и главным редактором. Публиковалась под псевдонимами: «М. Артемьева»; «М. Б. Николаева»; «Н. Р.» и др.

*А-в С. (Адрианов Сергей Александрович* (1871–1942)) — литературный критик, публицист, историк литературы, переводчик. Преподавал в гимназиях Череповца и Петербурга, в Женском педагогическом институте. Печатал свои работы в различных литературных и педагогических журналах: «Журнал Министерства народного просвещения», «Исторический вестник», «Литературный вестник», «Вестник Европы» и др.

*Балобанова Екатерина Вячеславовна* (1847–1927) — писательница, историк литературы, специалист библиотечного дела, педагог, кельтолог. Выпускница первого выпуска (1882) Бестужевских

курсов. Работала библиотекарем Высших женских курсов Петербурга / Петрограда. Автор ряда научных работ по кельтологии, библиотечному делу, библиографии, вопросам женского образования и чтения. Как выдающемуся кельтологу ей было присвоено звание «Honoris causa».

*Балталон* Цезарь Павлович (1855–1913) — русский педагог и общественный деятель либерального направления, автор работ по вопросам обучения в начальных классах и методики преподавания литературы в старших классах. Одним из первых провел экспериментально-психологические исследования в области дошкольного воспитания и детского чтения. Преподавал русский язык в средних учебных заведениях Москвы. Отводил большую роль дошкольному воспитанию как фундаменту образования. Разработал систему литературных бесед с вопросами для внеклассного изучения произведений классической русской и зарубежной литературы.

*Бостром* Александра Леонтьевна (урожд. Тургенева (1854–1906)) — писательница, литератор. Автор сборников прозы для взрослых, детей и юношества, романа «Неугомонное сердце» (1882). Печаталась в «Самарской газете», «Саратовском листке», журнале «Русское богатство» и других изданиях. Мать А. Н. Толстого (1883–1945).

*Галанин* Дмитрий Дмитриевич, старший (1857–1929) — педагог, математик-методист, историк образования. Служил учителем математики в средних учебных заведениях Петербурга. С 1886 г. в течение 40 лет преподавал математику и физику в 1-й Московской гимназии. Был попечителем городских школ, членом многих просветительских обществ, учредителем Педагогического общества при Московском университете, председателем отделения семейного воспитания. В 1902–1915 гг. сотрудничал в журналах «Педагогический листок», «Воспитание и обучение», «Русская школа». После 1917 г. преподавал в единой трудовой школе, образовавшейся из Женской гимназии М. А. и Н. В. Чеховых, в Педагогическом техникуме для инвалидов войны (до 1924).

*Е-в В.* (*Ермилов* Владимир Евграфович (1959–1918)) — педагог, литератор, редактор, чтец-декламатор, актер, участник народнического движения. В течение непродолжительного времени работал учителем. Автор многочисленных работ по истории и практике педагогического дела и русской словесности, в частности книг о И. И. Бецком, Н. И. Новикове, В. Г. Белинском, Н. А. Некрасове, К. Д. Ушинском и др. Наиболее известна его книга «Детская страда: Педагогические очерки В. Ермилова» (1906), где процесс школь-

ного обучения подвергается с его стороны серьезной критике, и предлагается реорганизовать его, руководствуясь гуманистическим отношением к учащимся.

*Е. К. (Кемниц Евгений Карлович (1832 — 1871))* — педагог, переводчик, публицист; автор ряда энциклопедий и словарей. В 1860-е гг. стал одним из ведущих экспертов по вопросам педагогики детского чтения. Его обзоры и рецензии, подчас чрезвычайно резкие, публиковались в журналах «Учитель» и «Педагогический сборник». Кемниц был принципиальным противником сказочной фантастики и вымысла вообще, отвергая даже исторические романы и противопоставляя им «вполне правдивые биографии», что было характерно для взглядов его поколения.

*Е. С. (Сысоева Екатерина Алексеевна, урожд. Альмединген (1829–1893))* — детская писательница, переводчица, издательница. В 1881 г. приобрела у М. К. Цебриковой журнал «Воспитание и обучение», с 1882 г. издавала детский журнал «Родник», приложением к которому выходило педагогическое «Воспитание и обучение». Автор ряда повестей и рассказов для детей, переводов произведений С. Джемисон, Х.-К. Андерсена, В. Гюго, Ч. Дарвина, Г. Спенсера, биографии Г. Бичер-Стоун и др.

*Е. Т. (Предположительно Тихеева Елизавета Ивановна (1867–1943))* — педагог, специалист по дошкольному воспитанию, профессор Петроградского педагогического института дошкольного образования (1920–1924) и руководитель опытного детского сада, открытого при институте.

*З-ский П. (Засодимский Павел Владимирович (1843–1912))* — писатель, педагог, публицист. С 1872 г. работал учителем в сельской школе (с. Большие Меглицы Боровичского уезда Новгородской губернии). Из-за своих демократических взглядов был признан «неблагонадежным». Сотрудничал с журналами «Дело», «Отечественные записки», «Наблюдатель», «Слово», «Новое время», «Русская жизнь». Входил в редакцию журнала «Русское богатство». Организатор общественной публичной библиотеки в Санкт-Петербурге. Много писал для детей (преимущественно прозу), сотрудничал с педагогическими журналами «Семья и школа», «Родник», «Игрушечка», «детское чтение» и др.

*Завьялов Николай Павлович (1837–1887)* — литературовед, лингвист и педагог. Преподавал русский язык в гимназиях Москвы, Тулы и других городов. Написал ряд учебников по русскому языку, постоянный автор педагогических журналов «Журнал Министерства народного просвещения» и «Педагогический сборник».



*Зеленко* Василий Адамович (1878–1957) — преподаватель Фребелевских курсов в Петербурге. Библиотекарь детской библиотеки Э. Л. Нобеля (1911). Участник Первого Всероссийского съезда по библиотечному делу. Директор Петроградского института внешкольного образования (1918–1924), заведующий книжно-библиотечной группой института (1918–1919). Автор ряда работ по руководству детским чтением и внешкольному образованию.

*Ив. Г-ий* (*Городецкий* Иван Дмитриевич (1861/1864–?)) — переводчик, педагог, народоволец. В 1904 г. открыл частную мужскую гимназию. Активно участвовал в деятельности различных народо-вольческих кружков. Автор учебника по математике для средней школы и переводов с французского, английского, древнегреческого и латыни.

*Калмыкова* Александра Михайловна (1849–1926) — общественная деятельница, педагог, активист библиотечного дела. В 1870–80-х гг. преподавала в харьковских и петербургских воскресных школах, входила в редакцию некоторых марксистских журналов, содержала книжный магазин, который являлся штабом для петербургского социал-демократического движения. Выпустила ряд фундаментальных библиографических пособий по чтению народа и детей («Опыт периодического указателя книг для детского и народного чтения» (1888) и др.), организовывала издание книг в сериях для народа, писала для этих серий. Сотрудничала с Л. Н. Толстым, В. Г. Короленко, М. Горьким. После 1917 г. работала в системе Наркомпроса, преподавала в Педагогическом институте имени К. Д. Ушинского.

*Краснов* Платон Николаевич (1866–1924) — писатель, литературный критик, переводчик и публицист. Родился в Санкт-Петербурге, где и прожил всю жизнь. В литературных журналах и газетах («Неделя», «Новый мир», «Всемирная иллюстрация», «Труд», «Новости» и др.) публиковал очерки о жизни и творчестве современных писателей, а также статьи о переводах античной литературы. Автор книг «Сенека, его жизнь и философская деятельность» (1895), «Из западных лириков» (1901), «Элегии любви Альбия Тибулла» (1901).

*Леонтьева* Наталья Леонтьевна — учительница, публицист. Печатала статьи, преимущественно о детском чтении, детской литературе и «женском вопросе» в журнале «Женское образование» (с 1892 г. — «Образование»). Помимо статей, в 1911 г. подготовила сборник педагогических сочинений В. Д. Сиповского (1844–1895), основателя, главного редактора и издателя журнала «Образование».

*М. А. Ч.* — псевдоним раскрыть не удалось.

*Н. П-я.* (*Позняков* Николай Иванович (1856–1910)) — педагог, писатель, журналист, библиофил, переводчик, журналист. С 1886 г. занимался педагогической деятельностью — давал частные уроки, затем стал преподавателем русского языка и словесности в Павловском и Елизаветинском институтах (Санкт-Петербург), а также в Василеостровской женской гимназии. Печатался в различных литературных и педагогических журналах: «Нива», «Отечественные записки», «Русское богатство», «Живописное обозрение», «Исторический вестник», «Русская мысль», «Стрекоза», «Будильник», «Осколки», «Женское образование», «Вестник воспитания», «Образование», «Воспитание и обучение», «Русская школа». Писал произведения в различных жанрах, но был успешен как автор произведений для детей (см. сборники «Житейские рассказы» (СПб. 1887); «По захолустьям» (СПб. 1895); «Тайна» (СПб. 1886); «В лучшие годы» (СПб. 1896); «Соловьиный сад»; «Почитать бы» (1897); «Детский праздник» (СПб. 1884); «На память деткам» (СПб. 1894); «Товарищ» (1896); «Детские стишки» (СПб. 1897); «Басни Эзопа» (перевод в стихах, СПб. 1892); «Святочные рассказы» (СПб. 1885–1897); «Мечтатель»; «Блесточки»; «Лисхитродум»). Публиковался под псевдонимами: Бельмесов Н. И.; Иванович; Клинский Н.; Мам С.; Маменькин сынок; Могильщик Грубб; Могильщик Грубер; Н. П.; П-в; П-в Н.; П-ков Н.; П-няков Н. И.; П-я-ъ Н.; П-ъ Н.; Перо; Ч. М.; Чудило-мученик; Я.; -я-.

*Налимов* Александр Павлович (1853–1917) — педагог, литературный критик, публицист. Преподавал русский язык в петербургских школах, активно сотрудничал в журналах «Русская школа», «Народное образование», «Воспитание и обучение», «Задушевное слово» и др., где публиковал статьи о воспитании, психологии детей, детской литературе и детском чтении, рецензии и обзоры, а в журнале «Воспитание и обучение» вел библиографический отдел.

*Прилежаев* Евгений (Предположительно Прилежаев Евгений Михайлович (1851–1900)) — краевед, писатель. Окончив Санкт-Петербургскую духовную академию состоял в ней приват-доцентом при кафедре русской церковной истории; в 1882–1884 гг. редактировал журнал «Странник»; с 1885 г. состоял на службе в Министерстве императорского двора.

*С-в Ир.* — псевдоним раскрыть не удалось.

*Трескин* Николай Алексеевич (1838–1894) — действительный статский советник, цензор Московского Цензурного Комитета,

литератор и переводчик. Преподавал в различных учебных заведениях, директор Московской учительской семинарии, цензор Московского цензурного комитета. Автор ряда статей о детской литературе и детском чтении, и учебных книг.

*Удинцева* Анна Васильевна — библиограф, составительница «Указателя литературы по ликвидации неграмотности» (1927).

*Феоктистов* Иван Иванович (1845–?) — критик, составитель книг для детей, последователь идей В. Г. Белинского. Регулярно публиковал критические разборы, статьи о детском чтении и читателях-детях в журналах «Воспитание и обучение», «Женское образование», «Педагогический листок», «Русская школа». В своих работах отзывался о современной детской литературе негативно, отрицал необходимость детской литературы в целом, и предлагал в качестве материала для детского чтения использовать «общедоступную литературу».

*Филонов* Андрей Григорьевич (1931–1908) — педагог, литератор, историк педагогики и литературы, автор методических работ по преподаванию словесности. Преподавал русский язык и латынь в Смольном институте, Морском кадетском корпус и других учебных заведениях. С 1850-х гг. печатается в педагогических изданиях: «Журнал Министерства народного просвещения», «Гимназия», «Народное образование», «Колосья». Автор хрестоматий и учебников по русской словесности, очерков жизни и творчества М. В. Ломоносова, И. А. Крылова, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя и др.

*Фрошамер* (*Фрошаммер* Якоб (1821–1893)) — немецкий католический философ, профессор философии Мюнхенского университета. С 1862 г. издавал журнал теологических исследований «Athenäum». В истории философии Фрошамер известен, как основатель мировоззрения, где общемировым творческим принципом признается фантазия. Автор ряда фундаментальных работ и отдельных статей по этой теме. Главное сочинение — «Die Phantasie als Grundprincip des Weltprocesses» (1877).

*Х. А.* (*Алчевская* Христина Даниловна, урожд. Журавлева (1841 — 1820)) — педагог, просветитель, деятельница народного образования. С 1860-х гг. руководила Харьковской женской воскресной школой. Одна из основоположниц отечественной детской и юношеской рекомендательной библиографии. По ее инициативе и при активном участии был издан критический указатель книг для народного и детского чтения: «Что читать народу?» (В трех томах, 1888–1906 гг.), куда впервые были включены отзывы читателей «из народа» и читателей-детей.

*Евгений Кемниц*

## ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СКАЗОК АНДЕРСЕНА; ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ

*Впервые опубликовано в: Учитель. 1864. № 13–14, июль.  
С. 536–537.*

**Полное собрание сказок Андерсена. С 125 гравир. политип. Изд. переводч. Вып. 1. СПб. 1863. Вып. 2 и 3. СПб. 1864.**

**Волшебные сказки. С 30 политипажамми в тексте. (Перевод с французского). СПб. 1864.**

Перед наступлением больших праздников, у нас каждый год появляется куча книг, наполненных сказками и назначенных для детей. Весь этот товар находит себе исправный сбыт и составляет для иного книгопродавца весьма прибыльную доходную статью. Большинство родителей уверено, что детям никак нельзя обойтись без сказок; и потому, как только дитя выучится читать, в числе первых книг ему суют какую-нибудь побасенку об Иванушке-дурачке, о жар-птице, о прекрасной царевне-лягушке, и напропалую пичкают его подобными фантастическими бреднями. «Что-ж?» — рассуждают почтенные отцы и матери семейств — «дети читают такие рассказы с удовольствием. Не сидеть же им все за учебниками; им нужно и какое-нибудь легкое, занимательное чтение». И мы говорим то же: не все же им сидеть за учебниками. Но разве кроме учебников, да сказок не может быть ничего другого? И разве занимательны могут быть только одни «волшебные» сказки? Разумеется, всякая книга, которую вы даете детям должна быть занимательна: это неперемное условие. Но не все то хорошо для детей, что занимательно. Приходил ли вам в голову вопрос: какого рода влияние должны производить такие книги на незрелый, не укрепившийся ум детей и на их нравственную сторону? Если вы никогда об этом не думали, то очень жаль и тем хуже для ваших детей; вопрос этот очень важен. Кто сколько-нибудь внимательно изучал детей, тот не может одобрить последствий подобного

чтения. И прежде не раз указывали на вред, который может происходить отсюда; но мы думаем, что не мешает еще раз напомнить об этом. Все эти фантастические и волшебные сказки, которыми вы так усердно почуете ваших детей, слишком далеки от того, чтобы сообщить детям правильный, трезвый взгляд на вещи или чтобы приучить их к строго-логическому мышлению; после чтения таких вещей у детей в голове остается сумбур. Воображение развивается до такой уродливо-несоразмерной степени, что грозит взять решительный перевес над рассудком; а это конечно, также не может быть особенно выгодно для умственного развития детей. Именно своей внешней занимательностью, эти продукты праздного воображения отвлекают детей от более серьезных предметов и от более плодотворных занятий. Учение более не занимает их; всякий трезвый рассказ становится для них нестерпимо скучен. Дети привыкают к приятному ничего-не-деланию и жадному глотанию рассказов о феях и волшебниках, об эльфах и гномах, о волшебных кошельках и коврах-самолетах и т. д. И у взрослых склонность к фантастическому есть признак ненормального состояния ума. Вообще, чем ближе ко временам первобытного невежества и суеверия, тем сильнее господство фантастического элемента над человеческим умом. В связи с этим всегда находится нравственная апатия в народе. Так «Тысяча и одна ночь» создана фантазией восточных народов, у которых нравственная лень и суеверность доходят до крайних пределов.

Перед нами три выпуска сказок Андерсена. Признаемся, мы не принадлежим к числу особенных его почитателей; и хотя не отрицаем в нем остроумия и вообще таланта, но в то же время находим, что произведения его слишком отзываются бредом расстроенного воображения. В доказательство прочтите сказки: «Колокол», «Эльф», «История одной матери», «Пастушка и трубочист» и многие другие. Да и остроумие-то у него нередко слишком натянуто; возьмите напр. такие сказки, как «Калоши счастья» и «Тень». Что в них? Больше ничего, как ряд довольно плохих каламбуров. Таким образом, и в эстетическом отношении сказки Андерсена вовсе не безупречны. Что же сказать о них с точки зрения педагогической? Годятся ли они для детей? При всем желании быть как можно умереннее и снисходительнее в своем суждении, мы никак не можем согласиться, чтобы детям давали читать подобные книги. Из сказок Андерсена для детей можно выбрать много-много две-три, а никак не давать целиком всего Андерсена; так следует по многим причинам. Одни из его сказок имеют какое-то

сентиментально-мистическое, даже чуть не пиетистическое настроение. Другие, как напр. «Тень», так вычурны и замысловаты, что едва ли дети поймут их. Касательно одной из них, под названием «Штопальная игла», мы должны сознаться, что сами ломали голову, но никак не могли усмотреть, какой бы смысл могло заключать в себе сие повествование? Уж не в том ли его цель, чтобы доказать, что *самохвальство вредно*: ведь странные иногда бывают доказательства... Или может быть оно основано на той игре слов *brechen* по-немецки значит «переломиться» и в то же время «стошнить» (см. примечание переводчицы)?... Иные сказки, каковы напр. «огниво» и «Спутник», написаны на чересчур избитую тему; в них выводится всегда какой-нибудь честный бедняк, который после нескольких неприятных приключений становится наконец любимцем фортуны, женится на какой-нибудь прекрасной принцессе и делается царем. Уж сколько раз твердили миру, что такие «нравственные» басни, в которых добродетель награждается, а порок наказывается, никого не делают нравственнее; да только, видно, все не в прок. А между тем здесь и добродетельный-то получает награду вовсе не за свою добродетель, а так, чисто случайным образом, посредством разных волшебных фокус-покусов. Можно подумать, что Андерсен писал многие из своих сказок совсем не для детей; в них встречаешь много таких намеков, которые несообразны с детским возрастом. Такой дряни, как «Сундук самолет», не станут читать ни дети, ни взрослые. Не понимаем также, к какой стати помещена здесь перделка из Анакреона, внушившая некогда еще Ломоносову мысль написать одно стихотворение, которое начинается так:

Ночною темнотою  
Покрылись небеса;  
Все люди для покою  
Сомкнули уж глаза.

У Андерсена этот анекдот, честь изобретения которого вовсе не принадлежит ему самому, носит заглавие: «Нехороший мальчик». Неужели это также назначено для детей? Да они и не поймут смысла этого рассказа; а если поймут, то польза от того сомнительна.

Перевод сделан очень удачно; внешность книги хорошая. Мы бы желали, чтобы переводчицы посвятили свои силы чему-нибудь лучшему.

Волшебные сказки, переведенные неизвестно кем с французского, есть такая чушь, о которой не стоит много говорить. Здесь три

сказки: «Принцесса Камиона», «Принц Эльф» и «Принц Откровенный», и одна из них нелепее другой. Если вообще фантастические сказки есть самый худший род чтения для детей, то эта книжонка принадлежит к самому худшему, что только есть в этом роде.

*Евгений Кемниц*

## ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ ПЕРРО

*Впервые опубликовано в: Учитель. 1866. № 22, 23, 24.  
С. 895—898.*

**Волшебные сказки Перро. Перевод И. Тургенева, рисунки Густав Дорэ. 1 т. в большую 4 д.л., с 40 рисунками, в богатом переплете с золотыми тиснениями. Ц. 10 р., в шагреневом переплете 15 р.**

В предисловии Тургенева говорится, что такого издания сказок Перро не было еще не только у нас в России, но и за границей. Охотно верим переводчику, потому что издание, действительно, в высшей степени роскошно. Но это заслуга издателя, — впрочем, отнюдь не свидетельствующая об успехах типографского дела в России, так как книга печатана в типографии Гизеке и Девриена в Лейпциге, да и рисунки принадлежат французскому рисовальщику и выполнены заграничными резчиками. А что за охота была вашему талантливому писателю посвящать свой досуг хотя бы на исправление прежнего перевода сказок Перро? Встретив новое издание их, мы могли бы отослать читателей к отзыву о прежнем переводе (см. отзыв Ф. Толля в 1861 году «Учителя», перепечатанный в книге того же автора «Наша детская литература», стр. 61, а также предшествующий этому отзыву разбор «Сказки о шелкуне» Гофмана и сказки Нирицца «Немой из Фрибурга», указывающий, какой цели могут служить хорошие сказки в воспитании детей: именно, развитию воображения у детей, обладающих им в слабой степени). Но имя переводчика не позволяет нам ограничиться голословным суждением, тем более, что он не только рекомендует переведенные им сказки родителям, но и старается при этом провести в воспитание некоторые тенденции. «Наше положительное и просвещенное время, — говорит Тургенев в написанном им предисловии к книге, — начинает изобиловать положительными и просвещенными людьми, которым не нравится именно эта примесь чудесного» — «смесь непонятно чудесного и обыденно простого, возвышенного и забавного, которая составляет отличительный признак настоящего



сказочного вымысла»; «воспитание ребенка, по их понятиям, должно быть делом не только важным, но и серьезным и вместо сказок ему следует вручать маленькие геологические и физиологические трактаты» (опять лягушки Базарова!). Случа(и)лось же нам столкнуться с одной воспитательницей (правда она была старая девица из остзейских немок и писала статьи в журналах с направлением, но без подписчиков) (едко!), которая тщательно устраняла девочку, порученную ее надзору, от всякого прикосновения с другими детьми для того, чтобы, как выражалась почтенная наставница, ни один ложный факт не водворился в юной голове. Девочка выросла и превратилась в отъявленную кокетку, но уже это, как известно, не вина теории, остающейся непогрешительной по-прежнему (это острота?). Как бы то ни было, нам кажется весьма трудным и едва ли полезным до поры до времени изгонять все волшебное и чудесное, оставлять молодое воображение без пищи, заменить сказку рассказом. Учитель, бесспорно, нужен ребенку, да и нянька ему нужна<sup>1</sup>.

«Остроумный издатель сказок Перро, Ж. Гетцель, известный в литературе под псевдонимом П. Сталя, в предисловии своем замечает очень справедливо, что не следует опасаться чудесного для детей. Не говоря уже о том, что многие из них не дают себя в обман вполне и, забавляясь красотой и миловидностью своей игрушки, в сущности очень твердо знают, что этого никогда не случилось (вспомните, господа, как вы езжали верхом на палочках; ведь бы знали, что это под вами не лошади, а дело все-таки выходило совершенно правдоподобно, и удовольствие получалось отличное; но даже те дети (и это большей частью самые даровитые и умные головки), которые безусловно верят всем чудесам сказки, очень хорошо умеют тотчас (?) отрешиться от этой веры, как только час тому настанет<sup>2</sup>. „Дети, как взрослые, берут в книжках только то, что им

---

<sup>1</sup>Рассмотренный в «Учителе» перевод сказок Перро был издан с эпиграфом: «Трудно верить тому, что рассказывают нам в волшебных сказках; но их будут помнить, пока на свете будут жить дети, матери и бабушки».

<sup>2</sup>Чтобы эти дети были даровитее и умнее первых, мы положительно отрицаем. Признаком даровитости и ума может служить способность перенестись воображением в ее мир, а не безусловная вера всем ее чудесам, проходящая лишь с летам. Другими словами, легковерие не признак ума. Позволяем себе повторить сказанное по этому поводу в «Учителе»: «Если дитя влагает жизнь в свои игрушки, творит для них положения, которые отчасти копирует с действительности, с слышанного или виденного им, даже создает целые ряды событий, в которых деятелями являются куклы, то это совершенно естественно, но вместе с тем и доказывает, что фантазия ребенка не требует дальнейшего развития».

нужно и пока оно им нужно<sup>4</sup>. Гетцель прав: не в этом направлении лежат опасности и трудности детского воспитания».

Как вам нравится, читатель, этот кивок с подмигиванием? Мы, со своей стороны, не поддаваясь на эту уловку, рассмотрим товар, предлагаемый нам г. Тургеневым как совершенно благонадежный. Вот названия сказок Перро: Красная шапочка, Мальчик-с-пальчик, Спящая красавица, Замарашка, Кот в сапогах, Хохлик (в прежнем переводе Принц Рике), ослиная Кожа, Волшебница и Синяя Борода. Предоставляем читателю судить о том благотворном влиянии, какое произведут на детей ужасы, испытанные, например, Мальчиком-с-пальчик и его братьями, которых отец и мать завели в лес, да там и бросили и которые попали к людоеду. Рассмотрим лучше, какие мысли и склонности должны будить в детях сказки Перро, приправленные другими снадобьями. Для примера приведем содержание сказки «Ослиная Кожа».

У короля заболела жена. «Король чувствительный и влюбленный (хоть и говорят, что брак загоняет любовь в могилу, горевал без меры, по всем церквам произносил обеты, предлагал свою жизнь на выкуп жизни любезной супруги: но ни святые, ни волшебники не помогли». Перед смертью королева взяла с супруга клятву, что он лишь тогда жениться вторично, если приищет принцессу стройнее ее и милее. «Полагают, что королева, у которой не было недостатка в самолюбии, требовала такую клятву, думая, что во всем свете нет равной ей особы и рассчитывая, что таки образом королю не придется вступить в брак. Наконец, она скончалась. Ни один муж не поднимал еще такой кутерьмы: король плакал, рыдал, жаловался на свою долю; только и знал, что убивался и день, и ночь. Большое горе продолжалось не долго. К тому же собрались первые особы королевства и гурьбой явились к королю просить, чтобы он сочетался вторым браком». «Король сослался на свою клятву и, думая отделаться, пригласил своих министров приискать ему принцессу, которая была бы стройнее и милее покойницы жены. Но министры обозвали клятву пустяками и возразили, что дело не в красоте, а в том, чтобы королева была добродетельна и плодородна; что для спокойствия государства нужен наследник» и проч. «Пораженный этими резонами<sup>3</sup>, король обещал подумать». «К несчастью, хоть и был он большого ума, но вдруг рехнулся, находя, что дочь его

---

<sup>3</sup> Ради литературного достоинства своего перевода, Тургенев испестрил его подобными вычурными выражениями: мальчик был деликатного сложения, убежали по секретной дорожке, сделал компании книксен и т. д.

инфанта превосходит свою мать и прелестями, и душой, взял, да и объявил, что намерен на ней жениться, так как с ней одной он в состоянии сдержать свою клятву. Молодая принцесса, как девица добродетельная и стыдливая, чуть не упала в обморок от такого ужасного предложения. Она бросилась к ногам короля и всячески заклинала его не приневоливать ее к совершению преступления. Король, который крепко вбил себе в голову свое странно намерение и, *чтобы* успокоить совесть принцессы, потребовал совета одного старого жреца. Этот жрец не столько набожный, сколько честолоубивый... так искусно смягчил замышленное им преступление, что даже уверил его, будто бы жениться на дочери богоугодное дело. Польщенный речами этого злодея, король обнял его и еще сильнее утвердился в своем намерении. Поэтому он приказал инфанте быть готовой исполнить его желание».

Принцесса отправляется за советом и защитой к Сиреневолшебнице, своей крестной. Та подучает ее поставить условием брака, чтобы король подарил ей платье известного цвета: сперва она назначает платье такого цвета, как небосклон, потом, как месяц, наконец, как солнце. Король выполняет эти требования. «Инфанте платья нравились больше, чем ухаживания отца, и она предалась безмерной печали. Но на помощь ей опять явилась Сирень-волшебница и сказала: „Ну, уж теперь, душа моя, мы придумаем такое испытание, которого гнусная страсть твоего батюшки не пересилит. Он вбил себе в голову эту женитьбу и считает ее близкой, но его немножко ошеломит то, что я тебе сейчас присоветую. Проси ты у него кожу его любимого осла, что так щедро доставляет ему деньги на все издержки“». А осла этого «природа устроила таким необыкновенным образом, что каждое утро его подстилка, вместо нечистоты<sup>4</sup> покрывалась серебряной и золотой монетой, которую приходили собирать по его пробуждению». Король не колебался исполнить каприз дочери. Принцесса, «не видя более никакого средства избежать напасти, готовилась предаться отчаянию, как в комнату вбежала ее крестная. — Полно милая, полно! — сказала она, видя, что принцесса рвет на себе волосы и бьет себя по щекам. Настала самая счастливая минута твоей жизни. Завернись в эту кожу, уходи из дворца и иди, пока тебя несет земля: Бог не оставляет добродетели. Ступай. Я устрою, чтобы твой гардероб повсюду следовал за тобой. Вот тебе моя палочка, когда понадобится сундук, ударь палочкой по земле и он явить-

<sup>4</sup>Какая деликатность в выражении!

ся перед твоими глазами». Инфанта «напялила на себя мерзкую кожу, вымазалась сажей из трубы» и покинула дворец. Король разослал за ней больше ста жандармов и около тысячи полицейских мушкетеров, но помогавшая принцессе волшебница сделала ее невидимой для самых зорких глаз. Инфанта попала в город и нанялась у одной хозяйки, которая нуждалась в девчонке, чтобы мыть тряпки, смотреть за индюшками и чистить свиные корыта. Однажды она умылась в ручье, а на другой день, в своей каморке вызвала из земли сундук, приготовила туалет, напудрила волосы и нарядилась в платье цвета небосклона. «Каморка ее была такая маленькая, что негде было повернуться со шлейфом. Прекрасная принцесса посмотрелась в зеркало, полюбовалась собой (она имела на это право) и до того сама себе понравилась, что решила наряжаться от скуки, по праздникам и воскресеньям, одно за другим, во все свои платья. Что и привела с точностью в исполнение. Она с удивительным искусством вплетала в свои чудесные волосы цветы и бриллианты и часто вздыхала о том, что нет ее красоте иных свидетелей, кроме овец, да индюшек, которые любили ее и в этой негодной ослиной коже. А по коже инфанте на хуторе и прозвание дали. В один праздничный день, когда Ослиная Кожа нарядилась в свое платье такого цвета, как солнце, королевский сын, которому принадлежал хутор, заехал в него отдохнуть с охоты». Принц подглядывает инфанту в замочную скважину. «Но что осталось с ним, когда он увидел внутри такую прекрасную и разодетую инфанту, что по осанке ее следовало бы принять за богиню. От пылкости овладевшего им в эту минуту чувства, он готов был вышибить дверь, если бы не удержало его почтение к такой восхитительной особе». Принц насилу расстался с темным коридором, узнал прозвище Ослиной Кожи и «возвратился в королевский дворец, влюбленный так, что пересказать нельзя, и постоянно имел перед глазами прекрасный образ божества, которое подметил он в замочную скважину». «Волнение крови, произведенное любовным жаром, в ту же ночь обратилось в такую ужасную горячку, что скоро он очутился при последнем издыхании». Доктора догадались, что эту болезнь причиняет потаенное смертельное горе. Королева просит сына открыть ей свою тайну, и принц выражает желание, чтобы Ослиная Кожа изготовила ему пирог и, когда он будет готов, принесла его. Отдается приказ Ослиной Коже. «Некоторые писатели уверяют, что в ту минуту, когда принц приложил глазок к замочной скважине, Ослиная Кожа его заметила; что потом она видела из окна этого молодого, красивого, стройного принца; что

образ его заронился ей в сердце, и что это воспоминание стоило ей частых вздохов. Так или иначе, только Ослиная Кожа обрадовалась случаю сделаться известной принцу». Она стала печь пирожок. «Замешивая тесто, она сронила, нарочно или нет, кольцо, которое упало в тесто, да там и осталось. Принц нашел колечко, расцеловал его, сунул под подушку и беспрестанно вынимал оттуда, когда полагал, что никто не видит. Придумывал он, как бы увидеть ту, которой колечко придется на пальчик; но не смел просить, чтобы позвали Ослиную Кожу. Эти мысли беспокоили его так, что опять схватила его горячка, и доктора не зная уже, что и придумать, объявили королеве: принц-де болеет любовью». Королева с королем прибежали к сыну вместе и поклялись, что предоставят ему, кого он хочет, будь она даже самая презренная раба. Принц, «растроганный ласками и слезами виновников дней своих», уверяет, что он отнюдь не имеет намерения заключить какой-нибудь неугодный им брак и в доказательство этих слов объявляет, что он жениться на той, на чей пальчик придется колечко. Для примеривания кольца приводят и Ослиную Кожу. Явившись перед принца и примерив колечко, «инфанта легким движением сбросила с себя кожу и явилась в такой восхитительной красоте, что принц, не смотря на свою слабость, бросился к ее ногам и обнял ее колени с горячностью, от которой она вся зарделась». В это время потолок раскрывается, в гостиную спускается волшебница-Сирень и «бесподобным манером рассказывает историю инфанты». Сыграли свадьбу. «Король, отец принца, в этот же самый день короновал своего сына и, поцеловав ему руку, посадил его на трон, несмотря на сопротивление этого благовоспитанного принца, делать нечего, пришлось повиноваться».

Читатель видит, какого рода пищу предлагает молодому воображению Тургенев, т.е. какого рода мечты он хочет привить ему! Мы признаем это растлеванием детского воображения. Перро писал не для детей.

*Евгений Кемниц*

**НОВЫЕ СКАЗКИ; РУССКИЕ СКАЗКИ;  
ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА, ИЗДАНИЕ АННОЙ  
ЗОНТАГ**

*Впервые опубликовано в: Учитель. 1869. № 9/10. С. 330—335.*

**Новые сказки. Эдуард Лабулэ. Издание Н. И. Ламанского. Спб. MDCCCLXIX. 118 стр. Ц. 2 р., с рисунками 3 р.**

**Русские сказки. Н. Ахшарумова, с рисунками, для детей. Спб. 1869. XXIV, 150 стр. Ц. 1 р. 25 к.**

**Волшебные сказки для детей старшего возраста, изданные Анной Зонтаг. С осьмью картинками. Москва. 1867. 232 стр. Ц. 1 р. 25 к.**

Читатели знают уже наше мнение о сказках и вообще фантастических рассказах, высказанное когда-то в нашем журнале. После того нам неоднократно случалось читать и слышать против него возражения и протесты, причем протестующие объявляли подобное мнение «педантизмом». Не считая своих мнений абсолютно безошибочным, мы при всем том не можем сделать противникам нашим уступки, кроме сознания, что мы высказали свое мнение не довольно точно. Мы не отвергаем все фантастическое безусловно, не объявляем вредным все фантастические рассказы без исключения: все зависит от того, каковы эти рассказы. Греческие мифы также принадлежат к области фантастического, но составляют для детей вообще хорошее чтение, хотя, разумеется, требуют старого выбора, так как нередко они содержат в себе намеки на отношения, знание которых для детей слишком преждевременно. Вообще говоря, всякий фантастический рассказ, если только он не лишен художественности и поэтичности, и, если в нем нет ничего, что могло бы вредить нравственности, можно смело дать детям. Но дело в том, что большая часть рассказов, которые циркулируют под именем «сказок», «волшебных», и других, вовсе не удовлетворяют этим условиям. Обыкновенно мы находим в них изображения весьма грубые, неизящные; сцепления происшествий часто лишены

не только мысли, но и здравого смысла; и фантазия разгуливается до крайнего безобразия. Подтверждением наших слов могут служить большинство книг подобного рода, и между прочим, отчасти также те, о которых мы теперь намерены говорить.

Лабуле в предисловии к своим сказкам говорит: «Я знаю многих людей — умных, ученых и солидных, которые считают волшебные сказки литературой няnek и мамок. Не отрицая мудрости в этих ученых людях, я все-таки не могу не заметить, что подобное мнение отличает их крайнее невежество. С тех пор, как современная наука узнала начала цивилизации и восстановила памятники жизни человечества — сказки заняли почетное место во мнении ученых». Не знаем о каких именно *ученых людях* говорит здесь Лабуле. Если он говорит о педагогах, подобно нам отрицающих пользу чтения сказок для детей, то эти *ученые люди* вовсе не отвергают значения сказок, какое они могут иметь для науки. Они рассматривают сказки только как чтение для детей; и вопрос для них состоит в том, можно ли одобрить такое чтение, может ли оно иметь на детей хорошее влияние. Вещь может иметь важное значение для ученого, занимающегося культурно-историческими исследованиями, и в то же время составлять очень плохое, вредное чтение для детей. Таким образом, уличая других в невежестве, Лабуле сам немножко промахнулся.

Г. Ахшарумов написал к своим сказкам довольно длинное предисловие, в котором он также рассматривает вопрос о педагогическом значении сказок, являясь при том, разумеется, защитником этой отрасли литературы. Он опирается главным образом на тот аргумент, что у ребенка еще слишком мало реальных положительных представлений для того, чтобы построить из них одних полное мирозерцание, и что поэтому их необходимо дополнить образами фантазии. Взятymi из сказочного мира. Мы думаем, что автор не совсем прав. Конечно, ребенок не может иметь познаний взрослого, и поэтому мирозерцание его не может представлять той полноты. Но разве мирозерцание взрослого можно назвать абсолютно законченным, так что новые знания ничего не могут прибавить к нему? Совсем нет, у всех людей полнота его только *относительная*. Мирозерцание — это не такая вещь, которая имеет определенную вместимость, и которая непременно должна быть наполнена: оно слагается само собой, по мере накопления в нашем уме представлений, и бывает шире и уже, сообразно с обстоятельствами. Если бы дети действительно составляли свое мировоззрение на основании сказочных, фантастических представлений, то это

скорее служило бы аргументом против сказок. Но сам автор уверяет, что не только впоследствии в уме не остается ни малейшего сомнения в том, что рассказываемое в сказках не существует в действительности, но что и в детстве никто из нас не помнит ни одной минуты, когда бы он был действительно убежден, что слышанная им сказка есть правдивая повесть о действительных событиях. Как же после этого говорить о «миросозерцании»?

Более основательным возражением против сказок г. Ахшарумов считает то, что не все они нравственны по своему содержанию. Он признает, что есть сказки, которые действительно могут быть названы безнравственными; таковы, напр. Народные сказки о ловких ворах и проч. «Но, — прибавляет он, — сказки этого рода, во-первых, оставляют ничтожное меньшинство, а во-вторых, они по содержанию своему, меньше всего могут быть названы сказками в собственном смысле, так как мифический сказочный элемент в них или очень слаб, или вовсе отсутствует. В сущности, это не более как простые анекдотические повествования. В большей же части действительных сказок нравственное чувство так чисто и так неподдельно в своей частоте, что всякие опасения этого рода с первого взгляда могут быть признаны совершенно излишними». Жалеем, что не можем согласиться с г. Ахшуровым; нам кажется, напротив, что именно сказки последнего-то рода составляют ничтожное меньшинство. А что касается до остальных, то хотя и не все они содержат в себе что-либо положительно-безнравственное, но тем не менее не могут быть признаны вполне нравственными. Действительно, большей частью в них, в конце концов, порок наказывается, а добродетель награждается, но то, что фигурирует здесь под именем «добродетели», часто бывает весьма сомнительного свойства и в сущности есть не более как благоразумный эгоизм. Во-вторых, фантазия, переносящая нас за пределы всех условий действительного мира, ставящая нас вне законов его, вызывает в читающем настроение, которого нельзя совершенно одобрить: это настроение праздности, ленивой беззаботности, естественно соединяющейся с склонностью к произволу в действиях. Обязанность воспитателя не только препятствовать дурным поступкам питомца, но и предотвращать то настроение, из которого могут проистекать такие поступки. Если во многих из сказок рассказывается, как человек, найдя какую-нибудь шапку-невидимку, ковер-самолет, неистощимую сумку-котомку или волшебный-стол-накройся, с помощью этих чудес может безо всякого труда достигнуть величайшей цели своих желаний и жить припеваючи, словом, если достиже-



ние счастья и главной цели человеческих желаний приписывается не внутренним усилиям и достоинствам человека, а совершенно внешним, случайным обстоятельствам, и самое счастье рисуется более материальными, чувственными красками: то все это не может не льстить естественной наклонности неразвитого человека в лени и чувственности. Отсюда переход к действительному миру кажется уже тяжелым; является нерасположение к этому миру, столь непохожему на сказочный, что конечно не может быть благоприятным условием для нравственного развития. Вот почему сказка может не содержать в себе ничего положительно безнравственного, но в то же время производит в детях настроение, которого нельзя назвать совершенно нравственным. Наконец, положим, что она и не будет производить такого настроения: в таком случае, большую часть сказок следует запретить уже потому, что они ужасно глупы, бессмысленны и грубы, изображают не людей, а какие-то уродливые фигуры, не имеющие почти ничего человеческого. Все это не может не быть вредным как для развития ума, так и для развития изящного чувства, которые также имеют право на внимание со стороны воспитателя. Если мы считаем вредными глупые, уродливые карикатуры, то точно также должны признавать вредными и большую часть сказок, которые в сущности точно такие же карикатуры.

Мнение, будто, отнимая у детей сказки и все фантастическое, мы оставляем без пищи их фантазию и поэтическое чувство, даем им одностороннее, прозаическое направление и делаем сухими педантами, совершенно неосновательно. Мы не отрицаем, что поэзия составляет необходимый элемент той среды, в которой должно происходить духовное развитие дитяти. Но разве поэзия существует только в сказках? Сколько есть превосходных поэтических произведений, которые не принадлежат к разряду фантастических, а между тем не менее последних привлекают детей, представляют для них не менее интереса! Нередко даже простые географические или исторические очерки и рассказы занимают и питают их воображение не хуже волшебный сказок. Напротив, уродливые порождения необузданной фантазии, которыми наполнены сказки, совершенно антипоэтичны: они, если можно так выразиться, смерть для всего истинно поэтического. При том же, повторяем, мы не восстаем против сказок безусловно, не питаем против них фанатического предубеждения, а только отвергаем те из них, которые не соответствуют выставленным выше условиям: и надо сказать правду, что сказок, действительно соответствующих этим условиям, чрезвычайно как мало!

Чтобы дать читателям понятие о том, в какой степени удовлетворяют этим условиям озаглавленные три книги, мы лучше всего передадим вкратце некоторые из содержащихся в них сказок. В первой и сказок Лабуле (о Бриаме дураке) повествуется о том, как сын отомстил за смерть отца, притворившись дураком. При этом дело не обходиться без множества убийц и ничем не объясненных и необъяснимых злодейств. Сказка далеко не так замечательна и любопытна, как рассуждение, находящееся в конце ее. Вот оно:

«В настоящее время нас оскорбляют подобные истории; мы мало уважаем ремесло, доводящее до галер. Не то было у первобытных народов. Геродот не грешит (?), пространно рассказывая нам египетскую сказку, которая, без сомнения, есть одна из волшебных сказок Востока. В книге Евтерпа можно видеть, какое более чем странное средство употребил король Рампсинит для поимки ловкого вора, ограбившего его сокровища, и как Рампсинит три раза обманутый (в лице короля судьи и отца) не придумывает лучшего средства избавиться от вора, как сделать ловкого разбойника своим зятем». «Рампсинит, — говорит историк, — принял вора очень хорошо и отдал ему свою дочь, как самому способному из людей, так как египтяне выше всех народов, а он был выше всех египтян. Из этого видно, что национальная гордость также стара, как волшебные сказки. Подобными воровскими историями изобилуют сборники сказок. Под именем „Господин Вор“. Г. Асьбьернсен напечатал норвежский рассказ, очень похожий на только что изложенный. В этих рассказах более всего поражает наивное удивление авторов к своим героям. Человеческий ум прошел по этому, давно оставленному пути! Греки восхищались Улиссом, бывшим наполовину вором, римляне обожали Меркурия...».

Для кого назначено это рассуждение? Для тех же юных читателей, которые будут читать и сказки? Если нет, то зачем же автор вклеил его сюда? А если для них, то нельзя не признаться, что эти строки будут для них очень назидательны...

Следующий рассказ «Зербин бирюк», если чем-нибудь замечателен, то разве своей нелепостью. В Салерно, изволите видеть, жил молодой дровосек, по имени Зербин, он был дик и ни с кем не говорил ни слова, за что его прозвали «бирюком». Раз он увидел какую-то спящую красавицу, делать ему было нечего, он и давай устраивать для спящей незнакомки беседку из древесных ветвей. Плел, плел, как вдруг, видит, ползет змея, он и разрубил ее на три части. Тут спящая красавица (оказывается это была какая-то фея), проснувшись хочет благодарить Зербина за то, что тот спас ей

жизнь. «Ничего я вам не спас!» — отвечает он. Нет, той таки хочется отблагодарить его. Но Зербин упал, захрапел и притворился, что спит. Прекрасная фея по неволе должна была удалиться. Но на прощание она произнесла еще следующий монолог: «Бедный юноша! Твоя душа заснула! Но что бы ты не делал, я не хочу остаться неблагодарной» и проч. И проч. Когда дровосек проснулся, то принялся рубить дерево: рубил он, рубил, только дерево не подается. Он отошел шага на два, взмахнулся топором и хватил им по дереву так, что сам подлетел шагов на десять вперед и ошупал носом землю. В ту же минуту дерево свалилось. Тогда дровосек собрал нарубленные им сучья, связал вязанку, сел на нее верхом и сказал: «Жаль, что у вязанок нет четырех ног, как у лошадей!». В ту же минуту вязанка приподнялась и поехала рысью. Куда же она его привезла? Прямо во дворец. Во дворце жил король и его дочь, принцесса. Как только принцесса увидела дровосека, едущего верхом на вязанке, то тотчас и влюбилась в него. Фрейлины же ее расхохотались над дровосеком и давай кидать в него апельсины. Едва ли станет терпения у читателя проследить всю эту дичь до самого конца: смысл сего повествования следующий: дровосеку во всем везет счастье; чего бы он ни захотел, все ему достается без всяких усилий, и он наконец жениться на принцессе. Вся история, своими подробностями, очень напоминает те аляповатые карикатуры, которые рисуют или, лучше сказать, малюются карикатуристами самого последнего сорта.

В сказках г. Ахшарумова, надо отдать ему справедливость, гораздо более тщательности в отделке подробностей, он гораздо умнее, нежели произведения Лабуле. Но зато фантазия автора любит вращаться в образах чрезвычайно мрачного свойства. Первая сказка «Ветрова хозяйшюшка», не смотря на эксцентричность фантазии, по крайней мере представляет много забавного и проникнута мыслью. Дочь мужика вышла замуж за ветра и долгое время, разумеется, была очень несчастлива в домашней жизни, но потом она нашла средство обуздывать дикий разгул своего муженька: один колдун дал ей капли и научил, что стоит только sprysнуть ими, и самый буйный человек станет, как говорится, «тише воды, ниже травы». Эти капли называются «терпеливой капелькой», название довольно остроумное и многозначительное. Вот однажды приходит муж домой, о чем-то заспорил с ней, слово за слово, и расшумелся: «Ах ты, — говорит, — такая сякая! Мало тебе, — говорит, — от меня досталось? Постой же, вот я тебе! И накинулся на нее ястребом. Да только, на этот раз жена не сплоскала. Проворно достала скляночку из-за пазухи, отхлебнула, да как прыснет ему в лицо!.. Как

повело его! Как оскорбила!... Ай, батюшки! Не успел вскрикнуть... На земь упал, крутиться, корчиться, духу не может перевести... Куда девались и рост богатырский и сила могучая?... Съежился весь, стал такой маленький, жиденький, — и вертится у ней в ногах волком. Изловила она его смеючись, руки и ноги ниточкой спутала, завернула в тряпичку и за пазуху сунула». От этого потом произошли важные последствия: так как ветер был спрятан у Марьи за пазухой, то в стране пошла страшная засуха и разные бедствия, о которых желающие могут прочесть в той самой сказке. Из приведенного обрашника можно видеть, что талантливый автор умеет писать в настоящем народном духе. Сказка «Маланьины стрелки» имеет характер легенды: тут выходят и Илья Муромец, и Алеша Попович. Нам показалась она немного запутанной, и мы думаем, что она будет не совсем понятна детям. В сказке «Сват» рассказывается, как одного человека постоянно спасало от беды его наивное простодушие и бесхитрость. Напрасно только автор выводит здесь на сцену чуть ли не самого черта: нам кажется, что чем меньше говорить детям о подобных предметах, как черт, тем лучше. В «Ночлеге» одному купцу на ночлег является дух его убитого товарища и говорит ему какие-то таинственные, бессвязные слова, с помощью которых купец, как бы по наитию свыше, отыскивает труп товарища и убийц. Сказка эта опять такого рода, что дети, прочитав ее, пожалуй, не будут спать целую ночь. В сказке «Дуня» этот мрачный характер, который проглядывает уже в предыдущих сказках, достигает самых громадных размеров: здесь ужасы, жестокость и злоба кишат, как змеи, которые здесь выводятся действующими лицами. Наконец, сказку «Емеля», сюжет которой заимствован из известной простонародной сказки «Емеля-дурак», не смотря на ее по преимуществу комический характер, мы не можем одобрить, потому что в ней возводиться в апофеоз лень и глупость. Таким образом, признавая в г. Ахшарумове писателя с несомненным талантом, мы однако же, к сожалению, не можем рекомендовать его сказки.

О том, какими сказками угощает детскую публику госпожа Анна Зонтаг, можно лучше всего судить из следующего рассказа: «Господин и слуга». Данило Макаров был пьяница и забияка, и потому нигде не мог найти места. Однажды, ночью, зимой, он весь прозяб и думает себе: вот если бы теперь проглотить хоть одну чарку водки! «Готов услужить приятелю!» — закричал кто-то пронзительным, резким голосом. Данило оторопел и увидел возле себя маленького человека в пол аршина ростом, в треугольной шляпе с перьями и галунами; в руке у него был стакан с водкой.

Данило, разумеется, рад и выпил все до дна. «Хорошо!» — говорит карлик, теперь вынимай кошелек и расплачивайся. Но у Данилы нет ни гроша, и потому он должен был, хотя и против воли, сделаться слугой этого незнакомого маленького господина: какая-то непостижимая сила заставляла его ходить за господином всюду, не останавливаясь. Вот, однажды, новый господин Данил велит оседлать двух лошадей. Но Данило не видит ни одной лошади. Тогда карлик приказывает ему сломить две толстые вязовые ветви и сесть верхом на одну из них. Когда Данило сел и господин его три раза прокричал: «Расти! Расти! Расти!», то вязовые ветви обратились в лошадей. Данило с своим господином поскакали на них и остановились у стен какого-то дома. Тут таинственный карлик велел Даниле делать все то, что будет делать он сам. Карлик проворчал какие-то непонятные слова, и Данило сделал то же: тогда они пролезли через щелку и очутились в винном погребе. Калик пил, сколько мог, и Данило тоже. Напившись, они оба на тех же лошадях ускакали назад. Лошади опять сделались ветвями и приросли к вязу. Другой раз они оба опять поехали, с соблюдением той же процедуры, но дело кончилось уже не тем: вместо погреба они подъехали к крестьянской избе. Тогда карлик и говори Даниле: «Завтра мне минет тысяча лет!». «Господи помилуй! — воскликнул Данило. — Неужели вправду?» «Не говори этого вперед! — отвечал карлик. — Ты этим меня погубишь! Завтра мне минет тысяча лет и мне пора жениться». Затем тысячелетний карлик сообщает Даниле, что в этой избе живет девушка, Устюша, которую выдают замуж за крестьянина Якова Любина, но карлик хочет отбить у него невесту. Данило хотел было возразить, но карлик заставил его молчать и оба они пролезли сквозь замочную щель в избу, где никто их не заметил. Чтобы лучше все видеть они взобрались на полати. В избе была невеста, одетая в свадебный наряд, вокруг нее девушки. В другой комнате ее родные готовили ужин. Отворилась дверь, и входит дружка со свахой и со всем жениховым поездом, но вошел в избу, все забыли сотворить молитву. Карлик, заметив это, лукаво улыбнулся и кивнул головой Даниле. «Так тебе вот чего надо, урод окаянный! — подумал Данило. — Тебе хочется, чтобы все делалось без Божьего благословения!» И от страха у Данилы замерло сердце. «К кому это я попал в слуги! — сказал он сам себе. — Надо избавиться от такого господина». Среди разговоров невеста громко чихнула, но никто не сказал ей: «Здравствуй, Устюша! Господь тебя помилуй!» Все продолжали разговаривать и хохотать. Данило и карлик заметили это важное обстоятельство. «Ах! — прошептал

карлик на ухо своему слуге, указывая на невесту. — Теперь она до половины моя! Если она чихнет еще дважды и все промолчат, тогда Устюшу никто у меня не отнимет!» И действительно, невеста скоро еще раз чихнула, и опять никто из присутствующих не поздравил ее. Но когда она потом чихнула в третий раз, то Данило, собравшись, наконец, с духом, закричал во все горло: «Здравствуй, Устюша! Господь тебя помилуй!» и проч. и проч. Едва он успел это выговорить, как карлик с бешенством бросился на него: «Я увольняю тебя от службы» — закричал он и дал ему в спину такой толчок, что Данило с полатей полетел на пол. Карлик исчез, и там, где он сидел, воздух заискрился тусклым огнем, по избе разлился серный запах, и вдали послышался гром. С тех пор Данило перестал пьянствовать и сделался трезвым, трудолюбивым человеком.

Не правда ли, очень мило?

*Евгений Прилежаев*

## ЗНАЧЕНИЕ СКАЗОК В ЭЛЕМЕНТАРНОМ ОБРАЗОВАНИИ

*Впервые опубликовано в: Школьная жизнь. 1872. № 1.  
С. 12–15.*

Полезно ли для детей чтение сказок? «Да, полезной», говорят одни педагоги: «сказки питают детскую фантазию, которая без свойственной ей пищи может принять вредное направление; в то же время сказки незаметно знакомят детей с духом русского народа, с его языком и т. д.» Конечно, при этом имеются в виду русские народные сказки, *в их подлинном народном тексте*<sup>1</sup>. Но рядом с педагогами, признающими удобство и пригодность сказок для педагогического употребления, существуют воспитатели, с предубеждением относящиеся к подобному чтению и не признающие за сказками никакого полезного значения. По их мнению, бесполезно тратить время на чтение сказок, в которых нет ни малейшего склада и ладу, и которые, чрезмерно возбуждая одну лишь фантазию, не оставляют в уме никакой серьезной мысли и только препятствуют знакомству дитяти с действительностью.

Очевидно, последнее мнение о значении сказок в воспитании очень односторонне и преувеличивает дело; тем не менее нельзя упустить его совсем из виду, употребляя сказки с педагогической целью в элементарном образовании. Здесь действительно нужна известная педагогическая мера, необходим разумный выбор чтения, и мы вполне разделяем предубеждение против сказок «волшебных», где фантастическое составляет основу всей сказки. Волшебные сказки, страдая чрезмерностью чудесного, и унося воображение дитяти в мир пустых призраков и несбыточных, необычайных приключений, действительно, не оставляют в душе ребенка никакого доброго, серьезного следа, засоряют его нежное воображение картинками, в которых, выражаясь словами противников сказок, нет

---

<sup>1</sup>Нельзя не сочувствовать тем учителям, которые собирают сказки, былины, легенды и предания своей местности и записывают их с буквальной точностью, сохраняя обороты народной речи. Небольшое число таких сборников приносит существенную пользу и редакция со своей стороны просит присылать такие записки.

ни малейшего складу и ладу, и только раздражают детей с действительностью. Это педагогическое неудобство волшебных сказок обнаруживается особенно в детях сангвиниках, а также меланхоликах, обладающих по большей части живым и сильным воображением.

Но было бы ошибочно утверждать, что сказки вообще не годятся для педагогического чтения.

Из психологических наблюдений известно, что воображение развивается раньше других способностей души; оно в детском возрасте действует с особенной силой и имеет решительный перевес над другими способностями. Само собой разумеется, что насильно подавлять фантазию, заглушать ее — значило бы воспитывать не «сообразно с природой», а совершенно противоестественно. Односторонность вредна в воспитании, и фантазия также требует развития, как ум, память и т. д. Но, признав необходимость деятельности воображения, нужно руководить этой деятельностью, потому что, оставленная без надлежащего призора и руководства, она может принять вредное направление. Прежде всего, конечно, следует дать детской фантазии сродную ей пищу, доставить ей такой материал, над которым могла бы она должным образом упражняться. Такой-то пищей, таким материалом служат сказки. Их фантастическое содержание вполне удовлетворяет потребностям воображения в детском возрасте. Сказки — самая естественная и, следовательно, самая лучшая пища для детского воображения. Чтобы видеть справедливость этого, стоит только обратить внимание на то, с каким увлечением, с какой любовью и интересом читаются сказки детьми.

Так как мы имеем в виду *русских* детей, то думаем, что их должно занимать *русскими* народными сказками. Русские сказки будут для детей любопытны и завлекательны ничуть не меньше каких-нибудь немецких сказок, напр. Гримма, Андерсена, Перро, а между тем знакомство с *национальными* поэтическими произведениями принесет важную воспитательную пользу, которую никак нельзя упускать из виду. Дело в том, что занимая детскую фантазию, русские народные сказки имеют еще другое благодетельное влияние на психическую сторону русского дитяти. Они «запечатлены печатью русского ума и русского духа», и этот-то русский ум и русский дух, выражающийся в народных сказках, незаметно сообщается самому дитяти, читающему эти сказки, инстинктивно роднит его с собой, дает его душе, так сказать, русскую физиономию; а это очень важно, особенно теперь, когда русские так хлопочут о том,



чтобы иметь свою собственную физиономию среди других европейцев. В наших сказках, действительно, отражается Русь. Возьмем, напр., сказки звериного цикла, животный эпос, с которым, сказать кстати, прежде других сказок нужно познакомить детей первого возраста, потому что так называемые богатырские или исторические сказки еще недоступны для их понимания; — возьмем сказки о животных: из них дети узнают и усвоят живое народное сочувствие к природе, живое понимание ее истинных, реальных свойств. Звериный мир изображается в этих сказках так просто и естественно, и притом такими характерными чертами, которые, можно сказать, вполне обрисовывают природные, типичные свойства и внешние характеристические признаки разных животных. Волк, напр., является в животном эпосе, по представлению народа, хищным, жадным зверем и, в добавок, с наивною глупостью, так что хитрая лисица часто обманывает его, когда они вместе ходят на добычу. Медведь громаднее, сильнее и неповоротливее волка; особенно типичен медведь в той сказке, где, сидя в берлоге, по наставлению лукавой лисы, изо всех сил давит лапой до самых мозгов башку свою: он и на соображение тяжел также, как тяжел на подъем, отчего бывает труслив иногда. И здравый смысл русского народа, выражающийся в русских сказках, непременно передаст свои качества восприимчивой детской душе, хотя передача эта произойдет совершенно незаметно ни для воспитанника, ни для воспитателя. Вместе с тем дитя привыкнет к живой народной русской речи, освоится с ее складом, усвоит характерные идиотизмы, которыми так богат народный русский язык, его меткость, сжатость, бойкость. При этом нужно заметить, что не следует давать для чтения детям специальных изданий сказок, предпринятых в чисто этнографическом интересе, напр. большое издание сказок А. Н. Афанасьева. Такие сборники сказок неудобны для детского чтения: в них много вариантов, ученого аппарата, много архаизмов, провинциализмов и других «простонародных» форм, отступающих от общепринятых, — словом, много того, с чем нет никакой надобности знакомить ученика. Потому то таких сборников не следует употреблять для педагогических целей. Дети могут читать сказки, помещаемые в хрестоматиях, в которых они очищены от примеси простонародных форм, так что в сказках остается язык, конечно, не книжный, но и не простонародный, а народный русский, т. е. общий всему русскому народу, без различия состояний и степени образованности. Впрочем, в нашей детской литературе есть хорошее отдельное издание народных сказок для детей, — разумею «Русские детские сказки,

собранные А. Н. Афанасьевым». В этом издании известный наш писатель-этнограф собрал специально сказки, наиболее соответствующие детскому чтению и устранил весь тот ученый аппарат, который необходим для этнографической полноты и точности в учебном издании, но не годится для детской книги.

Упомянем еще об одной пользе, которую может оказать сказка. Детей, с большим трудом выучившихся грамоте и имеющих отвращение к книге, с помощью сказок можно заохотить к книге, к чтению, к учению и приучить сосредоточивать внимание на прочтенном.

Таким образом, чтение русских народных сказок, служащих естественной и занимательной пищей для фантазии детей, в то же самое время развивает в чуткой и впечатлительной их душе чувство русской народности, здравый русский смысл, чувство правды и «чутье» родного слова, родного языка. Трудно уловить такое полезное влияние сказок на душу дитяти, как мы уже сказали; оно происходит незаметно, и потому, при чтении сказок, на первых порах, нет никакой надобности и не следует останавливаться с учениками на прочитанных сказках и разбирать их с тою целью, чтобы обратить внимание ученика на качества и стремления сказочного героя, на лингвистическую сторону сказки и т. п. Тем более не следует делать подобных упражнений, что они холодят внимание ребенка и портят действие сказки, которая производит на детей впечатление именно своею цельностью; разбирать сказку в частностях значит насильственно вторгаться в этот веселый детский мир и разрушать его очарование, а вместе и то благодетельное действие, какое он производит на детскую душу.

Как долго можно пользоваться сказками? Долго держать детей на сказках, с глазами, закрытыми на тот действительный мир, который их окружает и в котором придется им жить, — нет надобности, да и нельзя. Сколько вредно лишать детей той пищи, которая так свойственна детскому возрасту, столько же вредно и оставлять их на ней исключительно, или слишком долго. Как вреден для детей излишек пряных кушаньев, также точно будет вреден для них и излишек сказок. Он или притупит восприимчивость воображения, или, слишком развив его, повлечет за собой чрезмерное преобладание этой способности над остальными способностями души. Результатом такого преобладания будет неправильная душевная организация, духовное неравновесие ученика. Следовательно, сказкам нельзя давать слишком много места в обиходе умственных детских занятий.

Кроме такого общего правила воспитателю, употребляющему сказки с педагогической целью в элементарном образовании, не мешает иметь в виду следующие три более частных замечания.

У детей, наделенных от природы сангвиническим или меланхолическим темпераментом, воображение живо и сильно и, следовательно, не требует большого развития. С такими детьми не долго следует останавливаться на сказках, и нужно поскорее переходить к более серьезным занятиям. В противном случае произойдет лишь трата времени, совершенно бесполезная и даже вредная для дитяти сангвиника или меланхолика: излишек сказочных упражнений отвлечет внимание его от серьезных занятий, сделает его рассеянным на уроках, породит мечтательность, меланхолию, короче — сказочный мир в этом случае только засорит голову дитяти и сделается для последнего помехой к знакомству с действительным миром.

Но с детьми флегматического и холерического темперамента, воображение которых нуждается в пробуждении и большем развитии, нужно подольше остановиться на сказках. Они пробудят фантазию флегматика, и будут противодействовать излишней трезвости ума, излишней рассудочности холерика.

Так как крупные переходы всегда вредны в деле воспитания, то, оставив сказки, нужно перейти с детьми сначала к таким статьям, главным достоинством которых служит внешняя занимательность, независимо от содержания, которое, конечно, должно быть вполне нравственным и, по возможности, заключать в себе полезные реальные сведения.

Но служба сказок педагогическим целям на этом не оканчивается. Года через два, через три, словом, когда увеличивается число предметов обучения и усложняются занятия ученика, можно снова возвратиться к сказкам с тою целью, чтобы занятия эти не делались утомительными. Сказки в настоящем случае могут послужить отдохновением для усталой головы ученика, развлечь и оживить его. Теперь-то можно пользоваться так называемыми историческими или богатырскими сказками, которые в это время уже понятны для ученика: он знаком, или знакомится уже с русской историей. Будет весьма полезно даже соединять исторические сказки с рассказами из русской истории, т.е. давать ученику сказку не одну, а рядом с правдивым повествованием о событии, которое послужило основанием для сказки. Напр., после рассказа о новгородской торговле можно предложить ученику сказку о Садке, богатом госте новгородском. Это полезно в том отношении, что ученик мало-помалу составит правильный взгляд на сказки. Сначала он увлекался сказ-

кой, как правдой — дети всему верят; теперь он видит, что в сказке, действительно, есть и правда, да только надобно уметь отыскать ее под сказочной оболочкой. Пользуясь содержанием исторических сказок, учитель может также возбуждать в ученике деятельность разума и чувства. Так, богатыри сказок стремятся к известным практическим целям, добрым и злым. Напр., Илья Муромец является прекрасным покорным сыном; потом он же великодушно поступает с напавшими на него разбойниками; освобождает, далее, дорогу в Киев от Соловья-разбойника. Обнаруживая характер всех этих качеств и стремлений сказочного героя пред учеником, можно заставить действовать и чувство, и мышление его.

Таким образом, исторически сказки послужат для более взрослых детей не только отдыхом и развлечением среди их учебных занятий, но и вспомогательным средством к развитию их с формальной стороны. Невежественные промахи в географии, встречающиеся в этих сказках, нимало не могут спутать и сбить с толку ученика, он имеет уже в это время порядочный запас географических сведений, особенно относительно России, и понимает притом, что в сказке не все правда. А понятия географические во всех сказках, действительно, отличаются крайним невежеством. Илья Муромец, напр., едет из Муром в Киев через грязи Смоленские; Василий Буслаев переезжает на корабле из Каспийского моря в Иордан; в сказке «о семи семионах» один из братьев осматривает с высокой башни всю землю со всеми государствами и т. п.

В конце концов заметим, что некоторые педагоги наблюдают другой порядок, переходя с детьми от сказок к более серьезным занятиям и статьям. Так, напр., в хрестоматии Басистова, в «отделе сказок» видно намерение автора расположить сказки в таком порядке, чтобы они сами как бы постепенно выводили ребенка из сказочного мира. Отдел этот начинается сказками о животных; затем идут сказки о волшебниках и волшебницах, т. е. существах, одаренных способностями, несвойственными людям; далее — сказки о богатырях, т. е. людях, одаренных способностями уже человеческими, но только в большей степени, чем одарены ими обыкновенные люди; а заканчивается этот отдел сказкой, которая показывает детям, что и богатырей уж больше нет на свете, — сказкой о том, как перевелись витязи на святой Руси. Таким образом, из «отдела сказок» дитя выходит с невольным, но естественным убеждением, что ничего того, о чем рассказывается в сказках, теперь уже нет больше.

Николай Трескин

## О ПЕРЕРАБОТКЕ СКАЗОК АНДЕРСЕНА ДЛЯ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ

*Впервые опубликовано в: Народная детская библиотека.  
1879. № 5. С. 129–132.*

В № 1 «Листка», мы высказали ту мысль, что знаменитые сказки Андерсена не годятся без переработки для детского чтения; мы обещали сделать такую переработку.

Исполняя теперь, отчасти, паше обещание, мы берем 47 «новых» сказок Андерсена и, отбросив из них 34, как неудобные, предлагаем остальные 13 — в, переработке.

Что большая часть этих сказок — не для детей это очевидно. Так, напр., в одной из сказок: «*Веселое расположение духа*» кучер погребальной колесницы толкует о смертных грехах своих покойников; в сказке: «*Это совершенно верно*» поясняется (конечно, не детям), как возникают соблазнительные сплетни; история: «*Под ивой*» толкует — не детям же! — о всей горечи несчастной любви; рассказ «*Лебединое гнездо*» — переполнен отрывочными и потому непонятными для детей историческими подробностями. Сказка: «*Всему свое место*» — жгучий и желчный рассказ о феодальном самоуправстве и возмездии за это. Сказка: «*Ночной колпак старого холостяка*» рисует всю безотрадность холостячества, а в «*Директоре кукольного театра*» повествуется, на сколько труднее управлять живыми людьми, чем куклами. Наконец, трагический рассказ «*Анна-Лизбета*» — это потрясающая повесть о каре, которой подверглась одна мать за нечадолюбие; он, положительно, не под силу детскому сердцу. — Далее, такие рассказы, как «*Домовой и мелочной торговец*» — «*Через 1000 лет*», «*Немая книга*», «*Две бабы*», «*Тернистый путь к славе*», «*Суп из колбасной палочки*» «*Свинья с деньгами*», «*Дворовый петух*» и пр. — по своей отрывочности, морали, чуждой детскому миру, или же неясным намёкам — должны быть тоже оставлены.

Затем 13 рассказов, после больших или меньших изменений, представляют собою истинные перлы в области детской изящной литературы.

1-й рассказ: *«Она никуда не годилась»*. Здесь описана горькая судьба одной женщины — прачки. В молодости женщина эта любила своего бургомистра; но по неравенству состояний брак не состоялся. Затем, она привязалась к честному ремесленнику, который разорился и безвременно умер.

Женщина до гроба борется с лишениями и страданиями, но тем не менее заботливо воспитывает сына. Одно только пятно ложится на ее доброе имя: в своем тяжком ремесле прачки, она, борясь со стужей, привыкла к водке. Ея сын узнает, что мать его добродетельна лишь в минуту ее смерти — узнает, что было преступно укорить его мать позорным именем пьяницы. Вот рассказ, в котором многое должно быть переработано и выпущены любовные и желчные подробности — и в измененном виде он представит весьма живой пример того, как опасно торопливое осуждение ближнего.

2-ой: *«Должна же быть разница»*. Кокетливый, горделивый цвет яблони и смиренный собачий цветок — одинаково послужили моделями для кисти художницы,

обитательницы пышного замка. Мораль та, что между пышным и смиренным только внешняя разница; в сущности же все в Божьем мире одинаково прекрасно — по своей внутренней красоте.

3-ий. *«Пятеро из одной шелухи»*, Судьба нескольких горошин, принявших разное назначение. Основная идея напоминает идею притчи о сеятеле. — Должна быть очень сокращена.

4-ый: *«Медный кабан»*. Рассказана судьба гениального художника, погибшего преждевременно.

Рассказ этот следует упростить и обставить объяснениями, без которых

подробности из области истории искусства останутся непонятными.

5-ый: *«Старая могильная плита»*. Здесь проводится та идея что память о Двух патриархальных супругах погибла бы бесследно, если бы художник не захотел воскресить ее силою своего творчества. Рассказ идет почти без переделок.

6-ой: *«Кое-что»*. У 5 братьев разные желания. Один сделался простым рабочим, выделяющим кирпич; желания прочих — все притязательнее и притязательнее — настолько, что последний из братьев пожелал, наконец, заняться только одной критикой чужих действий. Между тем, оказалось, что деятельность того из них, который остался простым рабочим-кирпичником — принесла

наибольшее добро. Из своего кирпича он сделал домик бедной вдове рыбака, а эта в момент своей смерти самоотверженно

спасла от гибели целое общество. Так работник, хотя косвенно, но содействовал спасению множества людей. — Должны быть выпущены многие второстепенные этюды, от чего только усилится впечатление основной идеи.

7-ой: *«Бутылочное горлышко»*. Бутылка дорогого вина была распита на сговоре молодого моряка, который вслед затем безвременно погиб и оставил, свою невесту оплакивать себя до ее глубокой старости. Между тем бутылка переживает всякие случайности, и, наконец, через много лет, ее отбитое горлышко попадает, вместо чашечки для питья, в птичью клетку, в комнатку бедной старушки... а старушка эта — бывшая невеста погибшего моряка. И вот бутылочное горлышко является немым свидетелем трогательных воспоминаний старушки о ее погибшем счастье. В рассказ должны быть устранены любовные подробности.

8-ой: *«Последний сон старого дуба»*. Бабочка-эфемеридка живет сутки, но успевает столько же насладиться жизнью, как и многовековой дуб.

В свою очередь отживает и дуб с благодарственной песней о неизреченных милостях Создателя.

9-ый: *«Девочка, наступившая на хлеб»*. Она пренебрегла своею матерью, нищей. Ее постигла за это страшная кара. Только молитвы и безпредельное раскаяние избавило ее, наконец, от мук. — Рассказ должен быть переработан смягчен и сокращен.

10-ый: *«Что ни делай старик — все хорошо»*. Супруги, по простоте, расточают богатство; но горечь этого не почувствовалась — потому что

оба согревают друг друга взаимною любовью. Любовь все освещает, всему придает радостный вид.

11-ый: *«Дева льдов»*. Прелестный обширный рассказ, в — котором с поразительным мастерством воспроизведены чудеса мира. Швейцарских ледников и пропастей. — Альпийский проводник избегнул тысячи смертей в горных трущобах, но случайно погиб в Женевском озере, на глазах своей невесты. — Необходимо исключить весь эпизод о волокитстве англичанина за невестой проводника, а также несколько подробностей о страсти девы льдов.

12-ый: *«Психея»*. Художник создает удивительную статую Психеи. Несчастливая любовь принуждает его отречься от мира. Он зарывает в землю свою статую. Мало по малу исчезает, как все на свете, и самое воспоминание о художнике. Но вот его статуя случайно открыта и неотразимо влечет своей красотой. — Все на свете

погибает кроме силы красоты. — Повесть надо совершенно переработать, лишив ее той любовной подкладки, на которой она основана.

13-ый: «*Старый колокол*». Колокол, который прозвучал в момент рождения Шиллера, пошел впоследствии на отливку статуи великого поэта. — Из этого рассказа следует опустить многие непонятные детям резкие исторические подробности о молодости Шиллера, а самый рассказ пояснить необходимыми историческими вставками.



*Павел Засодимский*

## ЗНАЧЕНИЕ ФАНТАСТИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА В ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

*Впервые опубликовано в: Педагогический листок. 1880. № 1.  
С. 20–59.*

*Значение фантастического элемента в детской литературе.  
(По поводу новых книжек: «Польские сказки». Изложенные  
по Войцицкому и Белинскому. Спб. 1880. «Фантастические сказки».  
Перев. с нем. Спб. 1880; «Волшебные сказки» Музеуса. Перев. с нем.  
Спб. 1880).*

Люди, посвящавшие себя изучению вопросов, касающихся развития подрастающих поколений, уже давно пришли к тому непреложному заключению, что чтение должно служить сильным орудием в деле развития ребенка. Уже давно, с XVIII века, стали писать книги для детей. У нас, в России, императрица Екатерина II и Н. И. Новиков являются первыми писателями, работавшими для детей. «Для детей также, как и для взрослых, литература необходима», вот — мысль, которая с тех пор уже получила право гражданства и успела твердо укрепиться в сознании всех образованных людей.

Взгляды на детскую литературу, как, вообще, на всякий живой предмет, чрезвычайно разнообразны, а некоторые из них почти диаметрально противоположны друг другу. Такое разнообразие во взглядах на детскую литературу еще недавно явно существовавшее, да кое-где существующее еще и по сие время, заставляет нас думать, что не будет излишним, если мы с своей стороны выскажем еще несколько суждений по вопросу о детской литературе, несколько мыслей, являющихся отчасти обобщениями а priori, отчасти же плодом опыта и наблюдений живой действительности и, наконец, просто отголоском наших личных воспоминаний из раннего детства... Что детская литература должна существовать, что она, положительно, необходима, в том, как уже сказано, все люди мало-мальски образованные согласны и спорить об этом не будут.

Но лишь зайдет речь о том какова же должна быть эта литература, каково должно быть ее значение, ее конечные цели и стремления, тогда тотчас же может обнаружиться сильное разногласие, и мнений по интересующему нас вопросу, как раз, получится столько же, сколько человек принимает участие в беседе. Конечно, нет нужды, да и нет возможности перебрать всех оттенков мнений, высказываемых по вопросу о назначении детской литературы. Мы сделаем все, что можно и что должно, если укажем здесь на несколько таких мнений, которые могут быть сочтены более общими и более распространенными и к которым, более или менее близко, примыкают все остальные мнение с их различными вариациями и оттенками.

Одни, например, говорят, что чтение необходимо для детей, просто, как *препровождение времени*. Но будет ли это препровождение времени соединено с пользой, или только с забавой, или же с тем и другим вместе — для этих добрых людей совершенно безразлично.

Не нужно, конечно, особенной проницательности для того, чтобы сообразить: в чем тут вся суть... Нужно, чтобы дети *«занялись чем-нибудь»*, чтобы перестали бегать, шуметь, возиться и не мешали взрослым людям делать их великие дела. Читатель сам легко поймет, что рассуждающие таким образом низводят очень низко значение литературы вообще, суживают ее цели до микроскопических размеров и наивно смотрят на нее, как на одну из принадлежностей домашнего обихода. Таким образом, *«книжка, особенно с картинками»* становится на одну доску с метелкой, щеткой и тому подобными предметами, очень полезными и необходимыми для того, чтобы держать комнаты в чистоте и опрятности.

Вторая категория мнений — посерьезнее.

Прежде всего и главным образом детская книжка должна быть интересна, забавна, должна приковывать к себе внимание ребенка, рассуждают иные воспитатели. Такая книжка нужна для того, *чтобы приохотить ребенка к чтению*.

В этом случае, следовательно, от литературы требуют и ожидают *только* того, чтобы она приучала ребенка к чтению, сделала его прилежным. Следовательно, по мнению таких воспитателей, выходит, что если после того ребенок, поступив в школу, будет получать из всех учебных предметов по 5 баллов (при пятибалльной системе отметок), то и цель детской литературы будет вполне достигнута... Приучить ребенка к книге, приохотить к чтению — конечно, дело важное. Но при этом было бы совершенно неразумно, и даже — как увидит читатель — опасно смотреть на литературу *только*, как

на механическое средство для приучение ребенка к чтению. Такой путь приучение к книге — путь очень скользкий, и, раз вступив на него и оставаясь последовательным, можно дойти по нем до величайшего абсурда. «Главное, нужно, чтобы книжка была занимательна!» повторяют эти рьяные воспитатели. Следовательно, по их мнению, книга для детского чтение должна быть интересна «во чтобы то ни стало». Им решительно все равно: дает ли книга какие-нибудь полезные сведения, наполнена ли чертовщиной, всякими страхами и ужасами или, наконец, положительно, книжонка вредная, по существу. Оставаясь последовательными, они, в видах достижение своей цели, не должны давать детям книгу полезную, но, по их мнению, мало занимательную; с другой же стороны они должны посмотреть сквозь пальцы на пошленькую книжонку, если только она составлена завлекательно и может обещать детям интересное чтение. Не слишком ли дорогою ценой будет таким образом куплена ребенком любовь к чтению?

На это нам, быть может, возразят, что мы впадаем в крайность, утрируем... На такое обвинение ответим примером. Положим, перед нами лежат десять детских книжек: пять из них написаны добросовестно, могут доставить чтение полезное, но, по мнению воспитателя, мало интересное; другие же пять книжек составлены завлекательно, полны всевозможных чудесных приключений, могут сильно заинтересовать маленького читателя, но, по существу, очень двусмысленного содержания. Воображаемый наш воспитатель, ищущий в книге лишь средства приохотить дитя к чтению, неминуемо должен взять для своих питомцев пять последних книжек, если он желает оставаться последовательным. «Вы берете исключительный случай!» опять возразят нам. «Разве нельзя найти такую книгу, которая соединяла бы в себе и полезное, и приятное, а поэтому могла бы и заохотить ребенка к чтению, и в то же самое время дать хорошую, здоровую пищу для ума и чувства»? Конечно, такую книгу можно найти, хотя не очень-то легко отыскать ее из-под вороха всякой дряни и мусора, которыми завален детский книжный рынок. Но мы опять-таки обращаемся к своему примеру и настойчиво просим читателя представить себе такой — впрочем, совершенно возможный — случай, когда книги, соединяющей в себе приятное с полезным, под руками не имеется, но есть только наши воображаемые десять книг. И повторяем, что воспитатель должен будет остановить свой выбор на красивых, забавных книжках и не придавать особенного значение сущности их... Мы привели эту притчу именно для того, чтобы нагляднее указать, как

неблагоразумно и опасно считать литературу *только* за средство для приучения ребят к чтению, и как жестоко ошибаются те, которые так суживают и так свысока третируют цель и назначение детской литературы.

Нам могут сделать еще такого рода вопрос: «Если так трудно, как вы говорите, найти для детей порядочную книгу, то что же в таком случае делать?» Вопрос — совершенно основательный и требует столь же основательного, глубоко обдуманного ответа, которого, к сожалению, мы здесь не можем дать, не уклонившись слишком далеко в сторону от настоящей цели нашей статьи. Говоря же вкратце, мы можем смело рекомендовать читателю, за неимением хороших, специально детских книг, давать детям те же самые книги, которые он сам читает, причем, конечно, подразумевается, что он делает для себя выбор лучших произведений из русской и иностранной литературы<sup>1</sup>. Так, читатель без опасения может дать детям, конечно, в известном выборе, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Кольцова, Никитина, Некрасова, Гончарова («Фрегат Паллада»), Григоровича, Тургенева, кое-кто из Помяловского и Левитова, Толстого и др.<sup>2</sup>; из иностранных можно дать детям, например: Купера, Вальтер-Скотта, Бичер-Стоу, Брет-Гарта, Эркмана-Шатриана, даже Евгения Сю («Морские сцены»), Диккенса, Коррер-Белль, Шиллера, Маколея и др. Затем еще остается к услугам читателя целый ряд популярно написанных исторических сочинений и путешествий — книг интересных и крайне любимых детьми. Вообще же, английских романистов читатель не должен бояться... Верьте и будьте спокойны, читатель: из всех этих романов и новелл ребенок вынесет меньше тягостных и дурных впечатлений, чем может он получить их непосредственно из окружающей его жизни — дома, на улице и в школе... Читатель знает, как не эстетично, как гнусно и безнравственно складывается иногда наша обыденная, будничная жизнь и как мало на долю ее выпадает светлых, праздничных дней, скрашивающих и разнообразящих ее безысходно серым цветом.

Теперь выступает третья категория мнений — очень почтенных, но односторонних.

---

<sup>1</sup>Мы всегда держались того мнения, что было бы очень хорошо давать детям в извлечении более или менее всех лучших русских и иностранных писателей.

<sup>2</sup>Для четырнадцати авторов (Кольцов, Крылов, Пушкин, Жуковский, Лермонтов, Гоголь, Майков, Мей, Никитин, Шевченко, Тургенев, Григорович, Л. Толстой, Погосский) мотивированный выбор чтения сделан в книге Виктора Острогорского «Русские писатели как воспитательно-образовательный материал для занятий с детьми». СПб. 1879 г.

—*Книга должна давать ребенку знания, говорят некоторые. Она должна давать полезное сведение по всем отраслям и, вообще, знакомить ребенка с окружающим его миром.*

Здесь держатся того убеждения, что детская литература должна знакомить ребенка в популярных очерках с силами и явлениями природы, со зверями, птицами и т. д., с человеком, живущим в различных странах земного шара, должна знакомить с его историей, с его прошлым и проч., причем в эту же программу входит ознакомление с механическими и техническими производствами, с некоторыми родами промышленности, с искусствами и ремеслами (с цветоводством, садоводством и т. п.). Даже рассказы и повести должны быть приурочены так, чтобы дети из чтения их непременно выносили какие-нибудь *полезные, практические сведения*. Педагоги, предъявляющие к детской литературе такие практические требования, могут назваться *реалистами* — в отличие от *гуманистов*, речь о которых еще впереди. Реалисты распадаются на две партии: патриотов и космополитов. Первые утверждают, что ребенка прежде всего должно вводить в круг родственных и близких для него явлений, что главным образом должно его знакомить с родиной, с родным народом; вторые желали бы ознакомить своих питомцев и с полярными морями, и с тропическими странами, и с Везувием, и с городом Нью-Йорком (в С. Америке), и с африканской Сахарой, и с индийскими слонами — словом, желали бы показать ребенку весь мир, как на ладони. Эти педагоги-реалисты ставят детскую литературу, конечно, несравненно выше, чем воспитатели двух первых категорий; они назначают ей весьма почетную задачу — развитие ума. Но они все-таки же смотрят односторонне, видя в этой литературе только средство, орудие — прекрасное и почетное, но все-таки—орудие. Детская литература в их руках становится служительницей школы и не только служит на побегушках у учебников, но нередко даже показывает намерение «перебегать» им дорогу.

Пользы и важного значение такой «*служебной*» роли детской литературы особенно невозможно было отрицать в то, сравнительно, еще недавнее время, когда учебники, не приуроченные к детским понятиям, представляли собой какие-то жалкие, бестолковые склады сухих, мертвых материалов, совсем иногда непригодных для употребления. Ныне об учебниках того же сказать нельзя: факты в них являются уже в более связном, толковом и популярном изложении, приурочивающемся к пониманию ребенка и тем дающем ему возможность без мучительных усилий усваивать те или дру-

гие научные истины. Конечно, в этом отношении желательно еще много, но тем не менее в наше время учебники и учебные пособия делают свое дело. Оценить по достоинству эти новые учебники и учебные пособия всего удобнее путем, так сказать, историческим. Оценить их могут только те несчастные, которые — как мы, например — вынесли на своих плечах непосильную тяжесть системы преподавания «доброе, старое времени!» Не учебники были в ту эпоху, но какие-то чудовища, иссушавшие детский мозг и безжалостно пожиравшие нежные детские силы, еще находившиеся в поре своего первого расцвета. Не учебные пособия были у нас тогда, но учебные «помехи» и «затруднения», и во главе этих пособий, на первом плане, на самом видном месте, во всем своем отвратительном и наглом величии стоял пучок розог... Мир никогда досконально, воочию не узнает того, как мы мучились, желая овладеть тем или другим учебным предметом, недавшимся нам, как наши бедные головы болели и трещали под непосильной тяжестью, напрасно болела, напрасно надрывалась грудь, напрасно наши горячие слезы кропили серые страницы учебников. Эти серые страницы, как египетские мумии, не выдавали нам своих тайн и кабалистического смысла пестривших их знаков. Горьки были наши детские слезы...

Повторяем: детская литература совершенно свободно может отказаться от своего специально служебного назначения, навязываемого ей с доброю целью некоторою частью наших воспитателей. При этом должно заметить, что никто не отрицает необходимости и пользы того, чтобы в детской литературе также, как и в общей литературе — для взрослых, был отведен отдел популярных статей и трактатов по всем отраслям знания... Но, повторяем, делать из детской литературы *лишь средство*, не признавать за нею *самостоятельного* значения — нет оснований.

Четвертая категория, к которой мы причисляем и себя, может быть названа категорией «гуманистов». Мы признаем за детской литературой совершенно самостоятельное значение, помимо значения ее частного, общеобразовательного, которое, как сказано, ставит ее то выше, то ниже учебника, но все-таки оставляет ее в качестве помощницы и в положении зависимом. Детская литература, по нашему крайнему убеждению, для того, чтобы достойным образом исполнять свое назначение, должна необходимо уже в самой себе носить свое *raison d'être*, должна иметь смысл и значение «сама по себе», должна ставить себе задачи и преследовать свои собственные, только ей присущие цели, вполне независимые, по существу, от целей учебников и научной литературы вообще. Мы скажем так.

Если литература развивает в детях добрые инстинкты и если в то же время заглушает в них инстинкты злые, противообщественные, полученные ими в наследство от мертвецов — от длинного ряда предков, или позаимствованные из живой среды, окружавшей их в ранний период их жизни; если литература, развив в детях добрые инстинкты, поднимает их до высоты и силы чувств, если она развивает в них сострадание, сочувствие и любовь к людям — любовь сильную, живую, деятельную, готовую пожертвовать всем «за други своя», если она развивает и укрепляет в детях — до силы сознания — любовь к правде и справедливости, ко всему высокому, чистому и благородному, благодаря чему род людской еще не обратился окончательно в стаю хищных, лютых зверей, пожирающих друг друга; если она намечает еще перед ребенком для будущей, ожидающей его жизни прекрасный идеал; если под ее влиянием юноша вступает в жизнь с душою, открытою для всего хорошего, с душою здоровою, сильною и бодрою, с желаниями и стремлениями чистыми, высокими, благородными — тогда, поистине можно сказать, литература достойно исполнила свое святое назначение.

Эта мысль — не новая, но она часто забывалась... Люди уже давно напали на мысль — чтением развивать в детях гуманные чувства, действовать на их духовную сторону. Но на первых порах, как почти всегда бывает, эта мысль, при практическом ее приложении, попала на окольный и неверный путь. Дело не достигло той цели, какую предназначила себе мысль. Наши «гуманисты» — авторы детских книжек — разом же ступили на ложный путь и выработали такой метод действия, который на практике оказывался неудовлетворительным. Они начали, как по рецепту, составлять для детей страшно однообразные книжки, с повестями и рассказами, проникнутыми сухой, безжизненной моралью и сентенциями, в роде тех, какие прежде встречались на прописях. В произведениях этих почтенных авторов добродетель, как водится, всегда торжествовала и награждалась, а порок проваливался и наказывался по заслугам. В числе этих добродетелей на первом плане, обыкновенно, фигурировали — послушание и почтение к старшим, благоприличное поведение, бережливость, чистоплотность, умеренность в пище и питье и т. д.; гнусными же пороками являлись качества, противоположные вышесказанным, как-то: непослушание и неуважение, шаловливость, небрежное обращение с платьем и вещами, обжорство и т. д. Послушный и чистоплотный Вася изображался в самом радужном свете, зато неряшливый и непочтительный Ваня описывался самыми черными красками. И все это выходило ходульно и

плоско... Очень может быть, что авторы писали свои «Подарки добрым детям», «Часы досуга», «Рассказы у камина доброй бабушки» и т. п. по воспоминаниям из раннего детства, но они, по-видимому, у нянюшек заимствовали и свой литературный метод.

А дело, как известно, в детской происходило так:

Ребенок чем-нибудь расстроен, раздражен, взволнован. Он уложен в кроватку спать, но не спит, плачет и мешает спать няне. Няня поунивает, помолчит и начинает, наконец, свой страшный рассказ.

— Вот один маленький мальчик так же этак... как спать уложат, он сейчас плакать! — зевая и полусонным голосом бормочет старуха. Вот он и плачет, плачет... Вдруг в комнату, откуда ни возьмись, шасть волк — этакое-то страшный, кудластый, лохматый... и батюшки свету! прямо к мальчику... Хам! Схватил его зубами за шиворот — вон, как кошка котят таскает — и уволок в лес. Так с тех пор мальчик и жил в лесу с волчатами...

Или, например, ребенок взволнован тем, что старшие не берут его с собой в гости. Ребенок плачет, и нянька опять начинает:

— Вот была одна девочка... так та никогда не плакала, не капризничала, когда ее не брали в гости... Зато маменька и папенька всегда привозили ей много-много конфет, самых лучших...

Выводы из этих рассказов напрашиваются сами собой... Вот точно таким же методом руководствовались и авторы детских книжек. Они писали все в таком же роде о добрых и злых детях, о жалостливых и жестоких, о милых и ласковых и о дерзких грубиянах... Мы, например, помним рассказ об одном дрянном мальчике, который при всяком удобном случае любил помучить животных. Однажды он вздумал хлестнуть проходившую мимо лошадь, та лягнула его и сшибла с ног. На раскрашенной картинке был изображен мальчуган, лежащий навзничь, на земле, широко раскрыв рот, а лошадь мчалась вдали... Подпись под картинкой: «Ему было очень больно, он плакал и кричал»... Дети не любили этих книжек и с радостью бросали их ради какой-нибудь иногда самой пустынькой — сказочки<sup>3</sup> или же украдкой овладевали той книгой, которую читали взрослые. Намерение авторов этих детских книжек были добрые, но добрые цели не достигались. Ошибка этих писателей заключалась в том, что они хотели голой, сухой моралью поучать детей... Сентенции испокон веков еще никого не научили и не сделали лучше...

---

<sup>3</sup> Например, такие пустые сказочки, как «Три желания», «О Синей Бороде», «О Красной Шапочке» и др. в том же роде читались с любовью, запоём.



За людьми, искренне заботившимися доставить хорошее чтение, потянулся по тому же пути длинный хвост шарлатанов-аферистов. Так всегда было, так бывает и теперь. Придумывались роскошные обложки, обертки, заманчивые заглавия, размалеванные картинки, а под всем этим великолепием скрывалось самое ничтожное содержание, мусор и труха. Под такими шарлатанскими проделками, расходящимися лишь благодаря невежеству, и по сие время еще ломаются витрины некоторых из наших книжных магазинов.

Фантазия — одна из великих, могущественных способностей духовной организации человека. При ее посредстве человек может живо представить себе то, что недоступно и невозможно для восприятия его внешних чувств, обычных проводников до его сознания тех образов и представлений, какие получаются из окружающего его мира. С помощью этой способности человек может въявь представить себе то, чего в действительности нет, чего даже и быть не может, или что может явиться завтра же или через тысячи лет. Александр Гумбольдт в своем «Космосе» называет ее «громадной, творящей силой», которой человечество в своем развитии обязано более, нежели думают некоторые. Неоцененные и неисчислимы услуги уже оказала она в области и науки, и искусства. Без помощи этой силы Шекспир не создал бы Гамлета, Макбета и Лира, Данте — свою Божественную Комедию, Гете — своего Фауста. Гумбольдт говорит, что Ньютон без помощи фантазии никогда не открыл бы закона тяготения. Мы также думаем, что без содействия этой же силы Вильгельму Теллю не удалось бы обобщить свои чувства к родине и любовь к свободе так широко, как он обобщил их, за что имя его и пережило в памяти потомства бесцветные имена множества князей и правителей.

Фантазия, как уже известно и доказано, бывает развита в ребенке чрезвычайно сильно. Чем объясняется в ребенке такое сильное ее развитие — вопрос спорный, и не нам в краткой журнальной статье претендовать на его разрешение, хотя с другой стороны мы, конечно, имеем право высказать свои мысли и догадки, так как этот вопрос все-таки косвенно касается предмета нашей статьи...

Ум дитяти еще настолько бессилен, немощен и неразвит, что бывает не в состоянии дать себе ни в чем ясного, определенного отчета. Две его способности — способность «различения» и «сравнения» или способность критики и анализа — находятся в ту пору, положительно, можно сказать, в зачаточном состоянии. Вследствие того получается сбивчивость и неясность представлений, непони-

мание и полнейшая неуверенность. Ребенок в самый ранний период своего существования постоянно должен смешивать грезы с действительностью и жить, как бы, в полусне: грезы для него служат продолжением действительности, продолжением жизни наяву, и, наоборот, действительность мерещится ему, как сон. Окружающий его мир, весь, сверху до низу, представляется ему хаосом, и ребенок бессилён распутаться и ориентироваться в этом хаосе. Мир для ребенка задернут как бы дымкой или туманом, и этот туман становится все гуще и гуще, чем более и более приближаемся мы к первым дням жизни ребенка. В первые дни дитя, без сомнения, видит только глаза матери или мамы и грудь, которая его кормит, но затем, далее, все для него затянуто мглой и покрыто непроницаемой тайной. Способность памяти в ребенке так же долго находится в состоянии зачаточном. Дитяти в ту пору еще нечего помнить, не о чем вспоминать, а способность, как известно, как и всякий, вообще, орган, не в состоянии развиваться, если не употребляется в дело... Мало-помалу перед ребенком начинают отрывочно выступать, то красный сарафан кормилицы, то блестящая игрушка, то яркий, золотистый солнечный луч, одинаково радующий ребенка в хижине и во дворце. Но туману еще много, и он не скоро рассеется. В то время, когда ребенок еще не думает, не умеет думать и ничего не понимает, он уже старается «угадать», «вообразить» себе то или другое. Так, естественным ходом, в силу условий самого раннего периода существования, в человеке вызывается на божий свет и начинает вырабатываться, развиваться первая духовная способность «воображения», «фантазии». Прежде всего в ней ребенок нуждается, ею первою начинает пользоваться, и в первые семь лет жизни развивает ее иногда до громадных размеров. Он ею живет во сне и наяву... Не вдруг, медленно раззевается вокруг него туман, заволакивающий все его окружающее. Ежедневно, ежечасно, с большими усилиями старается проникнуть он сквозь этот туман и узнать, что там. Когда же ребенок не может проникнуть сквозь туман, (что случается, понимается, чаще всего), тогда он тотчас же невольно начинает представлять себе: что бы там могло быть... И вот эти неведомые пространства населяются прихотливыми созданиями детской фантазии; создание эти могут быть то мрачны и уродливы, то светлы и грациозны, смотря по условиям места, времени и по настроению ребенка. Таким образом, эти-то усилия проникнуть в неизвестное и способствуют развитию фантазии, а фантазия в свою очередь обуславливает необходимость со стороны дитяти повторять все чаще и чаще свои попытки. Вследствие этого

ребенок в первые годы должен жить не столько в реальном, действительном мире, сколько в мире фантастическом, в мире своих собственных вымыслов.

Не приходилось ли вам, читатель, когда-нибудь поздно вечером или ночью бродить в тумане по незнакомой местности? Все вокруг вас задегивалось серою мглой; в трех-четырех шагах ничего не видно, ни неба, ни земли. Вы не знаете: где вы и куда идете, и неуверенно ступаете вперед. Вы, точно, блуждаете в каком-то заколдованном царстве, в царстве призраков, оборотней и привидений. Напрасно всматриваетесь вы вокруг себя пристально, напряженно, желая угадать: что находится за этой дымкой тумана. Воображение разыгрывается; оно сильно возбуждено. То вам кажется, что на вас медведь идет, поднявшись на задние ланы, то видятся груды выкорченных пней, то мерещится толпа народа, стоящая неподвижно и безмолвно, то вы, как будто, приближаетесь к какому-то большому селенью... Лохматая сосенка стала медведем, кустарник показался толпой народа, копны сена превратились в кучи вывороченных пней, а высокий, противоположный берег оврага вы приняли за большое селенье... Такое же царство призраков представляет лес темной, ночной порой. Ваш глаз не видит ясных, определенных очертаний, не может уловить никаких красок и оттенков. Вы не слышите никаких резких, явственных звуков. Вокруг вас — тьма, но вы слышите, как в этой тьме расходится какой-то скрадывающийся шорох, что-то движется неясно и неуловимо, словно вокруг вас совершается какое-то великое, священное таинство. Эта тьма наполняется для вас образами; целые картины и сцены проходят перед вашими умственными глазами...

В подобном же положении или, по крайней мере, похожем на это, должен находиться и ребенок в первые годы жизни. Несомненно, что ребенок в эту пору получает более впечатлений от образов, вымышленных его собственной фантазией, нежели от предметов внешнего, реального мира. Но эти впечатления также, как и самые образы, вызвавшие их, призрачны, легки и неуловимы, глубоких и резко очерченных воспоминаний оставлять по себе не могут, а, следовательно, не в состоянии давать памяти много работы. Этим-то можно объяснить и то обстоятельство, что память в ребенке так долго и так полно бездействует, как будто бы ее и не было вовсе. Каждый из нас по собственному опыту может убедиться, что память развивается позже и медленнее остальных духовных способностей. Впервые она проявляется лишь не прежде, как жизнь ребенка каким-нибудь особенным событием выбивается

из обычной колеи. Тут, словно, по мановенью волшебного жезла, мрак рассеивается, но только на одно мгновение... Иной скажет: «Я начал помнить себя с трех лет! Когда горел наш дом, мне было три года... А я помню этот пожар». Совершенно верно. Пожар он помнит, но за пожаром снова наступает полное забвение. И тянется, эта темная пора, без образов и воспоминаний, до того момента, пока опять что-нибудь не вышибет из колеи серую, однообразную жизнь. Между первым и вторым моментом проявление памяти может лежать довольно долгий промежуток времени, с год, например, и даже более. Способность памяти проявляется скачками, порывами. Поэтому-то никто не может связно и толково, без больших пробелов, вызвать в своих воспоминаниях годы детства. Там будут яркие, цветущие образы, отдельные, отрывочные сцены, картинки без значения, загадки без разгадок, какие-то шифрованные изречения, ключ к которым уже давным-давно потерян, и все это будет представляться какою-то путаницей, пестрым хаосом, не то мечтой, не то осколками действительности совсем из другого мира... Когда ребенок уже рассуждает и сильно фантазирует, в то время память его еще бездействует... А воображение, между тем, работает, и на этой работе страшно развивает свои силы. Фантазия в ребенке развивается иногда до чудовищных, невероятных размеров.

Ребенок силою своей фантазии одушевляет даже предметы неодоушевленные. Обыкновенный деревянный стул становится для него лошадью. Он накидывает на этого импровизированного коня веревку, взбирается на него, садится верхом и скачет по горам, по долам и лесам — и, Бог весть, куда только не заносит его мечта, в каких только странах не побывает он, сидя на своем стуле. Ребенок в своей любимой кукле видит живое существо; кормит, поит ее, укладывает вместе с собой спать и горько плачет, если другие грубо поступают с его куклой, стучая, например, ее по голове или бросая ее на пол. Темная, пустая комната для детей полна призраков, неведомых и невиданных существ, которые входящего в комнату хватают за ноги, за голову и обдают своим холодным дыханием... Бог создал мир в семь дней; ребенок же в пять минут может создать свой мир. Дети, это — отчаянные мечтатели. Они не только создают воздушные замки, но и с полнейшим удобством живут в них в своем воображении естественно, что дети должны любить сказки, потому что все фантастическое, чудесное — родственно, близко и понятно им. Они сами — первые сказочники, и сами постоянно живут в волшебном мире сказок. Сказки для детей — вовсе не выдумка, но быль. Народ в ранний период своего существования точно

так же смотрит на сказки, которые сам же слагает. Только верую в сказку, верую в чудесную действительность ее можно объяснить себе то упорное, напряженное внимание, с которым иногда ребенок слушает сказку старой няни и целый вечер не устает слушать о Ветре-Ветровиче, о Жар-Птице и Золотых яблоках и т. п. Дети восприимчивы, и все впечатления, получаемые ими, живы и ярки, как картины, только что написанные масляными красками...

Вспомните, читатель, с каким страхом и трепетом следили мы с вами за похождениями в лесу *«Мальчика с пальчик»*, как замирали мы от ужаса, переходя от надежды к отчаянию за участь ребят, когда *«Мальчик с пальчик»* спасал своих маленьких братьев от свирепого, кровожадного Людоеда. Мы вместе с женой *Синей Бороды* поднимались по лестнице башни и с тоской допрашивали сестрицу: «Не видно ли кого-нибудь на дороге?». — «Пыль видна на дороге!» ответили с верха башни. Мы просияли. «Уж не братья ли это едут?» продолжаем мы спрашивать вместе с несчастной. «Нет, сестрица! Это — стадо баранов!» Сердце наше болезненно сжимается. «Сойдешь ли ты, несчастная?» гремит снизу голос *Синей-Бороды*. Конец пришел... Но, нет! братья — молодцы! Они прискакали еще вовремя... С удовольствием и изумлением следили мы за подвигами доброго, находчивого *«Кота в сапогах»*; мы искренне радовались за эту милую, прекрасную девушку, *Сандрильону*, когда она на балу потеряла свой маленький башмачок и тем дала возможность царскому сыну найти себя, на зло ее дрянным сестрам и злой мачехе; мы искренно ненавидели этого ехидного, противного графа, который старался погубить *Фридолина*... Под влиянием этих сказок в ребенке нечувствительно, незаметно для него самого, добрые инстинкты развивались в чувство: ребенок жалел несчастного, сочувствовал доброму делу, к злодеям же и темным чудовищам — вроде злых колдунов и Змеев-Горынычей чувствовал ненависть и отвращение, и уже мысленно стремился подражать всем благородным, доблестным подвигам, хотел бороться с злыми силами, спасать погибающих, освобождать из неволи угнетенных и т. д.

Мы уже сказали, что назначение детской литературы — будить и развивать в детях добрые, гуманные чувства. Мы говорили также, что некоторые благонамеренные люди давно уже ухватились за эту мысль, но потерпели неудачу. Они хотели действовать непосредственно на рассудок ребенка, хотели научить его примерами из обыденной жизни детской и сухими, голыми сентенциями. Они писали книжки для детей по шаблону, книжки чрезвычайно однообразные, скучные, с сухими, практическими повестями и

рассказами о «Ване» и «Маше». Вот в чем была их ошибка. Благонмеренность, чинность и сухая мораль, щедро оснащавшие детские книжки, убивали в корне всякий эффект. Книжки не производили впечатления, и цель авторов их оставалась не достигнутой. В то же время мы видим, что сказки (по крайней мере, некоторые из них), неизвестно — для кого и для чего писавшиеся, делали то, чего не могли сделать книжки, специально и с самой доброю целью, сочинявшиеся для детей. Так и следовало быть... Каждый желающий довести чтобы то ни было до сознания ребенка необходимо должен прежде всего подействовать на его фантазию, как наиболее развитую его духовную способность, а фантазия уже сделает живо свое дело и все, воспринятое ею, передаст немедленно, куда следует. Фантазия — это живой и самый верный проводник в ребенке идей и чувств. Кто желает влиять на ребенка, тот должен иметь дело с его фантазией.

Для нравственного развития ребенка воображение может оказать много и хороших и дурных услуг, смотря уже по тому, как и чем будет настраиваться воображение. Белинский говорит, что вредно развивать в ребенке фантазию... Это совершенно верно. Развивать ее искусственно и не нужно, ибо самые условия детского существования, как мы уже сказали, достаточно сильно развивают ее. Ею остается только пользоваться... Фантазия — доступ во внутренний мир ребенка, и злоупотреблять этим доступом, конечно, грешно и стыдно. Развивать фантазию ради ее самой, давать детям всякие необыкновенные вымыслы только ради потехи их воображения, конечно, вредно, как и всякие искусственные меры и крайности. А между тем существует не мало таких фантастических книжек, все назначение которых, по-видимому, заключается только в том, чтобы развить воображение дитяти до болезненности, до пагубных крайностей. Мы всей душой отвращаемся от этих злых, вздорных и глупых книжонок, которые под свою изящную, позолоченную обложку скрывают яд... *Но пользоваться фантазией для развития в ребенке добрых чувств не только можно, но должно и совершенно законно, ибо сама природа, создав и выработав в ребенке способность воображение предпочтительно перед всеми другими его способностями, прямо указывает на то, что ею должно пользоваться.* Нет ни одной такой способности, которая в течение человеческой жизни не играла бы первой роли в мире духовного развития человека. Чуткость к восприятию впечатлений из внешнего мира, воображение и память в юноше стоят на первом плане. Заучить страницу головоломной прозы или несколько страниц стихов в ту пору ничего

не стоит; фантазия также работает живо. У человека в возрасте зрелом впечатлительность значительно теряет свою гибкость, фантазия не столь пылка и страстна, особенно же заметно иногда слабеет память. Зато в это время у человека выступает во всеоружии, в полной силе способность обобщающая, анализ становится глубже, критика — отчетливее, беспощаднее, и творческая сила является в апогее своего могущества. В эту эпоху своего развития человек достигает высшего момента самосознания и сознания всего его окружающего.

Сведя вкратце все, сказанное нами, мы должны прийти к следующему заключению:

- 1) *Фантастический элемент имеет чрезвычайно важное значение в детской литературе;*
- 2) *Им должно пользоваться для достижение высших воспитательных целей.*

Теперь посмотрим: как и насколько успешно пользовались этим элементом для развития в детях нравственных чувств. Тут прежде всего мы находим, что действительную литературу, которою дети пользовались и наслаждались, до сего времени, почти без исключения, можно считать только сказки.

Сказки, как известно, бывают двух родов: *народные*, как произведение народного духа, и *литературные*, т. е. литературного происхождения, так как ныне и народные сказки, получившие уже в литературе все права гражданства, могут быть также названы литературными.

Народные сказки, неизвестно, когда и кем сложенные, блещут яркими красками и образами, которые могут быть созданы юношескою фантазией народа лишь в ту отдаленную эпоху веры и суеверий, когда природа с ее благодетельными и грозными явлениями бывает еще для человека полна таинственности и непостижимых загадок. Некоторые из этих сказок высоко поэтичны и могут производить на детей доброе влияние; некоторые же по своему внутреннему содержанию очень двусмысленны, а иные положительно внушают отвращение... Последнего рода сказки могут, например, внушать детям поклонение перед грубой, физической силой, могут развивать в них пустую мечтательность и беспечность... Что, кроме отвращения, например, могут внушать нам такие герои, которые «за руку хватать — рука прочь, за ногу хватать — нога прочь» и т. д.

В иных сказках человек является жалкою игрушкой случая, существом беспомощным, беззащитным против стихийных сил и против полчищ злых духов. Возьмем хоть, например, русские сказки, уже ранее охарактеризованные нами...

Там Баба-Яга жарит детей в печи; там Змей-Горыныч умерщвляет людей одним своим взглядом; там мертвецы встают по ночам из могил и поминутно вмешиваются в дела живых людей; там — домовые, лесные, водяные, гуменные, банные и тьма всяких оборотней. И человек совершенно предоставлен во власть этой нечисти. Он не может шагу ступить без того, чтобы не натолкнуться на какую-нибудь бесовскую проделку. Хорошо еще, если русалки его только пощекочут, а то легко в таком неблагоустроенном мире и вовсе пропасть. Под ногами, то и знай, разверзаются бездны кромешные, лес мгновенно становится огнем, гремит гром и со всех сторон раздается неистовое шипенье, свист, хохот, грохот. Там за человеком погоня летит; там приютилась избушка на курьих ножках; там на дороге людоед торчит и страшно скалит свои зубы, или вдруг восстает великан ни больше ни меньше, как выше леса стоячего, выше облака ходячего... Ну, что же поделает со всей этой бесовщиной слабый, запуганный человек? Понятно, что он может искать помощи только на стороне — у высших сил, готовых порадеть ему. Человек уже не верит в свои собственные силы... Но для того, чтобы воспользоваться помощью этих высших сил человек должен пресмыкаться, лукавить, должен знать, например, к какому старику обратиться, когда и как; чью собаку задобрить; как провести какую-нибудь ехидину, в роде Бабы-Яги. Глядя на Иванушку-дурачка, на этот любимый тип многих наших сказок, можно легко заметить, до каких громадных размеров развил в себе «сказочный человек» пронырство и лукавство. Наш Иванушка, по-видимому, всегда прост, беспечен, и даже придурковат, но лукавства в нем — бездна. Наш Иванушка в воде не тонет, в огне не горит, где ему лукавство не помогает, там он во всем уже полагается или на какое-нибудь колечко, или на Конька-Горбунка, и вечно выезжает на чужой шее здоров и невредим... И благо человеку, если он упадет на Конька-Горбунка, на какую-нибудь добрую волшебницу или на старика, враждующего уже не одну сотню лет с кровожадной Костяной Ногой...

Наслушавшись таких сказок, ребенок готовится вступать в мир уже с предубеждением к нему, с неуверенностью в свои собственные силы, с затаенной боязнью повстречаться на каждом шагу с чудовищем «стозевным и лающим» и с тяжелым сознанием на всю



жизнь оставаться в каком-то безвыходном лабиринте. Таково гнетущее впечатление, производимое на ребенка известным циклом наших сказок.

Иные же сказки представляют вещи соблазнительные и не для детского воображения, как, например, шапка-невидимка, ковер-самолет, семимильные сапоги, волшебная палочка и проч. Понятно, что ребенку хотелось бы иметь шапку-невидимку и волшебную палочку, по мановению которой является все, что угодно, и скатерть-самобранку, которая сама покрывается всевозможными соблазнительными яствами и питиями и мн. др. дива. И вот в душу ребенка западает семечко беспечности, бесплодное ожидание манны небесной, развивается пустая мечтательность и российская уверенность, что все сделается само собой. Во многих из нас, читатель, называется эта склонность полагаться в жизни во всем на какую-то волшебную палочку или на своего рода Конька-Горбунка. «Авось» взрослого человека — ничто иное, в сущности, как слепая, мечтательная вера ребенка в ковер-самолет и в волшебную палочку. Человек привык думать, что «все сделается само собой», по шучьему веленью, по его прошенью; не видит даже иной раз, откуда бы могло прийти это спасенье, и все-таки ни для себя, ни для других не пошевелит и пальцем... «Не учился я, как следует, да и проклятая славянская распушенность берет свое!» говорит один из тургеневских героев. «Пока мечтаешь о работе, так и *паришь орлом*: землю, кажется, сдвинул бы с места — а *в исполнении* тотчас *ослабеешь и устаешь*»... (Соч. И. Тургенева. Т. IV, стр. 12).

В польских народных сказках мы также видим много родственного с нашими русскими сказками. В них также человек часто является игралищем в руках нечистой силы... Так, например, в одной сказке сказывается про то, как злой колдун захотел погубить одного парня и наслал на него вихрь. Вихрь подхватил несчастного и стал носить его над землей. Парень видит родные места, знакомых, видит невесту, горько плачущую по нем, и сокрушается. Наконец, проносясь над избой колдуна, парень взмолился колдуну, обещая отдать ему свою невесту. Тогда, спустившись на землю, он рассказал все отцу невесты и, по совету его, отправился к ворожее, а та за деньги, в свою очередь, наслала на колдуна вихрь, а парень женился и стал благополучно жить да поживать. В другой сказке злая колдунья, за отказ жениться на себе, превратила доброго молодца в седого волка. В третьей сказке один царь Троян был осужден на веки скрываться от солнца: если бы хоть только раз солнце коснулось его своими лучами, то он должен был бы разлететься в пар

и, как утренний туман, рассеяться по земле росой. Однажды солнце в дороге застало его; царь никуда не мог укрыться от его лучей и испарился мгновенно... Колдун обращает одного царевича в черного ворона и тот мается в этом виде, пока добрая девушка не спасает его... («Польские сказки», изложенные по К. В. Войцицкому и К. Балинскому. СПб. 1880). В этих сказках так же, как в известной части русских сказок, избы трясутся, леса стонут, и нечистая сила властвует над человеком, обращая его в жалкую пешку.

Но, как известно, есть много прекрасных народных сказок, русских и польских. В наших сказках очень часто являются герои-богатыри, то храбрый царевич, то наш же старый знакомый Иванушка, которые самоотверженно идут на явную опасность, на борьбу с неравными силами, с огнедышащими драконами, со змиями-страшилищами, с многоголовой гидрой; они идут смело, побеждают нечистую силу, разрушают злые, темные чары, освобождают заключенных из заколдованных замков, спасают погибающую женщину, заставляют опомниться красавицу, спящую в сонном царстве несколько сот лет, выводят, наконец, из оцепенение сна целые города, целые царства и т. д. в том же роде. Так же прекрасны многие и из польских сказок... Так, в одной из них чрезвычайно поэтично рассказывается о *«пещере в Черной горе»*. В этой пещере были скрыты громадные богатства, награбленные разбойниками в стародавние времена. Какая-то невидимая сила охраняла эти богатства, и люди, сколько ни старались, никак не могли найти входа в эту пещеру. Одному бедному мужику удалось-таки пробраться в пещеру, и он нашел там целые груды золота, серебра и драгоценных камней. «Мужик долго стоял перед этим богатством и подумал, что все это лежит здесь без всякой пользы, тогда как на земле так много бедных людей, нуждающихся в насущном хлебе. Взяв несколько червонцев, он направился к выходу и вдруг услышал за собой голос: „Приходи опять!“ Мужик сходил в пещеру за золотом в другой и третий раз. Тогда проведаль об этом богатый мужик, такой жадный скряга, какого еще и свет не производил. Он упросил доброго соседа указать ему таинственный вход в пещеру и отправиться с ним. Пошли. Один думал о том, сколько пользы могут принести нуждающимся богатства Черной горы, а другой рассчитывал, что эти богатства дадут ему возможность еще давать денег под большие проценты и тем закабалить себе всех бедняков окрестных деревень. Он один вошел в пещеру и набрал в свои мешки и лукошки столько сокровищ, что даже не мог поднять их. В этот момент раздается грозный голос: „Зачем ты пришел

сюда, лихоимец?«» Вдруг появляется огромная собака, с огненными глазами, с оскаленными зубами и бросается на этого гнусного скрягу. Собака повалила его на мешки с золотом и растерзала в клочья...

Подобных сказок «*о щедром и скряге*» с различными вариациями очень много, так что они составляют как бы цельный тип. Но приведенная нами сказка блещет такими поэтическими прелестями, что особенно останавливает на себе внимание. Должно заметить, что этот тип сказок «*о бедном мужике и о богатом скряге*» с особенной любовью можно сказать, с наслаждением — разработан народом. Оно и понятно, потому что крестьянам беднякам всегда крепко доставалось от их богатых соседей-лихоимцев. В представлениях о загробных муках народ так же немилостиво относится к богатому, безжалостному скряге в изображениях «Страшного Суда», на картинках суздальского и московского изделия, народная фантазия, например, поместила скрягу-лихоимца почти наравне с разбойником и убийцей. В редкой большой деревне не встретите где-нибудь в избе картинку с изображением «*Богатого и бедного Лазаря*» с довольно подробной, безграмотной надписью. Бедняк, по-видимому, утешается, смотря на подобные картины, и его удовлетворенная фантазия как бы несколько скрашивает для него горечь и тяготу действительной, нерадостной жизни, в которой лихоимец почти постоянно торжествует над ним и живет властью...

Укажем еще на одну из лучших польских сказок. На острове, среди Вислы, в большом замке с крепкими башнями и бойницами, жил храбрый, могущественный рыцарь. Он много воевал на своем веку и воевал счастливо. В длинных и темных подвалах его замка томилось много несчастных узников, которых постоянно морили тяжелой работой: они укрепляли каменные стены своей же собственной тюрьмы или украшали и без того роскошный сад своего властелина. Между этими пленными была и одна старая колдунья. Она поклялась отомстить пану за своего мужа, которого держали в цепях. И вот однажды, когда рыцарь спал, старуха колдовским манером вынула у него из груди сердце и подменила его заячьим. Рыцарь, до тех пор храбрый и неустрашимый, сделался труслив, как заяц, и стал баяться всякого шороха. Не только не мог он выйти, как прежде, в бой, но даже дома, в четырех стенах, постоянно трясся от страха. Кончилось тем, что раз весной, когда рыцарь сидел у раскрытого окна, ласточка задела его крылом по виску и так перепугала его, что он тут же и умер. В заключении сказано, что на могиле его заживо сожгли старуху колдунью... Но это добавле-

ние очевидно, позднейшее — сделано только для того, чтобы во что бы то ни стало «наказать» порок.

Сказок же литературных или, как мы сказали, литературного происхождения — масса. Их писали специально для детей, но, несмотря на то, лишь малая часть из них пригодна для чтения детям; большинство же из них может только развивать фантазию ради ее самой. Здесь кстати припомнить слова д-ра О. Гримма в предисловии его к польским сказкам. «Народные сказки — говорит он — имеют перед искусственными, деланными сказками то преимущество, что они более соответствуют пониманию ребенка, так как последний представляет собою повторение младенческой стадии развития своего народа, той стадии, на которой создаются им сказки, легенды, былины». С этим, конечно, нельзя не согласиться: народные сказки перед литературными имеют большое преимущество, но в то же время, как мы указали выше, тенденция некоторых народных сказок очень низменна, а иных даже, просто, отвратительна. Поэтому, мы не решились бы рекомендовать огулом детям для чтения все народные сказки. Еще менее можем рекомендовать для детей огулом сказки литературные...

Вот, например, возьмем немецкие... («Фантастические сказки. С немецкого». СПб. 1880). Мало хорошего можно сказать о них... Большая часть из них ничтожна по смыслу и малоинтересна по содержанию. Так, например, один вечно всем недовольный мальчик, всем скучавший и на все досадовавший, был превращен каким-то маленьким седым старичком в зайца. Этого зайчика подстрелили, зажарили и съели. «Когда все мясо зайчика было съедено, так что остались одни косточки, он снова сделался мальчиком...», говорится в сказке. Трудно решить, что может извлечь из такого сказания фантазия или ум ребенка! Или другой пример. Маленькая девочка, Камилла, за свои вечные капризы была превращена своей крестной матерью феей в куст ромашки. Она, в виде ромашки, «осталась на веки в поле, относится в аптеки и, помогая людям от желудочной боли, смотрит на их гримасы, которые она прежде сама строила...». Вывод из этой сказки: дети не должны капризничать. Автор этой сказочки, очевидно, дешевый, кухонный моралист. Прежде чем читать детям подобные сентенции, ему не мешало бы подумать о том, что такое каприз, и отчего капризничают дети. Если желаний ребенка не понимают, муштруют, раздражают его, заставляют его сидеть, когда он хочет бегать, или наоборот: если ребенок чувствует себя вследствие всего этого раздраженным, обиженным, несчастным, если он плачет, наконец, от того что неудовлетворены его закон-

ные, совершенно естественные потребности, вы — взрослые люди, махнув рукой, очень легко решаете вопрос... Капризы! Нет, не капризы, но настоящее детское горе, и виновники этого горя вы сами, взрослые люди!

Расскажем на выдержку еще несколько сказок. Ибрагиму, ленивому, мечтательному юноше, досталась случайно чудная лошадь, умевшая обращать в червонцы засыпаемый ей на ночь ячмень. Ибрагим разбогател, зажил роскошно, но вдруг попал в беду и был засажен в темницу. Тут только он опомнился, что был ленив, беспечен, расточителен, неблагодарен, дурно обращался с лошадью, которая его облагодетельствовала и т. д. Словом, по всем приметам и видимостям, Ибрагим был дрянненький человек. Но, несмотря на то, чудная лошадь освободила его из тюрьмы, да еще мало того — умчала в какое-то мертвое царство и сделала Ибрагима царем. Царство вдруг ожило, по улицам повалил народ, — и прямо ко дворцу. «Слава нашему царю, слава!» — кричали ожившие граждане. Затем, как водится, пошли пиры и т. д. Ибрагим, по нашему мнению, при виде всего этого незаслуженного им величия, должен был бы чувствовать себя не совсем-то ловко или, попросту сказать, дураком, но тем не менее, заканчивает сказка: «он счастливо царствовал много лет». Если из предыдущей сказки можно было извлечь ту мораль, что «дети не должны капризничать, если не желают превратиться в куст ромашки», то из последней сказки уже явствует совсем другого, особого рода, мораль. «Будьте ленивы, — говорит сказка, — будьте неблагодарны, беспечны, расточительны, и перед вами явится какой-нибудь Конек-Горбунок, который ни с того ни с сего сделает вас властелином царства, подобного тому какое дала Ибрагиму его чудесная лошадь». В следующей сказке одна девушка, Анхен, счастливо жившая со своим отцом, вдруг уезжает с немым рыбьим царем на золотом челне в безбрежную даль. Далее: один ученый, Рацим, выйдя из терпения от воркотни своей жены, попросил фею обратить его супругу в попугая. Сказано — сделано, но толку вышло от того мало. Попугай весь день вскрикивал: «Рацим! Дурак! Мошенник! Тряпичник!» и т. д. Тогда ученый отнес попугая на базар и там продал его торговцу обезьянами. После того в доме стало тихо, но ученые труды Рацима не подвигались вперед. Тишина теперь беспокоила, угнетала его, он все к чему-то прислушивался; ему казалось, что все идет кривь и вкось, «как будто весь мир пришел в беспорядок». Кончилось дело тем, что Рацим отправился разыскивать по белому свету торговца обезьянами, страшно измучился в дороге, похудел, истратил кучу денег и на-

силу нашел обезьянщика. Дорого заплатил он за попугая, которого фея снова обратила в ворчливую жену, а Рагим, по-прежнему, принялся за свою работу... В каждой из этих сказок фигурирует фея, а то даже и не одна, и все эти сказки, вообще, представляют собой только сказки ради сказок, ради забавы, т. е. фантастическое ради фантастического. И при всем этом, повторяем, они мало интересны.

Несравненно уже лучше по смыслу и содержанию даже, например, французские сказки Клод Перро или де-Бомона. Всем нам известны: Синяя Борода, Кот в сапогах, Спящая красавица, Сандрильона, Мальчик с пальчик и др. Мы зачитывались этими сказками, забывались «в чародействе сладких вымыслов» и не забудем их никогда... Сказки Андерсона также, вероятно, более или менее известны нашим читателям и поэтому о них распространяться не будем.

Из иностранных сказок особенно хороши известные сказки Музеуса. («Волшебные сказки Музеуса». С немецкого. Спб., 1880). Музеус родился в Йене в 1735 г. и был учителем в Веймаре. Сказки его составляют смесь его живого литературного творчества и произведений народной фантазии. Не все сказки он выдумал сам, но многим воспользовался у народа. Он старательно собирал старинные предания, поверья и былины, заставлял детей рассказывать себе сказки, просил о том же стариков, все это записывал, и затем, переработав весь этот материал, дал ряд прелестных сказок, составивших ему известность. «Человек так создан, что одной действительности ему мало, — говорит Музеус, — его бесконечная деятельность в сфере предположений уносит его в пространство... Наклонность к чудесному глубоко коренится в душе человека и исторгнуть ее невозможно» (Стр. III). В. Крестовский (псевдоним) в предисловии к *«Сказкам Музеуса»* говорит: «В загадочной глубине волшебного мелькает заманчивый мир, полный образов, где просторно, легко, жутко и весело, где намекаются тайны, возвышающие душу, где обещается свобода, добро и общая радость, где тихо, величаво встает идеал правды — еще неопределенный, еще не вполне понятный, но светлый, дорогой, влекущий...» (Ibid. Стр. VII). «Оно (чудесное) выучит задумываться и восторгаться, а без восторга — нет сочувствия, нет увлечения, нет самоотвержения, нет деятельности. Душа, как мускулы, растет и крепнет; если ребенку для здоровья необходимы воздух и поле, дайте и мысли полетать в неизмеримом, где цветы такие роскошные и такой урожай идеала...».

В. Крестовский чрезвычайно горячо и красно защищает *«чародейство сладких вымыслов, чудесное и волшебное»*. Неужели дело до-

шло уже до того, что потребовалась защита «чудесного, фантастического» от каких-то врагов? Судя по предисловию В. Крестовского, да! А между тем фантастический элемент, кажется, никогда не был бы так кстати в детской литературе, как именно в наше время, когда весьма значительная часть подрастающего ныне поколение проявляет уже вовсе не детскую практичность и сухо, холодно, с какой-то китайской формалистикой относится к окружающему. Даже прелесть товарищества исчезает, остается лишь незавидная, оборотная сторона его. В чаду глубоких практических размышлении нравственное чувство отступает на второй, на третий план, теряет силу и расплывается в каких-то неясных фразах, каждое слово которых — мертвые буквы без духа, без жизни... Иногда у гимназиста 2-го класса под сюртучком его, застегнутым на все пуговицы, бьется уже сухое, безжалостное сердце, бьется только для самого себя, и за себя одного боится. Выдать провинившегося товарища почитается самым простым делом, да будущие карьеристы не могут и поступать иначе. Стащить у товарища тетрадку, перочинный ножик также не представляет особенного затруднения... Устраиваются кассы, копилки, куда дети в видах сбережение опускают свои гроши, — прекрасное средство развить в них алчность и скряжничество! Не мудрено, если из них вырастут чинные и бесчинные грабители, в роде Юханцева и мн. других, темною тенью прошедших по фону нашего окружного суда. На первый план выступает «расчетливость», мысль «получше устроиться...». Многие из нынешних гимназистов наши прежние мечты, бескорыстные планы будущей деятельности, наши воздушные замки-идеалы, наши горячие стремления приносить пользу «другим», наши увлечения высокими, геройскими подвигами — назовут глупую сентиментальностью, а некоторые, даже не дослушав, прямо отвернутся от нас. Понятно. Им покажутся незанимательны и дики наши мечты, наше «волшебное» и «чудесное». Для них — для этих маленьких реалистов, в китайском вкусе — только одна действительность представляется заслуживающей внимания, они — поклонники существующей действительности. «Хорошее место», «выгодное предприятие», «удачная сделка», «ловкий обман», при случае, надувательство, устройство во чтобы то ни стало своих собственных «делишек» — и карьера, карьера! — вот суть жизни, по их мнению, вот ее интерес, вот где настоящая действительность и настоящее дело, а вовсе не в бреднях об идеале и т. п. Вот, ввиду такого-то слишком, если можно так выразиться, делового отношения ко всему окру-

жающему, литература, по нашему убеждению, должна была бы оказывать освежающее, облагораживающее влияние на душу подрастающих поколений. Впрочем, к счастью, есть и другого сорта подрастающие люди, не поклоняющиеся золотому тельцу, сердце которых бьется не для них одних, но может печалиться и радоваться за ближних. Во всяком случае, и для «новых людей» первой категории должен быть найден могучий противовес — противовес тем темным началам, которые приготавливают для жизни китайских фарфоровых куколок, карьеристов-Молчалиных, грабителей и убийц...

Все сказки Музеуса в высшей степени поэтичны и производят сильное впечатление. Здесь даже феи получают свое определенное очертание и служат проявлениями добрых или злых сил. Особенно выдаются сказки «О трех сестрах», «Франц Бременский», «Мелекзала», «Любуша» и недурна сказка «Об искателе клада». В сказке «*О трех сестрах*» Рейнальд с великими усилиями отыскивает трех своих сестер и с опасностью жизни освобождает от чар их и их мужей. Описание его странствований и приключений составляет прелестную картину, одну из самых блестящих страниц сказок Музеуса. Читатель с напряженным вниманием следит за самоотверженным юношей в его скитаниях по диким и мрачным дебрям, по страшным, опасным местностям. Той же свежестью веет и от странствований доброго Франца Бременского, который в счастье и богатстве не забыл своего знакомого, старого нищего, оказавшего ему большую услугу. «Любуша», дочь чешского короля Крокуса и лесной Дриады, вступив по воле народа на отцовский престол, проявляет необыкновенную мудрость, всеми силами заботится о крестьянах, о рабочих людях, защищает их от притеснений вельмож, радеет об их благе и, в конце концов, отказав всем своим знатным женихам, выбирает себе в мужа простого земледельца — Примислава... В сказке «*О кладе*» выведен добрый, смиренный человек, находящийся под башмаком у жены. Из желания устроить судьбу своей любимой дочки, Люцилы, он отправляется на Брокен, отыскивает клад, находит его и затем выдает свою дочь за бедного молодого человека, который уже давно любил Люцилу и был взаимно любим ею, но по бедности не мог надеяться расположить в свою пользу мать Люцилы — строптивную и сварливую женщину.

Необыкновенною яркостью красок, жизнью и, положительно, каким-то чарующим волшебством дышит сказка о «Мелекзале». По некоторым причинам, как читатель увидит, мы должны подолее остановиться на этой сказке...



Дело начинается с того, что папа Григорий IX, мучась однажды бессонницей, задумал крестовый поход. Кликнули клич. Рыцари, иные нехотя, иные охотно, собрались со своими верными вассалами на зов, и отправились в Святую землю для освобождения ее от Сарацин. По уходе войска в поход, папа Григорий IX стал спать по ночам очень спокойно и совершенно позабыл о крестовосцах. В числе их, между прочим, находился граф Эрнст фон Глейхен, оставивший в своем родовом замке, в Тюрингии, прекрасную молодую жену и двух детей. Жена была безутешна. Граф Глейхен, прибыв в Святую землю, нашел крестоносцев в полнейшем бездействии. Христианское войско пряталось за окопами и кое-как коротало скучную лагерную жизнь. Англичане, например, забавлялись петушьими боями, итальянцы — пением и музыкой, испанцы — шашками, немцы — турнирами... Граф Эрнст принялся ездить на охоту в сопровождении оруженосца Курта и конюха. Однажды граф увлекся охотой за дикими козами и, запоздав, не заметил, как солнце уже погрузилось в Средиземное море. Ночь застигла его на полпути. На беду, еще он принял блудящие огоньки за лагерные и еще больше удалился в сторону. Решились переночевать в поле, под деревом. Оруженосец приготовил постель из мха, и граф, утомленный охотой и дневным зноем, заснул, даже не успев перекреститься на сонь грядущий. На заре напали на охотников Сарацины. Как граф Эрнст ни бился, но против несметной рати ничего не мог поделать. И он, и служители его были отправлены пленными в Египет, а там закованы в цепи и заключены в тюрьму. Прошло много лет. Граф томился в тюрьме, а жена его изнывала от тоски по нем, тщетно рассылая во все стороны гонцов узнавать, нет ли каких-нибудь известий о графе Эрнсте.

В это время прекрасной Мелекзале, дочери султана египетского, пожелалось, во чтобы то ни стало, устроить при дворце сад на европейский манер. Султан, исполнявший все прихоти дочери, приказал своему шейху Киамелю, чтобы сад был... Когда шейх обратился к пленный с запросом, нет ли между ними искусного садовода, догадливый оруженосец Курт тотчас же указал ему на графа, как на искуснейшего садовода во всем свете. Графа освободили и поручили ему устроить сад на европейский манер. Тот, конечно, удивился, но от предложение не отказался и потребовал себе в помощники Курта и своего конюха, а также и других рабочих. Шейх указал ему на прекрасный, тенистый сад в восточном вкусе, и велел на этом месте устроить сад по европейскому образцу. Граф даже не знал, как и приняться за дело. Курт вывел его из недоумения.

«Султану захотелось новинки! — сказал он. — Так переделайте все в этом саду, как ни попало! Все, что будет ново, понравится султану». Так и сделано. С прелестным садом граф обошелся варварски, произвел невообразимый хаос, вырубил плодовые деревья, снес целые рощи, устроил террасы, беседки, дорожки посыпал колчеданом и насадил простых, полевых цветов. Шейх, увидав новый сад, покачал головой и очень боялся, что сад не понравится султану, а он, Киамель, попадет в опалу. Но султан, вопреки ожиданиям, от нового сада пришел в неописанный восторг. Правда, сад имел крайне дикий и странный вид, но он был новостью, да к тому же с садовых террас открывался превосходный ландшафт, внизу виднелся город и зеркальная поверхность Нила, со скользящими по ней судами, а на далеком горизонте высоко поднимались к небу пирамиды и цепь голубоватых, подернутых туманом, гор. Так же понравился сад и красавице Мелекзале, и она каждый день стала гулять в нем. Тут она встретила графа, в роли садовника, стала разговаривать с ним и полюбила его... Однажды она подарила ему букет, а он отдал ей цветком «мушируми», совсем не подозревая, что подарок этого цветка, на символическом языке, означал объяснение в любви. Граф Эрнст понял свой невольный промах. Скоро Мелекзала, в ответ на поднесение ей цветка «мушируми», изъявила свое согласие выйти замуж за графа, но с условием, чтобы тот принял магометанскую веру. Граф решительно отказался от магометанства, да к тому же выставил Мелекзале на вид и то обстоятельство, что он уже женат. Но Мелекзала нимало не смутилась этим и обещала любить его первую жену и жить с нею дружно. Курт посоветовал графу просить Мелекзалу принять христианство и бежать с ними в Европу, а там и жениться на ней. «А жена?» — говорил граф и колебался. Свобода, родина манили его к себе, но мысль об оставленной жене сильно его смущала. «Госпожа могла умереть без него, могла, наконец, просто позабыть его... Столько лет прошло!» нашептывал Курт. И граф Эрнст послушался его и предложил Мелекзале бежать с ним в Европу, на его родину, там переменить веру, выйти за него замуж и отправиться затем в Тюрингию, в его родовой замок. Мелекзала с радостью согласилась на все... С чрезвычайными опасностями и затруднениями выбрались беглецы из Египта и благополучно прибыли в Венецию. Тут же на берегу повстречал их один из посланных графини и рассказал своему господину, что жена все ждет не дожидается его... Отступить было уже поздно и граф откровенно описал в письме к своей жене все, что случилось с ним в продолжение их семилетней разлуки, не скрыв и

того, что он обещал жениться на Мелекзале. С великим восторгом узнала графиня, что муж ее жив и здоров и невредимо возвратился в Европу. Она плакала от радости и целовала привезенное от него письмо. Но, когда она прочитала его, глубокое горе охватило бедную женщину. Она вольно страдала... Однако, скоро ей жаль стало и несчастную девушку, добровольно ради Эрнста, покинувшую отца и родину. «Нет, — сказала она себе. — Граф Эрнст не заплатит злом за принесенную ею жертву. Он должен сдержать свое рыцарское слово, и сдержит его». Графиня решила пойти в монастырь, и тем дать возможность мужу жениться на Мелекзале. Мелекзала приняла христианство, папа Григорий благословил ее брак с графом Эрнстом, а графиня на веки заключилась в монастыре.

Несмотря на свои поэтические достоинства, ставящие эту сказку выше других, впечатление, производимое ей, получается какое-то странное, смутное. Маленький и взрослый читатель равно почувствуют неудовлетворенность. Симпатия, с которой читатель следит за похождениями графа Эрнста в Святой земле, и в египетской темнице, и в его роли садовника, к концу рассказа заменяется холодностью и даже неприязнью. Он действительно поставлен в очень критическое положение. Было бы в высшей степени неблагодарно и неблагородно с его стороны, если бы он, завезя на чужбину Мелекзалу, эту любящую его девушку, этот нежный цветочек Востока, бросил ее на произвол судьбы, как бы в благодарность за то, что она избавила его от ужасного плена и всем для него пожертвовала. Но разве не так же гнусно или даже не более гнусно с его стороны бросить свою собственную жену, эту любящую, верную жену, которая целых семь лет тосковала по нем и плакала, напрасно рассылая за ним гонцов во все стороны?.. Вместо ожидаемых радостей свидания, вместо счастливой, тихой жизни, которая хотя сколько-нибудь заплатила бы ей за годы страданий, она вдруг вынуждена идти в монастырь и оставить свое место чужестранке, оставить даже своих детей! Дурная благодарность со стороны графа Эрнста... Положим, в конце сказочки есть оговорка, что он при прощании с женой, расчувствовавшись, «хотел даже отказаться от мысли о второй женитьбе», но эта оговорка, разумеется, теряется бесследно в виду тяжелой действительности.

В заключении, о некоторых сказочках Музеуса, как, например, «*Фея ручья*», «*Лебединый Пруд*», «*Рихильда*», мы должны повторить то же, что сказали о «*Фантастических сказках*», т. е., что фантазия в них существует ради фантазии, ради забавы, хотя их внешние,

поэтические достоинства, яркость красок и грациозность образов те же, что и в остальных произведениях Музеуса.

Наконец, упомянем еще о «Сказках Кота-Мурлыки», которые по яркости поэтического достоинства стоят наравне со сказками Музеуса, но внутренним содержанием, глубиной мысли и чувства, наш «Кот Мурлыка» далеко превосходит почтенного учителя Веймарской гимназии. В сказках «Кота-Мурлыки» не встречается двусмысленных положений, подобных, например, тому, какое мы только что указали в «Мелекзале»; нет в них и фантастического ради фантастического, за исключением разве сказочек очевидно предназначенных для детей самого младшего возраста, вроде сказки, например, о «Курилке», о «Сверчке» и немног. других. Такие же сказки, как «Макс и Волчок», «Песенка земли», «Два вечера», «Колесо жизни» могут считаться *chef-d'oeuvre*'ами сказочной литературы, хотя «Колесо жизни» для детей слишком серьезна.

Маленькая, в самом конце книги помещенная сказка «Два вечера», производит неизгладимо сильное впечатление. В *первом вечере* перед нами является мать с ребенком. Дитя загляделось на распятие, висевшее на стене, и стало расспрашивать о том: кто это распят на кресте, и кем, и за что... Мать объясняла, как умела. «Он распят за любовь к людям!» — говорила она. «Ради этой любви он вынес страдания — страшные, ужасные страдания, и умер на кресте...». Ввиду распятия этот рассказ матери произвел на ребенка такое сильное потрясающее впечатление, что он тут же пообещал всю жизнь свою посвятить ближним... *Второй вечер*, отделяющийся от *первого* большим промежутком времени, чуть ли не целую человеческою жизнью, представляет нам того же самого ребенка уже дряхлым стариком. Этот человек так увлекся книгами, что всю жизнь провел за ними, забыв и о людях, и о своем обещании... Сидит он и видит в углу, посреди хлама, что-то блестящее. Что бы это могло быть? Он всматривается... И вот, из-под груды всякого хлама, лежащего на полу, выглядывает бледное, изнеможенное страданием лицо, с терновым венчиком на лбу... Это — старое распятие брошенное, давно забытое. Эта находка будит в старике целый ряд воспоминаний из давнего прошлого, приводит ему на память его давно умершую мать, и тот давно-давно прошедший вечер, когда она рассказывала ему, ребенку о Распятом, о Страданиях за род людской, о Великом Учителе. Вспомнил старик и о том, какое обещание ребенком тогда дал он, дал, и не исполнил. Горько и больно стало ему за свою прожитую жизнь... Но уже поздно! Смерть пришла...

Мы, конечно, не можем передать здесь всей прелести этого маленького рассказа. Его нужно прочесть самому. Впрочем, читатели, вероятно, уже знакомы со сказками «Кота-Мурлыки», а если еще кто-нибудь из них не знаком с ними, то мы советовали бы прочесть их, дабы читатели сами могли подтвердить справедливость нашего приговора... К сожалению, эти прекрасные сказки не получили в русском обществе той известности и распространенности, которых они, по праву, заслуживают...

Мы уже не раз высказывали на страницах «Педагогического Листка» ту мысль, что вопрос о детской литературе — вопрос чрезвычайной важности, практический, жизненный.

Несколько лет тому назад мы писали: «Ум, как и желудок, может голодать. Как на голодный желудок человек может есть и глину, и древесную кору, и мох, так точно и с умственной голодухи человек в состоянии наброситься на что ни попало, на всякую дрянь. Ум и воображение ребенка растут, и растут быстро; они голодны и живо поглощают всякую пищу, и дурную, и хорошую. От дурной пищи они могут быстро расстраиваться...». От недостаточного питания, от бездеятельности, ум, как и всякий другой орган, может ослабевать, притупляться, и даже совсем атрофироваться... Вот почему мы твердо убеждены в необходимости совершенно самостоятельной, вполне серьезной и порядочной детской литературы, как беллетристической, так и научной. Голодающим детским умам и воображению необходима пища здоровая, питательная, а не какой-нибудь мусор, который писатели «для взрослых» иногда выбрасывают детям, в виде подачки, согласно поговорке: «на тебе, Боже, что нам не гоже!»

Сильна детская восприимчивость. Впечатления, получаемые ребенком от первых прочтенных книг, так живучи и сильны, что их топором не вырубешь, огнем не выжжешь. Взрослый человек на чтение романа смотрит просто, как на приятное препровождение времени, иногда, как на возбуждительное средство, щекочущее его не совсем чистое воображение, и редко смотрит серьезно... Ребенок же читает вовсе не для того и не так. Ребенок верит в то, что читает, не отличая лжи от правды; вымышленные лица — для него живые лица, — да детская порывистая, непосредственная натура иначе и не может относиться к книге... Поэтому-то ребенок, выхваченное из книги, старается тотчас же перевести на практику, воплотить в дело, причем роль героя, особенно почему-либо поразившего его воображение, он берет на себя, а товарищам раздает роли сподвижников того героя, и таким образом дети, во-

образив себя при настоящей романической обстановке, начинают действовать... Мальчики, например, начитавшиеся жизнеописаний знаменитых воителей, начинают подражать им, собирают войско и ведут бескровные, хотя иногда очень ожесточенные войны. Маленькие гимназисты, начитавшись Майн-Рида, запасшись куском хлеба и перочинным ножичком, убегали от родителей с целью пробраться в девственные леса Америки. Во время последней турецкой войны мальчики, под влиянием рассказов о славных подвигах наших солдат и офицеров, убегали «на войну». Уличные мальчишки играли в «*турок и русских*».

От специально детских книжек ребенок охотно переходит к книгам «для взрослых», и с жадностью зачитывается ими. Но в таком случае он рискует натолкнуться на целый ряд плохих романов Борна, Понсон-дю-Террайля, Монтепена и др. Беллетристика «для взрослых» всех времен и народов, как известно, в громадном большинстве до сих пор была приурочена, так сказать, к домашнему обиходу, постоянно толпясь около домашнего очага, вращалась в узеньком кружке личных — и по преимуществу, нежных, любовных чувств. На первом плане, обыкновенно, становилась любовь к женщине, соперничество из-за женщины, ревность, месть, несложная интрижка; все это пестрым кубарем катилось на пространные иногда нескольких томов и разрешалось или умерщвлением, или самоубийством, или законным браком, с приятной перспективой сладчайшей идиллии во вкусе Августа Лафонтена. И там, и сям, посреди этой массы печатной бумаги сияют только кое-где, от поры до времени, талантливые гениальные произведения...

На юношу, а иногда даже и на взрослого человека, книга или несколько книг с известным подбором производят громадное впечатление; вследствие чтения иногда в человеке происходят изумительнейшие метаморфозы, происходит страшная ломка, причем в сознании и чувствах человека все перевертывается вверх дном, жизнь выбивается из колеи и получает совсем иное течение. На ребенка же влияние чтение оказывается еще неотразимее, еще могучее... Чтение — орудие обоюдоострое. Иоанн Гуттенберг, предоставив человечеству пользоваться своим типографским станком, разом дал людям два великих секрета: один — для просветления умов и чувств, другой — для вящего помрачение их. Если бы какой-нибудь Омар, подобно Александрийской библиотеке, разом сжег, в действительности, все книги, когда-либо появившиеся на свете, то он тем причинил бы миру бесспорно не одно тяжкое и великое зло, но и

великое добро — и еще трудно было бы решить а priori: зло или добро перевесило бы на весах высшей нравственности... Во всемирной библиотеке существует полка прекрасных произведений ума и фантазии человеческой, душа и гордость современной цивилизации, блестящий плод добрых, благородных помыслов об общем благе; но в той же самой библиотеке тысяча остальных полок заняты всяким непривлекательным сбродом, миллионами глупых, пошлых книг, ядовитых произведений развращенной фантазии и развращенного ума, позор и зло современной цивилизации...

Человек взрослый, сравнительно, кое-как еще гарантирован от злых чар, навеваемых книгой. Противовес влиянию вредного чтения он находит и в себе, в своем развитом сознании, в своей критической способности, находит его и вне себя, во внешней деятельности и в окружающем его мире. Но у ребенка такого противовеса нет... Дурная книга, которая по сознанию взрослого человека может скользнуть бесследно и исчезнуть, как исчезает с чистой поверхности зеркала потное пятно от зараженного дыхания больного, та же самая книга на ум и воображение ребенка кладет темное, ничем неизгладимое и невытравимое пятно... Нужны ли примеры? Вот один на выдержку.

Мы лично знали мальчика почтенных родителей, очень способного, деятельного, много обещавшего в будущем. Он не мог удовлетвориться пустою моралью детских книжек с холодными, безжизненными рассказами. Он напал на романы, как голодный набрасывается на заманчивые кушанья, вовсе не отдавая себе отчета в их доброкачественности, не справляясь о том, из свежих ли продуктов приготовлены они, и вовсе, конечно, не загадывая о возможных произойти для него последствиях такой трапезы... Мальчик наш живо поглотил целые вороха книг Поля Феваля, Монтепена, Дюма и мн. др. Он увлекался таинственными рыцарями, появлявшимися разом в нескольких местах, совершавшими подвиги и производившими дебоши. Он увлекался дюмасовскими героями, которые бросались на коне в пропасть, кидались с башен, и оставались целы и невредимы по нескольку раз на день, зря дрались на поединках, ужасно прокалывая друг друга насквозь шпагами и на другой же день танцевали на бале и любезничали с дамами, как ни в чем не бывало, — словом, в огне не сгорали и в воде не тонули. Мальчик сам по себе был существо добродушное, но тут, с V — VI класса гимназии, когда ему было уже лет 15 — 16, в него точно бес вселился. Он стал злоупотреблять своею, довольно порядочною физическою силой, стал забиячить, драться, составлять партии и

устроить в классах побоища, в роде турниров. Будучи в VII классе, он уже вызвал на дуэль одного своего товарища... Зимним, ясным вечером противники решились сойтись у проруби на реке. Легко раненым быть не полагалось; надлежало стрелять на расстоянии 5 шагов, то есть почти в упор, и одновременно, по слову «три». Убитый или тяжело, смертельно раненый, по условию, должен был быть брошен в прорубь, дабы противник, оставшийся в живых, и секунданты не могли подвергнуться преследованию... Ловко было устроено, не правда ли?... Вы только взгляните, вдумайтесь, читатель, в эти подробности, и вы заметите, сколько в них рыцарской жестокости, сколько подражание тем приемам, которыми отличаются Три Мушкетера и прочие герои! Впрочем, противники помирились, и дуэль не состоялась... Но печален был конец этого юноши. Несколько лет тому назад он был убит на дуэли, где-то на Волновом поле... Прочитав в петербургских газетах о ссоре и дуэли двух офицеров, гг. К. и Б., и затем о последовавшей смерти К. мы живо припомнили его былое, школьное житье, и тут с поразительной ясностью увидели, что добродушный, рыцарски настроенный мальчик был обречен уже на смерть еще на школьной скамье, когда он, волнуясь и краснея, зачитывался сценами поединков, драк и сражений... Зачем же убиты были эти силы?..

Мы всегда были убеждены, что к детской литературе должно относиться не диллетантски, а вполне серьезно и добросовестно. Пишущие для детей, пишут не фельетоны, пригодные для послеобеденного отдыха с сигарой или с чашкой кофе, и должны сугубо подумать прежде, чем написать что бы то ни было... Если же они своими былями и вымыслами помогут развиваться в детях злым семенам злых инстинктов, то они должны будут за это держать строгий ответ перед обществом и перед собственной своею совестью.

(1881)



*Иван Феоктистов*

## АНДЕРСЕН И ВАГНЕР КАК АВТОРЫ СКАЗОК ДЛЯ ДЕТЕЙ

*Впервые опубликовано в: Педагогический листок. 1881.  
№ 3—4. С. 195—218.*

(по поводу второго попадания «Сказок Кота-Мурлыки»)

Я очень благодарен вам, что вы рассказывали мальчику сказки, но вам не следует искажать его понятий.

Анд. «Оле-Лук-Ойе».

Аист принялся рассказывать про жаркую Африку, пирамиды и про страуса, что, словно дикий конь, носится по пустыни, только утки ничего не поняли, топырились и толкали друг друга: «Мы ведь все одинаково думаем что он дурак». «Да это верно: он глуп» сказал индийский Петух, и начал клохтать. Тут Аист замолчал и принялся думать о своей Африке.

Там же.

Сказки «Кота Мурлыки» — произведения профессора С.-Петербургского университета, Николая Петровича Вагнера. Через долгий промежуток времени он выходит вторым изданием. Успех их несомненный, и они давно уже разошлись, года два или три назад было приступлено ко второму изданию, но дела не устроилось. А запрос на сказки был; но их можно было достать только на толкучке, у букинистов, и то рублей за 6-ть.

Уже одно это указывает на успех сказок. Первое издание вызвало обстоятельную рецензию даже в таком журнале, как «Отеч. Зап.» Второе же — приветствуется молчанием. Впрочем, может быть, и рано. Подождём. А пока, со своей стороны, постараюсь выяснить успех так этого издания.

Вагнер известен также, как издатель весьма оригинального журнала, так не похожего на всё то, что мы привыкли соединять с этим словом. Это-журнал «Свет». По способу постановки вопросов, не искренности чувства и задушевности изложения — это небывалое у нас периодическое издание. Основы для решения вопросов так же, что и в сказках Кота-Мурлыкин, почему, при случае, я буду обращаться и к «Свету». При этом нужно оговорить, что я разумею «Свет» только за первые его года, когда он действительно находился под редакцией самого Вагнера. После того же редакция его — фиктивна.

«Сказка — сладка, песня — быть», говорит народ, и, действительно, большинство народных сказок есть произведение докучливого праздномыслия. Сколько в них пустого балагурства, как мало воспитательного значения, какая бессмысленная апофеоза хитрости, пронырства, грубости, случайной удачи, игры слепого счастья! Об этом уже им без меня говорилось и доказывалось, как вредно чтение таких сказок для детей; но очевидно, это такой предмет, о котором всегда не мешаает говорить.

Вы скажете, что дети читают эти сказки с наслаждением. Но что же это показывает? Только то, что нам еще далеко до истинного развития; мы все еще одной ногой стоим на той же ступени, на которой стояли наши отцы, деды и прадеды. Не в нашу пользу говорить то, что мы не можем занять детей более серьёзным делом, чем чтение таких сказок. Это любовь к детям есть только уродливый плод неразумного воспитания; еще, значить, не уничтожили все суеверия, нет ещё истинного знания. Если бы ребёнок не слышал постоянно кругом себя рассказов о привидениях, и различные чертовщины, не проникали бы суевериями, приметам, — разве могли бы ему нравятся эти сказки? Может-ли ребенок бояться идти на кладбище, если он ни от кого не слышал ужасающих рассказов о мертвецах? Разве эти страхи врождённые? Они прививаются единственно нелепым воспитанием, когда дитя сдаётся на руки не развитой прислуги, и родители палец о палец не ударят, чтобы противопоставить что-нибудь влиянию этой прислуги. С первых дней, как развелось в детях понимание окружающего, они уже наслышались о разной чертовщине, как о действительном мире, и, читаю потом эти сказки, будут переживать, при малой дозе разумного удовольствия, те же нелепые страхи, что испытывали ранее.

Вот если бы этого запугивания не было, если бы камеру народных сказок дети могли отнести вполне объективно, эти сказки

могли бы иметь на ребенка хорошее влияние, например со стороны своего богатого народного языка. Такое хорошее впечатление производят, например, басни Крылова; дети отлично понимают, что здесь только «так себе» говорят и действуют звери, они рано научаются узнавать в них людей.

Чтобы еще более выяснить характер вреда, приносимого народными сказками, Я приведу небольшой отрывок из одного забытого, но хорошего романа (\* «Свое и наносное» С. Федорова. «Время» 1862 г. № 10). Рассказчик так вспоминает о впечатлении, которое производили на него сказки в детстве:

«С каким нетерпением дожидался я, когда подадут свечи. Опрометью бросался в детскую, крепко обнимал и целовал няню, прося её рассказать какую-нибудь сказку. У няни была дурная привычка долго отнекиваться и сердить меня до слёз. Но всё-таки без сказки вечер обойтись не мог. Боже! С каким сладким замиранием сердца слушал я её рассказы о разбойниках и людоедах! Холодная дрожь пробегала по моему телу, когда неожиданно хлопала неплотно-притворенная ставня. Мне уже чудилось, что злой колдун лезет в окно, чтобы зарезать меня и напиться моей кровью. Я плотно прижимался к ней и начинал плакать.

—Ну, чего разревелся! ишь балованный, не стану я тебе сказывать.

Не слушал няню, я продолжал плакать, крепко обхватив рученками её шею. Но только-что успокаивались мои нервы, я снова приставал к няне с мольбами и просьбами, целуя её сухие, морщинистые руки.

—Я не боюсь больше, няня! говорил я, стараюсь придать спокойствие моему голосу, хотя чувствовал, что сердце бьется учащенное обыкновенного, а глаза невольно устремляются к двери. В соседней комнате огня нет...тьма страшная... и в этой тьме моё расстроенное воображение уже видит чудовищно-фантастический мир.

—Озорник ты этакой, опять на грех наведешь! — бормочет старушка.

Одно напоминание навести няню на грех имело на меня магическое действие. Я робко притих. И как не страшен был рассказ няни, как не сильно билось мое сердце, я, едва переводил дух от обхватывающего меня ужаса, крепился. Я знал, что значит навести на грех.

Дед был злой и нервный старик. Он не мог равнодушно слышать детского плача, и бедной няне часто доставалось за меня. Она

брания её так громко, что мне становилось страшно, и я ещё пуше начинал реветь».

Как нам нравится эта сценка? На меня она производит тяжелое впечатление, и тем более, что она очень хорошо воспроизводит общее явление, которое живо еще и теперь. Вникните во фразы, подчеркнутые мною, и неужели вы будете настолько черствы, на столько «эстетичны», что не согласитесь со мною, что народные сказки в большинстве случаев положительно вредны нашим детям. Если уж дети ваши заражены этою язвою, то спешите ставить им разумной противовес; но только не будьте так эгоистично глупы, как вышеупомянутый дедушка.

Но у детей развито воображение, они любят образное изложение, внешнюю занимательность, как же не давать им сказок, так подходящих к их развитию? Что же, давайте и сказки; но только те, которые уже отжили свое целостное значение. Нарождается другой род сказок, вызванный потребностью нового времени, новых условий жизни. Всё должно иметь своё законное последовательное развитие.

Какова же должна быть это новая сказка? Каковы предметы этой сказки?

Говорят, надо питать богатое детское воображение. Но зачем же питать его, отчего не пользоваться им, от чего не утилизировать его? Наши дети, говорят эстетика, интересуются всем, что мало напоминает окружающую обыденную жизнь, что стоит вне действительного, прозаического, мира; они с восторгом, с бьющимся сердцем следят за приключениями какого-нибудь рыцаря «без страха и упрека» в его борьбе с чудовищами, за приключениями какой-нибудь добродетельные феи? Конечно, нет! Так тогда к чему же набивать всем этим вздором голову ребенку? Какая польза от этого? Я знаю других рыцарей, настоящих, не выдуманных, которые всю жизнь бились и бьются с настоящими чудовищами: с невежеством, бедность, вопиюще несправедливостью в людских отношениях. Это, действительно, рыцари «без страха и упрека». Отчего вы не расскажите об этих рыцарях, об этих чудовищах? Да как написать о таких вещах, чтобы было интересно детям — слышится вечные бессмысленные вопросы. Спросите своё сердце и не будьте лицемерами, отвечу я вам, да пишите такие сказки только тогда, когда у вас есть талант, а не умение только держать перо в руках.

Опаснее всего то, что от этих сказок весьма естествен переход к другим сказкам, которые прикрываются эхидно именем романа. Тут я разумею всю сентиментальную, романтическую литературу,

которая лишена реального воспроизведения жизни. А раз юноша напал на эти романы, он погиб. Когда мы вступали в жизнь, то наши души, действительно, горели желанием биться с чудовищами. Но мы только ныли и ничего не сделали. А почему? Да просто потому, что мы искали чудовище — и сражались с ветряными мельницами. Мы искали слабых, угнетенных и не знали, где это слабый и где это гнет? Мы, почти буквально, искали этих слабых в таких же обольстительно красивых формах, как и в сказках (беру это слово в широком значении), под видом какой-нибудь ноющей ундины или угнетенные феи. Мы искали широкой, блестящей арены, где бы нас все затмили. Ну, а там, конечно, награда — какое-нибудь неожиданное наследство, брак с красавицей и т. д. чепуха. Как это было глупо? Сколько дорам убито молодых сил, потрачено беззаветного энтузиазма! О, рыцарь печального образа! да умер-ли ты в самом деле?

А сердечные влечения? О, мы так были пропитаны всею этою романтической чепухой волшебных сказок и таковых же романов, что искренно удивлялись скорому своему разочарованию. Мы даже и не подозревали здоровых, естественных отношений к женщине. Ну, и разочаровавшись, мы сторицей уже создавали виновница нашего разочарования: пили водку и в пьяном виде колотили ею немилосердно. Скоро наступившая проза возмущало наша, видите ли, благородно-идеальное сердце.

Всё должно приносить нам пользу в том или другом виде. Народная сказка в большинстве случаев (но есть и счастливые исключения) развивающим образом действует на воображение только ради воображение. Но какие уродливые образы строит она — образы, лишённые всякой действительной почвы! Какая же польза от них ребёнку?

Новая художественная сказка должна строить нам образы реальные. Конечно, тут суть не в форме, а в идее, в сущности; художественная сказка может быть аллегорией, но она должна представлять развитие какой-нибудь здоровой идеи. Но, чтобы не было скучно, эта аллегория должна облечься в поэтические образы, которые можно заимствовать и из народной сказки. Эти образы, заманчивые, художественно построенные, должны вызывать молодого читателя на серьёзные отношения к действительности, должны знакомить его не только со светлыми сторонами жизни, но и с тёмными, должны указывать источник этих тёмных сторон, должны указывать выход из окружающего мрака, должны воспитывать в ребенке будущего гражданина, действительно полезного

обществу. Вы скажите, какая же эта суть будет! Но дело в том, кто создаст эту сказку; у истинного поэта, который иначе и не может творить, как живыми образами, у человека, который истинно любит детей, понимая их натуру, такая сказка не может быть сухою, потому что такой человек умеет вовремя остановиться.

Посмотрите, перечитайте вновь сказки Андерсена, — они стоят этого, — и вы найдете в них сказки, довольно близкие к идеалу, который я рисую. Какие предметы занимают Андерсена: протест против произвола, насилия, защита слабых, участие к забытым натурам, пробуждение в них надежды на лучшее, пробуждение веры в свои силы, насмешка над рутинною людскою глупостью. И вместе с тем какая свежесть, непосредственность чувства, какие живые, поэтические, образы. Прочитайте ещё раз хоть следующие сказки: Гадкий утенок, Соловей, Песня птички, Маргаритка, Царское новое платье, Тень, Калоши счастья, Прыгун, Девочка со спичками, Колокол, Капля воды, Воротничок — и вы согласитесь со мною.

Боже мой, как я зачитывался ребенком этими сказками! Забытый, презираемый, я ушёл в себя, и моя голова много работала. Нигде поддержки, в будущем темно, ни откуда теплого слова... Вдруг попадаются сказки Андерсена. Пахнуло чем-то свежим, дружеским участием, надежда улыбалась! Я ставил себя в положение гадкого утенка; я декламировал:

Позолота сотрется –  
свиная кожа остается.

Или —

Жизни тот один достоин,  
Кто на смерть всегда готов.

До сих пор у меня еще не исчезло это впечатление детских лет; до сих пор с именем Андерсена связано у меня что-то благоухающее, что-то высоко-благородное, чистое.

Сказки Вагнера, без сомнения, порождены влиянием Андерсена. Пимперле, например, очевидно навеяны сказкою Оле-Лук-Ойе, а Курилка так просто представляет новую и более реальную вариацию сказок Воротничок и Штопальная игла. Но сказки Вагнера представляет уже следующую ступень развития сказки.

Андерсен — поэт по преимуществу. Его более занимают вопросы чисто нравственные, он преследует отступлением от морали; но социальные идеи или туманны, или слишком азбучны. Он почти не решает вопросов. Он простой человек, поэтическая натура,

непосредственная, как говорится. Он мало образован. Нет высоты содержание, более серьезной, чем сердечные ощущения, догадки талантливой, сама собою развившейся натуры. Притом почти все его идеи вложены в такую форму, которая мало напоминает жизнь; нет ни одной сказки-рассказа; почти все образы имеют внешность символическую. Сказки Андерсена представляет первую ступень в дальнейшем развитии сказки из чисто волшебной. К сказке Вагнера делают следующий, и большой, шаг вперед; его сказки — это уже порождение нового времени, они наиболее удовлетворяют наше поколение. Но и его сказки ещё не идеал; идеал это ещё в далёком будущем — это полнейший реализм. Но до этого ещё далеко!

Вагнер — ученый. Многие его сказки есть только развитие, образное представление увлекательных, широко обобщающих научных теорий. Таковы, например, сказки: Фантазмагория, Песенка земли, Берёза, и от части Милла и Нолли (в целом очень неудачное, об чём ниже). Тут вы находите наглядное развитие идеи о бесконечном колдовстве материи и того, что всё, начиная с камня, продолжая растением и кончая животным, — есть только стадия постепенного развития одной и той же великой мировой идеи — жизни, стремление природы к самосознанию. Какая широкая идея!

Но выше всего в его сказках идея социальная, над которыми высится завет Христов: «приди ко мне все нуждающиеся, и аз успокою вас». Нравственность, общественная жизнь, наука — всё поглощается этим высоким заветам.

Вот вам сказка «Два вечера»; краткое её изложение лучше уяснит наши слова. Учёный добился всего: он завален грудой патентов, дипломов, отличий. Но каковы же результаты его деятельности? «Суета сует и вечная суета», Шепчет он, уже одряхлевший и близкий к смерти. Где же выводы из всей этой массы знаний? Где руководящая идея? спрашивает он; и ему вспоминается слова матери, когда он был еще ребенком: кто много знает, тот много любит; тот умеет прощать, потому что кто знает всё — значит — простит. Куда же девалась это всепрощающая любовь? Как могла затеряться эта руководящая нить? Все эти знания-бесплодны, мыльный пузырь, в котором играет радуга; они так убийственно мелочны в конце концов. Бедный старик убит этим обидным сознанием ... и вдруг взор его падает на заброшенное старинное распятие, доставшееся ему от матери. Уже умирающий — он подползает к этому дорогому символу, обхватывает его и умирает — с горьким сознанием того, что он ничего не сделал полезного людям.

Вот вам другая сказка *Счастье*, проникнутая тою же идеею. Тот же — ученый. Он бросает свою родную семью, не удовлетворяясь узким семейным довольством; его родня — шире, он будет рад только общию радостью всех членов человеческой семьи. Он всю жизнь трудиться на пользу всех и достигает хотя кое-какого реального осуществления своих стремлений; но и он умирает, не сделав всего и не зная конечной цели, и только перед смертью блеснул ему настоящий свет. Прекрасно, трогательно и полно глубокой мысли окончание этой сказки.

«Народ сбегался толпами к его трупу и стал перед ним с немим благоговением и тихими слезами.

—Бедный горемыка! сказала одна женщина, у него не было ни отца, ни братьев, ни семьи, ни родных!

—Неправда, сказал высокий старик с большой седой бородою. Неправда! У него была большая семья: все были его дети и братья. Он был наш старший брат и шёл впереди нас со своим светильником в руках и этот светильник светил всему миру. Он был наш родной, его радость была нашей радостью, и его счастье нашим большим счастьем!

И дряхлый старик с трудом встал на колени и поклонился до земли телу усопшего, а за ним весь народ стал на колени, крестясь и говоря:

—Господи! Пусть в лучшем мире окружает его вечный покой и вечное счастье!»

Вагнер — достойный сын своей родины; он болеет нуждами своего времени, общества, в котором живёт. Ведь, это то и дорого нам в писателе. В наше тревожное время он затрагивает социальные вопросы, отношения между людьми; указывает, наконец, выход из тяжелого положения.

Из первого издания остались только две сказки. Из этой серии: *Майор и Сверчок* и *Дитя Пуд*; но их смысл уже слишком запутан аллегорией. Ребёнок не поймёт (говорю по опыту) сути рассказа сверчка о драках между запечными и полевыми сверчками, хотя сказка ему и нравится по своей образности и живому, часто удачному звукоподражательному языку. Ребёнок также не поймёт толстого Дядю — Пуда, у которого такое хорошее червонное сердце, он даже не отнесется к нему, как следует. Я читал сказки Вагнера детям, и они очень досадовали, что веревка оборвалась, когда вешали Дядю — Пуда, и что следовало бы в таком случае (самое верное средство избавиться от него) отрезать ему голову. Говоришь им, да ведь у него настоящее червонное сердце, он добр бесконечно и



хотел бы всею душою принести людям пользу, страстно хотел бы работать, да не может найти работы-то, не знает, как применить свои силы — за что же его казнить — Да что с ним делать, говорят мне, чем кормить его? Ведь он всех объест! — Очевидно, дети совсем не поняли смысла этой сказки, им это извинительно, так как и взрослые-то не все понимают. Но Дядя-Пуд задевает весьма серьёзный вопрос и представляет одну из лучших сказок Вагнера. Что же он такое — этот Дядя Пуд, который ищет себе дело и не находит, берется за всё, и никуда не годится, вечно голодает, и всё-таки безобразно толстеет, которого и смерть не берёт, и у которого такое детски чистые, доброе сердцем? Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что оболочку Дяди — Пуда заключена идея о пауперизме и пролетариате, этих язвх современной цивилизации, и весь рассказ написан, очевидно, на тему изречение Щедрина: «Россия — государство обширное, обильное и богатое — да человек-то глуп, мрет себе с голоду в обильном государстве».

Но вот вам же не сказка в обыденном понимании этого слова; это — сама жизнь, горькая, безотрадная, страшная по своей неправде. Я говорю о сказках: «Новый год, Без света, Любовь великая, Себе на уме».

Царство лжи, непроходимость, рвущая сердце бедность, неестественность, вопиющая несправедливость в отношениях между людьми, пустые мелочи, читаемая необходимость в жизни, ложное благотворительность, угнетения беззащитных — всё это вопит со страниц, начертанных Вагнером; всё это осядет на душе ребёнка, воспитать в нём гражданина. Это уж сама жизнь, без всяких условных аллегорических образов. Единство такое и будет, может быть, сказка для детей; Но об этом я уже говорил в начале статьи.

Выше всего я ценю рассказ Без света. Он просто, задушевно, высшей степени реален и исполнен глубокого, не театрального трагизма. Один рассказ голодовки все деревни чего стоит, не говорю уже о превосходно выполняемым характере крестьянской девочки с поэтической натурой. Нельзя передать, не портя впечатления, содержание этого рассказа в нескольких словах, читатель должен прочесть его сам. Да я и желаю выяснить главным образом только общий дух всех сказок, общую их цель.

Жизнь, которую живописует Вагнер, печальна, и над нею царит полное отчаяние. Где же выход из этого моря слез, без исходного горя, житейской муки и нравственного блуждания? Ответ есть. Ярко светит над этою тьмою божественный символ — крест с распятым страдальцем.

Этот символ наш, мы его исповедуем, мы крестимся детьми во имя его, — но что же мы имеем выше обрядности? Мы лицемерно призываем имя этого страдальца — и только сквернословим. Мы язычники, — кто хотите, но только не христиане; мы не хотим понять главного завета Христова: «заповедь новую дал вам: любите друг друга». Это девиз Вагнер, которым он глубоко проникнут, и которым проникнуто всё, что он писал и говорил.

«Нет жизни вне любви, ибо вне любви одно холодное мёртвые движения, действующее, как машина, повинующаяся безчувственному, механическому закону. Номер не может понять, что все живет любовью, что в ней связующая крепкой силой, что без неё смерть и разрушение — законно, неотразимая разложение трупa. Любовь идет впереди всего. Она идёт впереди истина, впереди знания, впереди мыслей». (Свет, 1877 г. N7, стр. 141–142).

«Дарвин установил закон борьбы за существование, беспощадный царящий среди органического мира — ты констатировал более гуманный и отрадней закон общественности и взаимопомощи. Тебе его подсказало твоя добрая душа. Это последняя твоя заслуга не оценено ещё по достоинству; но придёт время, когда науки и общество сблизятся, сольются, тогда твоё славное имя украсят венцом бессмертия». (Из речи, сказанной на могиле К. О. Кеслера, 6 марта 1881 г.).

Чтобы выяснить ещё лучше идеи, волнующие Вагнера, я приведу в отрывках биографию Кота-Мурлыки. Это кстати познакомит читателя и с манерой изложения, и с языком Вагнера.

«Он (кот) любил науку — терпеть не мог ученых. Любил искусство — и ненавидел искусственников, в особенности тех, которые всю свою жизнь пели фальшивые ноты. Бедный кот был немного помешан. У него была одна *idée fixe*, от которой не могли освободить его все европейские и американские эскулапы. Я, говорил он, родился на свет вниз головою, и с тех пор всё на свете мне кажется вверх ногами. Наверху стоят сильные и прекрасные золотые тельцы, перед которыми многие преклоняются или, по крайней мере, скачут и пляшут на задних лапках, а мне кажется, что наверху стоят все самые маленькие червячки, которые весь день-деньской роются в земле из-за насущного хлеба; стоят потому, что первые должны же быть когда-нибудь последними... наверху стоит стол прогресса с рукой, указующей, куда идти людям, а мне кажется, что этот столб давно лежит на боку, а на нём лежат люди, твердя в умилении сердец: *chi va piano, va sano* (чем тише, тем лучше). Наверху стоит истина, вечно влекущие на свободу созданного фактом, — а мне

кажется, что наверху курятся те самые старые курильницы, которые стоят там со времени древних авгуров, внизу... но внизу нельзя ничего разобрать за облаками одуряющего дыма... Ах! скоро-ли же мне представится, что люди ходят вверх головами и не болтают ногами по воздуху?

Кот не мог отогнать этих неотвязных идей и, чтобы развеять свою тоску, принимался говорить детям сказки.

Ну и тут он не знал покоя. И тут к нему приставали разные „крючковторы“, которые разбили каждую его мысль, каждое слово.

—Что это ты сентиментальничаешь, говорил один крючковтор. Разве идут эти нежности к твоим седым усам?

—Поди, выдуби свою кожу, говорил Кот, — и сердце также, если тебе покажется это лучше. — Я тебе не мешаю.

—Что это ты сам себе противоречишь? говорил другой крючковтор.

—Только одна палка не знает противоречий, ворчал Кот, — я не хочу быть палкою.

—А зачем ты рассказываешь детским языком не детские сказки? спрашивает третий крючковтор. — Разве могут понимать тебя дети?...

Но тут Кот терял всякое терпение. Он вскакивал и с яростью накидывается на всех крючковторов.

—Да вы кто?!... кричал он. Разве вы сами не дети в общем росте того ребёнка, которого зовут человечеством, ребёнка с уродливой, тяжелой головой, которая постоянно перевешивает его вниз — Оно, ваше великое человечество, прожило столько веков, и до сих пор не знает: который ему год; — до сих пор оно не может освободиться от старых пеленок, или от помочей, на которых его вводят. — Каждую минуту оно готово драться, царапаться до крови за каждый клочок дрянной земли, за всякую пустую погремушку. — Оно хвастает своим знанием, и до сих пор не может прочесть одного слова: „Человечность“, первого всемирного слова, которому учил его более восемнадцати веков тому назад Великий Учитель... — Подите же прочь с вашими вопросами! Подите и поучитесь у этих малых из малых, на которых вы смотрите с фарисейскою снисходительностью! В их сердцах сама природа, простая, прямая, великая. Они старше вас целым поколением; выше вас целую голову, потому что в этой голове уже сложились те пути, до которых добивались ваши отцы и дети, и всё-таки не добились.

Что же!... Может быть сумасшедший Кот и был прав, — хоть немножко?... А впрочем, предоставьте лучше решить этот вопрос — нашим детям».

Да не посетует читатель, что я приведу еще один отрывок. — К чему призывает нас Вагнер? С обычным пафосом он зовет нас: «К свету правда, среди лжи непроглядной, среди тьмы, освещённые всемогущим блеском золота, все покупающего, все продающего и все оправдывающего; — к свету любви бесконечной, среди бесконечного себялюбия и холода расчёта, к свету самоотвержения, среди мрака братоубийства, среди малодушной пошлости и грязи тщеславия; — к свету истины, к свету всеосвобождающего знания, среди тьмы суеверий, среди тьмы предрассудков национальных, личных, общественных, к свету истины, проникнутой любовью, к свету знание руководящего и помогающего бедному, страждущему брату!

К свету! К свету! К свету!» («Свет», 1877 г. N1, стр. 2).

Те вековые вопросы, широко захватывающие жизнь, которые всегда более волнуют юношество, как наиболее живую, свежую (и, прибавим, как наиболее романтическую) часть общества, — эти вопросы проникают все произведения Вагнера. Вот почему многие его сказки скорее сказки для юношества, чем для детей. Детям ещё эти вопросы недоступны; они их не волнуют, им сказка Вагнера может понравиться лишь с внешней стороны.

Особенно они дороги для натур талантливых, гениальных, чутких, нервных, талант которых в их общем развитии. Эти натуры не подходят под общую марку; на них смотрят с презрением, как на бесполезных людей. В детстве — это гадкие утята, забытые, презираемые всеми. Они не имеют никаких рутинных общественных талантов, не умеют, как курица, нести яйца или, как кот, выгибать красиво спину. Для этих натур сказки Андерсена в детстве и Вагнера в отрочестве или юности — друзья-приятели.

Наше общественное в учебных и воспитательных заведениях воспитания и обучения, вообще, рутинно, и до сих пор, особенно с наступлением царствования дурно понятной немецкой педагогики. Между многими его недостатками один из главных в том, что не выделяют их среди других талантливых, гениальных натур, их напротив забывают. А мы должны были бы в видах собственной пользы, польза государственной, выделять таких натур, заниматься с ними особо, а не держать их на том же, на чём держатся обыкновенные умы, для которых умственное развитие наступает позднее, может быть, среди условий самостоятельной жизни. Мы должны

их двигать вперёд и вперёд, заинтересовывать их постоянно, не давая им возможности проводить праздное время. Если не обратить на это самого чувственного внимания, то у таких натур наблюдается явление кажущейся лени (выражение К. Ушинского). Но эти дети не ленивы; им только скучно на уроках, в той обстановке, при тех рутинных приемах, который рассчитаны на среднее развитие; они шагнули, дальше других, может дальше самого учителя, — и что же, они должны терпеливо выжидать, пока учитель по самому изысканному способу пережует для него кашу знания и в рот положит! Причём же тут собственные мозги-то?

Другое, на что я хочу обратить внимание, — это то, что совсем игнорируют индивидуальные потребности, влечение ребенка. У него есть особое стремление, расположение к чему-нибудь одному; и вы, заботитесь об его общем образовании и развитии, должны удовлетворять этим естественным индивидуальным потребностям. Но этого нет, — и молодой человек лентяй, капризен, дерзок; он занимается Бог знает чем, но только не тем чего от него требует. И вот он получает скверные баллы за уроки и поведение и — исключается из заведения...

Боже мой, да разве я новости сообщаю? Вспомните хотя бы в Былинского, исключенного из университета за неспособность. Это Былинский-то, гордость нашей литературы! Вспомните Помяловского, которого семинаре считали тупицею...

И часто бывает, что талантливые молодые люди не находя себе живой пищи во всём строе их рутинной, искусственной жизни, набрасывается на чтение; читают всё, что можно читать. А так как в них уже зарождается протест против существующего кругом них порядка, то им особенно дороги те книги, где этот протест уже выражается. В детстве они будут читать сказки Андерсена, постарше сказки Кота-Мурлыки, потом перейдут к Белинскому и Добролюбову. И, хотя в указанных сказках иногда здоровая мысль и достаточно закутана, но малейшее ясное выражение, малейший ясный намек — всё понятно, и толчок был дан. А у Вагнера эти намеки в большинстве случаев достаточно ясны. И вот подобные книги мало по-малому воспитывают из ребёнка разумное создание.

Итак — у кого есть дети, и кто желает воспитать из них не баранов общественной жизни, а разумно действующих существ, граждан, полезных действительным нуждам своего отечества, тот пусть составляет библиотеку своим детям из книг, подобных сказкам Андерсена и Кота-Мурлыки, сообразуясь, конечно с возрастом и развитием ребёнка. У нас, хотя и немного, но всё-таки существу-

ют такие книги; например, *Маленький герой*, *Нашим детям*, *После труда*, *Муравей*, сочинение Анненской, *Маленький оборвыш* и т. д. Кроме того, пользуйтесь сочинениями, писанными для взрослых, например сочинениями Диккенса. Восьмилетний ребёнок, будьте уверены, будет слушать с большим удовольствием повесть о реальных приключениях, например, маленького Оливера Твиста, чем самую наиволшебнейшую сказку; а о пользе я уже не говорю<sup>1</sup>. Но, главное, не стесняйтесь именами авторов; у многих второстепенных или забытых уже писателей, как и у самых знаменитых, есть сцены из детской жизни, которые написаны так наивно, так просто, что они представляют самое подходящее чтение для детей. Укажу, на первый раз например, роман Фёдорова: «Своё и наносное», из которого я уже приводил отрывок; на начало романа «Кабанис» Алексиса (Виллибальда), на начало романа «Джейн Эйр»<sup>2</sup> и много других. Но, помните только, что все эти сочинения будут тогда только производить настоящие впечатление на детей, когда вы будете сами читать им, а не сунете только в их руки и тем почтете дело своё конченным. Нет у вас времени — читайте два раза, даже раз в неделю, — посмотрите, с какою радостью дети усядутся около вас, с каким нетерпением буду ждать этого момента. А потом не беспокойтесь, придет время — будут читать и сами.

Возвращаюсь опять к сказкам Вагнера.

Что меня удивляет, это то, что в числе сказок есть и такие, которые вносят в общий тон их некоторую дисгармонию. Таковы, Например, сказки: «Два Ивана» и «Бабушка Макрина Прокоповна». По этому поводу я должен объясниться подробнее.

Читаешь первую из указанных сказок и, как думаешь, делать в следующий вывод: сказка представляет апофеоз глупости и слепого счастья. Умный Иван (а он действительно умный), что не делает, ничто ему не удаётся, — слепое счастье, глупая судьба служит ему мачихою; дураку же брату (а он подлинный дурак) всякая глупость прок идёт. Подобная мораль очень примитивна и имеет и ещё смысл в сказках народных, где Иванушке-дурачку всегда везёт счастье, но дело в том, что там дурак-то не совсем дурак, а умные братья — только к слову умные. Там мораль понятно; она есть протест здорового поэтического народного духа против насилия, кулачества; бесхитростный человек вмещал этими сказочными образами умни-

---

<sup>1</sup> Как не прочитать детям напр., рассказ Ф. М. Достоевского: «Мальчик у Христа на елке»?

<sup>2</sup> Коррер-Белль, (Шарлоты Бронет).

цам — кулаками. А у Вагнера дурак — подлинный дурак; ни один его поступок не носит ни малейшего оттенка лукавства, хитрости, скрытого ума, как это бывает у дурака народных сказок.

Умный Иван у Вагнера — доподлинно умница, и, что главное, совсем не бесчестный человек, он дураку и не завидует, а его только бесит нелепая игра слепого счастья. Не то в народной сказке; там старшие братья страсть завистливые, нечестные, пользуются всяким случаем, чтобы воспользоваться плодами трудов меньшего брата; они устраивают ему различные каверзы, от которых, он по требованию народной справедливости, дурак (он же и Иван-царевич) всегда спасается каким-нибудь чудесным образом или собственной хитростью. В сказке Вагнера, повторяю, старший брат совсем не таков. Едет он домой после неудачи, когда не он, а брат его сумел распотешить царя (заметим — самым глупым образом). «Едет он и злится, злится. Я, говорит, подожду, подожду, пока народ честной узнает, что за штука за такая счастье да удача, да пока дуракам счастья на свете не будет! Ну и ждёт до сих пор, всё ещё не дождался».

Вот какой вывод сложился в голове обыкновенного читателя; того-ли хотел автор? Но во всяком случае, хотел-ли Вагнер поставить вопрос о несправедливости счастья, о его стихийности, хотел-ли сказать, что важнее ума чистое сердце — во всяком случае сказка к этим выводам не приводит; следовательно, вполне непригодна для детского чтения.

Другая сказка: «Бабушка Макрина Прокоповна», кажется какую-то сочиненную. Смех в ней искусственной, остроумие дешёвые, в общем натянутость, неестественность, воспитательного значения очень мало. Потому мало, что в ней царствуют какая-то недалеко, легкомысленная насмешка. Бабушка, конечно, незавидная женщина, но она-ли виновата, вот вопрос? Я-то пойму, кто виноват, а дети, даже юноша лет 16, поймет-ли? «Всякой вещи гляди в корень», заповедь русской литературы незабвенный Кузьма Прутков, и это изречение должно быть девизом всякого мыслящего человека, хотя бы и детского писателя. Типы, подобные бабушке Макрин, должны писаться кистью Дикенса или Гоголя, они должны быть проникнуты не легкомысленным смехом, а глубоко содержательным юмором; отрицание же явится само собою.

В сказке Новый год рассказывается о хорошем человеке, из ничтожества пробившем себе дорогу к высокому положению в жизни; но и тут он помнит своё печальное прошлое и посвящает всю свою жизнь на борьбу со злом. Он обращает главное внимание на ужасное

положение несчастных детей в бедных семействах; он состарился в этой борьбе и, уже близкий к закату своей благородной жизни, с ужасом чувствует, что он побежден в этой неравной борьбе «с тем чудовищем, которое зовут людской бедностью». Он, грустный сидит под новый год в своём кабинете и, под влиянием таких печальных мыслей, галлюцинация рисует перед ним два отвратительных образа; но дадим говорить Вагнеру.

«Пред ним стояло отвратительное чудовище — грязное, худое. Оно дрожало от холоду, и едва ворочало коснеющим языком. Его костлявое тело выглядело из множество дыр обдерганного, обтрепанного рубища. А сзади его, смеясь, самодовольно шло другое чудовище, еще более отвратительное, — чудовище страшное своею бесчеловечностью и силою. Оно блестела Иудиным золотом. Оно хохотало пронзительно — и при этом тряслись его длинные пейсы и остроконечная борода... Оно шло на смену и было непобедимо...»

Тут опять читатель сделает следующий, невыгодный для автора вывод: «Да разве жида виноваты, что у нас бедность? Если бы только одни жида! Как бы легко было тогда устранить всякое горе бедного, забитого человека!»

Может быть, здесь автор хотел представить только символ эгоизма в наиболее подходящей, популярной форме; но где же понять это всякому? Повторяю опять же, что говорил по поводу Дяди-Пуда: образы должны быть ясны, аллегория вполне понятна и не допускающая двояких толкований. А с другой стороны нужно крайне осторожно пользоваться популярными симпатиями и антипатиями; к чему здесь жида, а никто другое? Это может только поддерживать, и так уже существующую, нелепую национальную рознь и вражду, особенно в детях. При этом заметим, что читатель будет, пожалуй, прав, приписав Вагнеру мысль, что во всем жида виноваты, ибо и в «Свете» встречаемся с подобным же обвинением. «Древний Вааль высоко вознесся над новым человечеством, и отверженный, некогда гонимый, разъяренный по лицу земли народ иеговы гордо встал жрецом верховным перед жертвенником золотого тельца, собирая лепты труда со всех народов». Это уже не символ, кажется, а прямое обвинение. Странно только встречать такое обвинение вышедшим из-под пера человека, который зовет «к свету — среди тьмы предрассудков национальных»; странно, что он забывает, что ученье о наивысшей гуманности родилось среди жидов же, что Спиноза, Гейне — жида, что в средние века высоко держали знамя науки одни из главных — презренные жида, что этот несчастный народ столько горя вынес на своих плечах, столь-



ко вопиющих несправедливостей. Не лучше-ли было бы посвятить этому народу особую сказку вроде Дяди-Пуца?

Также производит дурное впечатление сказка Милла и Нолли; в ней царствует какой-то расплывчатый идеализм и сентиментальное нытьё. Сколько там разных диковинных, сказочных приключений, ни к чему не ведающих, ничего не объясняющих, — и так растянута это сказка! Вопрос о жизни и её значения теряется в ненужном хламе, и самый вопрос поставлен чисто юношески, носит какой-то ноуший, мечтательный характер.

Сказки: «Бова» и «Себе-на уме», уже не знаю, почему попали в этот сборник; что в них интересного для детей? Они, если и могут быть интересны, так только для взрослого человека. Это доказывает и первоначальное появление очерка «Себе-на уме» не в каком-либо детском журнале, а в литературном прибавлении к газете «Неделя» — в сборнике повестей и романов. А Бова? Бова не понятен хорошенько даже и взрослому человеку; если же его и понять, то лучше бы его и не печатать: в нём ничего нет оригинального.

К неприятным сторонам сказок надо также отнести неумеренное пользование романтическими эффектами: то уличный мальчишка делается генералом, то внук тряпичник а оказывается графом, и т. д. — и всё это нисколько не нужно для выяснения идей сказки.

В заключение еще одно слово о недостатках. Жизнь не балует нас — это верно, но ведь есть же какая-нибудь цель в нашей жизни, достигаем же мы чего-нибудь, удовлетворяемся же чем-нибудь, — иначе, и жить не стоило бы; а в сказках Вагнера вся жизнь приводит именно к такому неблагоприятному выводу. Это уже положительный недостаток. Приходится спросить г. Вагнера: для чего он написал и издал свои сказки — Для того, чтобы пробудить в детях сознательное отношение к жизни. Да ведь ваши же сказки говорят, что это сознательное отношение ведет к нулю, к чему же оно пригодно — Право, это похоже на белку в колесе. И тем более это обидно, что под живым пером Вагнера, так умеющего говорить с детьми, могли бы вылиться такие увлекательные картины реальных задач жизни, которые бы принесли несомненную пользу, более важную, чем поставленная им грозная дилемма.

Теперь специально об языке и способе изложения этих сказок.

Всякий писатель для детей должен быть глубоко оригинален. Оригинальности его, кроме мировоззрения и создаваемых образов, главным образом в языке; оригинальность языка — это главное оружие детской книги. Язык Вагнера тоже оригинален; он образен,

тепел и страстен чисто юношески, как это и может видеть читатель из приведённых образцов; от этого языка веет чем-то за душевным симпатичным. В этом отношении язык Вагнера похож на язык Руссо, Диккенса, Белинского и покойного Достоевского. Но у него, так же как и у этих писателей, изложение иногда страдает излишними длиннотами; вполне выдержаны только коротенькие сказки: «Курилка», «Песенка земли», «Майор и сверчок», «Дядя-Пуд» и «Два вечера». В остальных сказках изложение иногда затягивается, есть лишние эпизоды, только ослабляющие интерес общего содержания; так в «Пимперлэ» в начале есть несколько картин природы (ловля трепанга, ловля рыбы), которая совсем неуместна по отношению ко всей сказке, хотя сами по себе интересны для детей, но требуют посторонних объяснений со стороны руководителей, вследствие чего затемняется идея сказки. А ведь Пимперлэ, этот гений счастья, довольства судьбою, простоты, естественности, резвого, простого смеха, отчасти шаловливое созданище будет нравиться только маленьким детям, но он слишком растянут для этого; — очень жаль, потому что идея этой сказки и её общее выполнение очень грациозны, так что забывается даже ее мистический конец. Также есть лишний эпизод и в прекрасной сказке «Чудный мальчик»: разговор царевны Меллины с Вовком, Чилигою и Соколом. Не говорю уже о сказке «Милла и Нолли», которая растянута безобразно.

Как на одну из оригинальных черт языка Вагнера в его сказках нельзя не указать на умение пользоваться звукоподражательными решениями, которые в высшей степени одушевляют язык, делают его восхитительно милым для маленьких детей, особенно в устах хорошего чтеца. В этом отношении безукоризненно хороши «Курилка и Майор» и «Сверчок».

Андерсен также оригинален; но он не страстен. Его душа любящая, короткая; он немного меланхоличен. Язык его всегда выдержан, изложение не страдает длиннотами. Он замечательно схож по языку и способу изложения с Гейне в его мелких лирических стихотворениях; да он и сам говорил, что все его душевные страдания воспеты Гейне. Из сказок Андерсена я исключил бы охотно только несколько сказок, — из тех, фабула которых взята из народных сказок, — это Огнива, Николка малый и Николка большой, а в особенности сказка Спутник, которые не советуют давать детям. Остальные сказки — безукоризненны; лучшие уже перечислены мною. Мастерское изложение, выдержанность этих сказок — причина того, что издавна уже они попадали в различ-

ные детские сборники, хрестоматии и т. п. Дождётся ли этой чести Кот-Мурлыка?

Последняя сравнение Вагнера с Андерсеном. Посмотрите сказки последнего — и вы увидите там лица, предметы, понятие, верования — словом, всю жизнь, родную Андерсену; ничего чужого вы в них не найдёте. Не то у Вагнера; его фантазия часто гуляет Бог знает где, на каких-то необитаемых островах; вы встречаетесь с Полями, Жанами, Жаками, Миллами и Ноллями. От чего же не Павлы, не Иваны, не Яковы и т. д.? ведь есть же сказке, где фигурируют Васины, Матушки и т. д. Сказка ведь от этого не делается прозаичнее, а приобретает только здоровый реальный оттенок. Особенно неприятна в этом отношении первая Сказка, которая написана с целью выяснить ребёнку значение сказки вообще; тут земля Трухтанская, царство Мурзаханское, царь Альбазар с царицею Няяною и дочкою Альмарою, Ашур-Тур, аксайский князь, Елизар Альманзарыч и т.п. белиберда. Самое содержание этой сказки живо напоминает грубые переделки рыцарских романов у наших доморощенных книжников, в роде Гуака, и т. д.

Рисунки, бесспорно, хороши, но они серьезны их очень мало; дети любят рисунки небольшие, помещенные в текст; любят чтобы их было много, чтобы они были живы, сделаны бойкими штрихами. Таковы рисунки в книге Андерсена, и так рисовать умеют только немногие, — напомню Гранвиля.

Я сказал всё, что мне казалось нужным, по поводу сказок Вагнера. В заключение только обобщу всё сказанное мною.

Из всех до сих пор существующих сказок и русских и переведённых для русских детей наиболее полезны сказки Вагнера. Лучшие из них: «Курилка», (для самых маленьких детей), «Пимперлэ», «Чудный мальчик», «Папа-Пряник», «Берёза», «Майор и сверчок», «Дядя-Пуд», «Без света», «Счастье», «Старый горшок», «Любовь великая» и «Два вечера». Мерилом для этого выделения служит полное сочетание внутреннего содержания с формою; но и из остальных есть очень хорошие сказки, — впрочем, это уже отчасти дело личного вкуса читателя.

Второе издание хотя и увеличило объем книги, но мало прибавила к его внутреннему достоинству. Прибавлены сказки: «Фея-Фантаста» (вместо предисловия), «Сказка», «Два Ивана», «Пимперлэ», «Дедушкина поле», «Фантасмагория», «Новый год», «Без света», «Бабушка Макр. Прок.», «Себе-на-уме», «Божья нива», «Любовь Великая», «Бова»; но из них только «Пимперлэ», «Фантасмагория», «Без света и Любовь великая» — действительно ценны.

Издание очень изящно, бумага хорошая, но, к сожалению опечаток и достаточно<sup>3</sup>, ибо печатано в типографии Суворина, славящейся плохими корректурами. Цена вполне добросовестная — 2 рубля.

---

<sup>3</sup>мальчик (39), потому, что согласитесь, ведь это большая честь (39), вертеться (42), всетаки (42) ченух (вм. чепуха) (43) ничто, иное как (46), немеет (стр. 185), дрожит (185), цивилизации (вм. -ция 189) философия (190) спесив (198) за то (союз — 200), чтож (200), куда глаза глядет (217), начетвертом году (217), плодит (вм. -дить, 221) зеленою (221), маленькия зубы (223), блаж (223), Недостает (423), простыя деревянныя стулья (459), рубашечьку (493), хорошенькия, бедныя пальчики (495), — но довольно и этого.

*3-ский П.*

## СВЕТ И ТЕНИ

(Сказки Э.Топелиуса, профессора Александровского университета в Гельсингфорсе. Перев. с шведского А.Гурьевой и М.Гранстрем. С.-Петербург. 1882).

### I.

Сказки Топелиуса переносят читателя в ту страну, где более полугодом царствует зима, где в длинные, зимние вечера в избах, на очаге, трещит пламя смолистых поленьев, где посреди угрюмых лесов, как голубые зеркала, блестят озера, шумят водопады, где весна наступает почти с фантастической быстротой — в одну ночь, — одним словом, читатель переносится в Финляндию, которую наш поэт так картинно и полно охарактеризовал в нескольких строках...

Суровый край! Его красам  
Пугаяся, дивятся взоры...  
На горы каменные там  
Поверглись каменные горы;  
Синея, всходят до небес  
Их своенравные громады;  
На них шумит сосновый лес,  
С них бурно льются водопады.  
Там холм очей не веселит:  
Он лавой каменной облит...  
Главу одевши в мох печальный,  
Угрюмым сторожем стоит  
На нем гранит пирамидальный...

В сказках Топелиуса очень хороши описания природы, описания — сжатые, живые и поэтичные. В этих описаниях, разбросанных понемногу там и сям, сказывается горячее, непосредственное чувство, любовь к природе и сознание той крепкой, неразрывной связи, которая, несмотря на видимое разнообразие, соединяет все живое, все живущее в одно целое... Человек развитый, чуткий и восприимчивый никогда не чувствует себя в мире отрезанным ломтем;

он всегда чувствует в себе биение того же самого общемирового пульса, который трепещет и бьется во всем его окружающем, начиная с фиалки и кончая жаворонком, поющим в глубокой синеве небес; этот человек всегда сознает, что он составляет собой лишь атом одного великого целого, никогда не умирающего и вечно лишь перерабатываемого силами неувядающей, вечно юной матери-природы... О таком-то человеке именно можно сказать, что он «слышит трав прозябанье», что для него «небесная книга ясна», что «с ним говорит морская волна».

Вот это-то сознание общей мировой связи и сквозит почти во всех сказках Топелиуса и составляет одно из первых достоинств их.

Также точно во всей книжке сказывается доброе, доброжелательное чувство автора. Очевидно, автор писал свою книжку для детей с добрыми намерениями... В своих сказках, при помощи всяких аллегорий и иносказаний, Топелиус старается будить в детях добрые, лучшие инстинкты человеческой природы — чувства сожаления к бедному, беззащитному и слабому, стремление к свету, к знанию, к правде и справедливости, любовь к родине... Миром, кротостью, незлобием веет от сказок Топелиуса так же сильно, как сильно веет смолистым запахом от сосновых финляндских лесов. Даже самые остроты и насмешки над людскою глупостию в устах автора звучат как-то мягко, снисходительно, как выговоры и насмешки, обращенные любящею матерью к неразумному, но милому для нее дитяти. Старинные мифы, преданья и верованья, выражающие собой народное мирозерцание, в сказках Топелиуса нашли свое воплощение — иногда в очень грациозных, прекрасных образах, (как, например, в сказке «Празднование Рождества у Трельдов» и др.). Детская вера и наивность разлиты во всех сказках, и они придавали бы сказкам большую прелесть, если бы не переходили за пределы возможного...

От великого и до смешного, как уже давно сказано, — один шаг. Так же близок переход и от любого достоинства — к недостатку. Именно такого рода переход замечаем мы, к сожалению, в сказках Топелиуса... Мы видим, как сочувствие к ближнему, чувство во всех отношениях почтенное — переходит у автора в сентиментальность, а детская вера и наивность превращаются в какой-то таинственный, загадочный мистицизм, порой даже заставляющей автора договариваться до апокалипсических потемок. Таким образом, вместо здорового, ободряющего сочувствия, является приторная слащавость, а место наивной детской веры заступает какой-то мистический ту-

ман, а затем все это, вместе взятое, разумеется, не может вообще никого увлечь, а детей — в особенности.

После прочтения каждой сказки, ощущается некоторое — более или менее сильное разочарование. Ни одна сказка не удовлетворяет вполне читателя, ни одна сказка не производит живого, цельного впечатления...

При этом нам невольно вспоминаются «Сказки Кота-Мурлыки», и тут-то представляется воочию вся та громадная разница, какая оказывается между сказками Вагнера и сказками Топелиуса. Почти каждая сказочка Вагнера навсегда запечатлевается в памяти читателя, как в высшей степени художественно нарисованная картина. Переберите все эти сказочки, начиная с менее значительных (в роде «Курилки») и кончая лучшими, (как, например, «Два вечера», «Макс и Волчек», «Песенка земли» и проч.), — и вы найдете в них одни и те же хорошие качества, одни и те же достоинства и вынесете одно и то же целостное впечатление.

Лучшие же из сказок Топелиуса (как, например, «Празднование Рождества у Трельдов») представляют собой лишь ряд отрывочных картинок, правда, иногда мастерски написанных, живых и рельефных, но в целом сказки все-таки оказываются темноваты или водянисты. Слащавый тон и различные, совершенно излишние, мистические прибавления, затемняющие смысл рассказа, расхолаживают хорошее впечатление, получаемое от отдельных картинок и сцен. К тому же автор еще склонен читать нравоучения, преподносить детям прописную мораль в ее голом виде, а это, как известно, значит — уже окончательно портить все дело... Нравоучения и мистический туман отталкивают детей, а явное неправдоподобие, встречающееся в книжке Топелиуса, неминуемо должно подрывать в детях «веру в сказки», — если можно так выразиться. Погрешность автора состоит в том, что он слишком широко воспользовался для своих произведений архивом народных суеверий и легенд, не делал из них более строгого выбора и при этом злоупотребил элементом сверхъестественного.

Как уже не раз было говорено на страницах «Педагогического Листка», мы — не против фантастического элемента в детской литературе. Только должно, чтобы фантастика достигала своей хорошей цели. А достигать своей цели она может лишь тогда, когда автор, пользующийся ею, одарен необходимым чувством меры, когда он знает границу, дальше которой, даже в сказках, нельзя перелетать на крыльях воображения — без ущерба делу. Сказка, несмотря на всю свою фантастичность, должна все-таки носить облик дей-

ствительности, должна походить на правду, дабы дети относились к ней с должным вниманием и с серьезностью. Если ребенок, читая сказку, скажет про себя: «Все это — вздор, ложь!» тогда все пропало, все благие намерения автора разлетятся в прах: сказка не займет маленького читателя и не даст работы ни его чувству, ни уму. Сказка, при всей своей фантастичности, не должна представлять логических безобразий и явных, вопиющих нелепостей. Ребенок должен видеть в ней не какую-нибудь чепуху, но как бы своего рода действительность, несколько необыкновенную, чудесную, но вместе с тем такую, которая не противоречила бы здравому смыслу ребенка и его понятиям о возможном. Только такая сказка точно дойдет по назначению и вполне достигнет цели.

О большинстве же сказок Топелиуса этого сказать нельзя...

Чтобы не быть голословными, мы передадим вкратце содержание двух-трех сказок и — надеемся — читатель сам увидит и согласится с тем, что слащаво-мистический тон и нравоучения очень вредят сказкам Топелиуса, иногда в частности очень удачным по исполнению и почти всегда прекрасным по замыслу.

## II.

В сказке «Две сосны» перед читателем являются Сильвия и Сильвестр, дети дровосека. Они так добры, что жалеют даже зайцев и куропаток, попадающих в сети, и выпускают их на свободу. Старые, очень старые сосны поют детям хорошие песни о том, что они, «два старые друга, стоят некрушимо», а между тем — «свирепые бури, метели и вьюги, дожди, непогоды кругом»... и заканчивают таким ободряющим воззванием:

Растите же, дети,  
Велики и сильны,  
Как мы, не страшитесь невзгод,  
Свет истины светит  
Для всех вас обильно!  
Идите же смело вперед!

Когда отец приходит с топором и хочет срубить эти две старые сосны, дети горячо заступаются за них: он пели им такую хорошую песенку. Старый дровосек соглашается не трогать этих сосен. «Вы спасли нашу жизнь и этим сделали доброе дело!» — говорят детям сосны. «Теперь просите от нас по подарку, и чего бы вы ни пожелали, все вы получите!» В ту пору стояла студеная зима. И Сильвестр



сказал: «Я бы хотел, чтобы теперь хотя немного засветило солнце»... А Сильвия пожелала, чтобы «опять настала весна и снег начал бы таять; тогда бы и птички снова запели в лесу». Сосны сделали для них более... «Ты, Сильвестр, — сказали они, — будешь иметь такой дар, что, куда бы ты ни пошел и на что бы ни взглянул, везде вокруг тебя будет светить солнце. А ты, Сильвия, получишь тот дар, что куда бы ты ни пошла и когда бы ни открыла ротик, везде вокруг тебя будет весна и снег начнет таять»... Дети в радости побежали домой. По дороге Сильвестр куда бы ни взглянул, везде видел перед собой ясный луч солнца, сверкавший, как золото, на сучьях деревьев. А Сильвия замечала, что снег начинал таять по обеим сторонам тропинки, по которой они шли. «Посмотри, посмотри!» — крикнула она брату, и едва успела открыть рот, как зеленая травка стала показываться у ее ног, деревья начинали распускаться, и высоко в синеве неба послышалась первая песнь жаворонка... Отец с матерью удивлялись. Хотя уже стемнело и наступил вечер, в избушке все еще как будто сияло солнце, пока Сильвестр не заснул. И несмотря на то, что была глубокая зима, пока Сильвия не заснула, в избушке так сильно пахло весной, что даже веник в углу начал зеленеть, а петух принялся петь на своей насести...

В то время король с королевой путешествовали по той стране и на завтра должны были проезжать мимо соседней церкви. Дровосек с женой и с детьми с раннего утра отправился к церкви — посмотреть на королевскую чету. «Когда они подъехали к церкви, там собралось очень много народу, но все были испуганы чем-то; говорили, будто король был очень недоволен тем, что нашел страну такую пустынную и дикою, и потому многие думали, что он, по своей обычной строгости, наложит на страну тяжелые наказания. О королеве говорили, что ей было очень холодно во все время путешествия по Финляндии и что она при этом очень скучала». Но тут у церкви, остановившись для того, чтобы переменить лошадей, сучавшие путешественники вдруг развеселились. «Посмотрите, как вдруг засияло солнце! — вскричал король. — Посмотрите, как прекрасна эта пустынная страна! Взгляните, как ярко освещает солнце две огромные сосны, которые виднеются там в лесу»... — «Здесь должен быть хороший климат! — заметила королева. — Посмотрите только, как посреди зимы распускаются на деревьях зеленые листья». В это время Сильвестр и Сильвия взобрались на изгородь, и Сильвия так много болтала, что засохшая изгородь вокруг нее стала покрываться роскошной зеленью. Дети очень понравились королеве, и она подозвала их к себе. «Слушайте, — сказал им

король, — вы мне очень нравитесь, и глядя на вас, мне становится весело. Садитесь ко мне в сани, я вас повезу в свой дворец; там вас оденут в золотые одежды, и будете вы радовать и веселить всех людей!» Но дети отказались. «Мы соскучились бы у вас по нашим великанам!» — ответили они. «Но нельзя ли взять с собой ваших великанов!» — сказала королева. Великанов, оказывается, взять невозможно: они растут в лесу... Король и королева приказали выстроить для себя дачу в той стороне и отправились далее.

«Сильвестр и Сильвия не замечали, что все, кто бы на них ни взглянул, становились веселыми и добрыми... Пустыня, окружавшая со всех сторон избушку дровосека, мало-помалу превратилась в роскошные зеленющие пашни и богатые пастбища, на которых всю зиму распевали весенние птички... Где бы только эти дети ни находились, там все цвело и зеленело, так что любо и весело было смотреть».

Однажды брат с сестрой пришли к своим старым друзьям-великанам. На ту пору бушевала сильная зимняя вьюга, от которой шумело и гудело в темных верхушках двух огромных сосен. Под шум бури сосны опять запели свою песенку, но не успели еще допеть ее, как буря повалила их наземь. Сильвия и Сильвестр ласково погладили поросшие мохом стволы их и стали говорить им такие ласковые речи, что снег кругом них начал таять, а бледно-красные цветы вереска высоко поднялись над упавшими деревьями и похоронили их под собой. Таким образом сосны-великаны нашли себе могилу в цветах... «Всякий раз, когда я вижу двух веселых и добрых детей, любимых всеми, заканчивает автор, — мне кажется, что это должно быть — Сильвестр и Сильвия, и что они получили свои веселые и добрые глаза от тех сосен-великанов. Недавно я видел двух таких детей, и — удивительное дело, — в какую бы сторону они ни взглянули, там как будто мелькал ясный луч солнца, отражаясь на темном небе и на печальных или равнодушных лицах людей».

По исполнению, это — одна из лучших сказок Топелиуса. Смысл же сказки — азбучно прост: всем весело смотреть на хороших детей; добрые дети, как ясный солнечный луч, согревают и освещают все, окружающее их. Прописная мораль сквозит явственно... Но, должно заметить, что в этой сказке мистических туманов меньше, чем в других.

Сказка «Празднование Рождества у Трольдов» по исполнению так же прелестна и поэтична, как и первая сказочка, но содержательнее ее по смыслу.

В рождественский сочельник, по обыкновению, явился в один дом наряженный с подарками и объявил детям: «Пришел я с далекого севера и по пути заглядывал во все бедные хижины и лачужки; там мне пришлось видеть много маленьких детей, у которых сегодня не было даже куска хлеба. Им я отдал половину ваших подарков. Хорошо ли я сделал?» — «Да, да, ты хорошо сделал!» — кричали дети. Только Фредерик и Шарлотта остались очень недовольны, потому что они были очень себялюбивы, очень скупы, жадны, завистливы. «Плохое же у нас в этом году Рождество! У Трольдов рождество лучше справляют»... ворчали они с досадой.

Наряженный схватил их и потащил... Мигом очутились они в дремучем лесу, посреди сугробов снега. Было ужасно холодно, да еще к тому же была такая сильная метель, что едва можно было разглядеть огромные ели, со всех сторон обступавшие их, а невдалеке слышался вой волков. Наряженный скрылся... Фредерик и Шарлотта пришли в отчаяние, плакали, кричали... Долго бродили они по снежным сугробам, пробираясь через кусты и сломанные деревья, и вдруг, наконец, попали в Растекайс, в жилище Трольдов — злых горных духов. Трольды на ту пору по своему также справляли Рождество, — танцевали, ели ледяные конфеты и угощались кушаньем, приготовленным из папоротника и пауковых ножек. Тут же у них стояла елка из ледяных кристаллов. Вместо свечей им служили замерзшие червяки — светляки и гнилые древесные пни, светившие им в темноте. Когда же им хотелось устроить хорошую иллюминацию, тогда они принимались гладить по спине черную кошку, от чего шерсть у нее начинала искриться... Все Трольды боятся света. Они и теперь справляли праздник потому, что заметили, как дни к концу года становились все короче и короче, а ночи делались все длиннее. Они надеялись, что, наконец, дня вовсе не будет и наступит вечная ночь...

«В этом году у Трольдов не было уже больше короля снежных утесов, потому что с тех пор, как он растрескался и лопнул при церковном доме в Энаре, никто не знал, что с ним после случилось. Многие думали, что он перебрался на Шпицберген... Свое царство на севере он оставил королю мрака и греха, Мундусу... Сегодня король и королева точно так же дарили друг друга, как это делают прочие люди. Король подарил жене ходули, такие высокие, что когда она вскарабкалась на них, то сделалась самой высокою и знатною дамой во всем свете. Королева Каро, с своей стороны, подарила королю щипцы для снятия со свечей, и такие большие, что он с одного раза мог бы снять со свечей всего света и сразу пога-

сать их. Многие не отказались бы получить от Трольдов в подарок к Рождеству такие щипцы».

Король Мундус поднялся со своего трона и обратился к собранию с высокомерною речью о том, что «скоро повсюду исчезнет свет и по всему миру наступит вечное царство мрака, которым управлять будут Трольды». Трольды, разумеется, в восторге... Король приказал своему разведчику наблюдать с самой высокой горы: есть ли еще какой-нибудь луч света в мире? Оказывалось, что все какая-то звездочка мерцала из-за туч. Вдруг является разведчик и говорит, что небо покрылось снеговыми тучами и звездочки не видно. Спустя несколько времени разведчик опять прибегает — дрожащий, испуганный — и объявляет, что тучи рассеялись и на небе сияет звезда, ярче и больше всех прочих звездочек. Трольды — в ужасе, в недоумении... Тут они замечают Фредерика и Шарлотту, стоящих у дверей, и говорят: «спросим их, может быть, они нам объяснят». Трольды схватывают детей и тащат их к королю. Дети, конечно, страшно перепугались. Королева, желая ободрить их, приказала одной старушке «дать этим бедным детям немного драконовой крови и пищи из жуков, чтобы они могли несколько освежиться».

«Объясните мне, сказал им король, что бы это значило, что после того, как уже настало царство мрака и Трольды начали управлять миром, вдруг в самое темное время года начинает появляться свет. Далеко на востоке показалась звезда, которая своим блеском затмевает все прочие звезды и грозит моей власти погибелью. Скажите мне, дети, что предвещает эта звезда?» Дети объясняют ему, что это та самая звезда, которая поднимается над Вифлеемом и светит всему миру, а светит она так ярко потому, что в эту ночь родился Спаситель, и что с этой ночи свет будет прибывать и дни делаться длиннее. «Как же зовут этого владыку и короля света, который родился в эту ночь и пришел спасти мир от грехов и мрака?» — спросил король, сильно задрожав. Дети еще не успели договорить свой ответ, как вся гора задрожала и с страшным грохотом рушилась. «Сильный порыв ветра ворвался в огромное зало и опрокинул трон короля, между тем, как яркий свет звездочки начал малопомалу проникать в самые темные расщелины горы. Все Трольды рассеялись подобно дыму и осталась только одна ледяная ель, да и она начала блеснуть и таять»...

Кончилось тем, что дети, получив заслуженное наказание за свою жадность, иззябши, проголодавшись и натерпевшись всяких страхов, очутились каким-то образом в своих мягких, теплых постелях.

Затем, автор говорит, что «недовольные дети рано или поздно попадут к Трольдам» и т. д. вообще читает нравоучение. Помимо этого нравоучения в конце сказки — и притом, заметьте, сказки наиболее удачной, наиболее выдержанной — встречаются такого рода периоды, в тон апокалипсических изречений:

«Ведь ты не знаешь этого, и я не знаю, да и никто хорошенько не знает, как это было. Но если ты знаешь и я знаю, то покажем вид, как будто не знаем, и если никто не знает, то никто и не может знать, что ты знаешь и что я знаю, и теперь ты знаешь столько, сколько я знаю, а я ничего не знаю, и потому было бы забавно знать, что ты знаешь, и много ли ты больше меня знаешь». (Стр. 45). Не только ребенок, но даже и взрослый человек не скоро даст толк в этой путанице... Таким образом, мистическое направление, в которое иногда впадает автор, отражается и на его слоге, по большей части таком ясном и отчетливом, — и слог делается темным и сбивчивым.

Но как бы то ни было «Празднование Рождества у Трольдов» должно быть признано, по нашему мнению, за лучшую из сказок Топелиуса.

Заметим здесь кстати, что в «Детском Чтении» за 1870 год была помещена сказочка, «Заговор сов», имеющая большое сходство с изложенной выше сказкой Топелиуса — в том отношении, что у Топелиуса Трольды мечтают погрузить мир во тьму, а в нашей сказочке о том же мечтают совы; Трольды ждут — не дождутся, когда погаснет в мире последний луч света, того же с нетерпением ожидают и совы; при произнесении имени Христа, Трольды исчезают, исчезает и их король со своим призрачным дворцом, а в нашей сказке — при первых утренних лучах совы разлетаются по своим трущобам и дуплам, и солнце, вопреки их ожиданиям, светлое и радостное всходит над миром...

В сказке «Канун Иванова дня» опять-таки мысль очень хорошая — вызвать сострадание к ближнему; в ней есть прекрасные описания природы, но, к сожалению, вся эта сказка проникнута насквозь сантиментально — мистическим тоном.

Густав и Соня в ночь накануне Иванова дня с толпой мальчиков и девочек играют на лесной лужайке около разложенного костра. Одни бегают, забавляются всячески; другие отдыхают, лакомятся. Неподалеку в стороне сидит маленькая девочка, одетая в лохмотья. Она ничего не говорит, ничего не просит, но постоянно смотрит в ту сторону, где дети едят свои лакомства, и, от времени до времени, кусает свои маленькие пальцы. «Ты, верно, очень голодна?» —

спрашивает ее Соня. Малютка молчит и как бы сначала не хочет отвечать. «Я со вчерашнего дня ничего не ела», — говорит она, наконец. «На, возьми мою денежку и купи себе покушать!» — говорит Густав, вручая ей деньги, данные ему на гостинцы. У Сони еще осталась серебряная монетка, — и спустя несколько времени, дети отправились купить себе по куску хлеба с маслом. Но на этот раз у дороги стоял маленький мальчик, совсем почти раздетый, потому что на нем была одна только разорванная рубашечка. А ночью было довольно холодно... Пока мальчик стоял у огня, ему было еще тепло, но когда он помогал другим таскать хворост, то ему делалось так холодно, что у него зубы стучали. Брат с сестрой опять приняли в нем участие, но поделиться им с мальчиком было нечем: лишней одежды с ними не было. Тогда Соня попросила одного мальчика, длинноногого Туре, чтобы тот одолжил бедняку на время свое пальто. Туре держал пальто на руке и, очевидно, вовсе не нуждался в нем. «Одолжи!» — засмеялся Туре ей в ответ. «Если кто-нибудь заплатит мне за это, то я, пожалуй, одолжу до тех пор, пока не взойдет солнце». Соня отдала ему свою денежку. Мальчика одели в пальто, и ему стало хорошо... А Соня с братом «остались без вафель, без пряников и без денег, но несмотря на то, никому не было так весело, как им». Отсюда уже сама собой напрашивается известная мораль... Ясное дело, что в лице Густава и Сони, получивших нравственное удовлетворение за свой хороший поступок, была вознаграждена добродетель. Но этого мало... По старинной методе писания «для детей», которой очевидно, придерживался и Топелиус в своих сказках, — требовалось, чтобы не только была достойно вознаграждена добродетель, но и порок в свою очередь был бы наказан по заслугам. Значит, для полноты следствия нужно было привлечь к законной ответственности и подвергнуть достождольному наказанию «длинноногого Туре», олицетворявшего собою порок. И действительно, оказывается, что Туре потерял деньги, вырученные им за пальто. Таким образом, гнусный длинноногий Туре был наказан за свою жадность, а вместе с ним, следовательно, был наказан и порок...

Казалось бы, что всеми этими фактами можно удовлетвориться вполне. Но автор, очевидно, не так взглянул на дело и счел нужным сделать еще следующие примечания, — вероятно, в тех видах, чтобы усилить впечатление: «Не пойдут в прок те деньги, которые следует отдать бедным. Пальто свое Туре нашел на пригорке, но не нашел он своего хорошего расположения духа. Он был раздражен и бранился со всеми...» (Если бы при этом Туре, доба-

вим мы от себя, был хорошенько поколочен, тогда порок — в его лице — был бы уж окончательно посрамлен).

«Не пойдут в прок те деньги, которые следует отдать бедным...» Да! Это — очень старый, очень знакомый припев. С высшей, философской точки зрения подобные сентенции, конечно, совершенно справедливы, но — на практике — в приложении к житейскому обиходу, в приложении к тому омуту, в котором мы тонем и топим других, эти сентенции не выдерживают ни малейшей критики и звучат для нас злою насмешкой? И проповедовать их детям — значит готовить для них в будущем массу таких разочарований, таких сюрпризов и нравственных толчков, за которые они не могут остаться благодарны. Вступив в жизнь, они неминуемо должны будут запутаться в безысходном лабиринте противоречий — при виде того, как отлично идут в прок не только те деньги, которые следует отдать бедным, но даже и те, которые прямо отнимаются богатыми у бедняка, сильными у слабого... И, действительно, как мы сами воочию убеждаемся, многие из наших ближних так основательно запутываются в этих противоречиях, что всю свою жизнь изживают какими-то жалкими недоумками, вечно хромающими на обе ноги, а еще большее число наших ближних рубит с плеча эти противоречия, — и вследствие того на каждом шагу являются люди, исповедующие две нравственности — одну «про себя», другую «напоказ»; это — лицемеры и фарисеи с желчью в душе и с медом на устах; это — люди, продолжающие в человечестве обезьяний тип, — и до сего времени еще никакой Мольер или Бальзак не изобразил нам их душу во всей ее безобразной наготе...

Сентенции в роде вышеприведенных можно перефразировать к лучшему, — например так: «Всем делись со своим ближним! Не отнимай у бедняка!» и т. д. Конечно, это выйдут своего рода заповеди, совершенно соответствующие заповедям: «Люби ближнего, как самого себя! Не убий! Не укради!» и т. п. Нам могут возразить, что заповеди, может быть примутся к руководству, а может быть и — нет... Так! Но они не вводят в заблуждение. Они, по крайней мере, ясны, категоричны. На них нельзя гадать, как на кофейной гуще, нельзя по поводу их плодить пифийские изречения и всякие кривые толкования...

Вот тоже одно из сказаний, часто встречающихся в детских книжках — сказание о том, что «Густав и Соня остались без вафель, без пряников и без денег, но, несмотря на то, никому не было так весело, как им»... Конечно, какое бы то ни было истинно доброе дело само в себе уже носит нравственное удовлетворение, само в се-

бе уже носит награду для человека, совершившего его. Но казуисты иногда пользуются этим совершенно верным положением для того, чтобы под видом якобы его дальнейшего развития, исказить и перевернуть его, в силу чисто своекорыстных побуждений. Многим из наших читателей, вероятно, приходилось слышать от этих людей чувствительные разглагольствования о том, что «человек, поработавший в поте лица, исполнивший свой долг, находит для себя рай и в шалаше»... Эти сытые люди, с чувственностью, уже притупившиеся от избытка всяких животных наслаждений, стараются открыть какую-то сладостную идиллию в тяжелой жизни бедных тружеников. Что за дело, что они питаются мякинным хлебом! Что за дело, если их духовные потребности не находят для себя никакого удовлетворения! Они, по мнению наших казуистов, все-таки счастливы... Проповедники «рая в шалаше» стараются кого-то успокоить, кого-то уверить в том, что бедняк — рабочий должен быть счастлив уже тем, что он ведет жизнь здоровую, умеренную, что он живет честным трудом, что «честность и труд — вместе живут» и т. д. Они говорят: в мире много званых, но мало избранных, — это так! Но тем не менее, в жизни каждого человека есть своя доля счастья, в каждом общественном положении находятся своего рода достоинства и преимущества.

Идя путем таких рассуждений, сантиментальничая и толкуя вкривь и вкось, добрые люди доходят, наконец, до таких хитроумных выводов, до таких глубоких соображений, что в них уже совсем пропадают последние искры здравого смысла... По их умствованиям выходит, что какой-нибудь банкир, утопающий в своем мягком кресле, с сигарой во рту и не знающий — куда деваться со скуки — более, пожалуй, заслуживает сожаления, чем тот рабочий, который перед его дворцом разбивает камни на мостовой, весь обливаясь потом и изнемогая от усталости...

Не трудно разгадать иезуитизм подобных толкований. Против них даже не стоит возражать... Для того, чтобы их разбить, достаточно показать их людям в их настоящем виде. Показать их без всяких прикрытий — значит, уже тем самым доставить людям возможность самим убедиться в нелепости и неискренности этих лжечувственных рассуждений.

Не трудно также доказать совершенно противное, то есть, что бедняк не может вести жизнь здоровую, вследствие постоянных материальных недостатков: у него нет надлежащей одежды, в его жилище недостает воздуха, а в его пище — питательности; он не доедает, не досыпает и не успевает достаточно возобнов-



лять свои вечно напряженные силы, угасающие вследствие того преждевременно. Это полагаем, не значит — вести здоровую, умеренную жизнь. Конечно, рабочий — бедняк живет честным трудом и труд его без всяких обиняков может быть назван «святым», но тем не менее не трудно доказать, что бедность, вечные материальные недостатки во всем — часто заставляют бедняка идти наперекор общепринятой, житейской нравственности. Вынуждаемый железными обстоятельствами, оказывающимися сильнее его личной, единичной воли и его желаний, бедняк лжет, обманывает, крадет, убивает — словом, грешит против всех заповедей и против всех статей уголовного закона; он становится несправедлив, жесток, зол — и в конце концов обращается порой в какое-то тупое и грубое животное... Не мудрено доказать, что человек может быть добр, честен и вообще «счастлив» лишь тогда, когда все его потребности — физические и духовные, всесторонне развитые — находят для себя полное удовлетворение, когда все его силы — духовные и физические — развиваются во всю ширь, во всю мощь и находят для себя приложение. Поэтому, понятно, состояние дикаря или орангутанга, удовлетворяющих все свои — крайне ограниченные физические и духовные потребности — еще нельзя назвать состоянием «счастливым». Счастливым человеком может быть назван и может быть им в действительности только человек развитый, человек «самосознающий себя», как говорят философы. Человек может быть счастлив лишь тогда, когда, удовлетворяя свои личные потребности, он находит в то же время, что и все его окружающее вполне соответствует его понятиям о благе, о правде и справедливости, то есть — когда человек видит, то все окружающие его так же счастливы, как он. Стремление к этому всеобщему счастью именно и составляет одну из высших духовных потребностей человека. И чем человек развитее, тем эта потребность настоятельнее ищет для себя удовлетворения. Эта потребность может служить или источником блаженства или же источником, по истине, танталовых мук. Если эта потребность удовлетворяется, — человек низводит на землю рай, он счастлив. Если же — нет, тогда эта потребность заставляет страдать человека и страдать тем более, чем он развитее. Таким образом, в той самой потребности, удовлетворение которой должно было бы осчастливить человека, он находит для себя — ад. Потребность общественной гармонии, оставаясь неудовлетворенною, делается непосильною тяжестью, бременем для человека. Нравственно искалеченный, недовольный собой и миром, он всю жизнь таскается с нею — с этою неудовлетворенною потребностью,

как с камнем на сердце. Он видит, как бы сквозь сумеречный расцвет, свою обетованную землю, но не знает: скоро ли дойдут до нее люди через пустыню аравийскую...

Счастливей человек для нас в настоящее время — человек идеальный. При настоящем уровне знаний, мы не можем в точности указать: какими именно путями дойдет человечество до идеала счастья, но несомненно и бесспорно, что оно дойдет до этого идеала, то есть, приблизится к нему — точно так же, как многоугольник, при срезывании углов, в конце концов должен по своей форме приблизиться к кругу, хотя вполне кругом он не будет никогда...

Мы сильно уклонились в сторону от сказок Топелиуса, как от главной нити нашей статьи. Но это — не беда... Мы с вами, читатель, не смутимся тем, что ударились в отступление. Говорить о добром и полезном можно всегда и везде...

Разумеется, те сентенции, которые дали повод к нашему отступлению, собственно говоря, пишутся не для детей, то есть — они проходят мимо детского сознания, но мы должны были остановиться на них для того, чтобы указать всю их неискренность, всю их ложь и фальшь...

Окончание сказки «Канун Иванова дня» уже совсем окрашено в мистический тон... Мальчик и девочка, которым брат с сестрой во время гулянья помогли своими деньгами, вдруг оказались ангелами—хранителями Густава и Сони, — так же точно, как в сказке гр. Л. Толстого («Чем люди живы») работник, Михайла, оказывается ангелом, наказанным за свою доброту. Вообще Топелиус не скуп на ангелов — так же точно, как наш художник Маковский не скуп на русалок. В сказке Топелиуса говорится, что «воздух стал быстро наполняться бесчисленными легионами маленьких прозрачных ангелов»... Выходит так, что ангелы кишмя кишели в воздухе, как мошки или комары в тихий летний вечер. Во всем нужно знать меру, а также и относительно пользования ангелами... В заключение ангелы-хранители, — очевидно, вместо автора, читают детям нравоучение: «мы будем сопутствовать вам всю вашу жизнь, если только вы будете бояться Бога и поступать по его заповедям в повиновении, любви, мире и правде до конца жизни».

Хороша еще в книге Топелиуса последняя сказка, «Береза и Звездочка».

Это — прекрасная, трогательная история странствования двух маленьких детей — брата и сестры. Эти дети во время войны, страшно опустошившей Финляндию, были взяты в плен и уведены далеко на чужбину. Дети сильно тосковали по родной стороне,

и когда военная буря миновала — они захотели возвратиться домой, в родную Финляндию. Люди, приютившие их на чужбине, не пускали их, говорили, что им не найти дорогу. Но дети так востосковались по родине, что решились уйти тайком. «Кто покажет вам дорогу?» — спрашивали их. — «Бог, — отвечал мальчик, — и кроме того, я помню, что на дворе моих родителей стоит большая береза, на которой по утрам распевает много хорошеньких птичек». — «А я припоминаю, — добавила девочка, что по вечерам сквозь листья этой березы сияет светлая звездочка». И вот по этим-то признакам дети задумали отыскать родной дом и отправились в путь. «Мы будем все идти на северо-запад, где по вечерам среди лета заходит солнце, а дом наш находится в той же стороне!» — говорили дети. Дорогой питались они лесными плодами и ягодами, пили чистую воду из источников, а ночью спали на мягком мху. Сначала они шли по обширным равнинам, а потом им стали встречаться холмы, горы, реки и большие озера. Через реки и озера они переплывали в лодках или же пускались вплавь. (При этом, чтобы не вдаваться в подробности, мы умалчиваем о двух птичках, летевших с детьми и как бы показывавших им дорогу. Эти птички, само собой, были ангелы).

Лето уже начинало подходить к концу, и в лесу становилось прохладно. По дороге нашим маленьким путникам начали попадаться человеческие жилища; они услышали родной говор и обрадовались... Прошел уже год с тех пор, как они отправились в путь. Вдруг в конце мая, накануне Троицына дня набрели путники на какую-то хижину, близ которой стояла большая береза, а сквозь ее светло-зеленую листву сияла блестящая вечерняя звезда. Они узнали эту хижину, и эту березу, и этот колодезь на дворе, и эту блестящую звездочку, сиявшую над их головой. Дети подошли к окну хижины и стали прислушиваться. В это время отец с матерью с грустью говорили о том, что они потеряли четверых детей, двое померли, двое попали в плен и пропали без вести, а они, старики, остались теперь одинокими под конец жизни. Тогда дети вбежали в хижину. Общая радость... А автор, устами отца—старика тотчас же, как водится, читает детям нравоучение: «Вы стремились к березе, которая означала вашу родину, — пускай же она будет символом вашей любви к родине, пока вы живете! Вы стремились к звездочке, — она означает вечную жизнь. Да будет она всю жизнь ярко светить вам!..»

«Должно любить родину» — вот весь смысл сказки. Маленькие дети, по большой березе и по звездочке, отыскивающие свою

родину и пренебрегающие при этом всеми опасностями дальнего пути, — представляют очень поэтичную иллюстрацию к этой мысли... «Разве вы не дома у нас, на своей новой родине?» — говорили им люди, приютившие их на чужбине. «Здесь у вас есть и одежда, и изобильная пища, вы кушаете хорошие фрукты, пьете молоко, носите теплую одежду, имеете удобное жилище у добрых людей, которые любят вас всем сердцем. Чего же вам еще надо?» — «Да, все это так, отвечали дети. Но мы хотим вернуться домой». — «На вашей родине страшная нужда во всем! — продолжали убеждать их. Там вы будете жить в бедности; будете спать на мху, вместо хлеба придется вам есть древесную кору, жить в шалаше, покрытом ельником, где буря и холод будут вашими постоянными собеседниками. Ваши родители, братья, и сестры и все ваши друзья давно умерли; вы станете искать их следы и вместо них встретите только следы волков, которые пробегали по снежным сугробам пустынного места, где когда-то стояла ваша хижина». Но детей тянуло, звало на родину, и они ушли...

В другом месте говорится, что дети на чужой стороне «испытывали то же самое, что испытывали пленные евреи в Вавилоне, которые, повесив на деревья свои гусли, не могли ни играть, ни пить, ни плясать в чужой стране, потому что сердцем своим постоянно были в Иерусалиме».

В сказке «Две сосны», если помнит читатель, сквозит та же мысль. Когда король предлагает Сильвии и Сильвестру ехать с ним во дворец, те отказываются. Они «соскучились бы во дворце по своим соснам-великанам»...

В другой сказке («Маленький Ларс»), мальчик во сне объезжает весь свет, видит всякие диковины и все-таки его тянет на родину...

Скажи-ж, где лучше, милый Ларс?

Ты весь объехал свет?

—Везде прекрасен Божий мир,

Но лучше дома — нет...

С чувством «любви к родине» должно также обращаться осторожно, ибо в этом случае весьма легко перейти на почву квасного патриотизма, или любовь к родине, как понимал ее, например, Вильгельм Телль или те двести спартанцев, что погибли в Фермопильском ущелье, легко подменить любовью к старому халату или к семейному очагу... А, между тем, в сказках Топелиуса любовь к родине иногда слишком суживается. Маленький Ларс, например, страстно желает возвратиться на родину потому, что в Европе,

по его предположениям, в ту пору «пекли блины». Король говорит Сильвии и Сильвестру, что они, отправившись с ним, «будут радовать и веселить всех людей», те возражают ему, что им «приятнее радовать дом отца и мать». Брат и сестра в сказке «Береза и Звездочка» также стремились на родину лишь для того, чтобы «утешать отца и мать»...

Для человека гораздо достойнее «радовать и веселить всех людей», как говорит сказочный король, чем утешать только одних своих семьян. А с другой стороны — любить родину «за блины», как, например, любил ее маленький Ларс или любить ее «за квас», как любят некоторые большие и маленькие Ларсы — значить лишь чувствовать привязанность к тому, что мы называли старым домашним халатом...

Литературные произведения, предназначенные для детей, должны не суживать, а напротив — расширять кругозор читателей. Человек и без того склонен предаваться узко-эгоистическим побуждениям и замыкаться в тесную семейную раковину. Сознание всеобщей солидарности, общественные инстинкты и без того еще так мало развиты, что человек до сего времени не может быть назван животным вполне «общественным», как наименовал его Ж. Ж. Руссо. Только неразвитием общественных инстинктов и можно объяснить, например, тот факт, что господин, крадущий десятки тысяч сиротских денег и, не моргнув глазом, пускающий массу людей по миру, в то же время в своей семье, по признанию всех людей, знающих его, — является нежным супругом и чадолюбивым отцом. К «своим» он ласков и добр, а к «чужим», к посторонним — он жесток и немилостив. Это оттого, что мир для него ограничивается семейной рамкой... Так, в известном романе, Марья Алексеевна в семье является, просто, какою-то героиней самоотвержения, но ей нет ровно никакого дела до того, что происходит за стенами ее дома, если только происходящее там не касается каким-нибудь образом интересов ее семьи. Чем в обществе больше таких личностей, как Марья Алексеевна, тем обществу жить хуже, ибо, когда каждый по своему думает только о себе, тогда всем худо жить...

Понятно: если я ничего не вижу, кроме своей собственной семьи, то «в минуту жизни трудную», читатель, я ловким манером обворюю вас, вашу семью, и затем, как человек, исполнивший долг, останусь совершенно доволен своим деянием, семьяне мои будут благодушествовать, а вы со своей семьей станете беспомощно разводить руками и плакать или же, если вы также человек, ничего не знающий, кроме семьи, — в свою очередь залезете в карман сво-

его соседа, а тот обратится к карману следующего и так далее до бесконечности.

Также точно излишне внушать детям преувеличенные понятия о национальных перегородах и о том, дескать, «наш родной народ — народ Богом избранный», а все прочие народы — так себе, какая-то тля. При этом не должно упускать из виду, что естественные отличия, единственно заслуживающие внимания, — различия этнографические, с течением времени и с ходом культуры должны мало-помалу сглаживаться... Ребенок должен привыкать видеть в человечестве одну людскую семью, вследствие различных обстоятельств разбившуюся на более или менее значительные группы, более или менее талантливые, более или менее даровитые, смотря по тем условиям, в каких они жили до сего дня. Развитие в ребенке любви к родине может лишь служить как бы переходной стадией для развития в человеке сознания связи общечеловеческих интересов, для развития любви к людям вообще, любви к ближнему, кто бы он ни был — эллин или еврей, как говорится в Евангелии.

### III.

Надеемся, что мы дали читателю довольно полное и верное понятие о сказках Топелиуса — об их светлых и темных сторонах.

Что ж сказать о внешности? Издание — изящное, но перевод не совсем изящен. Вообще, он производит такое впечатление, будто переводчики не вполне хорошо владеют русскою грамотой. В книге, например, попадаются такого рода фразы и обороты:

«удивительно зашелестели при этом их (сосен) темные верхушки (,) и дети, к немалому своему удивлению, услышали в этом шелесте странные слова» (Стр. 4). Или: «Нет ли здесь кого, кто грустит?» спросил он. «Да, — сказала девочка, — здесь есть такая...» (Стр. 65). Или:

Прилетайте (,) дети Солнца (,)  
Вместе к нам на лето,  
Чтоб достаточно нам было  
И тепла и света. (Стр. 77).

Слово «достаточно» здесь уже вовсе не идет... Что хорошо в каком-нибудь сухом, деловом отчете, то совсем иногда неуместно в поэтическом произведении.

Мы не поклонники формы и не ставим ее на первый план, но окончательного не обращать на нее внимания все-таки нель-

зя... Внешность книги безукоризненна: хороший переплет, изящные картинки, отличная бумага, прекрасный шрифт — и при этом небрежный или неумелый перевод с массой грамматических ошибок. Все это — то есть блестящая внешность и плохой перевод — вместе взятое, производит такое впечатление, как будто человек явился в общество в модной шляпе, в перчатках и с букетом цветов в руках, но в то же время полураздетый, чуть не в одном белье — и вообще, в самом неряшливом виде.

*Павел Засодимский*

## БЛАГИЯ НАМЕРЕНИЯ

*Впервые опубликовано в: Педагогический листок. 1882. № 2.  
С. 66–77.*

*(«Чем люди живы?» Гр. Льва Толстого).*

*(«Детский Отдых», журн. М. 1881 г.).*

Завидна участь людей с крупным литературным талантом. Конечно, не то завидно, что современники с умилением взирают на них, рукоплещут им, вьют им лавровые венки — словом, «им еще при жизни памятник готовят». Все эти общественные восторги заслужены ими, воздаются им по делам, — и, несомненно, они за свои мирные труды более достойны общественных симпатий, чем какой-нибудь Атилла, разрушением, убийствами и пожарами отмечающий на земле свой путь... Нет! Участь этих людей завидна в том отношении, что они нашли великий секрет, с помощью которого заставляют весь образованный люд читать со вниманием каждую написанную ими строчку. Не даром зовут их «властителями душ». Действительно, они умеют проникать в душу читателя, умеют разом завоевать себе все его внимание и сочувствие, они властвуют над ним...

Но зато вместе с этим почтительным вниманием или — вернее сказать — именно вследствие этого почтительного, сосредоточенного внимания к произведениям больших талантов, читателям дается право относиться к своим любимцам строже, требовательнее, чем к заурядной пишущей братии. Кому много дается, с того много и спрашивается... Каждое произведение талантливого, уважаемого писателя не пробегается вскользь — на подобие газетной статьи, имеющей мимолетное значение, но тщательно штудируется и в целом, и по частям, возбуждает толки и споры в обществе и в литературе, разбирается, комментируется. Этот человек всегда стоит у всех на виду. Поэтому, его каждый неловкий прием



делается тотчас же заметен; малейший недостаток или шероховатость, вкрадывающиеся в его произведение, вырастают в глазах читателя до размеров весьма значительных; малейшая фальшь резко очерчивается в уме читателя и невольно коробит его. Это вполне естественно, и притом совершенно законно: кому больше дано, с того больше и спрашивается. Человек, получивший один талант и весь его принесший на служение обществу, делает свое дело; его лепта — лепта евангельской вдовицы, и всегда имеет свое значение. Человек, получивший пять талантов и один из них зарывший в землю по небрежности или почему-либо другому, грешит перед ближними.

Кроме того, читатели привыкают ожидать всего лучшего от своего любимого писателя, и у них на то есть основания. В произведении писателя заурядного на многое смотрится сквозь пальцы, ему многое благосклонно извиняется, ибо этот бедняк отдает все, что у него есть за душой, и уж не его вина, что он не может дать ничего более. Погрешности же в произведении крупного таланта сугубо подчеркиваются, потому что этому таланту дано много, а он не дает всего, что мог бы дать...

Все эти мысли пришли нам в голову по поводу гр. Л. Толстого, или — лучше сказать — по поводу рассказа для детей («Чем люди живы»), напечатанного им в декабрьской книжке «Детского Отдыха» за прошлый год. Гр. Л. Толстой — именно один из тех крупных талантов, о каких мы говорили выше. Кажется, мы не ошибемся много, если скажем, что из числа наших современных беллетристов у него находится самое большое число читателей и почитателей. На него обращено внимание всей образованной, читающей публики, каждое новое его произведение разбирается нарасхват, о будущих трудах его пишут и говорят. Что бы он ни написал — эпопею ли в роде «Войны и Мира», роман ли из великосветской жизни на подобие «Анны Карениной», воззвание ли по поводу переписи московского населения или небольшой детский рассказ — словом, все, выходящее из-под его пера, со вниманием прочитывается и служит предметом обсуждения. Не смотря на его мистицизм и на его темную, сбивчивую философию с фаталистическим оттенком, он, как первоклассный художник и как мыслитель, несомненно с благими намерениями, пользуется вполне заслуженным уважением. По всей справедливости, гр. Л. Толстого нельзя назвать в полном смысле слова «властителем душ», современного поколения, но тем не менее, бесспорно, самые разнообразные слои читателей, от светских салонов — до студенческих убогих мансард, постоянно

ждут от него «слова». Порой гр. Л. Толстой повергает в сильное разочарование некоторые группы своих читателей. С него много спрашивается, потому что ему много дано...

Припомним, например, то обстоятельство, что появление «Анны Карениной» после славной эпопеи «Войны и Мира» многими было принято за полное падение творческой деятельности гр. Л. Толстого. А между тем в «Анне Карениной» художественных чудес не мало, не мало доказательств большой авторской силы. Напиши этот роман, например, какой-нибудь г. Х., и он составил бы для г. Х. честь и славу, г. Х. мог бы гордиться им, и публика за такой роман могла бы поставить г. Х. на пьедестал. Но так как роман написан не г. Х., а автором «Войны и Мира», то поэтому в романе строгие, требовательные люди и увидели признаки падения творческой силы. «Анна Каренина», бесспорно, произведение художественное, но бесспорно также и то, что в этом произведении автор расточал свои перлы и алмазны главным образом в применении к детской, к гусару Вронскому и к будуару легкомысленной светской красавицы. Без сомнения, при некотором усилии доброй воли гр. Л. Толстой мог бы почерпнуть из жизни прошлой или настоящей лучшие сюжеты, более достойные его таланта. Вот эта-то негодность, мелочность сюжета и ставилась ему в вину главным образом...

Тоже, только несколько по другому поводу — приходится теперь сказать и о его детском рассказе, заглавие которого мы написали в начале нашей статьи. Рассказ не удовлетворяет читателя, приводит его в сильное разочарование.

Читатель ожидал большего, и он был совершенно вправе ожидать для детей чего-нибудь лучшего от автора «Детства», одного из лучших литературных произведений, писанных на русском языке... При этом возьмем для сопоставления какого-нибудь заурядного писателя для детей, например, хоть г. N. В скромной дозе ему отпущены дары, но он по мере сил и возможности старается вестороннее пользоваться ими. Иной рассказ ему удается, иной — нет, но читатели во всяком случае не имеют достаточных оснований претендовать на него за неудачный рассказ: невозможно требовать от человека более того, чем у него есть. «Самая красивая девушка не может дать более того, чем у нее есть», говорят французы. Быть талантом или гением ни для кого не обязательно, обязательно быть лишь добросовестным и не зарывать в землю свой талант... Гр. Л. Толстой совсем не то, что г. N, и, следовательно, совсем не таковы к нему отношения читателей и критики. Один из них,

по-видимому, дает детям все, что в его силах, а другой дает далеко не все, что мог бы дать, — судя по тем образчикам его таланта, какие мы видим перед собой в «Детстве», «Отрочестве», «Юности» и др. его произведениях. Мы, по крайней мере, убеждены в том, что гр. Л. Толстой, как горячий проповедник евангельских истин, как человек гуманный, и притом высоко талантливый, мог бы дать детям нечто лучшее, чем упоминаемый здесь рассказ, мог бы дать детям умственную пищу, лучше приспособленную к их развитию.

Есть люди, которые смотрят на детскую литературу довольно легкомысленно, как на дело несерьезное. Они думают, что для детей можно писать что-нибудь и как-нибудь, согласно поговорке: на тебе, Боже, что нам негоже.

Конечно, мы не причисляем гр. Л. Толстого к разряду этих беззаботных писателей, и рассказ его, при всех его недостатках, разумеется, невозможно уподобить тем глупым и смешным побасенкам, какими наводняется наша бедная детская литература. Но тем не менее остается тот факт, что рассказ «Чем люди живы» оставляет желать многого, выражаясь казенным языком.

Здесь мы передадим вкратце содержание рассказа. Мы должны это сделать, чтобы не быть голословными. Мы можем это сделать, потому что рассказ этот появился в новом детском журнале, мало распространенном и неизвестном. Думаем, что читатели не посетует на нас за передачу содержания, ибо рассказ во всяком случае представляет интерес уже по одному тому, что он написан таким почтенным, уважаемым автором, как гр. Л. Толстой... Не даром говорят, что далее промахи и недостатки подобных людей бывают поучительны и дают хорошую пищу для ума наблюдательного.

## II.

Рассказу «Чем люди живы» предшествует целая масса эпиграфов из Евангелия, — эпиграфов, разумеется, прекрасных, но тем не менее не придающих собой рассказу ровно никакого значения, не освещающих для детей самого смысла рассказа. А нить этой истории такова:

Бедный сапожник, Семен, однажды осенью вздумал шить себе шубу и отправился по своим должникам собирать деньги — с тем, чтобы на них купить овчин. Получил он только один двугривенный, да и тот пропил с горя и с холода. Овчин, оказалось, купить не на что, и побрел он домой невеселый. Идя по дороге, он увидел

за часовой какого-то несчастного, голого человека, совсем иззябшего, сидевшего неподвижно, как бы в забытьи. Сначала Семен хотел было пройти мимо, да совесть зазрела. Подошел он... «человек взглянул на Семена. И с этого взгляду полюбился человек Семену». Сапожник сжалился над ним, одел его в свой кафтан и валенки и повел домой. Дома жена его, Матрена, встретила их ворчаньем и ругательствами. «Матрена, али в тебе бога нет — остановил ее Семен. Услыхала это слово Матрена, взглянула на старика и вдруг сошло в ней сердце»... и она покормила их ужином. Тут странник повеселел и улыбнулся. Но сколько его ни спрашивали, не могли у него добиться: кто он такой и откуда взялся. «Меня бог наказал!» говорил он, и только сказал, что его зовут «Михаилом». Остался Михайла жить у сапожника, скоро научился сапожному ремеслу и «стал у Семена достаток прибавляться».

«Добродетель вознаграждалась, заметит иной читатель. Доброе дело стало скоро окупаться... Значит, хорошо делать добрые дела, когда они приносят большие проценты»... Все эти рассуждения и им подобные, разумеется, не очень-то высокой нравственной пробы, но мы считаем нужным указать на них единственно потому, что они могут легко прийти в голову при чтении разбираемого нами рассказа. Отсюда вывод тот, что учение «о вознаграждении сторицею» не должно быть сводимо к рублям и копейкам. И без того уже не редко в жизни слово «сторицею» принимается в буквальном смысле: если подашь нищему копейку, то получишь за нее впоследствии рубль. И вот образуется темная, дремучая теория, по которой райские кущи оказываются чем-то в роде коммерческого банка, куда люди, подающие бедным гроши, заблаговременно «делают переводы» на свое имя весьма значительных сумм.

Но продолжаем следить за нитью рассказа... Приезжает к Семену какой-то сердитый, строгий барин и заказывает шить из дорогого немецкого товара такие сапоги, чтобы они «год носились — не кривились, не поролись. Со страхом и трепетом взялся Семен за эту работу. А Михайла той порой уставился в угол за барином, точно вглядывается в кого, да вдруг улыбнулся и просветлел весь». Уходя из избы, барин шибко стукнулся головой о притолку двери... Михайла, вместо сапогов, стал между тем, шить из дорогого немецкого материала простые босовики, в каких покойников в гроб кладут. Увидал Семен — в ужас пришел, но вдруг приезжает верховой и объявляет, что барин помер, что сапоги больше не нужно, а нужны босовики... Прошли года. Вдруг является к сапожнику заказывать обувь женщина с двумя девочками — приемышами,

из которых одна оказывается хроменькою. А хроменькою эта девочка была оттого, что мать, помирая, придавила ее, когда она была еще младенцем. Женщина рассказала очень трогательную повесть о том, как она взяла к себе этих сироток, как она кормила-поила их из последних своих крох, как жалела и любила их...

До сего времени, как видит читатель, события рассказа происходят на почве живой действительности, на почве совершенно реальной, хотя и встречаются порой несколько непонятные, темные места, какие-то намеки... Так, например, один взгляд странника располагает к нему Семена и заставляет «вдруг сойти в Матрене сердце». Странник каким-то образом предугадал участь, ожидавшую барина... Все это, разумеется, нужно пояснить, так как обыкновенный смертный не может одним взглядом покорять сердца и предугадывать в точности грядущее. И автор начинает давать объяснения, но вместе с тем дает доступ в свой рассказ вмешательству сверхъестественных сил, и вследствие этого весь рассказ — такой реальный, ясный, живой — вдруг перепутывается разными чудесами и погружается в какой-то фантастический сумрак.

Когда женщина кончила свой рассказ и ласково погладила по голове одну из малюток, вот что произошло в Семеновой избе: «И вдруг как зарница осветила всю избу от того угла, где сидел Михайла. Оглянулись все на него и видят: сидит Михайла, сложивши руки на коленях, глядит вверх, улыбается». По уходе женщины с детьми, Михайла снял фартук, поклонился хозяевам и говорит: «Простите, хозяева. Меня Бог простил. Простите и вы»... И видят хозяева, что от Михайлы свет идет... Тут оказалось к общему удивлению, что Михайла — вовсе не человек, что он — никто иной, как ангел. Он послушался Бога и был наказан. Ангел при этом довольно подробно рассказал хозяевам о своих злоключениях... Бог послал его на землю «вынуть из женщины душу». Эта женщина только что родила двух малюток, а мужа у нее незадолго перед тем убило в лесу деревом. Увидала она ангела и взмолилась, чтобы он дал ей пожить, вскормить и воспитать деток... Ангел сжалился над бедной родильницей, воротился к Богу и говорит: «не могу я из родительницы душу вынуть». И тогда Господь решил наказать ангела за то, что он пожалел бедную мать. Господь сказал ангелу: «Поди, вынь из родительницы душу; у узнаешь три слова: узнаешь, что есть в людях, и чего не дано людям, и чем люди живы. Когда узнаешь, вернешься на небо». Полетел ангел, послушался на этот раз и вынул душу из родительницы. При этом, мать, умирая, как-то придавила одну из девочек и повредила ей ножку. «Поднялся я над селом, говорил

ангел, хотел отнести душу к Богу, подхватил меня ветер, повисли у меня крылья, отвалились, и пошла душа одна к Богу, а я упал у дороги на землю».

Таким образом ангел обратился в человека. Тут-то у часовни и нашел его Семен — нашел его в тягостном забытии, голого, иззябшего...

Нелегко изображать светлых ангелов или злых демонов; редко встречаем мы в литературе их хорошие изображения. Гению Гёте, например, в первой части «Фауста» удалось превосходно реализовать злого духа в человеческой плоти и крови. В его Мефистофеле сохранились все адские начала, все его дьявольское могущество, и в то же время мы видим в нем человека без всякой утрировки... Что удалось Гете, то не удалось нашему Лермонтову. Его поэма блещет яркостью красок, замечательна необыкновенно звучным стихом, полна огня и страсти, но тем не менее «Демон» — слабейшая из его поэм — по существу. Его «Демон», волочащийся, не хуже Печорина, за красивой Тамарой, порой смешон и жалок, не смотря на всю свою гордость, на все величавые признания, не смотря на мольбы, дышащие бесконечной нежностью и силой... Например, хоть — это...

Для тебя с звезды восточной  
Сорву венец я золотой,  
Возьму с цветов росы полночной,  
Его усыплю той росой.  
Лучом румяного заката  
Твой стан, как лентой, обовью;  
Дыханьем чистым аромата  
Окрестный воздух напою.  
Всечасно дивною игрою  
Твой слух лелеять буду я;  
Чертоги пышные построю  
Из бирюзы и янтаря.  
Я опущусь на дно морское,  
Я полечу за облака;  
Я дам тебе все-все, земное...  
Люби меня!...

Это — самое пламенное любовное признание, которое может встать наряду с признаниями Ромео или Абельяра. Ни у Пушкина, ни у одного из наших поэтов, в признании любовника мы не находим столько поэтической образности, столько грации и силы, как

в этой страстной мольбе Демона, томящегося от любви к земной красавице. Мы могли бы указать в поэме еще не мало мест — замечательных, неподражаемых по звучности и силе... Но, несмотря на все это, в поэме есть такие положения, при которых Демон является каким-то жалким и смешным, и даже глупым Дон-Жуаном. Мефистофель смеется:

Ты до свадьбы  
Не целуй его!  
Ха-ха, ха-ха...

Этот злорадный смех обращается по адресу несчастной Маргариты, уже готовой пасть в объятия соблазнителя... А лермонтовский Демон, разочарованный и погруженный в меланхолию, изнывает от любви к женщине, охает и плачет...

Так же точно не удался ангел-Михайла и Гр. Л. Толстому. Ангел вышел у него каким-то моралистом... Следующим образом объяснял он хозяевам свои улыбки и, вообще, странности своего поведения: когда Матрена сжалилась под убогим странником и подала ужин, ангел улыбнулся, ибо узнал первое слово Бога. Он узнал: «что есть в людях». В людях есть любовь... Второй раз он улыбнулся, когда увидал за барином, заказывавшим крепкие сапоги, ангела Смерти. Тут он узнал другое слово Бога: «чего не дано людям». Не дано людям знать, чего им для своего тела нужно. В третий раз ангел улыбнулся, когда увидал жалостливую, добрую женщину с девочками-сиротками — и узнал третье слово Бога: «чем люди живы». Они живы тем, что есть в них любовь...

Как видит читатель, одна и та же мысль перефразируется на множество ладов: «живы люди одною любовью»; «жив всякий человек не заботой о себе, а любовью»; «живы все люди не тем, что они сами себя обдумывают, а тем, что есть любовь в людях» и т. д. Нравственные истины запечатлеваются в детском уме не повторением одного и того же положения, не перефразировкой, но живым образом или простым и сильным словом...

В заключении «обнажилось тело ангела, и оделся, он весь светом, так что глазу нельзя смотреть на него, и заговорил он громче, как будто не из него, а с неба шел его голос»... И затем «запел ангел хвалу Богу, и от голоса его затряслась изба. И раздвинулся потолок, и встал огненный столб от земли и до неба. И попадали Семен с женою и с детьми на землю. И распустились у ангела крылья, и поднялся он на небо»...

## III.

Таково содержание рассказа Гр. Л. Толстого. Мысль рассказа ясна: это — проповедь любви к ближнему. Люди «живы любовью», любовь-свет и радость человеческого существования... Излишне и говорить, что мысль — прекрасная, и намерения были благие у Гр. Л. Толстого, когда он писал этот рассказ. Но хорошие намерения не всегда выполняются на деле хорошо. Такая неудача постигла в этом случае и нашего почтенного автора.

Мы не сказали бы ни слова о слоге, если бы произведение предназначалось для обыкновенной публики, для публики взрослой. Но так как в рассказе для детей форма имеет большое значение, то мы и должны сделать несколько замечаний именно по поводу этой «формы».

Те прелести, какие-бывало-читатели 30-х и 40-х годов находили в стиле Марлинского, для детей всегда останутся чужды, непонятны; детский ум не оценит стилистических тонкостей. Для детей нужен простой, сжатый и ясный язык. А в рассказах Гр. Л. Толстого язык отличается искусственной, деланной простотой, а местами прямо вычурен и витиеват. Такие фразы, как «вдруг сошло в ней сердце», или «люди сами себя обдумывают» и т. под. останутся для детей совершенно темны. Подобные фразы, может быть, очень красивы и очень выразительны, но тем не менее они не сами сходят с языка; они выдумываются, вымучиваются. От таких фраз, как говорят, «пахнет потом»... Кроме того, Гр. Л. Толстой в своем рассказе подделывается под библейский язык, на что указывают частые повторения одного и того же слова и поминутно встречающийся в начале фраз союз «и»... «И человек улыбнулся»... «и увидел Семен»... «и Господь сказал ему» и т. д. Виктор Гюго — этот литературный знаток нашего времени — иногда также употребляет в своих произведениях библейский знак, (что, например, особенно заметно в его «Истории одного преступления»), но употребляет его не всегда удачно, не смотря на то, что этот тон применяется к изображению, действительно, великих и глубоко трагических сюжетов. К детскому же рассказу Гр. Л. Толстого этот высокий, торжественный слог решительно не идет...

Главный же недостаток рассказа заключается в смешении чисто реальных явлении с явлениями сверхъестественными, причем происходит такого рода комбинация, которая едва ли поддастся детскому уразумению. Мистические превращения, в роде превращения работника Михаила в ангела, и голая, сухая мораль по поводу



любви к ближнему — все это такие предметы, которые не дадут много здоровой пищи живому, непосредственному детскому уму... Рассказ «Чем люди живы» в сущности ничто иное, как прекрасная аллегория, мотив которой заимствован из народного мирозерцания. Но там, где мы, люди взрослые, видим аллегория, ребенок увидит живую действительность, быть. Все, заключающееся в рассказе Гр. Л. Толстого, ребенок примет за действительно где-то и когда-то происходившее, но смысла этой были не уразумеет.

«Бог наказал ангела за непослушание», станет раздумывать маленький читатель. «Ангел обратился в человека, жил в работниках у сапожника и через шесть лет, снова превратившись в ангела, улетел на небо»... А сентенции, заключающиеся в конце рассказа, пройдут мимо бесследно... Дети никогда не жалуют морали в ее голом виде, кто бы им ни преподносил ее. Автор должен сделать так, чтобы мораль сама сказалась в живых образах...

Писатель в своей деятельности, разумеется, не должен стесняться выбором средств для достижения своей цели, причем само собой уже подразумевается, что эти средства должны быть чистые, ибо честное дело требует и честных средств. Но помимо этого подразумеваемого ограничения, для писателя представляется полный простор... Он имеет право пользоваться всевозможными приемами, всевозможными путями, лишь бы эти пути вели его в Рим, то есть прямо к цели. Так, например, и фантастическим элементом не только можно, но и должно пользоваться в детской литературе<sup>1</sup>, — разумеется, пользоваться уменочи, с толком. Мистические таинства в литературных произведениях, предназначенных для детей, вовсе неуместны. Мистика в состоянии даже взрослого человека запутать и сбить с толку, а для ребенка — в лучшем случае — она может представить лишь ряд загадок, более или менее темных, более или менее сбивчивых, и часто противоречивых... То есть, мы хотим сказать, что мистика не ведет писателя в Рим.

Не легко проникнуть в детский мир, и с помощью голых нравочений и мистических таинственностей никогда не проникают в него... В рассказе «Чем люди живы» дети не найдут тех прелестей, тех наслаждений, какие найдут в нем, быть может, некоторые из нас, людей взрослых. Повторяем: будь написан этот рассказ для детей каким-нибудь заурядным господином, им можно было бы остаться довольным, и мы не отозвались бы о нем ни хоро-

---

<sup>1</sup>Наглядным примером в этом случае могут служить известные «Сказки Кота-Мурлыки».

шо, ни дурно. Но когда каждая строчка, выходящая из-под пера Гр. Л. Толстого, обращает на себя внимание русского читателя, когда каждая строчка его комментируется и так и сяк, то мы невольно должны были заинтересоваться его детским рассказом, посмотреть внимательно на него и узнать: какого рода подарок сделал детям Гр. Л. Толстой своим рассказом. Мы прочитали этот рассказ и теперь поделились с читателем нашими впечатлениями. Писатель высокоталантливый дал детям меньше, чем мог бы дать...

Несомненно, намерения благие были у Гр. Л. Толстого, но эти намерения, к несчастью, не осуществились в той степени, в какой, вероятно, было желательно ему самому. Как известно, не один дантовский ад вымошен «благими намерениями», вымощена ими и наша русская литература...

*Н. П-я.*

**ИНДИЙСКИЕ ПОВЕСТИ; СКАЗКИ  
АНДЕРСЕНА; СКАЗКА О ТОМ, КАК ПРАВДА  
С ЗЕМЛИ ПРОПАЛА**

*Впервые опубликовано в: Женское образование. 1883. № 8.  
С. 550–552.*

*Народная библиотека.* Индийские повести. Москва. 1883. Цена 10 коп.

*Народная библиотека.* Сказки Андерсена. 10 книжек по 5 коп. и по 10 коп. Москва. 1883.

*Для народного чтения.* Сказка о том, как правда с земли пропала. Г. О. (Издание редакции журнала «Родник»). С.-Пб. 1883. Цена 5 коп.

Давно уже пора распространять в народе хорошие книги чрез посредство школ, армии п коробейников, давать народу здоровую и разумную духовную пищу, противодействовать книжной спекуляции, глубоко пустившей корни, благодаря лубочным безграмотным издателям. Московская издательская фирма «Народная Библиотека», очевидно, вознамерилась серьезно приняться за это дело. Если такое намерение похвально и заслуживает поощрения и поддержки, то его умелое и добросовестное осуществление нельзя не считать отрядным. А именно такое выполнение благого намерения замечается в изданиях «Народной Библиотеки». И в смысле выбора выпускаемых ею в свет книжек, и в смысле изложения избираемых ею произведений — она не заслуживает упреков. Так, в «Народную библиотеку» входят чрезвычайно дешево изданные рассказы графа Льва Толстого, о которых мы уже имели случай говорить недавно. Обращают также внимание на себя сказки Андерсена и индийские повести. Эти произведения, полные поэтических красот и детски-невинной наивности, конечно, не только подходят к детскому и народному пониманию, но и высоко — полезны для народа, равно как и для детей, в смысле развития в них вкуса к истинной поэзии, не испорченной тем ложным реализмом, который за последнее время стал все более и более вторгаться в нашу литературу —

в цивилизованной среде в виде юмористических изданий, а в среде народной в виде трактирных и пьяницких песен. Тот, у кого литературный вкус развивается на истинно-художественных произведениях, вселяющих в него любовь к идеалам правды, добра и красоты, — тот поймет все растлевающее значение разных яко бы юмористических изданий, бьющих на цинизм и всяких грязных песней и куплетов.

Скажите же, чем можно развивать литературный вкус и действовать в благотворном направлении на религиозно-нравственное воспитание, как не теми произведениями словесности, в которых религиозные, нравственные, семейные и пр. идеалы воплощаются в форме художественных, ясных, чарующих своею красотой образов? Скажите, где, как не в сказках Андерсена и не в поэтическом повествованиях о злоключениях Наля и Дамаятти, найдете вы честную, здоровую, благородную мораль, проведенную с тою обязательной силою, которая увлекает читателя по лучшему, светлomu пути к соршенствованию?

Быть может, кто-нибудь возразит нам в том смысле, что «Нал и Дамаятти» и сказки Андерсена слишком известны для того, чтобы еще пересказывать их. Совершенно верно: они очень известны. Но где-же, позвольте полюбопытствовать, в позднейших произведениях литературы найдете вы такое «малоизвестное», но очень замечательное, что стоило-бы изложения предпочтительно пред упомянутыми сказками и повестями. Немного, даже очень мало найдете вы такого. Во всяком случае, пересказывать Андерсена и старинные индийские сказания в неисчислимом количестве раз полезнее, чем печатать оригинальные сказки с фальшивою и даже вредною идейною подкладкой, какова лежащая пред нами сказка г. Г. О. «О том, как правда с земли пропала». Представляя собою с внешней стороны слепое подражание стилю графа Толстого, а по содержанию и по идее являясь наоборот крайне пессимистическою, сказка эта ни к чему иному, как к развитию вредной боязни пред злом и недоверию к силе добра служить не может. Позволяем себе напомнить автору, что подражание писателю должно сказываться не в одной только внешней, технической стороне повествования, т. е. не только в подражании его манере, его стилю, но и в сходстве, даже (если можно так выразиться) в родстве идей и содержания... В противном случае, такое подражание является ничтожным, профанацией писателя и всего того, чему он служит выражением.

Х. А.

## СКАЗКА «ДЕНЬГИ»; ГАДКИЙ УТЕНОК

*Впервые опубликовано в: Что читать народу. 1884. Т. 1.  
С. 325.*

359) Сказка «Деньги». Сочинение Г. Д. Спб. 1868 г. 51 стр.

Храбрый и умный мальчик-пастух спасает жизнь Абдула-эфенди, первого богача в городе, за что тот усыновляет его и делает впоследствии наследником.

Получивший в распоряжение груды золота, бывший пастух остается все при той-же умеренной обстановке к которой он привык, а богатства свои разумно, распределяет на нужды и помощь народу. Через несколько лет народ начинает благоденствовать; благодаря уму, энергии предприимчивости общественного деятеля.

В сказке этой нет ничего сказочного. Разумные результаты являются следствием разумных поступков. Все это построено довольно искусственно, и рассказ изобилует турецкими словами, но деланность выкупается честностью мысли, а турецкие слова — подстрочным переводом, вследствие чего, книжку эту не следует, исключать из народной библиотеки.

*Вопросы:*

Какими качествами обладал пастух Яни? Какое употребление сделал он из своих богатств? Что говорил он о золоте, зарытом в землю?

Сказка эта очень нравится более развитым детям; пригодна также для чтения взрослых. Турецкие слова с подстрочным переводом нисколько не мешают усвоению общего смысла. Ответы на поставленные вопросы получаются весьма толковые, не смотря на то, что кроме турецких слов, в сказке встречаются еще и слова, требующие объяснений, как например: *хандра, экспедиция, хищник, чалма, вексель* и друг.

360) **Гадкий утенок.** Изд. Общ. распр. пол. книг № 296. Сказка Андерсена Ц. 5 к., 23 стр.

Содержание этой небольшой: сказочки заключается в следующем. — Утка вывела утят. Все дети были как дети, один только утенок уродился большим и некрасивым на утиный взгляд. Это обстоятельство влечет за собою для бедного утенка ряд страданий. Не любят его мать и братья, не любят посторонние, с презрением относятся к нему курочка и кот в избушке, куда попал он. В конце концов, натерпевшись всевозможных оскорблений и страданий, он со страхом и отчаянием решает подплыть к красивым и величественным лебедям: «Убейте меня!» простонал бедняжка и в ожидании смерти склонил голову, но — чудо! — что увидел он в светлом зеркале воды — Самого себя но уже не гаденькой, уродливой, темно-серой птицей; как в прошлом году, а лебедем.

В сказке встречаются беспрестанно намеки на отношения людей. Возьмем для примера хотя следующую выдержку: «Кот был господином, курочка — госпожой в доме; и у них что ни слово — „мы целый мир“, потому что они считали себя, по крайней мере, половиной его, да еще и самой лучшей. Утенок же думал, что можно иметь и свое собственное мнение; но курочка никак не терпела этого».

Подобного рода сближения непонятны детям ни по своей форме, ни по своему внутреннему смыслу; тем не менее сказочка эта, слушается и читается детьми с интересом, и они относятся сочувственно к участи бедного утенка.

В книжечке находится 7 недурных картинок, оживляющих сказку и доставляющих детям немалое удовольствие. Передается она прекрасно без всяких вопросов и пригодна для школьной библиотеки.

*Иван Феоктистов*

## СВОД МНЕНИЙ В. Г. БЕЛИНСКОГО

*Впервые опубликовано в: Педагогический листок. 1884.  
№ 1–2. С. 3–58.*

### Предисловие.

В современной педагогической литературе, при рассмотрении вопроса о детском чтении, развита страсть цитировать Белинского, и иногда какое-нибудь ничтожное мнение, если и имеет какую цену, то благодаря только подобной цитате. Мы, признаться, не понимаем этой страсти. Во-первых, по большей части этими цитатами подкрепляются такие положения, которые гораздо лучше было бы доказать, чем сваливать с большой головы на здоровую; во-вторых (и это самое важное), Белинский принадлежит к тем писателям, которых цитировать, с целью подкрепить свое мнение, очень опасно. Во все время своей литературной деятельности он мужал с часу на час, иногда падал, но затем с новою силою шел вперед, проклиная час своего падения. Понятно, что цитатами из такого писателя можно доказать все, что угодно; он может служить и нашим, и вашим. Обыкновенным кладезем мудрости рецензентов, из которого они и черпают чаще всего цитаты, есть большая статья по поводу сказок Гофмана и кн. Одоевского (см. №№ 18, 19 и 26 нашей статьи). Статья эта вылилась из души критика, — это показывает ее пафос, стройное течение мыслей, поэтический и несколько риторически возвышенный язык, — но эта именно статья, что в ней касается детского чтения, в самых основных положениях теряет свое значение, как выражение истинных мнений Белинского, после его статей о том же, предмете в последующий период. Достаточно указать на то, что в этой статье на Гофмана указывается, как на такого писателя, произведения которого необходимы в воспитании детей, как развивающие в детской душе фантазию и в особенности элемент фантастический (т. III, стр. 532); а в статье, писанной в последний период, те же сочинения и на том же основании отвергаются, так как критик находит, что развитие фантазии в детях

скорее следует сдерживать, чем возбуждать (т. XI, стр., 171). В первой статье Белинский выражает желание, чтоб не было ни одного ребенка, который не мог бы пересказать сказки Гофмана слово в слово, а во второй говорится, что произведения Гофмана для детей вредны еще более, чем произведения Поль-де-Кока. Что может быть диаметрально противоположным этим двум мнениям?

А сколько мелких противоречий! Цитировать Белинского, с целью подкрепления своих мнений, нам кажется, можно смело только в вопросах чисто нравственных, — тут он одинаково светел от начала до конца своей деятельности; что же касается религии, политики, литературы — цитаты из него, взятые без разбора, оружие обоюдоострое. Это всякому известно, кто прочел все его сочинения.

Чтобы выяснить истинные мнения Белинского о детской литературе, мы решили сделать свод всех его мнений по этому предмету, присоединить сюда же его мнения о тех произведениях, которые им, очевидно, не считались в числе произведений детской литературы, но которые можно отнести в них же. Порядок принятый нами в расположении статей — хронологический, который нарушается только тогда, когда приходится соединять отзывы об однородных предметах, но и тут они поставлены (за исключением двух-трех случаев) в хронологической последовательности. Статья по поводу «Библиотеки детских повестей» Бурьянова и др. детских книг (т. II, стр. 343) нами выпущена, так как она потом целиком входит в статью по поводу сказок Гофмана. Отзывы незначительные также выпущены. Затем во взятых статьях иногда сделаны выпуски, в которых нет ничего или мало относящегося к интересующему нас предмету. Эти выпущенные места мы означаем, только тогда, когда без этого потеряется связь с последующим, но нигде мы не позволили себе малейшего изменения, хотя бы в одном слове.

В конце своего труда мы делаем краткий вывод из приведенных мнений Белинского; некоторые положения этого вывода, полагаем, для многих рецензентов детских книг будут неожиданными.

Сентябрь, 1884 г.

Составитель.

1. Конек-горбунок. П. Ершова.<sup>1</sup> (В начале статьи Белинский иронизирует над переделками народных сказок.) Эти сказки созданы народом: итак, ваше дело списать их, как можно вернее, под диктовку народа, а не подновлять и не переделывать. Вы никогда не сочините своей народной сказки, ибо для этого вам

---

<sup>1</sup> Все, внесенное в скобки, принадлежит составителю.



надо бы было, так сказать, омужичиться, забыть, что вы барин, что вы учились и грамматике, и логике, и истории, и философии, забыть всех поэтов, отечественных и иностранных, читанных вами, — словом, переродиться совершенно, иначе вашему созданию, по необходимости, будет недоставать этой неподдельной наивности ума, непросвещенного наукою, этого лукавого простодушия, которыми отличаются народные русские сказки. Как бы внимательно ни прислушивались вы к эху русских сказок, как бы тщательно ни подделывались под их тон и лад, и как бы звучны ни были ваши стихи — подделка всегда останется подделкою, из-за зипуна всегда будет виднеться ваш фрак. В вашей сказке будут русские слова, но не будет русского духа и потому, несмотря на мастерскую отделку и звучность стиха, она нагонит одну скуку и зевоту. Вот почему сказки Пушкина, несмотря на всю прелесть стиха, не имели ни малейшего успеха. О сказке г. Ершова нечего и говорить. Она написана очень недурными стихами, но по вышеизложенным причинам, не имеет не только никакого художественного достоинства, но даже и достоинства забавного фарса. (Т. I, стр. 334.)

2. Сказки Пушкина. Сказки Пушкина решительно дурны, поэзия и не касалась их. Мы не можем понять, что за странная мысль овладела им и заставила тратить свой талант на эти поддельные цветы. Русская сказка имеет свой смысл, но только в таком виде, как создала ее народная фантазия; переделанная и прикрашенная, она не имеет решительно никакого смысла. Впрочем, сказка «О рыбаке и рыбке» заслуживает внимания по крайней простоте и естественности рассказа, а более всего по своему размеру, чисто русскому. Кажется, наш поэт хотел именно сделать попытку в этом размере и для того нарочно написал эту сказку. (Т. II, стр. 193.)

Царь-девица. Ну — пошла писать наша народная литература! Сказка за сказкою! Только успевай встречать да провожать незваных гостей! И правду говорят, что русский человек смышлен: выдумать что-нибудь свое — глупое или умное — не его дело; зато уж если натолкнет его что-нибудь — так держись только, да смотри в оба! Ох, «Царь Салтан Салтанович»! Бог тебе судья! Востормошил ты наш неугомонный народ — житья не стало от сказок; хоть беги со света долой! Не понимаю, как по сию пору никому не придет в голову издать «Илью Муромца» Карамзина на лучшей веленовой бумаге, со всею типографическою роскошью и с учеными примечаниями. Кажется, теперь настало именно то время, когда это плохонькое произведеньице, которое сам автор почитал безделкою и шуткою, должно казаться великим, гениальным твореньем, веко-

вым типом почти всего, что ныне пишется. И в самом деле, разве «Илья Муромец» уступит в достоинстве «Царю Салтану», «Берендею», «Коньку-Горбунку» и пр. и пр.? (Т. I, стр. 351.)

3. Сельские беседы. Книга, изданная для простонародья и касающаяся своим содержанием быта земледельцев. Доброе дело! Жаль только, что изложение не довольно увлекательно и не довольно доступно для православных бород и остриженных в кружок голов. Жаль еще, что книжка оканчивается «Русскою сказкою о белой царице и т. д.»; подделки под тон и манеры народных сказок всегда более или менее приторны; сверх того, у мужиков много и своих сказок, которые ничуть не умнее, даже глупее той, которую подчуют их «Сельские беседы». «Русский мужик сер, а ум-то у него не черт съел», говорит пословица: у русского мужика много природного ума, много разумного чутья, которое заставляет его смотреть на сказки, как на пустяки и уважать только то, что, будучи доступно его разумению, в то же время может сделать его умнее и поставить выше понятий его сословия и быта, а не то, что только держит его в круге его же ограниченной жизни, или еще толкает ниже этого круга. (Т. VI, стр. 420.)

4. Искусство брать взятки и пр. (В начале говорится о чтении народом произведений рыночной литературы). Но во всяком случае, зло совсем не так велико, как думают: стоит только взглянуть на предмет с другой стороны, чтобы во зле увидеть добро. Не все же могут читать Вальтер-Скотта и Купера: есть люди, которым нужны и «Милорд Английский» и «Гуак», и «Филатки» с «Мирошками». Ведь им надо же что-нибудь читать, а кто читает что-нибудь, уже гораздо выше того, кто ничего не читает. Чтение должно быть по плечу чтецу, и в чтении должна быть своя постепенность, свой ход, свое развитие: иной от «Английского Милорда» доходит до «Ивана Выжигина» и на нем останавливается; а иной, начав «Гуаком» и перешедши через все многочисленное поколение «Выжигиных», доходит до Вальтер-Скотта и Купера. Но и тот, кто, начавши с «Милордов» и «Гуаков», на них и остановился — и тот, говорю я, уже далеко опередил того, кто ничего не читает. Итак пусть читает во здравие наш православный народ, пусть с каждым днем все более и более распространяется в нем жажда к чтению!.. Что бы ни пробуждало и ни питало эту жажду — все хорошо! (Т. III, стр. 54). Сколько поколений в России начало свое чтение, свое занятие литературою с «Английского Милорда». (Т. III, стр. 260.)

5. Тысяча и одна ночь. Арабские сказки суть полнейшее выражение национального духа и общественности важнейшего из му-

хамеданских народов, некогда игравшего в мире такую великую роль. Создания пламенной фантазии, отрешившейся от всех прочих способностей души, они отличаются сплетением и переплетением частей и эпизодов, образующих собою какое-то уродливое целое, — узорчатою пестротою своей фантастической ткани и резкой яркостью своих восточных красок; они невольно поражают этим бессмысленным, произвольным искажением действительности, или, лучше сказать, этою действительностью, построенною на воздухе, лишенною всех подпор возможности, вопреки здравому смыслу. Это-то самое и придает им колорит оригинальности, составляющий главную их прелесть. — Все восточные народы — страстные охотники до рассказов и, так как восточная жизнь лишена всякого движения и разнообразия, они хотят, чтоб эти рассказы были исполнены чудес и небывалых приключений, которые составляли бы собою контраст с их однообразною, скучною действительностью. И как понятно, что, несмотря на всю нелепость вымысла, эти сказки слушаются бритыми правоверными головами с самым добродушным убеждением в непреложной истине каждой черты их! Это не глупость, а младенческое состояние ума, погруженного в вечную дремоту. Вот почему для детей чтение «Арабских сказок» доставляет столько наслаждения, человек-дитя в Европе сочувствует народу-дитяти в простодушных откровениях его фантазии. Человек взрослый не может читать залпом этих сказок: ему наскучит одно и то же — и чудесные красавицы, и разумные принцы, и повторение одних и тех же речей, в которых ровно ничего нет. Но так как и между взрослыми много детей, то «Арабские сказки» всегда будут иметь у себя обширный круг читателей и почитателей. (Т. VI, стр. 383). Арабские сказки созданы для того, чтобы пленять и очаровывать впечатлительное воображение детей и младенствующих народов. (Т. XII, стр 93.)

6. Всеобщее путешествие вокруг света Дюмон-Дюрвиля. «Путешествие Дюмон-Дюрвиля» есть книга народная, для всех доступная, способная удовлетворить и самого привязчивого, глубоко ученого человека, и простолюдина, ничего незнающего. Дюмон-Дюрвиль объехал кругом света и решил почти в форме романа изложить полное землеописание, соединив в нем факты, находящиеся в сочинение известных путешественников и приобретенные им самим. Заманчивость и прелесть его описаний не дают оторваться от книги, когда возьмешь ее в руки. (Т. II, стр. 183.)

7. Русская история для первоначального чтения Н. Полевого. 3-я часть «Русской истории» превзошла все наши ожидания. Это

уже не просто учение для детей, это уже книга для всех. Автор оставил, или лучше сказать, сбился с тона детского рассказчика, который, правду сказать, и в первых двух томах состоял только в одних обращениях к «любезным читателям», он продолжает свое прекрасное сочинение в каком-то общедоступном и всех удовлетворяющем тоне. Его рассказ отличается изящностью и стройностью, представляет собою правильную, симметрично расположенную галерею мастерских картин, проникнут одушевлением, полон мысли и, вместе с этим, отличается такою простотою изложения, что, удовлетворяя самого взыскательного ученого, доступен и для детей и простолюдинов. (Т. II, стр. 216.)

(Часть четвертая). Эта книжка продолжение прекрасного труда, которому давно была бы пора кончиться. Г. Полевой может сделать много полезного и истинно прекрасного; лучшее доказательство четвертый том его «Русской истории для первоначального чтения». Когда выйдет последний том этой «Истории», мы поговорим о ней поподробнее; а теперь скажем только, что еще в первый раз читали по-русски так дельно, умно и с таким талантом написанную русскую историю для детей — от смерти царя Алексея Михайловича до восшествия на престол Екатерины Великой. Особенно хорошо изложено в этой книжке время от смерти Петра Великого. Это не сбор фактов, давно всем известных; это не фразы, из которых читатель узнает, что всегда и везде было чудо как хорошо, и не понимает, чем же Петр Великий выше Анны Иоанновны; Екатерина Великая — Елизаветы Петровны, Потемкин выше Бирона, а Державин выше Сумарокова. У г. Полевого есть взгляд, есть мысль, есть убеждения; оттого рассказ его жив, одушевлен, увлекателен, а события запечатлеваются в памяти читателя. Правда, с иными взглядами г. Полевого можно и не согласиться; но самый ошибочный взгляд лучше отсутствия всякого взгляда. Нам кажется, что он не совсем понял Миниха и был пристрастен не в его пользу, кроме этого мы не заметили ничего такого, в чем бы можно было упрекнуть книжку г. Полевого. (Т. V, стр. 359.)

8. Повести Ал. Пушкина. Правда, эти повести занимательны, их нельзя читать без удовольствия; это происходит от прелестного слога, от искусства рассказывать, но они не художественные создания, а просто сказки и басенки; их с удовольствием и даже с наслаждением прочитает семья, собравшаяся в скучный и длинный зимний вечер у камина; но от них не закипит кровь пылкого юноши, не засверкают очи его огнем восторга; но они не будут тревожить его сна, — нет — после них можно задать лихую высыпку. (Т. I, стр. 323.)

9. Мих. Вас. Ломоносов. Ксенофонта Полевого. Мы чистосердечно и добросовестно можем сказать, что книга Полевого есть приятное явление в нашей литературе, прекрасный подарок публике. Мы особенно рекомендуем ее молодому поколению, из среды которого готовятся будущие деятели на ниве человеческой мысли: оно найдет для себя высокие уроки в этой книге, и увидит в жизни Ломоносова свой долг и свое назначение, оно узнает из нее, что только в честной и бескорыстной деятельности заключается условие человеческого достоинства, что только в силе воли заключается условие наших успехов на избранном поприще. Зрелище жизни великого человека есть всегда прекрасное зрелище: оно возвышает душу, мирит с жизнью и возбуждает деятельность!.. (Т. II, стр. 243.)

В трудах и жизни Ломоносова гораздо больше поэзии, чем в его вдохновениях. (Т. II, стр. 142).

10. «Сын рыбака» представляет собою богатый образец совершенной бесполезности большей части детских книг. Какой может быть интерес для детей в биографии поэта и ученого, когда еще они не имеют ни малейшего понятия ни о поэзии, ни о науке? Издавать для малолетних детей подобную книгу — не то ли это самое, что издавать для крестьян биографию Гегеля? Вот другое дело издавать для детей биографию Петра Великого, Суворова, Кутузова: это им доступнее; они любят рассказы о сражениях, да и личность Петра Великого, как государя и как человека, искусно очерченная, не могла бы их не заинтересовать. Но что им в Ломоносове? (Т. XI, стр. 173).

11. Басни Ив. Крылова. Хемницер удержится в истории нашей литературы, и дети никогда не перестанут смеяться от его «Метафизика». — Конечно, мы уже не можем восхищаться баснями Дмитриева и даже никогда не чувствуем охоты перечить им; но с ними связаны самые сладостные воспоминания о золотой поре нашего детства, наши дети, пока будут детьми, не перестанут ими восхищаться. — Нет нужды говорить о великой важности басен для воспитания детей: дети бессознательно и непосредственно напитываются из них русским духом и обогащаются прекрасными впечатлениями почти единственно доступной для них поэзии. Но Крылов поэт не для одних детей: с книгою его басен невольно забудется и взрослый и снова перечтет уже читанное им тысячу раз. (Т. IV, стр. 91.)

12. Тетушкины сказки. М. В. Руссо. Если эти повести назначались их автором для чтения девиц, уже готовящихся сделаться невестами, то он нелепы и глупы; если же для малолетних дево-

чек, то неприличны, ибо их персонажи, по большей части, девушки от 12 до 15 лет, и все, за хорошее поведение, награждаются выгодным замужеством. Конечно, для девушки в пятнадцать лет, которая уже питает желание быть замужем — такая награда слишком достаточная причина вести себя хорошо, по крайней мере при людях; но что тут лестного для девочки от семи до четырнадцати лет? Если уже люди должны быть добры из-за выгод, если уже им непременно надо получать плату за свою добродетель, то для маленькой девочки фунт конфет обольстительнее всякого богатого мужа. Вот нравственность XVIII (sic) века!.. Каких высоких чувств можно ожидать от девушки, напитанной, или, лучше сказать, напичканной такой прекрасной моралью?.. И между тем, эта мораль проповедуется всеми, и едва ли не каждый из нас — исключения очень редки — был упитываем этою небесною манною! Горькая мысль!.. Едва появится на свет новый житель мира, новый член огромного человеческого семейства, и уже ему предлагают тонкий яд разврата, яд, истребляющий семена доброго и поспевающий в юной, ангельской душе тернии эгоизма и ничтожество в помыслах, желаниях и стремлении! И все это добродушно, от искреннего сердца, нередко с чистым желанием добра. Так напр., Коцебу написал для своих детей несколько, надо сказать правду, презанимательных, повестей, под названием «Подарок детям на новый год»; так сладенький и добренький Дюкре-Дюмениль издал тоже довольно занимательные детские повести, под названием «Вечерние беседы в хижине или наставления престарелого отца». В тех и других, всякое достоинство награждено, а порок и недостаток везде наказаны, и изо всего этого выведено мудрое правило, что надо быть добрым. Добрые наши отцы и наставники готовы божиться и клясться, что в этих книжках чистейшая нравственность. — Повести Коцебу и Дюкре-Дюмениля отличаются некоторым литературным достоинством и дурны только от косога взгляда на вещи и пошлого понятия о нравственности. (Т. I, стр. 402.)

13. Детская книжка на 1835 год. Вл. Бурнашева. Мы взяли эту книжку с полною уверенностью, что найдем в ней пошлый вздор — и приятно обманулись в своем ожидании. Г. Бурнашев обещает собою хорошего писателя для детей — дай-то Бог! Его книжка истинный клад для детей. Первая повесть «Русая коса» бесподобна. Именно такие повести должно писать для детей. Питайте и развивайте в них чувство; возбуждайте чистую, а не корыстную любовь к добру; заставляйте их любить добро для самого добра, а не из награды, не из выгоды быть добрыми; возвышайте их душу примерами

самоотвержения и высоты в делах, и не наскучайте им пошлою моралью. не говорите им: «это хорошо, а это дурно, потому и поэтому», а покажите им хорошее; не называя его даже хорошим, но так, чтоб дети сами, своим чувством понимали, что это хорошо; представляйте им дурное, тоже не называл его дурным, но так, чтобы они по чувству ненавидели это дурное. Помните, что основание Евангелия есть любовь, а любовь проявляется самоотвержением своего эгоизма, готовностью жертвовать собою и своим счастьем для добра и правды. Развивайте также в них и эстетическое чувство, которое есть источник всего прекрасного, великого, потому что человек, лишенный эстетического чувства, стоит на степени животного. Но как должно развивать в детях эстетическое чувство — вот вопрос, на который должны обращать внимание писатели для детей. Мы думаем, что для этого одно средство: давать детям произведения, сколько возможно доступные для них, но изящные, но согретые теплотою чувства и ознаменованные большею или меньшею степенью истинного таланта. Из этого видно, как редки должны быть люди, обладающие талантом, необходимым для детского писателя, и как глупы люди, презирающие этим родом литературной славы! (Т. II, стр. 224.) (Два последующие отзыва взяты из большой статьи, которая здесь не помещена потому, что она потом целиком входит в статью по поводу сказок Гофмана и князя Одоевского. Смотри ниже.)

14. Зимние вечера Деппинга. (Тут выхваляется безусловное уважение к старости у диких народов; по этому поводу Белинский говорит): И что за добродетель такая — безусловное уважение и покорность старости? Представьте себе, что какое-нибудь благовоспитанное дитя, поверив г. Бурьянову (переводчику книги), вздумает не только безусловно уважать, но и безусловно повиноваться седому камердинеру, седому старосте, лакею своего отца, первому встретившемуся седому нищему: куда бы повела его эта безусловность повиновения седине? (Т. II, стр. 356).

15. Прогулка с детьми по С.-Петербургу. Бурьянова. Нет, это книжка не для детей; скучно, утомительно и бесплодно будет им читать ее: они ничего не упомнят из нее, потому что дети понимают и помнят не рассудком и памятью, а воображением и фантазией, а что за пища воображению и фантазии эти статистическая описания, эти сухие, голословные исчисления бесчисленных фактов? Нам скажут: «это займет детей и удержит их от резвости и шалостей». Положим, что и так, но что за польза в этом! Нет, пусть лучше дети шалят и резвятся — это необходимо в их возрасте, пусть лучше

бегают по саду или полю и привыкают созерцать живую природу в ее красоте — это развивает в них чувство бесконечного; а такое препровождение времени в тысячу раз полезнее, нежели чтение подобных книг. (Т. II, стр. 357.)

16. Новейший детский Робинзон. (Выборка, т. е. извлечение, из романа Фоэ). Две вещи особенно хороши в этой выборке: чистейшая нравственность и картинки с подписями. Под чистейшею нравственностью автор выборки понимает наказание Робинзона за его величайшее преступление, состоявшее в беспокойном духе, который стремил его за моря. Не странно ли такое обвинение? Не сам ли Бог одарил каждого человека особенным стремлением и на разности этих стремлений основал здание человеческого общества? Один воин, другой судья, третий ученый, художник, ремесленник и т. д. и слава Богу, если каждый делается тем или другим не по случаю, а по влечению. Нужно ли толковать, какую пользу принесли человечеству Куки, Лаперузы, Беринги и другие, и именно потому, что родились со страстью к мореплаванию? Что если бы нежные родители того или другого запретили путешествовать своему сыну? Чего бы тогда лишилась наука и человечество! Любовь и уважение к родителям, без всякого сомнения, есть чувство святое; но все должно быть в своих своих границах, и ничто ничему не должно мешать. Всякий человек обязан своим родителям; но в то же время он есть и сам себе цель, так что ограничить поприще его жизни только успокоением «нежных родителей» значило бы уничтожить его значение, как существа разумного, самостоятельного и свободного, имеющего обязанности не только к родителям, но и к обществу, и к самому себе, — обязанности не менее первых священные. Извольте видеть, Робинзон был наказан судьбою за то, что последовал своему внутреннему влечению, самую природою в него вложенному!.. (Т. III, стр. 139).

17. Робинзон Крузе. Кампе. Руссо был прав, видя столь важную для воспитания книгу в «Робинзоне» Даниэля Фоэ; а переводчик Кампе совсем не прав, отдавая преимущество переведенной им книге перед «Робинзоном» английским. Вообще «Робинзон» Фоэ несравненно лучше «Робинзона» Кампе; последний состоит, большею частью, из пиэстических и резонерских разговоров отца, рассказывающего детям историю Робинзона. Эти разговоры для детей более способны произвести в детях скуку и отвращение к морали, чем быть для них наставительными. «Робинзон» Фоэ большею частью наполнен рассказом, которого интереса и занимательности для детей ни с чем нельзя сравнить; рассуждениями он наскуча-



ет довольно редко. Этот первоначальный и истинный «Робинзон» был переведен и по-русски, с французского перевода, в 1814 году под заглавием «Жизнь и приключения Робинзона Круза, природного англичанина. Перев. с фр. Як. Трусовым». — Во всяком случае, и новый перевод книги Кампе не лишний в нашей литературе, так бедной сколько-нибудь сносными сочинениями для детей; тем более не лишний, что он сделан порядочно, со смыслом, и издан опрятно. (Т. VI, стр. 393.)

18. Сказки Гофмана и Дедушки Ириней. (Самая большая статья Белинского о детской литературе. В начале ее этюд о воспитании, который мы выпускаем). На детские книги обыкновенно обращают еще менее внимания, чем на самое воспитание. Их просто презирают, и если покупают, то разве для картинок. Есть даже люди, которые почитают чтение для детей больше вредным, чем полезным. Это — грубое заблуждение, варварский предрассудок. Книга есть жизнь нашего времени, в ней все нуждаются — и старые, и молодые, и деловые, и ничего не делающие; дети — также. Все дело в выборе книг для них, и мы первые согласны, что читать дурно выбранные книги для них и хуже и вреднее, чем ничего не читать: первое зло положительное, второе только отрицательное. Так напр. в детях, с самых ранних лет, должно развивать чувство изящного, как один из первейших элементов человечности; но из этого отнюдь не следует, чтобы им можно было давать в руки романы, стихотворения и пр. Нет ничего столь вредного и опасного, как неестественное и несвоевременное развитие духа. Дитя должно быть дитятею, но не юношею, не взрослым человеком. Первые впечатления сильны, — и плодом неразборчивого чтения будет преждевременная мечтательность, пустая и ложная идеальность, отвращение от бодрой и здоровой деятельности, склонность к таким чувствам и положениям в жизни, которые несвойственны детскому возрасту. Юноши, переходящие в старость мимо возмужалости — отвратительны как старички, которые хотят казаться юношами. Все хорошо и прекрасно в соответствии с самим собою. Всею своя черед. Неестественно и преждевременно развившиеся дети — нравственные уроды. Всякая преждевременная зрелость похожа на растрепанность в детстве. Искусство в той мере действительно для каждого, сколько каждый находит в нем истолкование того, что живет в нем самом, как чувство, — что знакомо ему, как потребность его души. Когда же он этого не находит в искусстве, то видит в нем фразы, увлекается ими, из простого, доброго человека становится высокопарным болтуном, пустым и докучным

фразером. Что же тут сказать о детях, которые, по своему возрасту, не могут найти в поэзии отражения внутреннего мира души своей? Разумеется, они или увлекаются отвратительным в их лета фразерством, или перетолковывают по-своему недоступные для них чувства и превращают их для себя в неестественные и ложные ощущения. — Но что же можно читать детям? Из сочинений, писанных для всех возрастов, давайте им «Басни Крылова», в которых даже практические, житейские мысли облечены в такие пленительные поэтические образы, и все так резко запечатлено печатью русского ума и русского духа; давайте им «Юрия Милославского» г. Загоскина, в котором столько душевной теплоты, столько патриотического чувства, который так прост, так наивен, чужд возмущающих душу картин, так доступен детскому воображению и чувству; давайте «Овсяный кисель», эту наивную, дышащую младенческой поэзией пьесу Гебеля, так превосходно переведенную Жуковским; давайте им некоторые из народных сказок Пушкина, как напр. «О рыбаке и рыбке», которая при высокой поэзии, отличается, по причине своей бесконечной народности, доступностью для всех возрастов и сословий, и заключает в себе нравственную идею. Не давая детям в руки самой книги, можно читать им отрывки из некоторых поэм Пушкина, как напр. в «Кавказском пленнике» изображение черкесских нравов, в «Руслане и Людмиле» эпизоды битвы, о поле, покрытом мертвыми костями, о богатырской голове; в «Полтаве» описание битвы, появление Петра Великого; наконец некоторые из мелких стихотворений Пушкина, каковы: «Песнь о вещем Олеге», «Жених», «Пир Петра Великого», «Зимний вечер», «Утопленник», «Бесы»; некоторые из песен западных славян; а для более взрослых — «Клеветникам России» и «Бородинскую годовщину». Не заботьтесь о том, что дети мало тут поймут, но именно и старайтесь, чтобы они как можно меньше понимали, но больше чувствовали. Пусть ухо их приучается к гармонии русского слова, сердца преисполняются чувством изящного; пусть и поэзия действует на них, как и музыка — прямо через сердце, мимо головы, для которой еще настанет свое время, свой черед. Очень полезно и даже необходимо знакомить детей с русскими народными песнями, читать им, с немногими пропусками, стихотворные сказки Кириши Данилова. Народность обыкновенно выпускается у нас из плана воспитания; часто не только дети, но и юноши знают наизусть отрывки из трагедий Корнеля и Расина, и умеют пересказать десяток анекдотов о Генрихе IV, о Людовике XIV, а между тем не имеют и понятия о сокровищах своей народной поэзии, о русской литера-

туре, и разве от дядек и мамок узнают, что был на Руси великий царь — Петр I. Давайте детям больше и больше созерцание общего, человеческого, мирового, но преимущественно старайтесь знакомить их с этим через родные и национальные явления: пусть они сперва узнают не только о Петре Великом, но и о Иоанне III, чем о Генрихах, Карлах и Наполеонах. Общее является только в частном: кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству. — Книги, которые пишутся собственно для детей, должны входить в план воспитания, как одна из важнейших его сторон. Наша литература особенно бедна книгами для воспитания, в обширном значении этого слова, т. е. как учебными, так и литературными детскими книгами. Но эта бедность нашей литературы покуда еще не может быть для нее важным упреком. Посмотрите на богатые литературы французов, англичан и даже самих немцев: у всех у них детских книг много, но читать детям нечего, или по крайней мере очень мало. У французов напр. писали для детей Беркенъ, Бульи, г-жа Жанлис и проч., написали бездну, но дети от этого нисколько не богаче книгами для своего чтения. И это очень естественно: должно родиться, а не сделаться детским писателем. Это своего рода призвание. Тут требуется не только талант но и своего рода гений... Да, много нужно условий для образования детского писателя: нужны душа, благодатная, любящая, кроткая, спокойная, младенчески-простодушная, ум возвышенный, образованный; взгляд на предметы просветленный, и не только живое воображение, но и живая, поэтическая фантазия, способная представить все в одушевленных, радужных образах. Разумеется, что любовь к детям, глубокое знание потребностей, особенностей и оттенков детского возраста есть одно из важнейших условий. — Целью детских книжек должно быть не столько предохранение их от дурных привычек и дурного направления, сколько развитие данных им от природы элементов человеческого духа, — развитие чувства любви и чувства бесконечного. Прямое и непосредственное действие таких книжек должно быть обращено на чувство детей, а не на их рассудок. Чувство предшествует знанию; кто не почувствовал истины, тот и не понял и не узнал ее. В детском возрасте чувство и рассудок в решительной противоположности, в решительной вражде, и одно убивает другое: преимущественное развитие чувства дает им полноту, гармонию и поэзию жизни; преимущественное развитие рассудка губит в их сердце пышный цвет чувства и выращивает в них пырей и белену резонерства. Детский ум, предаваясь отвлеченности, в живых явлениях природы и жизни видит

одни мертвые формы, лишённые духа и сущности, и логические определения для него — скорлупа гнилого ореха, о которую только портятся зубы. Конечно, односторонность вредна и в воспитании, и детский рассудок требует развития, как и чувство; но развитие рассудка в детях предоставляется другой стороне воспитания — учению, школе. Садясь за грамматику, ребенок уже вступает в мир отвлеченностей и логических построений и определений. Всему свое место, и ни одна сторона духа не должна мешать другой: пусть в классе развивается рассудок ребенка и приучается постепенно к строгости логической дисциплины, пусть ребенок рассуждает с учебником в руках, готовясь к классу; но лишь затворится за ним дверь класса, пусть он входит в поэтический мир действительных, образных явлений жизни, в «полное славы творение»! Книга пусть будет у него книгою, и жизнь жизнью, и одно да не мешает другому! Увы, придет время — и скроется от него этот поэтический образ жизни, с розовыми ланитами, с сияющими от веселья взорами, с обольстительною улыбкой счастья на устах: подозрительный и недоверчивый рассудок разложит его на мускулы, кровь, нервы и кости и, вместо прежнего пленительного образа, покажет ему отвратительный скелет. В душе раздадутся тревожные вопросы — и как, и отчего, и почему и зачем? Живые явления действительности превратятся в отвлеченные понятия... Поздравим его, если он с честью выдержит эту внутреннюю борьбу: если из порожденных разрывающею силою рассудка противоречий снова войдет в новое и высшее прежнего разумно-сознательное созерцание полноты жизни. Пожалеем о нем, если ему суждено будет навек остаться в односторонней ограниченности рассудочного созерцания жизни... но пока он еще дитя, дадим ему вполне насладиться первобытным раем непосредственной полноты бытия, этою полною жизнью чистой младенческой радости, источник которой есть простодушное и целомудренное единство с природою и действительностью. — Итак, если вы хотите писать для детей, не забывайте, что они не могут мыслить, но могут только рассуждать, или лучше сказать, резонерствовать, а это очень худо! Если несносен взрослый человек, который все великое в жизни меряет маленьким аршином своего рассудка, и о религии, искусстве и знании рассуждает, как о посеве хлеба, паровых машинах, или выгодной партии, то еще отвратительнее ребенок-резонер, который «рассуждает», потому что еще не может «мыслить». Резонерство иссушает в детях источник жизни, любви, благодати; оно делает их молоденькими старичками, ставит на ходули. Детские книжки развивают

в них эту несчастную способность резонерства, вместо того, чтобы противодействовать ее возникновению и развитию. Чем обыкновенно отличаются например повести для детей — дурно склеенным рассказом, пересыпанным моральными сентенциями. Цель таких повестей — обманывать детей, искажая в их глазах действительность. Тут обыкновенно хлопочут изо всех сил, чтобы убить в детях всякую живость, резвость и шаловливость, которые составляют необходимое условие юного возраста, вместо того, чтобы стараться дать им хорошее направление и сообщить характер доброты, откровенности и грациозности. Потом стараются приучить детей обдумывать и взвешивать всякий свой поступок, словом сделать их благоразумными резонерами, которые годятся только для классической комедии или трагедии; а не думают о том, что все дело во внутреннем источнике духа, что если он полон любовью и благодатью, то и внешность будет хороша, и что, наконец, нет ничего отвратительнее, как мальчишка-резонер, свысока рассуждающий о морали, заложив руки в карманы. А потом, что еще — потом стараются уверять детей, что всякий проступок наказывается и всякое хорошее действие награждается. Истина святая — не спорим; но объяснять детям наказание и награждение в буквальном, внешнем, а следовательно и случайном смысле, значит обманывать их. А по смыслу и разумению — конечно, крайнему — большей части детских книжек, награда за добро состоит в долголетии, богатстве, выгодной женитьбе. Прочтите хоть напр. повести Коцебу, написанные для собственных его детей. Но дети только неопытны и простодушны, а отнюдь не глупы — и от всей души смеются над своими мудрыми наставниками. И это еще спасение для детей, если они не позволят так грубо обманывать себя; но горе им, если они поверят: их разуверит горький опыт и набросит в их глазах темный покров на прекрасный Божий мир. Каждый из них собственным опытом узнает, что бесстыдный лентяй часто получает похвалу на счет прилежного; что наглый затейник шалости непризнательностью отделяется от наказания, а чистосердечно признававшийся в шалости нещадно наказывается; что честность и правдивость часто не только не дают богатства, но повергают еще в нищету. Да, к несчастью, каждый из них узнает все это; но не каждый из них узнает, что наказание за худое дело производится самым этим делом и состоит в отсутствии из души благодатной любви, мира и гармонии — единственных источников истинного счастья; что награда за доброе дело опять-таки происходит от самого этого дела, которое дает человеку сознание своего достоинства, сообща-

ет его душе покойствие, гармонию, чистую радость, и через то делает ее храмом Божиим, потому что Бог там, где безмятежная, чистая радость, где любовь. А обо всем этом должны бы детям говорить детские книжки! Они должны внушать им, что счастье не во внешних и призрачных случайностях, а в глубине души, — что не блестящий, не богатый, не знатный человек любим Богом, но «сокровенный сердца человек в нетленном украшении кроткого и спокойного духа, что драгоценно пред Богом», как говорит св. апостол Павел. Они должны показать им, что мир и жизнь прекрасны так, как они суть, но что независимость от их случайности состоит не в ковче-самолете, не в волшебном прутике, мановение которого воздвигает дворцы, вызывает легионы хранительных духов с пламенными мечами, готовых наказать злых преследователей и обидчиков, но в свободе духа, который силою божественной, христианской любви торжествует над невзгодами жизни и бодро переносит их, почерпая силу в этой любви. Они должны знакомить их с таинством страдания, показывая его, как другую сторону одной и той же любви, как блаженство своего рода, и не как неприятную случайность, но как необходимое состояние духа, не изведав которого, человек не изведает и истинной любви, а, следовательно, и истинного блаженства. Они должны показать им, что в добровольном и свободном страдании, вытекающем из отречения от своей личности и своего эгоизма, заключается твердая опора против несправедливости судьбы и высшая награда за нее. И все это детские книжки должны передавать своим маленьким читателям не в истертых сентенциях, не в холодных нравоучениях, не в сухих рассказах, а в повествованиях и картинах, полных жизни и движения, проникнутых одушевлением, согретых теплою чувства, написанный языком легким в самой простоте своей, — и тогда они могут служить одним из самых прочных оснований и самых действительных средств для воспитания. — Пишите, пишите для детей, но только так, чтобы вашу книгу с удовольствием прочел и взрослый, и, прочтя, перенесся бы легкою мечтою в светлые годы своего младенчества. Главное дело — как можно меньше сентенции, нравоучений и резонерства: их не любят и взрослые, а дети просто ненавидят как и все, наводящее скуку, все сухое и мертвое. Они хотят видеть в вас друга, который забывался бы с ними до того, что сам становился бы младенцем, не угрюмого наставника; требуют от вас наслаждения, а не скуки, рассказов, а не поучений. Дитя веселое, доброе, живое, резвое, жадное до впечатлений, страстное к рассказам, не столько чувствительное, сколько чувствующее —

такое дитя есть дитя Божие: в нем играет юная благодатная жизнь, и над ним почиет благословение Божие. Пусть дитя шалит и проказит, лишь бы его шалости и проказы не были вредны и не носили на себе отпечатка физического и нравственного цинизма; пусть оно будет безрассудно, опрометчиво — лишь бы оно не было глупо и тупо, мервенность же и безжизненность хуже всего. Но ребенок рассуждающий, ребенок благоразумный, ребенок-резонер, который всегда осторожен, никогда не сделает шалости, ко всем ласков, вежлив, предупредителен, — и все это по расчету... горе вам, если вы сделали его таким!... Вы убили в нем чувство и развили рассудок: вы заглушили в нем благодатное семя бессознательной любви и взрастили резонерство... Бедные дети, сохрани вас Бог от оспы, кори и сочинений Беркена, Жанлис и Бульи. — Основу, сущность, элемент высшей жизни в человеке составляет его внутреннее чувство бесконечного, которое, как чувство, лежит в его организации. Чувство бесконечного есть искра Божия, зерно любви и благодати; живой проводник между человеком и Богом. Степени этого чувства различны в людях, по глаголу Спасителя: «и дал одному пять талантов, другому два, третьему один, каждому по его силе», но мерою глубины этого чувства измеряется достоинство человека и близость его к источнику жизни — к Богу. Все человеческое знание должно быть выговариванием, переведенном в понятия, определением, короче — сознанием таинственных проявлений этого чувства, без которого, поэтому, все наши понятия и определения суть слова без смысла, форма без содержания, сухая бесплодная и мертвая отвлеченность. Без чувства бесконечного, в человеке не может быть и внутреннего созерцания истины, потому что непосредственное созерцание истины, как на фундаменте, основывается на чувстве бесконечного. Это чувство и есть дар природы, результат счастливой организации, и потому оно свойственно и детям, в которых лежит, как зародыш, — и развития этого-то зародыша требуем мы от воспитания и детской литературы.

Мы сказали, что живая поэтическая фантазия есть необходимое условие, в числе других необходимых условий, для образования писателя для детей: через нее и посредством ее должен он действовать на детей. В детстве, фантазия есть преобладающая способность и сила души, главный ее деятель и первый посредник между духом ребенка вне его находящимся миром действительности. Дитя не требует диалектических выводов и доказательств, логической последовательности: ему нужны образы, краски и звуки. Дитя не любит отвлеченных идей: ему нужны историйки, повести, сказ-

ки, рассказы, — и посмотрите, как сильно у детей стремление ко всему фантастическому, как жадно слушают они рассказы о мертвецах, привидениях, волшебствах. Что это доказывает — потребность бесконечного, предощущение таинства жизни, начало чувства поэзии, которые находят для себя удовлетворение пока еще только в одном чрезвычайном, отличающемся неопределенностью идеи и яркостью красок. Чтобы говорить образами, надо быть если не поэтом, то, по крайней мере, рассказчиком и обладать фантазией живою, резвою и радужною. Чтобы говорить образами с детьми, надо знать детей, надо самому быть взрослым ребенком, не в пошлом значении этого слова, но родиться с характером младенчески простодушным. Есть люди, которые любят детское общество и умеют занять его и рассказом, и разговором, и даже игрою, приняв в ней участие; дети, с своей стороны, встречают этих людей с шумною радостью, слушают их со вниманием, и смотрят на них с откровенною доверчивостью, как на своих друзей. Про всякого из таких у нас, на Руси, говорят: «это детский праздник». Вот таких-то «детских праздников» нужно и для детской литературы. Да, много, очень много условий! Такие писатели, подобно поэтам, рождаются, не делаются...

Но резонерам крайне не нравятся подобные требования. В самом деле, кому приятно выслушивать свой смертный приговор, свое исключение из списка живущих? Вероятно, по этой же причине, плохие стихотворцы терпеть не могут рассуждений о высших требованиях искусства: в них они видят свое уничтожение. Отнимите у резонера право пересыпать из пустого в порожнее моральными сентенциями, — что же ему останется делать на белом свете? Ведь жизни, любви, одушевления, таланта не поднимешь с улицы, не купишь и за деньги, если природа отказала в них. А резонерствовать так легко: стоит только запастись бумагою, пером и чернилами да присесть — а оно уж польется само! Какой поклонник Бахуса не состоянии ораторствовать о пагубном воздействии крепких напитков на тело и душу, и о пользе трезвости и воздержания? Какой развратник не наговорит короба три громких фраз о нравственности? Какой бездушный и холодный человек не в состоянии вкось и вкривь рассуждать о любви, благочестии, благотворительности и самопожертвовании и о прочих священных чувствах, которых у него нет в душе? Жизнь, теплота, увлекательность и поэзия — суть свидетельства того, что человек говорит от души, от убеждения, любви и веры, и они-то электрически сообщаются другой душе. Мертвенность, холодность и скука показывают, что человек говорит



о том, что у него в голове, а не в сердце, что не составляет лучшей части его жизни и чуждо его убеждению. Но — повторяем — для некоторых людей рассуждать легче, чем чувствовать, и пресная вода резонерства, которой у них вдоволь, для них лучше и вкуснее шипучего нектара поэзии, которого — бедняки! — они и не пробовали никогда. И вот один хочет уверить детей, что вставать рано очень полезно, ибо — де один мальчик, имевший привычку вставать с солнцем, нашел на поле кошелек с деньгами; а другой хочет уверить детей, что надо вставать поздно, ибо — де одна девочка, вставши рано, пошла гулять в сад, простудилась, да и умерла. Один говорит детям — будьте поспешны, другой — не торопитесь, третий — будьте откровенны, ничего не скрывайте, четвертый — не все говорите, что знаете. Кому верить, кому следовать?.. Забавнее же всего, что все эти глубокие мысли подтверждаются случайными примерами, ровно ничего не доказывающими. Нет, моральные сентенции не только отвратительны и бесплодны сами по себе, но и портят даже прекрасные и полные жизни сочинения для детей, если вкрадываются в них! Вы рассказываете детям сказку или повесть: спрячьтесь за нее, чтоб вас было не видно, пусть все в ней говорит само за себя, непосредственным впечатлением. У вас есть нравственная мысль — прекрасно; не выговаривайте же ее детям, но дайте ее почувствовать, не делайте из нее вывода в конце вашего рассказа, но дайте им самим вывести: если рассказ им понравился, или они читают его с жадностью и наслаждением — вы сделали свое дело. Здесь мы повторим мысль, уже высказанную в нашем журнале и возбудившую негодование и ужас резонеров: «не нужно никаких нагих мыслей, и как язвы берегитесь нравственных сентенций. Пусть основная мысль вашего рассказа деятельно движется, не давайте ей, для нее же самой, пробиваться наружу и выводить детскую душу из полноты жизни, из борьбы и столкновения частностей, на отвлеченную высоту, где воздух редок и удушлив для слабой груди еще не созревшего человека; пусть мысль кроется во внутренней, недоступной лаборатории, и там перерабатывает свое содержание в жизненные соки, которые неслышно и незаметно разольются по вашему рассказу». Не говорите детям о том, чего они еще не в состоянии понять своим умом; дайте им простое катехизическое понятие о Боге, по учению православной церкви, но не пускайтесь с ними в диалектические тонкости философских определений, а старайтесь больше заставить детей полюбить Бога, который является им и в ясной лазури неба, и в ослепительном блеске солнца, и в торжественном великолепии возрастающего дня,

и в задумчивом величии наступающей ночи, и в реве бури, и в раскатах грома, и в цветах радуги, и в зелени лесов, и в журчании ручья, и в шуме моря, и во всем, что есть в природе живого, так безмолвно и вместе так красноречиво говорящего душой юной и свежей, — и, наконец, во всяком благородном порыве, во всяком движении их младенческого сердца. Не рассуждайте с детьми о том только, какое наказание полагает Бог за такой-то грех; но учите их смотреть на Бога, как на отца, бесконечно любящего своих детей, которых он создал для блаженства и которых блаженство он испытал мучением и смертью на кресте. Внушайте детям страх Божий, как начало премудрости, но делайте так, чтобы этот страх вытекал из любви же, и чтобы не рабский ужас наказания, а сыновняя боязнь оскорбить отца благого и любящего, а не грозного и мстящего, производила этот страх, и чтобы не лишение земных благ, а отвращение от виновных лица отчего почитали они наказанием. Обращайте ваше внимание не столько на истребление недостатков и пороков в детях, сколько на наполнение их животворящею любовью: будет любовь — не будет пороков. Истребление дурного без наполнения хорошим — бесплодно; это производит пустоту, а пустота беспрестанно наполняется пустотою же: выгоните одну, появится другая. Любви, бесконечной любви! — все остальное ничтожно! «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Равным образом, не искажайте действительности ни клеветами на нее, ни украшениями от себя, но показывайте ее такую, какова она есть на самом деле, во всем ее очаровании и и во всей ее неумолимой суровости, чтобы сердце детей, научаясь ее любить, привыкало бы, в борьбе с ее случайностями, находить опору в самом себе. В одной истине и жизнь и благо: истина не требует помощи у лжи. И потому, конец вашей повести может быть и несчастлив, в котором добродетель страждет, а порок торжествует; но вы вполне достигнете вашей нравственной цели, если юные сердца ваших маленьких читателей станут за страждущих и не позавидуют торжествующим, если на вопрос — на чьем бы хотели они быть месте — они не колеблясь ответят, что на месте страждущих, но добрых. Не упускайте из вида ни одной стороны воспитания: говорите детям и об опрятности, о внешней чистоте, о благородстве и достоинстве манер и обращения с людьми; но выводите необходимость всего этого из общего и высшего источника — не из условных требований общественного звания или сословия, но из высочайшего человеческого звания, не из условных понятий о достоинстве человеческого. Внушайте им, что внешняя чистота и изящество должны

быть выражением внутренней чистоты и красоты, что наше тело должно быть достойным сосудом духа Божия... Уважение к имени человеческому, бесконечная любовь к человеку за то только, что он человек, без всяких отношений к своей личности и к его национальности, вере или званию, даже его личному достоинству или недостоинству; словом, бесконечная любовь и бесконечное уважение к человечеству даже в лице позднейшего из его членов, должны быть стихией, воздухом, жизнью человека, а высокое выражение поэта —

При мысли великой, что я человек,  
Всегда возвышаюсь душою —

девизом всей его жизни. — Но повести и рассказы не суть еще единственная и исключительная форма бесед с детьми. Вы можете еще обогащать их познаниями, расширять круг их созерцая действительности, знакомя их с бесконечным разнообразием явлений прекрасного Божьего мира. Но и здесь одна цель — знакомство не с фактами, а с тем, так сказать, букетом жизни и духа, который скрывается в них и составляет их сущность и значение. Да, вам предстоит обширное и богатое поле: не говорю уже об источнике собственной вашей фантазии, — религия, история, география, естествознание — умеете только пожинать! Для детей предметы те же, что и для взрослых; только их должно излагать сообразно с далеким понятием, а в этом-то и заключается одна из важнейших сторон этого дела! Какие богатые материалы представляет одна история! Показать душе юной, чистой и свежей примеры высоких действий представителей человечества, действительность добра, и призрачность зла — не значить ли возвысить ее? Провести детей по всем трем царствам природы, пройти с ними по всему земному шару, с его многолюдным населением и обширными пустынями, с его сушею и океанами, показать им Божий мир в картине человеческих племен и обществ, с их нравами и обычаями, с понятиями и верованиями — не значит ли это показать им Творца в его творении, заставить их возлюбить его и возблаженствовать эту любовь?.. Но для этого надо одушевить для них весь мир и всю природу, заставить говорить языком любви и жизни и немой камень, и полевую былинку, и журчащий ручей, и тихо веющий ветер, и порхающую по веткам бабочку... Надо дать детям почувствовать, что все это бесконечное разнообразие имеет единую душу, живет одною жизнью, и что жизнь природы является не только под тропиками, но

и у полюсов, не только на земле, но и в недрах ее... Вот напр. это писано для взрослых, но мы уверены, что музыка этого языка будет доступна и для детей: «Там снежная мертвая пустыня полюсов... Безотраднa там жизнь. Но эти пустыни имеют свои музыкальные вьюги, гуляющие с серебристою пылью по звонким, чистым, необозримым льдам. Там массивная лава металлов борется с могучим пламенем внутри земли. Она может путать, но и самый испуг этот велик для души. Лава ревет, клокочет с шумом неподражаемой глубокой октавы, и с изумительным грохотом и великолепием извергается из бездн своего тайного жилища. Вот глубь океана. Чувствуете ли, что океан можно только любить? Что душе хотелось бы его измерить, постигнуть и заглянуть в пропасть морей? душе весело, упоительно, что эта глубь воды не лежит в мертвой тишине, что в ней родина целой половины существ одушевленных, быстрых, могучих; им легок путь сквозь плотно-слиянную массу волн; эти волны текут, то уходя на безвестное дно, то с всплеском, слышимым нами, лобзая гранит берегов и снова уносясь в неизмеримый свой путь шумно и торжественно... Вот могущественный, вечно свободный ветер: наблюдайте этот ветер, возметающий прах земли! Он изумляет своими музыкальными вихрями, бурю и быстротою самую скорую мысль; волнует вершины лесов, поднимает горы средь океана, несет на своем хребте дикие облака, улетает из-под громов с воем и свистом и — исчезает.» (Т. III, стр. 513.)

19. а) Сказки Гофмана. Самым лучшим писателем для детей, высшим идеалом писателя для них может быть только поэт. И таким явился один из величайших германских поэтов — Гофман, в своих двух сказках: «Неизвестное дитя» и «Щелкун орехов и царек мышей», хоть и написанных не для детей собственно и годных для людей всех возрастов. Нисколько не удивительно, что странный, причудливый и фантастический Гофман ниспустился до сферы детской жизни: в нем самом так много детского, младенческого, простодушного, и никто не был, столько как он, способен говорить с детьми языком поэтическим и доступным для них! Сверх того, Гофман есть по преимуществу воспитатель людей, поэт юношества — почему бы ему не быть и поэтом детства? Да, с тех пор, как дети начинают переставать быть детьми и становятся юношами, Гофман должен быть их поэтом по преимуществу. Гофман поэт фантастический, живописец невидимого внутреннего мира, ясновидец таинственных сил природы и духа. Фантастическое есть предчувствие таинства жизни, противоположный полюс пошлой рассудочной ясности и определенности, которая в жизни видит математику,

индивидуальность, или сытный обед с трюфелями и шампанским. Фантастическое есть один из необходимейших элементов богатой природы, для которой счастье только во внутренней жизни; следовательно, его развитие необходимо для юной души, — и вот почему называем мы Гофмана воспитателем юношества. Но он вместе с тем бывает и губителем его, односторонне увлекая его в сферу призраков и мечтаний и отрывая от живой и полной действительности. Чтобы дать юной душе равновесие, Гофману не должно противопоставлять пошлую повседневность и ее дюжинных представителей, но молодым людям должно читать все без исключения романы Вальтер-Скотта и Купера, которые по светлому и верному взгляду на жизнь, по гениальной глубокости, а вместе с тем, спокойствию и елейности духа, заслуживают название представителей разумной действительности, поэтически воспроизведенной в великих художественных созданиях, и непременно должны быть воспитателями юношества, хотя равно существуют и для возмужалости и для старости. — Мы не будем ничего говорить о художественном достоинстве двух детских сказок Гофмана, ибо этот вопрос несколько не относится к предмету нашей статьи; но взглянем на них только как на высокие образцы повестей для детского чтения. (Следует полное изложение сказки «Неизвестное дитя». Приведем описание дома Брокеля, Белинский восклицает): Какая чудесная роскошная картина! Как в ней все просто, наивно и, вместе, бесконечно! Каждое слово так многозначительно, так полно жизни: из широких ворот большого замка так и веет на вас холодом и мраком, а маленький домик, с его березами и виноградником, так и манит вас к себе! Этот язык для детей еще доступнее, чем для взрослых: дайте им прочесть, и клики их радости покажут вам, что они поняли все, что нужно понять. (Продолжается изложение сказки. Заключение Белинского): Основная мысль этой чудесной, поэтической повести, этой светлой и роскошной фантазии, есть та, что первый воспитатель детей — природа и ее благодатные впечатления. И первобытное человечество воспитывалось природою, и душе нашей так отрадно читать все предания о юном человечестве, ее так сладостно убаюкивают и священные сказания о пастушеской жизни патриархов и колыбельная песня старца Гомера о царях-пастырях и простодушных героях седой древности... Увы! Заботы и суеты жизни заслоняют от нас природу, и мы видим на небе фонари, а на земле полезные и вредные травы, прибыльные для торговли леса, — а многие из нас знают, что природа жива, что ветер разговаривает с кустами, и старый ручей рассказывает прекрасные сказки?.. Неужели же чистые

и младенческие души должны быть глухи к живому голосу прекрасной природы и не знать «Неизвестного дитяти», которое есть их же собственный отклик на зов природы, светлая радость и чистое блаженство их же собственных младенческих сердец. — Если в «Неизвестном дитяти» развита мысль о гармонии младенческой души с природою, как об основе воспитания и условия будущего счастья детей, то «Щелкун и царек мышей» есть апофеоз фантастического, как необходимого элемента в духе человека, и цель этой сказки — развитие в детях элемента фантастического: когда мы приближаемся к общему, родовому началу жизни, разлитой в природе, нас объемлет какой-то приятный страх, мы чувствуем какое-то сладостное замирание сердца. Кто не испытывал этого при входе в большой темный лес или на берегу моря? Шум листьев и колебание волн говорят нам каким-то живым языком, которого значение мы уже забыли и тщетно стараемся вспомнить; лес и море кажутся нам живым, индивидуальным существом. И вот откуда произошли у греков живые поэтические олицетворения явлений природы, их дриады и наяды, и их черновласый царь Посидаон, с трезубцем в руке —

Сей обмывающий землю, земли колебатель могучий!

Жизнь есть таинство, ибо причина ее явлений в ней самой; переходы общей жизни в частные индивидуальные явления и потом возвращение их в общую жизнь — тоже великое таинство — страх и ужас мистический. Вот почему мифы младенствующих народов дышат такой фантастическою мрачностью, и все отвлеченные понятия являются у них в странных образах. Искусство освобождает дух от рабского ужаса, просветляя его предметы светом мысли и эстетической жизни. Образованный человек не боится суеверных видений кладбища, но это немое кладбище тем не менее веет на него таинственной жизнью, от которой сладостно волнуется его дух неопределенным чувством приятного страха. Бывает состояние души, когда и обыкновенные вещи оживотворяются и воскресают фантастической жизнью: как будто выражаемые этими вещами понятия, отрешаясь от своей отвлеченности, принимают на себя живые образы, начинают мыслить и чувствовать. Дух наш во всем предчувствует жизнь и дает ей определенные индивидуальные образы. Мы не будем пересказывать содержание этого чудесного создания чудного гения — оно непересказываемо, и нам пришлось бы переписать его все, от слова до слова, а подобный разбор сделал бы нашу статью вдвое больше. Скажем только, что художественная жизнь образов, очевидное присутствие мысли при совершенном

отсутствии всяких символов, аллегорий и прямо высказанных мыслей или сентенций, богатство элементов — тут и сатира, и повесть, и драма, удивительная обрисовка характеров — противоречие поэзии с пошлою повседневностью, нераздельная слитность действительности с фантастическим вымыслом, — все это предоставляет богатый и роскошный пир для детской фантазии. Заманчивость, увлекательность и очарование рассказа невыразимы. Благодарность переводчику, издавшему отдельно эти две превосходные сказки Гофмана — единственные во всемирной человеческой литературе! Желаем, чтобы родители обратили на них все свое внимание, и чтобы не было ни одного грамотного дитяти, который не мог бы их пересказать почти слово в слово! (Т. III, стр. 532.)

(Необходимо сравнить этот восторженный отзыв о необходимости произведений Гофмана, как элемента фантастического, в воспитании детей с последующими мнениями Белинского 1) о том же писателе и 2) вообще — о значении сказок в воспитании.)

Мы очень уважаем Гофмана, и если видим в нем чудака и безумца, то все же гениального, и, однакож, считаем его для детей столько же, или еще более вредным, нежели Пель-де-Кок, хотя и вовсе другим образом. Для детей страшно вредно все, что развивает и возбуждает фантазию насчет других интеллектуальных способностей; фантазия у детей и без того самая деятельная способность, и потому ее следует скорее сдерживать, нежели возбуждать, или, что всего губительнее, давать ей уродливое направление ко вреду деятельности ума и, в особенности рассудка и здравого смысла (Т. XI, стр. 171).

20. Наши: Няня. Соч. \*\*\*вой. Русская няня изображена тут верно и живописно. Жаль, что даровитая писательница только слегка коснулась другой стороны няни, едва намекнув, как няня балует детей глупым потворством. Потом не мешало бы заметить, как эти няни портят воображение детей страшными рассказами о привидениях и тому подобных вздорах, которые сильно впечатываются в юном мозгу и, вследствие этого часто одолевают рассудок взрослых людей. (Т. VI, стр. 463.)

21. Сказочки и повести, которыми напитывают малолетних детей нарочно для них составляемые книжки, сильно возбуждают в них самую опасную из душевных способностей — фантазию, и делают из детей мечтателей, книжников, резонеров, записных читальщиков. (Т. X, стр. 382.)

22. Первый герцог цирингенский. (Из «Новой библиотеки для воспитания» П. Редкина, 1848 г. № 3.) Статья «Первый герцог ци-

рингенский» уже самым началом своим привела нас в ужас: это, во-первых, немецкая, да еще народная сказка, а во-вторых, «баснословный рассказ седой старины», говоря собственно вычурную и истасканную фразою автора. Седую старину тут представляет старый угольщик, которому внимает наш юный век в лице, вероятно, очень молодого литератора, богатого охотою писать, но бедного на вымыслы. Таким людям угольщики и старые бабы — истинный клад, неистощимый источник поэтического вдохновения и литературных бредней! И уж подлинно сказку рассказал старый угольщик «долин своего, богатого угожьями, Шварцвальда»! (Следует изложение сказки. Пресытившийся герцог приказывает повару изжарить и подать на стол ребенка). Для чего детям знать о таких мерзостях? Чтобы предохранить их от охоты есть жаренных детей? Но для этого достаточно нравов нашего времени: а если бы для какого-нибудь изверга этого было недостаточно, так у правительства есть средства к предупреждению подобных событий, гораздо подействительнее вздорных немецких сказок. Надо сказать правду, трудно было бы обнаружить больше неловкости, нежели сколько обнаружено ее выбором этой дрянной статьи! Средневековые нелепости и дикости давно уже надоели нам в балладах, да каких ещё — художественно прекрасных! — а тут нашим детям суют ту же дичь, да еще в убогой прозе! Умоляем издателя «Библиотеки» не пятнать своего прекрасного издания помещением в него каких бы то ни было сказок, а особенно немецких, да еще народных, а пуще всего «баснословных рассказов седой старины из уст седого угольщика». История лучше сказок даже и для детей. И в средних веках можно найти для них много интересного и поучительного: вместе с чертами страшного варварства, свойственного временам глубокого и всеобщего невежества, черты великих характеров, великих дел, стремления к свету знания с опасностью погибнуть на костре за колдовство и ересь. А сказки пусть слушают от старых нянек те бедные дети, которых воспитание невниманием или невежеством родителей поручается сообществу холопов: от них то ли еще услышат они, эти несчастные дети! (Т. XI, стр. 178.)

23. Олег Вещий. А. Григорьева. Что за манера искать поэзии в сказках, а не в истине и действительности. (Т. XI, стр. 186.)

24. Белая мышка. Моро. Не понимаем мы этой смеси истории с волшебными сказками. Что бы вместо волшебных вздоров, рассказать детям, попроще и пояснее, что такое был Людовик XI. Сколько бы тут можно было рассказать детям интересных анекдотов, характеризующих тот век и его людей! Вместо всего этого



рассказана вздорная сказка с историческими планами, чуждыми и непонятными для детей. (Т. XI, стр. 186).

25. Романы Вальтер-Скотта. Для молодых людей особенно полезны романы Вальтер-Скотта: увлекая их в мир поэзии, они не только не отвлекают их от науки, но еще воспитывают и развивают в них историческое чувство, без которого изучение истории бесплодно; пробуждают в нем охоту и страсть к этому величайшему знанию нашего времени. (Т. X, стр. 146.)

26. 6) Сказки Дедушки Иринея. В настоящее время русские дети имеют для себя в дедушке Иринее такого писателя, которому позавидовали бы дети всех наций. Узнав его, с ним не расстанутся и взрослые. Мы находим в нем один недостаток, и очень важный: старик или очень стар, и уже не в состоянии держать перо в руке, или ленится на старости лет, оттого мало пишет. А какой чудесный старик! какая юная, благодатная душа у него, какую теплотой и жизнью веет от его рассказов! Советуем, любезные детки, лучше познакомиться с дедушкой Иринеем. Не бойтесь его старости: он не принадлежит к тем брюзгливым старикам, которые своим ворчаньем и наставлениями отнимают у вас каждую минуту веселости, отравляют вашу радость. О нет! это тот самый милый старик, какого только вы можете представить себе: он так добр, так ласков, так любит детей; он не смутит вашего шумного веселья, не помешает вам играть, но с такою снисходительностью и любовью примет участие в вашей веселости, ваших играх, научит вас играть в новые, неизвестные вам и прекрасные игры. Если вы пойдете с ним гулять — вас ожидает величайшее удовольствие: вы можете бегать, прыгать, шуметь, а он между тем будет рассказывать вам, как называется каждая травка, каждая бабочка, как они рождаются, растут, и, умирая, снова воскресают для новой жизни. Вы заслушаетесь его рассказов, вы сами не захотите шуметь и бегать, чтоб не проронить ни одного слова. — Лучшие пьесы в «Детских сказках Дедушки Иринея» — «Червяк» и «Городок в табакерке». (Т. III, стр. 546.) — Мы очень рады встрече с дедушкой Иринеем после такой долгой разлуки. Надо сказать правду, этот добрый старичок такой мастер говорить с детьми, каких немного и не у нас одних. Посвяти он свою деятельность одному этому занятию, наши дети имели бы в нем своего Вальтер-Скотта с придачею еще нескольких писателей. Но все это только предположения, может быть, и не совсем справедливые, а потому и оставим их в стороне, утверждая за достоверное только удивительную способность дедушки Иринея писать для детей. Две его сказки, одна старая, другая новая, милы

до чрезвычайности, хотя написаны для маленьких, очень маленьких детей. Мы уверены, что они будут в восторге от этих сказочек, которых сюжеты так ловко приноровлены к детской фантазии, рассказы так увлекательны, а язык так правилен и так похож на тот, которым говорят грамотные люди. Дети не выйдут из «городка в табакерке» с его фантастическими и в то же время очень простыми и естественными чудесами. Рукодельница и Ленивица с Морозом Ивановичем тоже очень займут их, — и если им в последней сказочке что-нибудь придет не по душе, так это разве ее послесловие, где дедушка Ириной советует им «думать да гадать: что здесь правда, что неправда, что сказано впрямь, что стороною, — что шутки ради, что в наставление, а что намеком». Эх, подумаешь, старость-то: никак не удержится от моральных сентенций! Да помилуйте: сказать детям, что прочитанное ими не было, а шутки, наставления и намеки, значит — разочаровывать их. Для них сказка — то же, что для взрослых роман, а потерпят ли последние, чтобы автор, в конце своего романа, сказал им, что все это — выдумки его воображения и что в самом деле ничего этого не было, хотя они сами очень хорошо знают, что все это выдумка, сочинение, а не было?.. Далее дедушка Ириной вразумляет своих маленьких, очень маленьких читателей, что «не за всяк труд и добрая награда бывает; а бывает награда ненароком, потому что труд и добро сами по себе хороши и ко всякому делу пригодны». Вот уже подлинно — спустя лето, в лес по малину! Да вы лучше бы развили в самой сказке эту истину, а доказавши сказкою совершенно противное, нечего уже поправлять ошибку рассуждениями, которых дети не читают и не любят. (Сказав о дороговизне книжек кн. Одоевского, Белинский продолжает): Что касается до меня, будь я миллионер — я скорее выкинул бы два рубля серебром за окно, нежели бы заплатил их за эти три книжки (сказки и детские песенки с нотами), потому что есть что-то оскорбительное и обидное в необходимости платить за вещь вдесятеро больше того, что она стоит. (Т. XI, стр. 180.)

27. Инстинкт животных. У нас совсем нет книг для детского чтения. Ничего не может быть затруднительнее, как положение литератора, у которого какой-нибудь отец или мать спрашивают, каких бы книг купить им для детей. Что отвечать на подобный вопрос? Сказать: не покупайте никаких, потому что все они никуда не годятся, — пожалуй сочтут еще за одну из тех журнальных выходов, к которым все боятся иметь доверие; посоветовать купить ту или другую книжку — значит подвергаться после упреку за плохой совет, за дурной выбор. В самом деле, на что прикажете указать?

Одна детская книга никуда не годится ни по содержанию, ни по изложению; другая написана порядочно, по крайней мере грамотно, но наполнена вздором; третья содержит в себе дело, но написана варварским языком; стало быть, ни одной из них нельзя дать в руки детям... И вот как пишутся у нас книги для детей! Читайте, милые дети!... (Т. IX, стр. 170.)

28. Леди Анна и др. «О дети! дети! как опасны ваши лета!» Вы так слабы физически, так слабы нравственно! Сколько у вас врагов и явных и тайных! Вам угрожают прорезывающиеся у вас зубы, оспа, корь, скарлатина, круп: это ваши враги явные. А сколько у вас таких врагов, которые от искреннего сердца считают себя вашими друзьями: дражайшие родители, милые тетеньки, нежные бабушки, кормилицы, нянюшки, учителя, учебные книги и, наконец, эти маленькие книжки с картинками, которые издаются для вас под обобщим названием «детских» книг. Ох, эти мне детские книги! Если у меня будут дети, и я сделаюсь «дражайшим родителем», не буду совсем учить моих детей грамотности, для того, чтобы избавить их от грамматики и риторики г. Греча, от риторики г. Кошанскаго, логики г. Рождественского, курса русской словесности г. Плаксина и потом разных «детских» книг с картинками и без оных. Пуще всего сохрани Бог моих детей от детских романов вроде «Семейства» Фредерики Бремер, и детских повестей, драм и былей в роде тех, которые у нас беспрестанно издаются. Чему научат все эти книжки моих детей? Любить добродетель! Сохрани Боже! С этою любовью мои дети непременно будут нищими... Любить правду? Еще хуже! Нет, благосклонный читатель! Вы можете воспитывать своих детей, как вам угодно, учить их каким угодно наукам, добродетелям и правдам; а я буду учить прежде всего заслуживать себе хорошую репутацию и умение быть со всеми в ладу; чуть они из колыбели, я уже буду посылать их к родственникам — которые побогаче и с весом — с поздравлением в новый год, в именины, в день рождения и т. д. Хотя у меня еще и нет детей, но я человек предусмотрительный: я уже купил книжку г. Бурнашева: «Новые детские поздравления и т. д.». Превосходная книжка! Драгоценная книжка! Хотя мои дети и не будут ее читать — так как я не решился учить их грамоте, — но я сам выучу ее наизусть, а они выучат ее наизусть с моих слов. Равным образом, я купил новое издание «Учебной книги русской словесности» г. Греча и выписал из нее глубокомысленные, практической мудростью запечатленные правила, как должно писать письма к высшим себя, равным и низшим, и как должно под ними подписываться. Больше никаких книг не узнают

мои дети! Книги, особенно детские, уверили бы их, что добродетель — главное дело в жизни, что больше всего надо любить правду, что добродетель всегда награждается, а порок всегда наказывается: и каково было бы моим детям, когда бы они, вышед из моего дома на дорогу жизни, вдруг увидели бы, что в свете все делается решительно наоборот тому, как рассказывают детские книжки!.. Нет! что их обманывать заранее? зачем учить тому, чему им после надо будет разучиваться? Я буду учить их — но не наукам, не правилам нравственности: человек добросовестный, не лицемер, не лжец, я буду учить их играть в преферанс и не менее важному искусству нравиться людям. Я заранее убью в них всякую самобытность; добродетелью их с ранних лет будут: скромность, аккуратность, бережливость, учтивость, ласковость, веселый вид, даже когда их бьют и унижают... Да не узнают они никогда, что такое «детские книги», не прочтут они «Леди Анны»... Бедная леди Анна! Сколько она вытерпела: ее ругали, били, морили голодом, холодом, за то, что она была кротка, послушна, терпелива, прилежна, за то, что она не хотела обворовывать своих благодетелей: все точь в точь как это бывает в жизни! Но она осталась тверда в добродетели, но она нашла своего отца, сделалась богата, знатна, счастлива: точь в точь как это бывает... в детских книгах!... А что за прелесть «Чтение для детей и т. д.» г. Ишимовой! Какие правила, какая чистейшая нравственность, сколько наставлений и какими разительными примерами, взятыми из мира... детских книг, подкреплено все это!.. «Леди Анна» — роман, не лишенный занимательности, без сентенций; книжка г. Ишимовой, напротив, вся исполнена сентенциями, и дети могут легко набраться из нее мудрости на всю свою жизнь, хотя бы им суждены были мафусаиловы лета. «Леди Анна» переведена порядочно, издана недурно; книжка г. Ишимовой написана хорошим русским языком и издана даже очень хорошо. О прочих книжках, поименованных в начале нашей статьи, мы скажем только, что о них нечего сказать, — кроме последней — «Детского зеркала»: это кривое и облупленное зеркало — перепечатка старой, престарой и предрянной книжонки; издатель ее, г. Заикин, украсил ее картинками, весьма неизящными. (Т. X, стр. 33.)

29. Сто новых детских повестей. Б. Федорова. (Белинский иронизирует над этими нравоучительными повестями, с моралью в двустихиях, и сам сочиняет следующие двустихия):

Неосторожно бойтесь ходить,  
Чтоб ног не изломать и носу не разбить.

Кому дала природа медный лоб,  
Тот с медным лбом останется по гроб.

Ты к лету не бросай с презрением галош:  
Здоровье ими ты под старость сбережешь.

О взрослых ли писать берешься, для малюток —  
Хоть крошечный иметь советую рассудок.

Кто нрав крутой имет и свирепый,  
Тому покажется и сахар хуже репы.

Довольно! на первый первый раз, очень довольно! Теперь мне остается присочинить к этим «нравоучениям в стихах» небольшие рассказы в прозе, и я могу сделаться просветителем и наставителем юношества в моем отечестве. А все благодаря книге г. Б. Федорова, который, кроме многих других достоинств, отличается еще силою вдохновительною. Я ею очень доволен. (Т. X, стр. 59.)

30. Елка, Предание о графине Берт и др. Наконец литература начинает обращать внимание на детей и заботиться о доставлении им читательской пищи, способной развивать их ум и сердце. Странно, что она хлопочет о детях один только раз в году — от праздника Рождества до праздника Пасхи, как будто в убеждении, что ум и сердце детей способны к развитию только в это время. Иной скептик, пожалуй, увидит тут чистую спекуляцию со стороны русской литературы, или лучше сказать, со стороны составителей, переводчиков и издателей детских книг, — увидит их нежную заботливость больше о своем собственном кармане, нежели о головах и сердцах детей. Он скажет, пожалуй, что эти книги издаются перед праздниками, как игрушки, которые покупаются «дражайшими» родителями для подарков детям... но скептики такой народ, который не верит ничему высокому и прекрасному, никакому бескорыстию, особенно, если это бескорыстие выгодно для кармана бескорыстных людей. И потому, не будем слушать злостных наветов и внушений, и воздадим должную дань хвалы бескорыстным авторам, переводчикам и издателям тринадцати книжек, заглавия которых выставлены в начале нашей статьи. — Мнения о полезности и необходимости детских книг теперь разделились на две противоположные стороны. Одна утверждает, что без этих книжек детям нет спасения; другая говорит, что они не только бесполезны, но и положительно вредны, и что если детям должно читать что-нибудь кроме учебников, так это книги, которые читаются

и взрослыми, разумеется, при условии строгого выбора. Мы сами много думали об этом вопросе, и теперь решительно объявляем себя на стороне второго мнения. До семи, или около семи лет, воспитание дитяти должно быть преимущественно физическое, но не в духе почтенной старины, которая буквально держалась значения слова «воспитывать» и закармливала детей детей чуть не на смерть, так что материя подавляла в них дух, и они смотрели не детьми, а хорошо откормленными телятами, барашками, или поросятами. Хорошо воспитанный ребенок не должен быть ни животным, ни человеком, а ребенком: лицо его должно носить на себе отпечаток здоровья, веселости, живости, ясности, и на нем должно отражаться не столько присутствие ума, сколько отсутствие тупости и глупости. Излишне сильное и преждевременное нравственное развитие в детях также вредно, как и развитие тела в ущерб интеллектуальности: оно вредит правильному физическому развитию и, следовательно, вредит здоровью — первейшему и драгоценнейшему из всех благ и даров жизни. Говорят, что сильно, не по летам развитые дети бывают подвержены мозговым воспалениям, именно по причине этой развитости. Развивать детей должна наука, ее постепенное, медленное, но тем более верное изучение, а не книжки, писанные для забавы и приучающие детей к поверхностности, легкомыслию и мечтательности. Итак, до семи лет пусть дитя ест, пьет, спит, играет и говорит, а с семи пусть оно сверх всего этого еще и учится. Чем же наполнить время, остающееся ему от учения — Игрою, резвостью, беганьем, гимнастическими забавами. Когда дитя подвинется к своему двенадцатилетнему возрасту, и игры не будут уже вполне удовлетворять его, когда пробудится в нем потребность удовлетворять чем-нибудь и фантазию, и ум, — тогда давайте ему романы Вальтер-Скотта, и Купера; но только не давайте ему зачитываться. Почему бы, например, не дать ему в руки «Дон-Кихота», не искаженного, не переделанного? Для детей должны существовать не детские книги, но особенные издания книг, писанных для взрослых, — издания, в которых должно быть исключено все такое, о чем им рано знать, все, что может дать их фантазии вредное для здоровья и нравственности направление. Таким образом, должно изменить ночную сцену в «Дон-Кихоте», где драка рыцаря печального образа и его оруженосца с погонщиком мулов происходит от трактирной служанки, условившейся прийти к погонщику на постель. Но опошлять для детей великие произведения, приравнивая их к детскому возрасту, — ни на что не похоже. Великие произведения делаются вздорными сказками,

и детям нет никакой пользы. (Сказочки и детские повести развивают в детях фантазию и делают их записными читальщиками — эта выписка приведена ранее, по поводу сказок Гофмана). Воля ваша, а гораздо приятнее видеть ребенка весело, шумливо, но прилично резвящегося, нежели сидящим не за учебною книгою. Можно давать детям и книги для забавы, но преимущественно с картинками, с объяснительным текстом, лишенным особой занимательности. В таком случае картинки непременно должны быть хороши, а текст написан правильным, хорошим языком... Вообще это предмет обширный, о котором многое можно сказать, чего теперь не позволяет нам ни место, ни время. (Т. X, стр. 379.) (Положения эти развиты обстоятельнее в следующей статье, по поводу «Новой библиотеки для воспитания». Из отзывов об отдельных книгах приводим только один:)

31. «Путешествие вокруг света» — хорошо написанная и очень полезная для детей книжка, если только полезно учить детей, забавляя и приучая таким образом их к поверхностному знанию всего понемножку. (Т. X, стр. 384).

32. Новая библиотека для воспитания. И. Редкина. Что читать детям? Нашим детям вовсе нечего читать! — Вот вопросы и восклицания, которые беспрестанно раздаются со всех сторон. А между тем сколько ежегодно издается у нас книг и книжек для детей, издавались и даже теперь издается детский журнал. Конечно, наши детские книги большею частью очень плохи и принадлежат совсем не к литературе, а к промышленности, составляют часть товара, который должен наполнять лавки с детскими игрушками; но все же между нашими книгами и изданиями для детей есть и порядочные, по крайней мере такие, которые только со стороны языка и слога уступают французским сочинениям этого рода, а по содержанию и направлению столько походят на них, сколько следует переводам и переделкам походить на свои оригиналы... Но заглянем в эти детские книги, — и вы невольно скажете:

«Бедные дети, вам действительно нечего читать! И уж лучше вам вовсе ничего не читать, нежели читать эти взоры и пошлости!..» — Скажем яснее нашу мысль: за исключениями, слишком немногими и редкими, мы считаем вздорными и вредными не только наши русские книги для детей, но и их иностранные образцы, разгуливающие по всему свету под эгидой этих знаменитых авторов. Если бы это было не так, то откуда же возник бы вопрос: нужны ли, полезны ли детские книги вообще? А этот вопрос со дня на день повторяется чаще и решается различно. Одни утверждают,

что для чтения детям необходимы книги, приноравливаемые к их понятию; другие доказывают, что дети должны читать те же самые книги, какие читают и взрослые, только с более строгим выбором. Не беремся решить этот вопрос: но попытаемся изложить наше о нем мнение. Решение подобных вопросов и легко и трудно. Все дети имеют общие родовые их возрасту свойства и качества, и потому ничего нет легче, как, составивши себе отвлеченное понятие о детях, решить все касающиеся до них вопросы. Но вот в чем трудность: у каждого ребенка своя натура, свои интеллектуальные средства, нравственные наклонности, характер; дети бывают различных возрастов, потребности семилетнего дитяти уже не те, что у ребенка трех лет, а потребности двенадцатилетнего дитяти далеко не те, какие у семилетнего, и т. д. Притом, где границы детского возраста? Неужели человек в 14 лет — уже юноша? И время от 14 до 16 лет не составляет ли переход от детства к юношеству? Кроме того, не случается ли, что один в 18 лет смотрит ребенком, а другой в 14 обнаруживает интеллектуальную зрелость юноши? При этом какую важную роль играет различие полов! Что идет мальчикам, то не годится для девочек, и наоборот. — С каких лет должно начинать учить ребенка чтению и письму? Опять вопрос относительный, которого нельзя решить для всех детей, но который должен решиться для каждого ребенка. Обыкновенно общим средним термином для начала учения полагают семилетний возраст. Мы думаем, что и при самых острых и резко высказывающихся способностях ребенка, нет никакой нужды торопиться начинать учение раньше семи лет. До этого же возраста, должно обращать все внимание преимущественно на физическое и нравственное воспитание. Первое должно быть положительным и состоять в развитии здоровья, телесной крепости, гибкости и ловкости. Это — дело гимнастики и правильного образа жизни. Пусть дети играют, шумят, резвятся, лишь бы во всем этом не было ничего грубого, пошлого, неприличного и лишь бы они во время и вмеру ели, во время ложились спать и вмеру спали. Нравственное воспитание детей, даже и дальше семилетнего возраста должно быть отрицательное, т. е. состоять в удалении от всяких дурных примеров и в развитии в них чувства любви, справедливости и человечности не правилами морали а, так сказать, влиянием привычки, так чтобы они знали, какие это чувства и как они в них развиваются. Все это зависит от людей, которыми окружены бывают дети ежедневно. Но моральные правила, сентенции, поучения, способны только наводить на детей скуку и возбуждать в них отвращение, или образовывать



из них педантов, резонеров, лицемеров. Чем моложе ребенок, тем непосредственнее должно быть его нравственное воспитание, т. е. тем более должно его не учить, а приучать к хорошим чувствам, наклонностям и манерам, основывая все преимущественно на привычке, не на преждевременном и, следовательно, неестественном развитии понятий. Приобретенное дитятею таким непосредственным образом, так сказать, привычкою, послужит самым прочным основанием для сознательного развития всех человеческих чувств, когда настанет время деятельности его ума и рассудка. Что касается до учения, то дитя учится и до азбуки: дети любопытны и обо всем спрашивают старших: что это и что то? Должно отвечать им кротко, терпеливо, серьезно, не шутя и не обманывая их, объяснять им сообразно с степенью понимания, и искусно уклоняться от их вопросов, когда они касаются таких предметов, о которых им знать не следует, или таких, которые выше их понятия. Кроме того, в этот возраст можно и должно тем, у кого есть средства, учить детей живым иностранным языкам, но только говорить, и собственно не учить, а приучать, опять основываясь только на силе привычки. — Но вот ребенку семь лет, вот он довольно бегло читает. Что же читать ему? И заботливые родители ищут по книжным лавкам приличной пищи для читательного голода их детей. Да помилуйте, мало ли у них чтений и без этих книг? Ведь азбука не конец, а только начало учения. Дитя, которое до семи лет успело выучиться лепетать на двух или трех иностранных языках, кроме русской азбуки, должно заняться еще тремя азбуками. Кроме того, за азбукою следует грамматика, арифметика, география и т. д. Все это возьмет много времени у ребенка и охладит его излишнее порывание к книгам, потому что охота попрыгать, побегать, поиграть и даже пошалить, у иного не проходить даже и в 15 лет. Но, скажут нам, и за уроками, и за играми, все-таки остается праздное время, особенно зимою, которого нечем наполнить. Это может быть. Но какие же давать тут детям книги? Главный недостаток этих книг тот, что они или выше, или ниже понятий детей. В первом случае, они делают из детей скороспелых умников, педантов, резонеров; во втором — делают их слабоумными, приучая к неестественной их возрасту наивности. Большая часть детских книг вмещает в себя вдруг оба эти недостатка. Вот почему они даже не бесполезны только, а положительно вредны. В этих рассказах для детей все ложь, фраза, риторика; жизнь отражается в них, как предметы в кривом, да еще запачканном спереди и потертом сзади зеркале. И потому лучшими книгами для чтения детей первого возраста могли

бы быть такие книги, которые бы весело знакомили их с землей, с природою и отчасти с историею. Книги эти непременно должны быть с картинками, ибо «наглядность» должна быть основание детского развития<sup>2</sup>). Если бы нашлась книжка с картинками, изображающими горы, моря, острова, полуострова, минералы, разные чудеса физической природы, потом явления растительного, а наконец животного царства, и при этих картинках объяснительный текст, простой, толковый, без фраз и восклицаний о том, как прекрасна природа и т. п.; если бы все эти предметы были изложены не только в порядке, но и в ученой системе, а в тексте не упоминалось ни о каких системах: такую книжку всякий отец должен бы поспешить купить для своих детей, в полной уверенности, что это бесценный, по своей полезности, гостинец для них. Где кончается царство животных, там начинается царство человека. Для легкого и приятного знакомства детей с этим царством, очень полезны путешествия или просто описания земель и народов всего земного шара. Картинки тут опять должны играть главную роль. Текст должен быть такой, как будто писан для взрослых людей и из него должно быть исключено все, что выше понятия детей, что не может быть им интересно, чего не следует им знать. Что касается до истории, она должна состоять из биографий исторических лиц, анекдотов из их жизни, отдельных исторических событий, имеющих нравственное значение. Нравственность тут должна быть главным предметом, но о ней отнюдь не должно упоминать, отнюдь никаких наставлений и поучений; она должна быть не в словах, а в деле, и переходить в детей не как понятие, а как чувство. Разумеется, такого рода книги должны быть приурочены к детскому возрасту. Дети очень любят биографии полководцев, но для них нет никакого интереса в биографиях ученых, художников, философов, администраторов и т. п. Впрочем все зависит от намерения, цели и умения автора книги. Биография Платона во всяком случае бесполезна и скучна для детей, потому что от превыспренних идей этого, конечно, гениального мыслителя, но вместе с тем мечтателя и фантаста, и у взрослых людей иногда ум за разум заходит. Но биография Сократа — другое дело. Это был не столько философ, сколько мудрец, учение его было живое, практическое, удобоприменимое к жизни; самая манера его спорить и доказывать может быть и полезна и интересна для детей,

---

<sup>2</sup>Посмотрите, как жадны дети к картинкам! Они готовы прочесть самый сухой и скучный текст, лишь бы только он объяснил им содержание картинки. И потому картинки все более и более делаются пособием при воспитании и учении. (Т. XI, стр. 176.)

если изложить ее ясно и искусно: в ней так много драматического элемента. Но что за польза детям знать биографию Гомера прежде, нежели прочтут они «Илиаду» и «Одиссею», и им что-нибудь понравится в этих поэмах? После — другое дело. — Дети ужасно впечатлительны, так что от этой способности зависит и их спасение и их гибель. Человек всю жизнь помнит всякий вздор, который читал он в детстве и который тогда особенно ему нравился. Из этого видно, какое великое счастье для детей, когда их мягкий и впечатлительный, как воск, свежий не засоренный пустяками и вздорами, не усталый, неистомленный мозг обогатится только полезными и дельными впечатлениями! Это должно быть одною из главных забот воспитания, чтобы и приятное было полезно. Но несчастны те дети, которых юный мозг засорится сперва чтением детских книг, и потом водевилями, вздорными романами и всякой подобной дрянью! Лучше бы им вовсе не читать! Из всего можно сделать злоупотребление. Охота к чтению — хорошая склонность в детях, но и она может сделаться вредною, приучив их к мечтательности и похищая время у их учения. Пусть на чтение будет у них свое время, и пусть чтение не отнимает времени не только у учения, но даже у игр и резвости. Всему должно быть свое время, и строгий порядок должен быть душою всего. Когда видишь умного и страстного к чтению ребенка или юношу, который лишен всех средств к учению и образованию, предоставлен природе и самому себе, и с жадностью читает без разбора все, что ни попадется ему под руку, и хорошее, и дурное: и жалеешь о нем, и радуешься за него. Все лучше и полезнее ему так читать, нежели пристраститься, от лени и от нечего делать, к картам, бильярд, к вину и другим не изящным «художествам». Но грустно видеть ребенка или молодого человека, который, имея все средства к учению, тратит большую часть своего времени на чтение литературных произведений, предается мечтательности и гонится за энциклопедическим всезнанием, которое иногда хуже положительного невежества! — От 7 до 14 лет много воды утекает, и ребенок становится уже не ребенком. Учение идет своим порядком и, кроме пользы, в свою очередь, может доставить ему и удовольствия чтения. Это в особенности переводы с иностранных языков. Корнелий Непот, Саллюстий, Плутарх: разве содержание их сочинений не так интересно, как и содержание романа? По крайней мере, надо стараться, чтоб это было так. Всего лучше, если молодой человек прочтет на доступных ему иностранных языках все, признанное классическим, дельным, и пристрастится к этому роду чтения прежде, нежели познакомится с романами и вообще

с легкою литературою. Время для чтения романов молодым людям, есть время их перехода от детства к юношеству, когда уже им можно читать многое, но еще не иначе, как с выбора и разрешения старших. Первый роман который можно дать молодому человеку лет 12 — «Юрий Милославский» г. Загоскина. Затем понемногу можно давать романы Вальтер-Скотта и Купера. Тут все дело в том, чтобы не дать в руки молодого человека такой книги, которая может прежде времени познакомить его с такими чувствами, страстями и понятиями, которые несвойственны его возрасту. Это истинная гибель и для здоровья и для нравственности. Вот почему мы прямо и без оговорок указали на Вальтер-Скотта и Купера: в их романах изображена жизнь действительная, а не воображаемая, они изящны, художественны, а между тем в них нет ничего опасного даже для детей. (Произведения Гофмана вредны, возбуждая фантазию на счет других способностей духа. Эта выписка приведена ранее, по поводу сказок Гофмана.) — Обращаясь к общей идее полезности или бесполезности детских книг, вот что скажем мы, как результат нашего мнения об этом предмете. Мнение, что дети должны читать только то, что читают и взрослые, не лишено основания и справедливости; но требует больших исключений и ограничений. Но нам кажется, что можно дать на этот предмет правило, не допускающее почти никаких исключений и ограничений: книги для детей можно и должно писать, но хорошо и полезно только то сочинение для детей, которое может занимать взрослых людей и нравиться им не как детское сочинение, а как литературное произведение, писанное для всех. И к повестям, рассказам и грамматическим пьесам это относится едва ли еще не более, чем к статьям другого рода. Да где же взять таких книг? Это уже не наше дело. Мы сочтем себя очень счастливыми, если изложением нашего мнения об этом предмете, наведем иного талантливое человека на настоящий путь в отношении к сочинению книг для детей. (Т. XI, стр. 164.)

33. Русская летопись для первоначального чтения. С. Соловьева. (из «Нов. библи. для восп.»). Вторая книжка «Библиотеки» начинается «Русскою летописью для первоначального чтения»: это пересказ, если можно так выразиться, Несторовой хроники его же складом, да только нашим языком. Вот это статья! Она равно интересна и полезна и для детей, и для тех взрослых, которые и не прочь бы от знания отечественной истории, но несколько не расположены изучать ее ученым образом, по источникам, которых чтение так трудно. А здесь можно получать понятие и об источниках, не трудясь, а только наслаждаясь. Статья принадлежит г. Соло-

вью, который обещает для «Библиотеки» целый ряд таких статей. Мысль счастливая, особенно когда исполняется ученым, который может отвечать за каждое выражение, за каждое слово в своей статье, — что всего важнее в статьях такого рода. (Т. XI, стр. 172).

34. «Странствования Одиссея». (Из «Нов. библ. для восп.») «Странствования Одиссея», по нашему мнению, должны быть изложены иначе — просто в прозаическом переводе, пожалуй с выпусками, сокращениями и изменениями, но в переводе, в пересказе же эта поэма лишилась всей своей поэтической прелести и стала похожа на нелепую сказку. (Т. XI, стр. 173.) — Продолжение «Странствований Одиссея» еще более убедило нас в бесплодности подобных переделок великих творений древности — о чем мы уже говорили. Просто нет возможности читать: глупая сказка, да и только! А переведите «Одиссею» хотя и прозой, с сокращениями и выпусками, но уж, разумеется, без вставок собственного изделия, но с сохранением, сколько это возможно при таких условиях, тона и колорита рассказа подлинника, — вышла бы чудная поэтическая поэма. (Т. XI, стр. 178).

35. Рассказы детям из древнего мира. Беккера. Конечно, хорошо и полезно знакомить детей с античной жизнью древних; но вопрос в том, как это должно делать. Мы уже высказали на этот счет мнение. Но предмет этот кажется нам столь важным, что мы не боимся повторить уже сказанное. Поэмы Гомера можно, даже должно, передавать детям с выпуском, местами даже с переделками для связи, потому что иначе они узнают из них такие вещи, знакомство с которыми для детей вредно в нравственном отношении. Но этим должны ограничиться все изменения. Передаватель поэм Гомера прежде всего должен стараться о том, чтобы сохранить поэтический колорит подлинника, потому что этот колорит составляет смысл и душу, так сказать, творений вечного царства. Для этого он должен передавать их особым языком, чем-нибудь в роде мерной прозы. Тогда сколько прекрасных, поэтических впечатлений для детей, какая подготовка к классическому учению! Илиада и Одиссея сложены во времена варварства эллинского племени и беспрестанно отзываются варварством; но это было варварство лучшего племени в древнем мире, — племени, которому суждена была такая великая роль в исторических судьбах человечества. И потому в этих, так часто отзывающихся варварством поэмах, так много героического, возвышающего душу, человеческого! Никакая литература не представит ничего лучшего, как например то место в Илиаде, где старец Приам целует руки убийцы свое-

го сына, моля его о выдаче трупа Гектора, и где ненасытимый во гневе и мщении смягчается, при воспоминании о своем старце отце, и соединяет свои вопли, стенания и слезы с рыданиями бедного царя Трои. Но человеческое является проблесками во всех поэтических проблесках всех народов в мире; оно есть и в индийских поэмах и драмах; но там оно является в безобразных, чудовишных, отгалкивающих формах; как человеческое, т. е. общее всем людям, без различия национальности и времени, так и поэзия сверкает в них редкими искрами; это, положим, жемчужины, но которые надо отыскивать в куче мусора. Не таковы создания древней Греции! В них все красота, изящество, художественность! Вот это-то и заставляет забывать о том, что быт, изображенный в поэмах Гомера, отзывается варварством и дикостью нравов. На детей эта сторона не может действовать вредно; напротив, они непосредственно привыкнут переноситься в нравы чуждых народов и судить о них не с точки зрения своего быта, общества и времени. Нечего также бояться, что дети примут эти сказки за истину. Пусть примут; в свое время, когда перестанут быть детьми, они поймут, что это поэтические, а не исторические сказания. Лучше же им принять за истину Илиаду и Одиссею, нежели Бову-Королевича, Ерусла-на Лазаревича и Георга Милорда Английского. Ведь мы, взрослые, читаем хороший роман не как вымысел, а как быль, хотя и знаем, что это вымысел. Мы восхищаемся, принимаем участие в том или другом лице, боимся за него, иногда скорбим и плачем о его гибели, и все-таки не думаем утешать себя, что это выдумка. Зачем же отнимать у детей это очарование, без которого у них не может быть никакого удовольствия в чтении этих поэм. — Но ученый г. Беккер думал об этом совсем иначе. У него Илиаду и Одиссею рассказывает «милый» учитель «милым детям». А рассказывает он не только без всякого участия и теплоты, но с явной холодностью, не только без уважения, но с и презрением к предмету своего рассказа. Он беспрестанно прерывает себя, чтобы толковать «милым» детям, что ведь это все сказки, вздор; «милые» дети тоже беспрестанно прерывают его, чтобы объяснять все чудесное естественным образом. Какие «милые» маленькие критики-философы! Верно из них выйдут со временем Лессинги! Увы, нет! Из них ничего не выйдет, кроме болтунов и резонеров. Чтоб сделаться знатоком в поэзии, а тем более критиком, надо сперва запастись поэтическими впечатлениями, прожить целый период не совсем отчетливого и разборчивого восторга. Дух критики придет сам со временем, мало-по-малу овладеет человеком и научит его отличать посред-

ственное от хорошего, хорошее от лучшего. Не только ребенок, молодой человек, приступающий к знакомству с поэзией прямо через критику, с готовыми своими или чужими мнениями, никогда не будет знать поэзии, и если у него от природы эстетическое чувство, не разовьет его, а заглушит. — В рассказе «милого» учителя Илиада и Одиссея являются сказками, до того нелепыми по содержанию, грубыми и безобразными по изложению, что мы право не знаем, почему детям лучше читать их, нежели Бову или Еруслана. Мы даже уверены, что дети с большим удовольствием станут читать последних, потому что в них рассказ не прерывается толками, что это де вздор и чепуха. Особенно уродлива вышла несчастная Одиссея. О пользе такого чтения нечего и говорить: тут если не вред, то совершенная бесполезность. Дети будут видеть беспрестанную и бесчеловечную резню, кровавые жертвоприношения, иногда даже людьми, обжорства, несправедливости, преступления, пороки, и уже ничего более не увидят из всего этого. Особенно собьют их с толку боги... Особенно придает странный сказочный характер поэмам Гомера вмешательство богов в дела людей. Все герои сильны не своею силою, а силою стоящих за них поборающих им богов, которые собственным оружием наносят врагам удары. (Говорится о помощи Ахиллу Палладою.) Где же тут герой, необыкновенный силач и храбрец? Но в поэтическом изложении все это так полно жизни своего особенного рода, поэтического смысла, так понятно это смешанное участие богов и людей в одних и тех же действиях! Эти боги так похожи на людей, а люди на богов. — Только краткое изложение Энеиды у места — в третьей части. (Раньше говорилось, что статьи расположены в беспорядке.) Да и вообще Энеида рассказана так, как следует рассказывать такие поэмы, и взгляд Беккера на произведения Вергилия самый верный, умный и современный. (Т. XI, стр. 480)

36. Атлантический океан. (из «Нов. Библ. для восп.») Третья книжка «Новой библиотеки» г. Редкина состоит из трех статей. Из них особенно интересна первая. Она называется «Атлантический океан», но собственно есть не что иное, как рассказ об открытии Америки, следовательно, биография Колумба. После этого нечего говорить об интересности содержания статьи; остается заметить только, что ее изложение прекрасно, и что в начале статьи находятся любопытные известия о всех попытках, в древнем и новом мире, обойти морем Африку и о нечаянных открытиях Америки, сделанных Финикиянами и Норманнами — первыми в древности, а вторыми еще в IX столетии по Р. Х. (Т. XI, стр. 177.)

37. О машинах. (Из «Нов. библ. для восп.») Такими статьями, которые сами по себе очень дельны, но для ребенка не занимательны, вы отобьете у ребенка всякую охоту к чтению. Ребенок хочет сказочек, забавных рассказов, а вы даете ему почти ученые рассуждения... Бедные дети! Мы были счастливее вас: мы имели «Детское чтение» Новикова. (Т. XI, стр. 468).

38. Детское чтение, изд. Новикова. В России писать для детей первый начал Карамзин, как и много прекрасного начал он писать первый. К «Московским ведомостям» прилагались листки его «Детского чтения», в котором замечательна «Переписка отца с сыном о деревенской жизни». Много читателей в последствии доставил Карамзин и себе, и другим, подготовив этим «Детским чтением». После он издал «Детское утешение», которое еще и теперь не изгладилось у нас из памяти, хотя мы читали его в детском возрасте, а это большая похвала для детской книги: память хранит в себе только то, что поразило душу сильным впечатлением. (Т. III, стр. 546.)

39. «Детский альманах для детей», изданный Фурманом, состоит из четырех драматических пьес в прозе. В них добродетельные говорят словно по книге, порочные к концу пьесы непременно раскаиваются и делаются добродетельными. Нигде не заметно причин ни порока, ни раскаяния. Стало быть, все вздор и ложь. Но для многих людей развивать в детях нравственные чувства можно, только обманывая их: достойная проклятия мысль! Сатана — отец гнусной лжи — породил ее, а лживые или ограниченные люди уверовали в нее и чают от нее спасения детей своих! Все в этих пьесах неестественно, сентиментально, пошло, надуто — и чувства и выражения! А язык — это верх неестественности: ни одной простой фразы, все по книжному. (Т. XI, стр. 174.)

40. Несколько слов о чтении романов. Какие же романы можно и должно читать начинающим? Если вы хотите знать жизнь, — а роман есть самая свободная форма, в которой она выражается, — то читайте романы, в которых эта жизнь выражается прямо, без прикрас, без натяжек, без сентиментальности, без утопий расстроенного воображения. Молодым людям, начинавшим чтение, всегда советовали читать Вальтер-Скотта; на каком же это основании, как не на том, что в них как в зеркале, вы видите прошедший быт народа. Если спросите, кого из наших романистов можно дать в руки молодому человеку, не опасаясь всех вредных последствий односторонности и поддельности, вам укажут на Лажечникова, опять по той же самой причине. Поэтому многие говорят, что молодым



людям можно читать одни только романы исторические. Совершенно несправедливо: отчего же они не могут читать роман, в котором отразилась настоящая жизнь со всех сторон: отчего, например, разные сочинения Гоголя, Пушкина и Лермонтова не могут читать и выучивать все и каждый наизусть? Если можно читать романы, в которых отразилась прошедшая жизнь, то также можно читать романы, в которых вы видите настоящую жизнь. Далее, по нашему мнению, гораздо лучше позволять читать романы, в которых видна односторонность писателя, — но с тем, чтобы при этом наставник пояснял, что ложно и не согласно с действительностью, — нежели совсем не позволять их читать потому что впоследствии, когда молодой человек, избавившись от учительской ферулы, добудет такой роман, а он непременно его добудет, он прочтет его и на слово уверует в справедливость рассказа, в непогрешимость действующих лиц и даже постарается подражать одному из героев, который ему преимущественно понравится. На это скажут, что роман, в котором отразилась действительная жизнь во всей ее нагоде, с ее радостями и бедствиями, богатством и нищетой, успехами и страданиями, что такая жизнь может очерствить сердце молодого человека и очерствить преждевременно. Не знаем, правда ли это, или нет, но мы позволим себе сделать вопрос: что же лучше, узнать жизнь скорей и прямым путем, или прежде выучиться заблуждениям, а потом в них разувериться с каждым днем, с опытностью, до того же времени прожить под влиянием фальшивых убеждений, сентиментальности, фантастических бредней, быть смешным некоторое время в обществе, фантазировать и мечтать, как герои Жанлис, Ричардсона, как «Бедная Лиза» Карамзина? Все романы в этом роде нужно позволять читать, но при этом объяснять, как много в них фальшивого и как мало правды. (Т. XI, стр. 466).

41. Благовоспитанное дитя. Детский зверинец. Все боле или менее подверглось изменениям, преобразованиям, улучшениям, все... кроме нашей детской литературы. Детская литература решительно не двигается с места. Самым блистательным доказательством этому может служить это милое «Благовоспитанное дитя». (Белинский иронизирует над пошлостями этой книжки и, приведя содержание повести о Васе-злом и Васе-добром, восклицает): Какая поучительная повесть!.. Прочитав ее, невольно захочется быть на месте тупого, терпеливого и благонравного мальчика, потому что тупые, терпеливые и благонравные мальчики превращаются потом в тупых, терпеливых и благонамеренных людей, которые, говорят, чрезвычайно успевают на службе и в свете. Умеренность и аккурат-

ность... в этих двух словах заключается вся нравственная цель этой милой книжечки, которая, кажется, хлопочет о том, чтобы расплодить на Руси род Молчалиных... Прекрасная, похвальная цель! (Тут Белинский приводит отрывки из фиктивного рукописного сочинения «Благовоспитанная мать», пародируя разбираемую книжку. Из «Детского зверинца» приводится описание осла): «Ослы терпеливы, живут до 30 лет и обыкновенно до самого конца жизни все работают». Не правда ли, эта характеристика осла в «Детском зверинце» очень походит на характеристику Васи-доброто — тупого, терпеливого и прилежного мальчика в книжке «Блатовоспитанное дитя». (Т. XI, стр. 469).

42. Вечер в пансионе. Скажите, отчего в наших юношах так мало юношеского, в наших детях так мало простодушно-детского? Нигде не встретите вы таких смиренных, угрюмых детей, как у нас. Мы словно боимся потерять какое-то достоинство, называем мальчишеством все простодушно-веселое и стареемся, никогда не бывши молодыми. С самого нежного возраста нас начинают обращать в взрослых людей; наши детские игры считаются шалостями, наши детские печаль и слезы — ревенем и хныканьем, наши детские радости, наслаждения... многие ли помнят их в своем детстве? Из этих робких, запуганных детей вырастают робкие, запуганные юноши, и, возмужав, женись, становятся в свою очередь притеснителями своих детей, потому что ничто так не огрубляет сердце, как грубое обращение в детстве. — Наша «детская литература» вовсе не имеет в виду удовольствия и забавы детей; нет, она из всех сил старается с самого нежного возраста испортить все их простодушные побуждения расчетливыми рассказами, как Леночка, кладя в детстве деньги, даваемые ей на лакомства, в кружку для бедных, впоследствии вышла замуж за князя, отец которого сделал предложение матери Леночки, начав так: «мой сын богат, а ваша дочь добродетельна». (Веч. в панс. стр. 20). О радостях детей, о их печалях, о кротком обращении родителей и наставников — «детская литература» не хочет знать. Она заботится о приведении их в какой-то внешний порядок добродетели, а не о том, чтобы пробудить в них разумное убеждение в ее достоинстве, дать им почувствовать, что добродетель следует любить просто, как любят все прекрасное и истинное, а не для доказательства, что вот же, дескать, я перещегооляю вас добродетелью, как вы хотите перещегоолять меня богатством и проч. (Т. XI, стр. 475). (К сожалению, мы не имеем отзыва Белинского о сказках Андерсена, которых он немного не дождался. Первые переводы их на русском языке появились в той же

«Нов. библ. для восп.», которую он встретил так приветливо. В его сочинениях мы находим только полуиронический отзыв об одном из романов Андерсена: «Импровизатор».)

43. Импровизатор. Андерсена. Невероятно, чтобы Андерсен мог быть представителем поэтического гения своего отечества, и чтоб в Дании, имеющей Эленшлегера, не было поэтов гораздо выше его. Может быть, даже, и этот роман — далеко не лучшее произведение Андерсена. В всяком случае, этот невинный роман может с удовольствием и пользою читаться молодыми девушками и мальчиками, в свободное от классных занятий время. (Т. X, стр. 5.)

### Заключение.

Сделать вывод из всех приведенных мнений Белинского, сознаемся, очень трудно, потому что всякий такой вывод можно опровергнуть. Но, признав за исходный пункт статьи последнего периода деятельности Белинского, как выражение поры его полного мужества и расцвета таланта, можно придти к некоторым положительным выводам. Эти выводы предоставляются нам в следующем виде.

Страсть к чтению в детях не должна радовать нас, и может быть терпима только тогда, когда ребенок лишен возможности учиться правильно и систематически. Но раз есть эта возможность, то необходимо сдерживать эту страсть, потому что она развивает в детях фантазию на счет других способностей духа, а это может вести только к печальным последствиям, сделав из ребенка бесполезного мечтателя. Сказки, в особенности, не могут быть терпимы при правильном воспитании; но отсюда еще можно исключить те сказки, в которых фантастический элемент играет лишь служебную роль, сущность же сказки в здоровой идее, — таковы сказки кн. Одоевского и «Сказка о рыбаке» Пушкина. Но за этим исключением надо вести дело так, чтоб с ранних лет ребенка охватил дух положительного знания.

Начало учения определяется индивидуальными свойствами ребенка, но во всяком случае оно не должно быть ранее 7 лет. Книги, с которых можно начать, — нечто в роде естественно-исторических атласов, где главную роль играли бы картинки, а текст лишь служебную. Затем книги, тоже с картинками, но уже с самостоятельным текстом — это путешествия или просто описание земель и народов; сюда можно отнести «Всеобщее путешествие вокруг света» Дюмон-Дюрвиля, «Атлантический океан» (Открытие Америки).

Далее — исторические сочинения и биографии: летопись Нестора, русская история, биография Суворова, Корнелий Непот, Саллюстий, Плутарх, — конечно, в подходящем изложении, каковы напр. «Русская летопись для первоначального чтения» С. Соловьева и «Русская история для первоначального чтения» Н. Полевого. Если воспитание ведется правильно, то книги эти должны заинтересовать детей, по крайней мере нужно стараться достичь этого. Около же этого времени (?) следует давать им «Робинзона», «Басни» Крылова, некоторые русские былины, «Одиссею» и «Илиаду» в подходящем изложении. Все это до чтения романов и повестей.

Время, когда дитя может приступить к первому чтению романов, есть 12–14 лет. Какие же произведения могут служить этой цели?

Писать специально для детей можно и даже нужно, но это должны быть высоко художественные произведения, хотя и не вполне доступные детям; они должны быть таковы, чтоб их с удовольствием и даже пользою мог прочесть и взрослый человек. Но так как таковых произведений ещё нет, и вся детская литература фальшива в самом основании, делая детей или резонерами или наивными не по летам, то необходимо делать выбор из произведений, писанных для взрослых, сокращая их, в случае нужды, в видах пристойности, но отнюдь не переделывая, применяясь к детским понятиям, что только уродует великие произведения.

Первый роман, который можно предложить ребенку — «Юрий Милославский» Загоскина. Затем могут следовать романы Вальтер-Скотта, Купера и Лажечникова, где дети познакомятся с прошлым в художественных образах и могут воспитать в себе столь необходимое для всех историческое чувство. После этого можно перейти к тем литературным сочинениям, где реально отражается современная жизнь, — таковы произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя. К этому же периоду нужно отнести «Дон-Кихота» Сервантеса. Гофман должен быть положительно изгнан. Вообще знакомство с литературою должно иметь целью воспитание в человеке гуманических чувств и реальных понятий о мире.

Но не следует быть и односторонними: следует пустить чтение и тех произведений, где жизнь изображена неверно, напр. если в них царствует сентиментальный или романтический взгляд на ее явления; но тут необходимо, чтобы руководитель разъяснил фальшь подобного направления. Такое чтение принесет несомненную пользу молодому человеку, избавив его самого от фальшивого

положения в жизни, в которую он скоро вступит действующим лицом.

Вот, как нам кажется, единственно правильный вывод, который можно сделать из мнений Белинского о детской литературе. Признаемся, что на нас самих он сделал сильное впечатление и заставил задуматься.

Какой трезвый взгляд на воспитание человека! А вместе с тем приходится думать, что это для целой массы только отдаленный идеал, хотя бы потому, что правильное образование стоит очень дорого, и еще долго нам придется мириться на том явлении, которое отмечено Белинским же:

«Когда видишь умного и страстного к чтению ребенка или юношу, который лишен всех средств к учению и образованию, предоставлен природе и самому себе, и с жадностью читает без разбора все, что ни попадется ему под руку, и хорошее, и дурное: и жалеешь о нем, и радуешься за него. Все лучше и полезнее ему так читать, нежели пристраститься, от лени и от нечего делать, к картам, бильярду, к вину и другим не изящным „художествам“» (Т. XI, стр. 170.)

В заключение считаем долгом заметить, что положения этого вывода мы отнюдь не рекомендуем для наших читателей, как окончательное решение вопроса о детском чтении; такое окончательное решение, думаем, и не возможно; но, для более правильного решения вопроса, в следующей нашей статье: «Роль литературного чтения в воспитании известных писателей» мы соберем факты, которые осветят тот же предмет с другой стороны.

*Иван Феоктистов*

## СКАЗКИ, КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ

*Впервые опубликовано в: Женское образование. 1885. № 6–7.  
С. 437–462.*

Из числа книг для детского чтения ни одни не возбуждают таких разноречивых толков, как сказки, и ни в каких книгах нет такого резкого контраста между теорией и практикой. Одни безусловно отвергают сказки, как детское чтение, другие стоят за них горю, а большинство наших детей, не смотря на эти разноречивые толки, читают сказки преимущественно перед всеми другими книгами. Пушкин признавал их важным элементом в своем личном воспитании; Лермонтов сожалеет, что был лишен их влияния в детстве. С. Аксаков, в своих «Детских годах Багрова-внука» рисует то сильное впечатление, которое на него производили и волшебные, и народные русские сказки. Белинский в начале своей литературной деятельности считает их необходимыми в умственном развитии ребенка, а под конец своей деятельности обрушивается на те же сказки со всюю страстностью своего темперамента.

Многие смотрят на сказки, как на плод праздной фантазии, которая по своей прихоти строит невероятные образы, не имеющие никакого реального основания; хотя вопрос об истинном происхождении сказок разработав учеными уже не сегодня. Положительно выяснено, что сказки хранят в себе сумму познаний о мире и его явлениях, но познаний человека, лишенного научного образования. Такой человек жпвет еще и в современном обществе, он живет в целых племенах диких народов, а, говоря вообще, было время, когда и все человечество находилось па этой ступени развития и смотрело на мир глазами составителей сказок<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> В последующем изложении истории развития сказки я буду следовать Тэйлору. См. его «Первобытную культуру», перев. Коропчевскаго, 1872 г., главы об «анимизме».

Был в истории человеческой культуры отдаленный период, когда *все* человечество могло судить обо всем, происходящем в природе, руководясь только аналогией ее явлений с явлениями собственной жизни. Личная же жизнь человека казалась им зависящей от *духа*, поселенного в них и руководящего их поступками. Этот дух имел самостоятельное, помимо тела, существование, мог на время покидать тело, вселяться в другие предметы, будут ли то люди, животные или растения. Покидая человека навсегда, дух производил смерть. Он мог являться людям в формах, доступных внешним чувствам; мог вредить или покровительствовать людям. Подобная теория жива еще и теперь, и даже в среде образованного общества (спиритизм), и есть результат грубого опыта: сны, видения, галлюцинации и т. п. Наш язык до сих пор сохранил следы этих первобытных верований, и мы бессознательно воскрешаем их, говоря о *хорошем и дурном расположении нашего духа, о гении покровителя* и т. п. Употребительное у нас понятие о *вдохновении* ведет свое начало, без сомнения, из глубокой старины. — Грубая аналогия явлений человеческой жизни с жизнью природы повела к тому, что дикарь стал относить все явления природы к проникающим ее духам, подобным его духу. Это было *вполне реальное* убеждение, плод изучения явлений жизни, наука того времени, ответ на вопросы живой любознательности, не абстрактная фантазия, а положительное знание. И нужно сказать, что первобытный человек был счастливее нас: он *все* знал, он мог объяснить причины всех явлений; тайн для него не было. Он знал, что живое могучее *солнце* изливает на него лучи света и тепла, что живое могучее *море* гонит свои грозные волны на берег, что великие личные *небо* и *земля* охраняют и производят все существующее, и т. п. Понятие об абсолютном психическом различии между человеком и животным, существующее в цивилизованном мире, не существовало для первобытного человека; крик зверей и птиц казались ему похожими на человеческую речь, их поступки — руководимыми сознательной мыслью; они были оживлены таким же личным духом, как и человек, и этот дух мог переселяться в людей, как и наоборот — человеческий дух мог переселяться в животных. Еще шаг — и растения входят в ту же цепь одухотворенных существ; еще один шаг — и предметы неорганические заключают эту странную для нас цепь: палка, камень, оружие, лодка, пища, одежда, украшение — все они имеют своего духа, свою жизнь и свою смерть. Огюст Конт подобную систему объяснения явлений жизни, вытекающую из обширной антропоморфической аналогии, называет *фетишизмом*, Тэйлор же называет *анимизмом*

(спиритуализм, или одухотворение), а для фетишизма оставляет только понятие об одухотворении предметов вещественных.

Подобная первобытная философия не чужда еще нам, как я уже показал, в языке. Я мог бы увеличить примеры до бесконечности: земля *притягивает* к себе все предметы, дождь *идет*, волны *ревут*, природа зимою *спит*, земля — *кормилица* и т. п., т. е. все метафорические выражения, без которых не обходится ни один современный язык в мире, даже ученый. Все эти метафоры суть если не прямое наследие прежних веков, то во всяком случае создались под непосредственным их влиянием, и существуют теперь, как бессознательные переливания забытых верований. И трудно сказать, когда мы избавимся от подобных оборотов языка, хотя это было бы желательно в высшей степени, потому что подобный метафорический язык уже не может служить для точного выражения понятий современной цивилизации, как он вполне служил выражению понятий первобытного человека. Тэйлор говорит о подобном языке, что он напоминает собою каменные топоры первобытного человека, которыми странно было бы теперь рубить дерево. Нужно полагать, что не скоро наступит железный век и для языка, потому что наибольшее влияние на современное образованное человечество все еще имеют поэты, которые, по рутине, селятся смотреть на природу глазами первобытного человека и утверждают незыблемо этот метафорический язык.

Сказки, или в обширном смысле мифы, сохраняют нам в отрывках, часто в искаженном виде, часто с позднейшими вставками, не что иное, как выражение знаний о природе и ее явлениях первобытного человечества — в том виде, как это изложено выше. Как бы ни была нелепа по своему содержанию сказка (разумеется, народная), как бы ни казалась нам плодом праздной и распушенной фантазии, ученый почти всегда отыщет в ней реальную основу, реальную, конечно, в том смысле, как понимало мир первобытное человечество. Кто из нас не читал или не слышал в детстве сказки Перро о *Красной Шапочке*, кто не понимал, что она написана с целью показать, к чему ведет непослушание, а между тем Тэйлор находит в ней ясные следы *солнечного мифа*, представляющего закат и восход солнца. Чтобы понять это, надо знать, что Перро (1628–1703) написал не оригинальные сказки, а только придал художественную форму народным сказкам, при чем не церемонился с ними, выпускал целые эпизоды или переделывал их. Подобное варварское отношение к драгоценным остаткам старины продолжалось до нашего столетия, пока догадались просто *записывать*



народные сказки. Еще Белинский жалуется на переделки народных сказок и говорит, что оне хороши только в том виде, как их создал народ. Так и в сказке Перро о *Красной Шапочке* выпущен целый эпизод, который мы находим в немецких народных сказках, бр. Гриммов: когда *Красная Шапочка* была проглочена волком, охотник убил волка и освободил *Красную Шапочку*, волку же набил брюхо камнями, и волк утонул в ручье. Не смотря на несомненные посторонние наросты, здесь ясен миф: девочка с *красной шапочкой* — это солнце, волк, *пожирающий* ее — ночь, охотник, убивающий волка — рассвет, выхождение *Красной Шапочки* из желудка волка и потопление самого волка — исчезновение ночи и восход солнца. В другой сказке братьев Гриммов о *Волке и семи козлятах*, солнечный миф выражен еще в более любопытной форме: волк, в отсутствие козы, пожирает одного за другим шестерых ее козлят, но младший, седьмой, избегает этой участи, запрятавшись *в стенных часах*. Хотя часы и указывают на позднейшую вставку, но и тут можно допустить, что рассказчик разумел не настоящих козлят и волка, а дни недели, поглощаемые ночью; иначе как объяснить себе фантазию, что волк не нашел младшего козленка, потому что он спрятался (как *текущий* день) в стенные часы? Но во всяком случае нужно согласиться, что здесь миф затемнен, искажением и вставками; а есть сказки, где образы имеют совершенно ясно сознаваемое значение. Так Тэйлор указывает, что в русской народной сказке о *Василисе Прекрасной* история ее путешествия к бабе-яге представляет историю дня в истинно мифической форме. На пути ей попадаются один за другим три всадника: белый, красный и черный, в таких же одеждах, на таких же лошадях и с такою же сбруей. «Это день мой ясный... это мое солнышко красное... это ночь моя темная — все мои слуги верные», объясняет баба-яга Василисе эти явления. — Уж чего «Арабские сказки», кажется, нелепое произведение; еще не очень давно Белинский, желая объяснить происхождение нелепостей этих сказок, писал: «все восточные народы — страстные охотники до рассказов и, так как восточная жизнь лишена всякого движения и разнообразия, они хотят, чтобы эти рассказы были исполнены чудес и небывалых приключений, которые составляли бы собой контраст с их однообразною, скучною действительностью». А между тем и эти нелепые сказки суть, очевидно, отрывки утраченных в целом мифовъ. Мусульмане до сих пор уверены, что водяные смерчи производятся исплинскими демонами, как это описывается в «Арабских сказках»: «Море начало мутиться пред нами, и из него поднялся черный столб, воз-

вышавшийся до самого неба и приближавшийся к лугу... но тут мы увидели, что то был Джинни (дух) гигантских размеров». При созерцании крутящихся песчаных столбов, величественно подвигающихся по пустыне, всем путешественникам являлась мысль, что хорошо известные описания «Арабских сказок» основаны на олицетворении самих песчаных столбов в виде гигантских демонов, в которых так естественно превращает их даже и воображение современного человека. Из тех же «Арабских сказок» возьмем еще рассказ, который на первый взгляд может показаться порождением самой необузданной фантазии, но в котором тем не менее можно проследить научное начало, на сколько оно было доступно первобытному человеку, — это рассказ о *магнитной горе*. В рассказе третьего царевича-монаха (календера), повествуется о том, что однажды их корабли были занесены противным ветром в неведомое море, где находилась черная магнитная гора; их влекло к ней с необычайной силой, вследствие притяжения гвоздей и железных закрепов, так что, наконец, все железо устремилось по направлению к горе, а корабли рассыпались в щепы на приборе. Что может быть нелепее этого? А между тем магнитная гора есть не что иное, как гипотеза, существующая (даже и поныне) у необразованных людей для объяснения постоянности направления магнитной стрелки. И подобная гипотеза нисколько не менее остроумна, чем еще недавно существовавшая теория электрических жидкостей (слова *токи* остались и доселе). — Я уже не говорю о существовании в сказках карликов, великанов, циклопов, людей с необыкновенно длинными ногами или руками, людей с песьими головами, рыбьими хвостами — все это были *реальные* знания, без всякой метафоры. В сказках мы находим много указаний на те верования, которые и теперь еще живут, как реальные понятия, среди громадной массы людей, а прежде бывшая достоянием всего человечества: это верования в мертвецов, в оборотней и т. п., — все это вытекало из той же первобытной анимистической философии. Кроме того в сказках находим в частности ясные следы *фетишизма*, как его понимает Тэйлор. Так, в русских сказках рассказывается о неуязвимости какого-нибудь Кощея, потому что *дух* его заключен в яйцо, спрятанном в тридевятом царстве, на острове Буяне, за тридевятые замками и т. д., и как герой, какой-нибудь Иван-царевич, побеждает Кощея, достав это яйцо и раздавив его. К этому же отделу нужно отнести и рассказы о тех вещах, которые оставляются героем дома, перед отправлением в дальний путь; по большей части у нас это гребень или полотенце. Вещи эти служат домашним указанием на судьбу

героя, — в критическая для него минуты с них начинает капать кровь. В одной немецкой сказке «Два брата» братья при расставании втыкают нож в дерево; когда с одним из братьев случилось несчастье, то одна сторона ножа, с той стороны, куда пошел этот брат, заржавела. — В сказках кроме того сохраняются и чисто исторические воспоминания о далеком прошлом: таково людоедство, казни сожжением или привязыванием к хвосту дикой лошади и т. п. В них же мы находим черты семейные: положение сироты в доме мачехи, отношение детей к отцу, старших братьев к младшему. В связи с этим в сказках рисуются и жизненные идеалы, выражается и протест против многого.

Из всего сказанного видно, что предметы народной сказки надо понимать не как аллегорию или притчу, а как прямое повествование о том, что было для первобытного человека его *реальным* знанием. Аллегория, мораль — если и встречаются иногда — суть уже позднейшие искусственные наросты, явившиеся уже в то время, когда история происхождения сказки была забыта, и ею пользовались лишь как формой для выражения того или другого содержания. Это всего яснее видно на том отделе сказок, которые группируют под именем *животного* (или *басенного*) эпоса.

Народные сказки о животных не суть басни, это просто рассказы из жизни животных, понимаемые опять-таки совершенно реально. По большей части, в них объясняется происхождение какого-нибудь характерного признака животного, объяснение его нравов и привычек. Так в «Баснях и сказках диких народов» помещена басня под заглавием: «Отчего у шакала на спине длинная черная полоса?». В ней рассказывается, как шакал посадил к себе на спину солнце, а солнце обожгло ему спину, — и с той поры у шакала черная полоса на спине. Таких рассказов можно было бы привести массу. В той же книге находим объяснение: отчего у гиены левая задняя нога короче и меньше правой (стр. 15), отчего у цапли согнутая шея (стр. 16), отчего павиан ходит на четвереньках (стр. 21), отчего у зайца раздвоенная губа (стр. 27)<sup>2</sup>.

Такова была первобытная басня. Впоследствии, когда история ее происхождения была забыта, ее формой воспользовались уже сатирики, моралисты и обратили ее в притчу. В таком виде она и получила свое крайнее развитие под пером Лафонтена и Крылова.

---

<sup>2</sup>В этой же книге не могу не указать на сказку: «Потерянное дитя», где рассказывается о том, как павианы утащили ребенка и воспитали его; и другую: «Женщина, превращенная в льва». В обеих этих сказках, очевидно, дело идет о чисто реальных понятиях.

И думается, что на этом история искусственной басни и кончена, ибо дальше ей развиваться не во что. Если иногда еще и теперь являются целые сборники басен, то судьба их — полное забвение.

Теперь обратимся к детям и их отношению к сказкам.

После всего сказанного, будет понятно, почему дети так любят сказки. Обыкновенное решение этого вопроса — у детей развито необыкновенно воображение, и вот почему они любят сказки — неверно. Тут дело в том, что дети в своем интеллектуальном развитии проходят те же культурные стадии, которые переживало все человечество. В ранний период своего детства человек смотрит на природу глазами первобытного человека: она оживлена, вся проникнута духовным началом, — у ребенка на природу тот же анимистический взгляд, о котором я говорил выше. Присмотритесь к его играм в куклы, к его отношениям к животным: куклы живы, оне хотят есть, спать, устают и т. п.; собака и кошка испытывают те же чувства, что и дитя, — оне способны плакать, огорчаться, завидовать и т. п., в чисто человеческом смысле. Андерсен, гениальный знаток детской природы, удачно очертил эту сторону в понятиях ребенка, и я не могу не привести два подходящие отрывка из его поэтической книжечки: «Картинки в рассказах»<sup>3</sup>.

«Я видел слезы одной девочки: она плакала о том, что свет зол. Ей подарили чудесную куклу. О, что это была за кукла! Такая красивая и нежная! Она не была создана для житейских страданий, но братья девочки... посадили куклу очень высоко на большое дерево в саду и после того убежали. Девочка не могла достать куклы и помочь ей сойти, поэтому она плакала. Верно, кукла тоже плакала. Вытянув руки между зелеными ветвями, она казалась очень несчастной. Да, вот они житейския страдания, о которых мамаша так часто говорила. Ах, бедная кукла! Становилось темно. Ну, как совсем наступит ночь? Неужели ей оставаться одной на дереве целую ночь? Нет! Девочка никак не могла с этим помириться. „Я останусь с тобой!“ говорила она, хотя ей при этом было далеко не по себе. Ей уж мерещилось, как в кустах шевелятся маленькие лешие в высоких остроконечных шапочках, а зади, в темной аллее, танцуют длинные привидения.... Ах, как страшно было девочке! „Но ведь нечистая сила ничего не может сделать тому, за кем нет греха“, думала она. „Есть ли за мною грех?... Ах! да! Я смеялась над бедной уткой с красным лоскутом на ноге: она так уморительно хромала, поэтому я смеялась“... Она взглянула на куклу... „Смея-

<sup>3</sup>«Карт, в расск.». Сочин. Андерсена. Перев. и изд. кн. Шаховской. Спб. 1875 г.

лась ли ты над животными?» спросила она, и ей показалось, что кукла покачала головой».

Разве это не чистый (фетишизм? А вот вам для параллели отрывок из русской народной сказки, о той же Василисе Прекрасной, по поводу которой было говорено раньше.

«Василиса сама, бывало, не съест, а уж куколке оставит самый лакомый кусочек, а вечером, когда все улягутся, она запрется в чуланчике, где жила, и потчивает ее, приговаривая: „На, куколка, покушай, моего горя послушай! Живу я в доме у батюшки, не вижу себе никакой радости; злая мачеха гонит меня с белого света. Научи ты меня, как мне быть и жить и что делать?“ Куколка покушает, да потом и дает ей советы и утешает в горе, а на утро всякую работу справляет за Василису».

Другой отрывок из той же книжки Андерсена наглядно покажет отношение детей к животным.

«Я видел молодую девушку в подвенечном платье... но никогда я не видывал блаженства, подобного тому, которое наполняло четырехлетнюю девочку, бывшую сегодня предметом моих наблюдений. Ей подарили новое голубое платье и новую розовую шляпу... Девочка стояла прямо, как кукла, боязливо вытянув руки по дальше от платья и широко растопырив пальцы. О, какое блаженство горело в ее глазах, во всем ее лице! „Завтра ты в этом платье выйдешь на улицу“, сказала мать, — и девочка, блаженно улыбаясь, оглядывала платье. „Мамаша“, воскликнула она, „что подумают маленькие щенята, когда увидят меня такую нарядной!“»

Несмотря на опасный выбор предмета, вы не чувствуете здесь слащавости: это голая натура.

Понятно, что при таком взгляде на природу, ребенку должны нравиться сказки, ибо и оне были созданы под влиянием такого же взгляда; воображение в этом случае играет только роль воспринимающую, а не причинную. Сказки не производят на нас, взрослых, такого сильного впечатления не потому, что у нас слабо воображение, а просто потому, что самый предмет сказки нам не интересен, потому что мы не верим в него, так как мы пережили уже анимистический период развития. Но дайте нам интересующее нас, напр., хороший роман, — и поэтические картины встанут в нашем воображении, как живые, мы будем сочувствовать героям, негодовать на них, а может быть, и плакать. Вообще, по поводу воображения у детей, я должен сказать несколько слов, чтобы не оставить в недоумении читателя. Ошибочно думают многие, что воображение только у детей сильно, — оно развивается постоянно и с годами

переходить уже в творческую способность, именуемую *фантазией*. И у детей есть проблески фантазии. Кто из нас не создавал в детстве мифов?<sup>4</sup> Но как были слабы эти попытки! А с другой стороны возьмите Дарвина, — вы видите, какая у него пылкая фантазия, когда он рисует вам картину происхождения видов, шагая через видимые препятствия, или в том же сочинении рисует картину ледяного периода. Путанице понятий много помогает то, что слова *воображение* и *фантазия* употребляют одно вместо другого; или же, в научных сочинениях, преимущественно употребляют одно слово *воображение*, но строго различают при этом оба понятия<sup>5</sup>.

Итак, переходя к практической стороне вопроса, мы должны сознаться, что стремление в детях к сказкам вполне законно. Но тут является вопрос, полезно ли это, современно ли, нужно ли искусственно затягивать этот анимистический период, нужно ли давать пищу суеверию? Да, это законно, но только ведь потому, что мы сами недалеко ушли от этого периода. Наука оказывает очень слабое действие на общество до сих пор. Правда, одна часть этого общества ушла далеко в царство мысли, а другая, громадная часть, еще далеко за дверями знания. Ребенок, хотя и в так называемой образованной семье, чтб видит и слышит с ранних лет: суеверие, гадание, колдовство — вот что окружает ребенка с первых дней его жизни. Родители сдают его на руки неразвитой прислуге, которая пропитывает его суеверием до мозга костей. Сами родители ушли недалеко от прислуги. Разве редкость увидеть так называемую образованную даму, идущую к модной гадалщице? Самое существование этих гадалщиц не есть ли печальный факт? В их комнатах шуршат не одни ситцевые платья, но шелестит и шелк и лионский бархат. Разве не на наших глазах, когда разыгрывалась у эшафота кровавая драма, так называемые образованные господа, рыцари зеленого поля, осаждали палача, покупая у него куски веревки от удушенных. Я бы мог указать вам официальных руководителей подрастающего поколения, которые идут лечиться от зубной боли не к дантисту, а к знахарке, дающей им ладонку для ношения на шее, которые боятся остаться одни в темной комнате.

Стремление детей к сказкам есть их запрос на все, что они видят и что их интересует. Отчего вы не дадите им настоящих ответов,

---

<sup>4</sup>См. об этом малоценный у нас психологический очерк Н. Г. Помяловского: «Вукол».

<sup>5</sup>См. об этом толковую статью в словаре Березина. Также: Бэна «Науку воспитания», прилож. к «Семье и школе» 1881 г. со стр. 100, и Спенсера «Основание психологии», изд. Билибина 1876 г. т. 4.

а предлагаете сказки, явление, отжившее для лучшей части человечества и могущее служить предметом лишь научного исследования. Дети способны увлекаться не только сказками, они любят путешествия, историю, очерки из жизни животных и наконец вообще произведения, писанные для взрослых. Так восьмилетний Фрейлиграт проводит целые ночи за чтением приключений знаменитых путешественников; шестилетний Руссо восхищается романами до того, что, читая их, заливается слезами, а с семи лет любимейшим его чтением становятся книги, в роде «Знаменитых людей» Плутарха, «Речи о всемирной истории» Боссюэта, «Миров» Фонтенеля и т. п.; Андерсен-ребенок наравне с «Арабскими сказками» зачитывается Шекспиром; Диккенс — ребенок наравне с теми же сказками зачитывается путешествиями; С. Аксаков, пятилетним ребенком, зачитывается научными статьями «Детского чтения» Новикова, сочинением Ксенофонта «Об отступлении 10,000 греков», и т. п. А. Пушкин с восьми лет прочитывает Плутарха, «Илиаду», «Одиссею», проводит ночи за чтением Вольтера, Руссо и тому подобных писателей. Я бы мог эти примеры увеличить десятками, но ограничиваюсь предложенными, как наиболее яркими. Пусть дети читают и сказки, но пусть будут у них в руках и сочинения, пропагандирующие реальные знания; а мы по большей части ограничиваемся одними сказками.

С течением веков со времени своего появления, народная сказка потеряла свой смысл и значение: остались фантастические художественные образы, и эти-то образы были приняты за суть сказки. Тогда получила свое начало сказка волшебная, художественная. Это время можно назвать ложно-классическим периодом в развитии сказки. Целью сказки была поставлена ее фантастичность, лишенная уже всякого здравого смысла, для потехи праздной фантазией, — и многие таланты погубили здесь свои силы. Авторы исходили из того основания, что в детях необходимо развивать фантазию, нужно давать исход стремлению к таинственному, чудесному, к идеальному, — и вот рисовались фантастические образы, без капли веры в их реальность, и преподносились бедным детям. Иногда фантастическое пристегивалось к вполне реальному содержанию, потому что того требовала мода. Совсем было позабыто, что народная сказка тем и хороша, что составители ее верили в то, что говорили, выражали в сказках свои реальные убеждения, — вот почему народная сказка до сих пор не сходит и никогда не сойдет со стола ученого, давая неоцененный материал для изучения истории умственного развития человечества, а волшебная сказка

служит лишь для потехи, для праздного раздражения нервов, как блестящий фейерверк или акробатические представления. Таковы волшебные сказки Перро, Музеуса, Гауфа и других; но об них скажем подробнее в конце статьи. Хороша только та книга, которую читал с восторгом в детстве и которую с чувством тихой радости прочтешь и в зрелых летах. А перечитывая все эти волшебные сказки (как пришлось мне, при составлении этой статьи), испытываешь одну скуку, неудовольствие и злость. Иногда становится просто отвратительно это балаганное паясничество, как отвратителен бывает нам дряхлый, но молодящийся старик, у которого все фальшиво: и зубы, и волосы, и стан.

Но все хорошо, что хорошо. В наше столетие этой первобытной поэзии удалось снова расцвести пышным благоухающим цветком в сказках знаменитого Андерсена (1805–1875 г.). Личность Андерсена так интересна, так в связи с его произведениями, что я не могу не сказать несколько слов о нем самом.

Сын бедного сапожника, богато одаренный от природы, он вырастает среди необразованной, суеверной среды; мать прочит его в портные, но он, возбужденный чтением, оставляет родной дом и идет 14-ти-летним мальчуганом добывать себе счастья в Копенгагене, с ясным сознанием того, что «сначала надо испытать много неприятностей, и тогда человек приобретет славу». В Копенгагене его охватывает страшная нужда; он даже лишен возможности образоваться, но зато с жадностью поглощает всевозможные книги, тратя на них последние деньги. Только благодаря участию добрых людей, он получает возможность поступить сначала в латинскую школу, а потом в университет. Еще будучи студентом, с 1828 года, он начал писать и издал несколько сочинений; его романы обратили на себя внимание публики. Критика же встретила его неприятливо и занималась более счетом грамматических ошибок в его произведениях. В 1835 году Андерсен выпускает первую книжку сказок, состоящую из пересказов сказок, слышанных им в детстве. Успеха не было. Изъявлялись даже сожаления, что он занимается таким ребячеством, как сказки; говорили, что сказки совсем не в характере его таланта; давались советы изучить прежде французские образцы сказок. «Я», говорит Андерсен в своей автобиографии, «перестал печатать сказки, но не перестал писать их, потому что они сами неотступно просились на бумагу». Следующие выпуски сказок, где уже был дан простор личному творчеству, возбудили всеобщий интерес, и сказки Андерсена стали в Дании народной книгой, равно интересной как для детей, так и для взрослых.



Они читались даже в театрах во время антрактов, вместо стихотворений. Андерсен стал любимейшим поэтом Дании.

Знаменитый скульптор Торвальдсен, воспоминаниям о котором Андерсен уделил место в своих сказках, работая в своей мастерской, любил, чтобы Андерсен рассказывал ему свои сказки. Он восхищался в них естественностью завязки и истиной; он готов был слушать одну и ту же сказку двадцать раз. Гейне считал долгом познакомить свою жену со сказками Андерсена и не раз рассказывал ей сказку об «Оловянном солдатике». Скульптор Раух был в восторге от его сказок. Братья Гриммы, Гумбольдты — слушали их с участием. Я не говорю уже о внимании к Андерсену коронованных особ. Андерсен говорит, что «все замечательные литераторы и артисты, самые умные и образованные дамы с удовольствием слушали мои сказки, а я с охотою удовлетворял их желания». Что же говорить о детях, которые с восторгом читали его сказки или слушали их из его уст; в связи с этим стоит нежная любовь самого Андерсена ко всем детям (своих детей у него не было). Раз Андерсен с художником Шпектером, сделавшим рисунки к его сказкам, собрались в оперу; на дороге в театр Шпектер пригласил Андерсена зайти в одно богатое семейство, где и взрослые, и дети были в восторге от сказок Андерсена. Хотя Андерсен был не знаком с этим семейством и до начала представления оставалось минут 15, он согласился. В доме его окружила толпа детей, увидевшая Андерсена в первый раз в жизни, и пристала к нему с криками: «сказку, сказку! только одну!» Андерсен рассказал им сказку и затем быстро ушел... Дети никогда не могли забыть этого события, которое само было так похоже на сказку. Сын поэта Мозена очень любил слушать сказки из уст самого Андерсена и крепко привязался к нему. Когда он узнал, что Андерсен уезжает надолго и может быть навсегда, мальчик горько заплакал и на прощанье подарил Андерсену одного из двух своих оловянных солдатиков. Андерсен долго хранил этого солдатика. К этому я могу прибавить еще письмо к Андерсену малолетней дочери известного Ливингстона; начало этого письма приблизительно в таком роде: «Милый Андерсен, я очень, очень люблю и вас, и ваши сказки»....

В чем же тайна такого необыкновенного успеха?

Тут много, очень много причин: яркая картинность, проникновение духом народных сказок, одухотворение всей природы, фантастическое так слитое с содержанием, что составляет с ним нераздельное целое — это раз. Второе — необыкновенное понимание детской природы и горячая любовь к детям; в одной из его сказок

находим следующие слова, вышедшие из его нежной души: «я могу собирать пригоршнями золото; но это золото особого рода: я черпаю свое богатство из блестящих детских глазок, из улыбок их невинных усть». Третье — самое содержание сказки: фантастическое не есть цель для Андерсена, оно служит только формой для выражения его самых задушевных убеждений, его мучений и страданий. Но это содержание не кричит, не поглощает форму; сначала вы упиваетесь этой формой и только потом, уже после второго, третьего чтения, содержание выступает перед вами. Можно даже подумать, что Андерсен, писав свои сказки, и не думал о внутреннем смысле своих сказок, что оно само собой являлось из его наболевшей души. Один из современных Андерсену критиков очень хорошо выразил эту сторону творений Андерсена и хотя он говорит главным образом о его романах, но все это сполна можно отнести и к его сказкам:

«Главное содержание лучших и наиболее обдуманых и развитых сочинений Андерсена составляет борьба таланта или вообще высокой, могучей натуры, стремящейся вырваться из низкого удручающего положения... И он в этом случае воспроизводит весьма любопытную и назидательную сторону жизни, внутренний мир, которого никто не может знать лучше того, кто сам испил горькую чашу страданий и лишений и вынес из опыта много тяжких и глубоких чувств... Он восстает не только за талант и гений, но и вообще за всех обиженных, за всех несправедливо гонимых и страдающих в человечестве. А как он сам испытал и глубоко почувствовал эту тяжелую борьбу, как он сам должен был испытать до дна всю чашу горечи, которую равнодушный и надменный свет часто подает удрученному, то он мог придать своей картине и истину, и силу убеждения, раздирающий, трагический пафос, которые не могут не оставить глубокого впечатления в сердце, сострадающем человечеству».

До большей высоты, чем сказки Андерсена, думается, и не может подняться сказка в своем развитии. Сказка Андерсена — это лебединая песнь сказки. Да оно и понятно: время уже не то; сказка явление искусственное в наше время, да и сам Андерсен под конец своей жизни считал лучшей своей сказкой — рассказ: «Мальчик-калека». К форме сказки еще будут несомненно прибегать и, может быть, еще очень долгое время; но это будет аллегория, притча, а не сказка. Современному человеку трудно создать сказку; для этого ему нужно было бы переродиться, а это невозможно, потому что это будет насильствие своей природы.

Тут я перехожу к Вагнеру.

Сравнение Вагнера с Андерсеном напрашивается само собою: оба известные сказочники и оба в высшей степени талантливые и высоко образованные люди. Но Вагнер к тому же еще ученый и профессор. Последнее обстоятельство с одной стороны выгодно для Вагнера, с другой — прямо вредит его сказкам. Выгода состоит в том, что для детей пишет высокообразованный человек и ученый, — следовательно, он не может писать пустяков, и в его сочинениях невольно проскользнут великия идеи нашего века, или даже пропагандирование их он поставит прямою своею целью, что на самом деле и есть в сказках Вагнера. Невыгода — в том, что человеку, истинно ученому и притом нашего времени, когда наука твердо установила новые пути знания, когда весь мир не только физических, но и психических явлений находит свои реальные законы, когда все случайное, фантастическое уплывает в старину, — очень трудно поглядеть на мир теми глазами, какими смотрел на него первобытный человек или и теперь смотрит необразованный человек; для этого, как я сказал, нужно переродиться, забыть все то, чему нас учили, а это невозможно без насилования своей природы. У современного человека сказка будет только формой, в которую вкладывается то или другое содержание, а без этого внутреннего содержания сказка в настоящее время будет лишена всякого смысла. Одним словом, как я уже говорил, теперь может быть не сказка, а притча, аллегория, и только при этом условии она может иметь успех и то, конечно, при значительном художественном таланте и высоте пропагандируемых идей. Такова сказка Щедрина и очень схожа с ней, в некоторых случаях, сказка Вагнера. Но тут выступает вопрос, насколько это нужно, современно; не лучше ли писать прямо, чтобы читатель не тратил напрасно сил на распутывание спутанного клубка идей. Ко многим сказкам Щедрина и Вагнера нужны комментарии, без них же внутреннее содержание сказки может быть понято только лицами, которых волнуют те же самые идеи, что и автора; а на многих ли таковых может рассчитывать автор? И потом, неужели же та публика, для которой пишутся все эти сказки, на столько еще находится в младенческом состоянии, что ей нужно говорить образами, как будто прямо и талантливо высказанная идея не может быть переварена ей. Если мне укажут на цензурные условия, то я скажу: лучше не писать совсем, чем писать эзоповским языком, так как автор в слишком незначительной степени достигает своих целей. Чем образ нарисован картиннее, талантливее, тем публика более забывает содержание. Ведь не даром говорят, что Щедрина с удовольствием читают, сма-

куют, так сказать, те самые люди, которые служат предметом его сатиры; разве редкость увидеть какого-нибудь статского советника, завязатого ретрограда и человеконенавистника, который помирает со смеху, читая «Торжествующую свинью», или «Злополучного пискаря», или «Игрушечных дел людишек» и т. п. Только прямая сатира, как «Горе от ума», как сатира Гоголя и Островскаго, производила на общество то впечатление, какое предполагалось в целях автора. Возьмем одну из лучших, по задуманной идее, сказок Вагнера: «Дядя Пуд». Каждый читатель невольно задает вопрос, что такое представляет собою дядя Пуд? Что под ним нужно разуместь какой-то наболевший вопрос — это ясно; но я волен в выборе этого вопроса, пока сам автор не скажет, что для этого нужно прочитать «Запутанное дело» Щедрина; и, действительно, тогда только идея этой прекрасной сказки станет вполне понятной. Я уже не говорю о детях: тут они не только ровно ничего не поймут, но даже несправедливо отнесутся к действующему лицу, встречая самым добродушным смехом его жгучие страдания... Это уж плохая служба тому, чему служишь; но так неизбежно будет при той фальшивой форме, которую имеет в настоящее время искусственная сказка.

Но Вагнер все-таки сын своего времени и не выдерживает характера сказочника: лучшие его сказки — вовсе не сказки, а высокохудожественные рассказы, где сказочный элемент если и вводится, то скорее как лирический элемент, как уместная риторическая фигура, что вполне подходит к общему тону. Таковы лучшие его сказки: «Макс и Волчок», «Швея», «Колесо счастья», «Алигафиз», «Песенка земли», «Чудный мальчик», «Папа — пряник», «Новый годъ», «Вез света», «Счастье», «Любовь великая», «Два вечера». Нет сомнения, некоторые из чистых сказок Вагнера, как «Курилка», «Пимперлэ» — хороши, но только потому, что реальное содержание их так и бьет в глаза, и оно-то и производит впечатление на читателя. Это не то, что у Андерсена, где форма на столько важна, что, читая его сказку, забываешь о содержании; при чтении же сказок Вагнера, неотвязно сидит в голове вопросъ: а что это значит?

Я бы назвал это насилованием своего таланта; тем более, что сказки Вагнера детям вообще мало доступны, взрослым же оне не могут нравиться по своей форме, потому что тот читатель, которого волнуют те же вопросы, что и Вагнера, уже на столько вышел из пеленок, что будет изучать эти вопросы по научным сочинениям, в прямой форме, а не под соусом из Образов. Но с чисто практической точки зрения, сказки Вагнера представляют полез-

ную книгу: они будут дороги даровитому юноше, которого только что начали тревожить общественные вопросы; хотя, собственно говоря, идеалы, рисуемые Вагнером, не совсем определены, а жизнь, изображаемая им, так безотраднa, что может возбудить в пылком сердце одно отчаяние, потому что во всех сказках Вагнера царствует нравственное неудовлетворение, вследствие полной невозможности практического осуществления идеалов. Это положительный недостаток.

В сказках Вагнера есть несколько прекрасных картин природы; таково описание Красного моря в «Пимперлэ». Вот бы дожидаться от Вагнера целой подобной книги, это было бы наверно лучше всех его сказок, и ученому было бы возможно рассказать публике, и большой и малой, много интересных вещей о природе живой и мертвой.

Сводя все сказанное, я должен сказать, что чтение детьми сказок вообще законно, но мало желательно, так как наше время на столько полно интересных и поучительных открытий и вообще так много в мире интересных вещей, что детей можно занять и другим чем-нибудь, кроме сказок. Пусть же царствует наука, а не тот сумбур, который был создан человечеством на первой ступени его развития. Место сказки за школьную скамьей, где должна быть раскрыта ее история, и тогда сказка делается подспорьем знания.

А теперь я познакомлю читателя с теми сборниками сказок которые имелись у меня под рукою при составлении этой статьи. Потому что, что ни говори, а все-таки сказки читаются и наверно еще долго будут читаться детьми, преимущественно перед всеми другими книгами; так пусть же хотя попадают к ним в руки более дельные из нихъ.

1. *Басни и сказки диких народов. I, Животный эпос и легенды готтентотов. — II. Детские сказки и предания зулусов. Перев. с англ., 1874 г.* Эта книжка представляет собой бесценный материал в грубом, неприкрашенном виде, который послужил уже ученым для важных заключений. В сочинениях о первобытной культуре, например, у Тэйлора, часто встречаются ссылки на эти сказки. Книжка эта может служить и для чтения детям и, очевидно, издана с этою целью, в виде отдельных оттисков из журнала «Знание». В высшей степени желательно издание подобных же сказок и других диких народов, о которых упоминается в сочинениях о первобытной культуре, каковы сказки и мифы татарские, новозеландские, северо-американских индейцев и т. п. Подобная книга была бы неоцененным вкладом в русскую литературу.

2. *Народные сказки, собранные братьями Гриммами. Перев. с немецк. Софьи Снегосоревой. В 2-х том., 1870–1871 гг.* Прекрасная книга, которую зачитываются дети. Особенно хороши легенды, которые могут воспитывать в детях человеческие чувства; некоторые из этих легенд очень реальны. Лучшие из них: «Дедушка и внучек», «Саван», «Небесная пища», «Три зеленые ветки», «Бедная мать», «Красное солнышко все выведет наружу». Лично на меня все эти легенды и многие из остальных сказок производили в детстве необыкновенно сильное впечатление, и я ими зачитывался. Перевод сделан очень простым языком, что делает эти сказки доступными самым маленьким детям. Пугающей чертовщины почти вовсе нет. Рисунки очень плохи.

3. *Народные русския сказки А. Н. Афанасьева. 4 тома. Изд. 2-е. Солдатенкова. 1873 г.* Издание, сделанное с научными целями и совсем неудобное для чтения детям. Во-первых, потому, что во многих местах изложение неприлично по содержанию и по ругательным словам; во-вторых, слишком много чертовщины, мертвецов, что производит на детей угнетающее впечатление. Так я, читая в детстве эти сказки, главным образом на них воспитал свое суеверие, а от чтения сказок о мертвецах волосы вставали дыбом; вообще же все они читались с необыкновенным интересом. Необходимо издание для детского чтения, где были бы выброшены варианты и вся чертовщина и мертвечина; кажется, и есть такое издание, но я не видал его. Обыкновенно же в ученических библиотеках видишь это издание, и даже иногда с 4-м томом, где находятся примечания.

4. *Народные русские сказки, в изложении П. Полевого. 1874 г.* Избранные сказки русского народа, изданные роскошно, с прекрасными политипажами. Хромофотографии же, при хорошем выполнении, вовсе не передают русского духа, а скорее взяты из немецкого или другого какого быта. Жаль, что в этом издании сказки представлены в изложении П. Полевого, которое ничем не выше изложения своего оригинала, точно будто Полевой прочитал сказки да потом и рассказал «своими словами». Вот для сравнения отрывок из сказки о Василисе Прекрасной, который мы уже приводили из сборника Афанасьева: «Василиса сама, бывало, не доест, не допьет — а самый лакомый кусочек все куколке снесет. Вечером, как все улягутся, запрется она у себя в чуланчике, потчивает куколку и приговаривает: „На, милая куколка, покушай — моего горя послушай! Живу я в доме — одна дочка у батюшки, а не вижу себе никакой радости: мачеха меня с дочками поедом едят, со свету белого сжить хотят. Научи хоть ты меня, как мне быть и что делать?“ Покушает

куколка и даст ей совет добрый, а иногда и в работе, без ведома Василисы, поможет».

Что оригинального в подобном изложении и кому оно нужно? Зато некоторые сказки — уже просто искажение русских народных сказок, сделанное еще во времена оны Н. А. Полевым. Животный эпос, самый характерный отдел русских сказок, отсутствует. Вообще это не то издание народных сказок, которое желательно для чтения.

5. *Украинские сказки для детей Г. П. Данилевского 1863 г.* Художественный стихотворный пересказ народных сказок. Размер стиха у Данилевского меняется сообразно содержанию сказки, и всегда необыкновенно удачно. Очевидно вставные, картины природы необыкновенно свежи и поэтичны. Чертовщина фигурирует только в сказках: «Весы», «Ивашка», «Папоротник» и «Оборотень», — но в первой бесы совершают справедливое дело, а в остальных чертовщина не производит угнетающего впечатления. Ребенком я зачитывался этими сказками, и на меня производила впечатление именно их свежесть, этот жгучий воздух Малороссии, эта необъятная лень степной жизни, эти цветущие картины природы. Сказки эти как-то мало известны в литературе, а оне заслуживают гораздо большего внимания. Для примера я познакомлю читателя с одной из этих сказок «Живая свирель», поэтическим степным цветком.

«В степи немой, пустынно-необъятной, в глуши полей, осыпанных ковылью, зеленым лопухом, янтарной кашкой и голубым разливом васильков, под воздухом, налитым ароматом клубники, ландышей и диких яблонь, лиловых колокольчиков и мака, и роз, и тысячи целебных трав — жил пасечник седой и дряхлый, с своей женой да с малыми детьми»...

Он был ленив.

«Не выходил из пасеки своей и целые часы в ней проводил в полудремоте, глядя безмятежно в прозрачный, знойный и душистый воздух. А в воздухе недвижно и неслышно, как сонные, как пьяные от жара, пред ним висели пестрые жучки и комары, и огненные мухи, и с трепетными крылышками пчелы».

Раз его жена послала двух своих дочерей в лес за яблоками. Старшая заснула в лесу, а меньшая «тихо вошла в лесную глушь... Незримо ее пустыня рощи охватила... И начала она пугаться! Молча, кругом нее толпились ракиты, дрожали белоствольные осины; качала груша сонной головой; а черный дуб, увитый желтым хмелем, в развалинах вороньих гнезд, громадный, до половины высохший,

седыми и острыми ветвями из трущобы махал... Вдали над явором густым аукнулась кукушка... Меж травой пугливая скользнула медяница, а в воздух плавно поднялся орел, над сонным байраком снуюя кругами и тихо исчезая в знойном небе».

Младшая сестра нашла в лесу два чудесных яблока. Старшая позавидовала ее находке, убила ее и спрятала ее тело. Над трупом вырос камыш, из которого сын пасечника сделал свирель, и свирель эта напевала всем о злодействе старшей сестры. Тогда убийцу привязали к хвосту коня и пустили его по полю. Совершившие казнь ушли.

«Осталась одна старуха мать... Она к глазам приставила сухую, морщинистую руку, устремила печальный взор за дочкой любимой, и так стояла дни и ночи, все поджидая дочку ненаглядной; и, наконец, от грусти обратилась в зеленую раскидистую тополь над ветхой, покинутой землянкой»...

Какая это старая, общеизвестная сказка и какую чудесную вещь сделал из нея истинный талант, проникнутый народным духом.

6. *Польские сказки, изложенные по К. В. Войницкому и К. Балийскому 1880 г.* 19 народных сказок; но они изложены О. Гриммом по переводу г-жи К. Одынец. Подобный способ перевода вредно отозвался на языке, который весьма бесцветен и, без сомнения, не передает колорита народного языка, что особенно важно в подобных сказках. Лучшие из них: «Поветрие», очень характерная по содержанию и высокая по идее<sup>6</sup>, «Милостыня», «Морское око», «Беда», «Змей» (то-же, что «Живая свирель»), «Пещера в Черной горе». Но здесь есть сказка «Оборотень», которая должна производить на детей угнетающее впечатление. Вообще весь сборник не принес никакого вклада в русскую литературу, к тому же дорог (80 к. за 90 стр.) и с плохими рисунками.

7. *Тысяча и одна ночь. Арабские сказки, по франци, перев. Галланда. Сокращено для русских читателей А. Афанасьевым-Чужбинским. Изд. М. Вольфа 1866 г.* Имя Галланда<sup>7</sup> и русского переводчика ручается за то, что перевод сделан основательно, но, насколько сохранен колорит народного языка, трудно ручаться, хотя он вполне соответствует содержанию. Арабские сказки — любимое чтение многих детей; ими зачитывались в детстве: Диккенс, Андерсен, Кольцов, С. Аксаков и др. В «Детских годах Багрова-внука» находим по-

<sup>6</sup>На нее ссылается Тэйлор в своей «Первобытной Культуре».

<sup>7</sup>Его знаменитый перевод «Арабск. ск.» (1704 г.) был первым в Европе и прославил имя переводчика.



дробный рассказ о впечатлении, произведенном на Серēju этими сказками: оно было так сильно, что он, читая их, ничего не видел и не слышал. Положим, он с таким же увлечением читал «Детское чтение» Новикова и Ксенофонтово «Отступление 10,000 греков», и слушал сказку «Аленький цветочек», — но с такими фактами приходится мириться, тем более, что «Арабские сказки», несмотря на все свое волшебство и кажущуюся игру праздной фантазии, суть не что иное, как собрание народных сказок; а морские путешествия Синдбаба, очевидно, пересказ какого-нибудь действительно существовавшего путешествия. — Указанное нами издание безукоризненно во всех отношениях и снабжено хорошими раскрашенными рисунками, верно передающими дух «Арабских сказок», что в рисунках важнее всего.

8. *Знаменитые волшебные сказки Перро. Изд. 2-е. Москва 1878 г.* Главная прелесть сказок Перро заключается в изяществе изложения и прекрасном языке; содержание же их взято из народных сказок, с которыми Перро не особенно церемонился. Духа народных сказок в них нет ни капли; и, собственно говоря, при народных сказках, сказки Перро не имеют никакого смысла: они напоминают собою тех нарядных игрушечных крестьянок, которых выставляют в окнах игрушечных и кондитерских магазинов. Но детям эти сказки нравятся, как могу судить и по своим детским воспоминаниям. Указанное издание — полный перевод сказок Перро; но сделан он топорным ябыком, а в сказке «Замарашка» слово *marraine* (крестная мать) переведено везде словом *мачиха*, а так как там есть и *мачеха* (*maratre*), то и вся сказка становится бессмыслицей. Существует другой современный перевод, И. Тургенева, но я его не имел в руках.

9. *Волшебные сказки Музеуса, сокращенные для детей Ф. Гофманом. С предисловием В. Крестовского (псевдоним). Перев. с немецк. 1880 г.* Пересказ народных сказок. Язык искусственно возвышенный, нечто в роде Карамзинского, по крайней мере в переводе. Последняя сказка «Мелекзала» не имеет ничего сказочного, а есть одна из так называемых «восточных» повестей, во вкусе «доброто» старого времени. Вообще же все сказки Музеуса (1735–1787 г.) представляют реальный рассказ, где фантастическое является бесполезным балластом; изложение вообще растянуто необыкновенно. Хорош только пересказ народных легенд о Рюбецале, неподдельный юмор которых возбуждает здоровый смех и мешает проявляться суеверному страху. Вообще-же непонятно, к чему понадобился перевод этой старины.

10. *Сказки Вильг. Гауфа. Перев. с немецк. под редакц. В. Зотова 1875 г.* В предисловии как этой, так и предыдущей книги высказывается сожаление, что сказка находится в загоне у «умников», что детям суют одно реальное; поэтому-то авторы и переводчики этих книг и позаботились об издании сказок. Непонятные сожаления и напрасные заботы! И весь этот потешный народ взывает к авторитету детского решения, — да мало ли что имеет успех у детей, — не всякое лыко в строку; это еще не оправдание для наводнения литературы всякой чепухой, хотя бы и художественного. Вот и предлагаемая книжка — с внешней стороны не оставляет желать ничего лучшего, перевод сделан хорошим литературным языком, картинки прекрасны, но зато содержание — нелепость на нелепости, не имеющая никаких оправданий. Правда, некоторые из сказок Гауфа (1802–1827 г.) как бы пересказ народных легенд, — но разве всякие легенды можно совать детям; а взрослым эти легенды нужны в неприкрашенном виде. Одну из сказок Гауфа: «Штенфельдская пещера» я читал еще в детстве, и она произвела на меня сильно угнетающее впечатление. А сколько вообще в этих сказках мертвецов, убийств, и убийств отвратительных, как напр. в сказке: «Рассказ об отсеченной руке». Относительно же волшебства, так это поистине волшебные сказки, и здесь волшебное само себе цель. А вот кстати, неудобно ли познакомиться с содержанием некоторых из картинок. К стр. 11 («Корабль мертвецов»): палуба корабля завалена мертвецами; около мачты стоит турок, пригвожденный к ней гвоздем сквозь лоб; двое живых испуганно смотрят на это. К стр. 20 («Рассказ об отсеченной руке»): кровать; на ней спит красивая девушка; двое стоят подле кровати, один из них лекарь, перед тем моментом, как он отрежет голову спящей девушке. К стр. 34 («Спасение Фатмы»): над колодцем висит только что удушенный человек и двое с усмешкой смотрят на труп. К стр. 47 («Сказка о ложном принце»): спящий человек и другой, наклонившийся над ним с кинжалом в руке, с намерением совершить убийство. К стр. 166 («Штенфельдская пещера»): человек, стоя на уступе скалы, наклонился над волнами, в которых виднеется выплывший со дна железный ящик с золотыми монетами... Ну, стоило ли изображать подобные мерзости и глупости!

11. *Фантастическая сказки. Перев. с немецк. А. Степановой и О. Гримма 1880 г.* Та же бессмысленная, ничем неоправдываемая фантастическая чепуха, что и в сказках Гауфа. Среди сказок целый ряд нравоучительных побасенок, где непокорные и непослушные дети наказываются и исправляются; таковы: «Недовольный мальчик»,

«Камилла, крестница феи», «Сестра Лиля», «Фея крошек», «Наперстяночка». Две сказки: «Дары Марта» и «Бутылка» — варианты одной и той же сказки. Но за то положительно хороши: «Красная подвязка» (несомненно народная легенда), «Свеклочет» (легенда о Рюбецале), «Кеифана и ее муж» и «Доктор Златокудрий». В двух последних заключены глубокие и симпатичные идеи; «Кеифана и ее муж» кроме того привлекает неподдельным юмором, а «Доктор Златокудрий» как-будто написан Андерсеном, так он свеж и мил. Но стоило ли из-за этого немного хорошего переводить остальную дребедень; тем более, что в предисловии нет указаний, что это: фантазия автора, или народные сказки, или художественный их пересказ. А в подобных сборниках это положительно необходимо.

12. *Волшебные сказки для детей, собранные Ю. Гофманом, по сочинениям Фр. Гофмана, Гримма, Бехштейна, Гейслера, и др. Перев. с немецк. Кутейникова. Изд. Битенажа 1879 г.* По внешности, так называемое роскошное издание; перевод же сделан неуклюжим языком. Лучшие сказки все в сборнике Гриммов; из-за остальных не следует покупать эту жалкую, хотя и красивую спекуляцию.

13. *Сказки Кота-Мурлыки (Вагнера).* Три издания. Книга, желательная во всякой ученической библиотеке.

14. *Полное собрание сказок Андерсена. Перев. 1 ч. Петра Вейнберга, 2 ч. М. Вовчка 1880 г.* Истинно поэтические вещи Андерсена заключаются в первой части; во второй же какие-то сухие аллегории, лишённые почти всякого художественного достоинства. Рисунки также хороши только в первой части; во второй вместо них невообразимая размазня, которая только портит книгу. Вторая часть была издана и отдельно, под названием: «Новые сказки Андерсена». Первой части был другой перевод («издание переводчиц»), который на наш взгляд кажется более простым.

15. *Последние сказки Андерсена, с приложением сделанных им самим объяснений и т. д. Перев. с немецк. Е. Сысоевой 1876 г.* Хороша только одна сказка-рассказ: «Мальчик-калека»; остальные нехудожественны и неинтересны: они писаны Андерсеном уже во времена упадка его таланта.

16. *Сказки Топелиуса. Перев. со шведского М. Гранстрем и А. Гурьевой 1882 г.* Очень изящное издание, перевод сделан изящным языком, читается легко; но все это не в состоянии выкупить внутренних недостатков, весьма существенных. Чтение этой книги наводит на грустные мысли; спрашиваешь себя: для чего понадобилось это издание русским детям, так оно убого по своему содержанию и идее. Чтобы не быть голословным, я коротко пе-

реберу все эти сказки. 1) «Две сосны» выражает ту идею, что общение с природою производит в людях нравственное перерождение к лучшему. Так ли это? Какая ведь природа! В настоящем случае это северный глухой уголок Финляндии. Разве может такая природа произвести благодатное влияние на душу человека? Прочтите «Калевалу», созданную под влиянием такой природы, — вы увидите здесь мрачные образы, грубые, чудовищные, и общий колорит едва смягчается более мягким образом певца Вейнемейнена. В «Калевале» вы чувствуете правду, в сказке же Топелиуса красивую шаблонную ложь. 2) «Маленький Ларс» не дурно задуман, как сказка для маленьких детей, но полон лживого патриотизма: Финляндия, видите ли, лучшая страна в мире. 3) «Празднование Рождества у трольдов» — один из тех нравоучительных рассказов, которые надоели нам под всеми соусами... Милые дети, не будьте жадны, иначе вас унесут к злым трольдам, где придется вам натерпеться страха, но за то вы, наверное, исправитесь. Ну, а если трольды-то не унесут, как тогда исправить детей? 4) «Канун Иванова дня» — такой же нравоучительный рассказ: делайте, дети, добро — и за это ангелы ваши хранители будут стоять за вас на страже... 5) «Солнечный луч в ноябре» пробегает по разным уголкам земли и везде находит довольство. «О чем нам горевать, говорят бедные люди, деля с такими же неимущими последний кусок хлеба, — мы знаем, что Бог, по своей милости, печется о всех своих детях, и на него мы полагаем все наши печали». Только и нашел луч одну недовольную на земле: девочку, у которой завял цветок в горшке... 6) «Дети Солнца» — здесь опять квасной патриотизм, опять Финляндия, самая привлекательная страна в мире. 7) «Война солнца» — аллегорическая картина победы света над мраком; обыкновенно как все аллегории: не лучше, не хуже. 8) «Конькобежец» — единственно хорошая вещь во всей книжке. Контраст двух характеров: один брат все сидит дома, читает, рисует и в играх совершает великие подвиги; другой — и умен и постоянно на воздухе, и совершает на деле тот подвиг, который его брату удастся лишь на вырезанных из бумаги фигурах. Но это вовсе не сказка. В этом рассказе есть одно место, которое не мешает заучить и педагогам, и родителям:

«В свободное время, когда уроки готовы, не сиди дома, не будь неженкой, который на просторе под открытым небом не переносит дуновения вольного и здорового ветра. Не сиди тогда дома, бегай по горам и холмам, летом и зимою, в жар и в холод, — все равно; зимою же не бойся, что нос покраснеет. Если зябнут руки, то не хло-

почи много о рукавицах и не грейся перед печкой... Бегай по снегу, носись во весь дух на своих коньках по льду, и если вернешься с мокрыми сапогами, да мама за это побранит тебя, то поцелуй у ней руку и скажи: прости, мама, ведь от этого твой мальчик будет здоров и силен».

9) «Береза и звездочка» — чувствительный рассказ, описывающий возвращение детей из вражьего плена на родину, без знания дороги, без денег. Но ведь все это пустяки: перед ними летят две птички, указывающие им дорогу; когда детям захочется есть, они находят пищу, хотят спать — есть удобное место, нужно переправляться через озеро или реку — всегда к их услугам лодки. И это не сказка, а настоящий рассказ, и действующие лица не какие-нибудь малютки, а мальчику 15 лет, девочке 14. Вот уж подлинно: голенький ох, а за голеньким Бог!

...Нет, не для русских детей подобная сентиментальная дребедень. Слава Богу, русские дети воспитаны в более реальных понятиях. — Кстати о рисунках в этой книжке: все они такие чистенькие, но все на одну колодку; лица и девочек и мальчиков похожи одно на другое, герои одного рассказа на героев другого. Нельзя без смеха смотреть на картинку, долженствующую изображать 15-ти летнего мальчика и 14-ти летнюю девочку; когда посмотришь на этот рисунок поверхностно, то кажется, что это какие-то 8-ми летние крошки, а присмотришься внимательнее — взрослые люди на детских ножках.

17. *Сем новых сказок А. Коваленской 1864 г.* В общем пустячки, фантастический бред, на подкладке из обыденной морали. Конечно, такой вздор, в сущности, безвреден, тем более, что по хорошему языку и талантливости изложения сказки эти могут нравиться детям, как нравились оне и мне во времена они.

*Иван Феоктистов*

## СОБРАНИЯ СКАЗОК ДЛЯ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ

*Впервые опубликовано в: Воспитание и обучение. 1886. № 1.  
С. 9–18; № 3. С. 52–58.*

По поводу этих книг невольно приходят в голову мысли о том, какое значение имеет народная безыскусственная поэзия, нужно ли знакомить с ней детей и каким образом делать это. Мы говорим здесь о сказках, былинах, сказаниях, легендах и т. д., которые все более или менее тесно связаны друг с другом и группируются около одного предмета — *сказки*.

Когда вопрос коснется детского чтения, то ни одни книги не возбуждают таких острых споров и таких категорических решений, как сказки. Одни говорят, что сказки уносят ребенка в волшебный мир чарующих грез, пробуждают в нем идеальные порывания к прекрасному, дают душе запас свежих, благоуханных впечатлений, служащих на всю жизнь противовесом житейской прозе. Другие говорят, что чтение сказок развивает в детях болезненное стремление к таинственному, воспитывает суеверие, отвращает ребенка от положительного знания.

Собственно говоря, и те, и другие не правы, и их ошибка заключается в том, что они не отделяют сказок одного рода от другого, смешивают все в кучу, которая, действительно, представляет нечто невыразимое. Такое смешение происходит от неясного понимания значений сказки и ее истории.

Сказка получила свое начало в отдаленные, доисторические времена и выражает собой сумму познаний первобытного человека о природе и ее явлениях. Все предметы сказки имели некогда прямой смысл, *без какого-либо* аллегорического значения. Это был, прежде всего, *природный миф*, в чистом его значении. Сюда же вошел и человек со всеми явлениями его жизни. Основание же для объяснения тех или других явлений было одно и то же. Сказки, или в обширном смысле, мифы созданы на той ступени развития человечества, когда весь мир представлялся проникнутым духовным началом, когда каждое дерево, камень, река, лес, небесные

светила и проч. были оживлены обитающим в них духом, и всякое инертное движение их было сознательным. Тогда, разумеется, и все животные были родственны человечеству, одинаково с ним думали, имели одинаковые с ним страсти, руководились в своих поступках одинаковыми побуждениями; И не только животные, но и растения, даже вещи.

И это потому, что в тот отдаленный период человеческой культуры люди могли судить обо всем, происходившем в природе, руководясь только аналогией ее явлений с явлениями собственной жизни. Личная же жизнь человека казалась им зависящей от духа, поселенного в них и руководящего их поступками. Этот дух имел самостоятельное, помимо тела, существование, мог на время покидать свое обиталище, как мы уходим из дому, и вселяться в другие предметы, будут ли то люди, животные, или растения. Если дух покидал человека навсегда, то производил смерть. Он мог являться людям в формах, доступных внешним чувствам; мог вредить или покровительствовать людям. Подобная теория жива еще и в современном человечестве, даже в среде образованного общества (спиритизм); она живет в целых племенах диких народов, а, говоря вообще, было время, когда и все человечество находилось на этой ступени развития и смотрело на мир глазами составителей мифов, сказок, сказаний, былин, басен, загадок и проч.

Огюст Конт подобную систему объяснения явлений природы и жизни, вытекающую из обширной антропоморфической аналогии, называет *фетишизмом*, Тэйлор же называет *анимизмом* (спиритуализм, или одухотворение), а для фетишизма оставляет только понятие об одухотворении предметов вещественных.

Дойдя к нам из глубины веков до исторического периода, сказка вынесла нам образы то чудовищно-ужасные, то величаво-прекрасные, картины необузданных страстей, гиперболические образы красоты и физической силы.

Эти образы нам непонятны. Мы смотрим на них недоумевающим взглядом, отказываемся понимать их смысл и или называем их нелепостью, или стараемся отыскать в них тот внутренний аллегорический смысл, которого в них нет.

Понятно, что здесь говорится лишь о *народной* сказке. Так называемые *волшебные* сказки уже созданы в позднейшее время, когда народная сказка, носящая в себе очеловеченные образы явлений природы и жизни, потеряла, при известном поступательном умственном движении человечества, всякий смысл. Тогда эти образы были приняты за суть сказки, как намеренная гипербола, и на этом

основании сочинялись волшебные сказки, где нелепость становилась обязательной, и чем содержание сказки было неестественнее, тем сказка наиболее удовлетворяла своей цели. Была выдумана страсть к чудесному, врожденная в человеке и вечно влекущая его в таинственный мир неопределенных видений. Вместе с этим, явилось стремление (у самих ученых) объяснять все чудесное сказки аллегорическим значением ее действующих лиц; тогда-то появились сказки, которые пользовались образами народных сказок для более удобного проповедования морали. Сам народ скептически отнесся к сказке и стал говорить, что сказка — *складка* (т.е. вымысел).

Много прошло времени, пока истинный смысл народной сказки выяснился окончательно, и ученые установили, уже в наше столетие, прочное положение в народной сказке нет ничего сказочного, ничего преувеличенного, как это ни покажется странным; она представляет собой сумму *реальных* познаний о мире, насколько последний был доступен доисторическому человеку. Эта *реальность* станет нам понятной, когда мы вспомним нашу няню или мать, говоривших нам о трех китах, на которых стоит земля, когда мы вспомним, уже из школьного периода, о невесомых жидкостях, образующих электрические токи, или посмотрим на старушку, гадающую в карты и верящую в их способность предсказывания. Все это будут, ни более, ни менее, как реальные знания, обусловленные той или другой степенью развития.

Но такое положение о реальности содержания сказок установилось не ранее, как появилось стремление записывать сказки из уст народа, в их неприкосновенном виде. Первый почин в этом отношении принадлежит знаменитым братьям Grimm, в Германии. Этим-то безыскусственным материалом воспользовались ученые и на основании него рисовали хотя и неполные, но определенные в частностях картины первобытной умственной жизни человечества.

Вот коротко набросанный очерк истории возникновения и развития сказки. Если он показался читателю несколько сухим, то это от того, что составитель очерка, стесняемый местом, не мог иллюстрировать свои положения многочисленными фактами; если же читатель захочет познакомиться с этим вопросом во всей его полноте, то может обратиться к книге Тэйлора «Первобытная культура»<sup>1</sup>, где этот вопрос разработан в главах об *анимизме*. Но, во

---

<sup>1</sup>Русский перевод Коропчевского, 1872 г. 2 тома.



всяком случае, такая история сказки необходима для правильного выяснения разбираемого предмета; только теперь мы можем перейти к вопросу о чтении детьми сказок, решить этот вопрос более основательно, чем это делается обыкновенно.

Так как дитя частью повторяет свой жизнью культурные стадии развития всего человечества, то и его ранний период соответствует раннему периоду жизни человека. Для ребенка в эти годы жив весь мир; у него на природу тот же *анимистический* взгляд, о котором говорено выше. Присмотритесь к его играм в куклы, к его отношениям к животным: куклы живы, они хотят есть, спать, устают и т. д.; собаки и кошки испытывают те же чувства, что и дитя: они способны плакать, огорчаться, завидовать и т. д., в чисто человеческом смысле. Понятно, что при таком взгляде на природу, ребенку должны нравиться сказки, ибо и они были созданы под влиянием такого же взгляда; воображение в этом случае играет только роль воспринимающую, но не причинную. Стремление детей к сказкам не есть только их стремление к фантастически-интересному; оно в большей своей части есть их запрос на все, что они видят и что их интересует. Конечно, все это возможно лишь в тех условиях, в которых еще стоит до сих пор ребенок; тогда, когда истинное знание проникает во все семьи, когда ребенок не будет находить отзыва своему анимистическому развитию ни в няне, ни в матери, ни в отце, тогда и сказка не будет иметь для него такого интереса и такого влияния. Тогда она будет предложена ему на школьной скамье, где раскроется ее история, и тогда сказка сделается могучим подспорьем положительного знания. Но это время еще далеко, и слишком последовательно ратовать теперь же во имя его — напомнить нам подвиги рыцаря печального образа.

Но читатель из всего этого может уже видеть, что мы высказываемся так лишь единственно за сказки *народные* и притом в их безыскусственном виде, так как они записаны с уст народа. Всякие волшебные сказки, всякие переделки народных сказок и подражания им — в наших глазах не имеют ровно никакого смысла и значения. Конечно, и тут могут быть счастливые исключения, когда приходится одобрить то, что противно теории; и не сделать, этого нельзя, потому что никакую теорию не уложишь в рамки, и все будет прекрасно, что прекрасно на самом деле.

Цель настоящей статьи — дать родителям руководящую нить, которая, поможет им разобраться в хламе, наводняющем нашу детскую литературу. Мы переберем теперь все известные нам издания сказок; сперва укажем сборники нетронутых народных сказок, по-

том перейдем к их суррогатам — переделкам и волшебным сказкам, и в заключение скажем о сказке нашего времени.

*Басни и сказки диких народов: I. Животный эпос и легенды готтентотов. — II. Детские сказки и предания зулусов.* Перев. с англ. 1874 г. Ц. 50 к. Эта книжка представляет собой бесценный материал в грубом, который послужил уже ученым для важных заключений. Она может служить и для чтения детям и, очевидно, издана с этой целью, в виде отдельных оттисков из журнала «Знание»; детей не могут не заинтересовать, напр., варианты русских сказок у готтентотов, каковы: «Белый человек и змея» — русский бирюк, попавший в капкан, или «Кража рыбы» — русская лиса, воровавшая рабу с воза. В высшей степени желательно издание подобных же сказок и других народов, о которых упоминается в сочинениях о первобытной культуре, каковы сказки и мифы татарские, новозеландские, северо-американских индейцев и т. д. Подобные книги бы неоцененным вкладом в русскую литературу. С мифами северо-американских индейцев можно, хотя и не в безыскусственном виде, познакомиться из чудесной поэмы Лонгфелло «Песнь о Гайавате», переведенной Д. Л. Михайловским<sup>2</sup>.

*Народные сказки, собранные брат. Grimm.* Перев. с немецк. С. Снесоревой, в 2 том, 1885 г., изд. 2-е, Ц. 3 руб. Прекрасная книга, которой зачитываются дети. Перевод сделан очень простым языком, что делает эти сказки доступными самым маленьким детям. Пугающей чертовщины вовсе нет. Жаль, что рисунки очень плохи. Так как здесь переведены только избранные сказки бр. Grimm, то дополнением к ним могут служить: *Сказки бр. Grimm, рассказанные дядей Павлом.*

*Русские детские сказки, собранные А. Н. Афанасьевым.* 1883 г. Ц. 2 р. Сказки выбраны из известного сборника А. Н. Афанасьева, но с какими-то ненужными выпусками и с заменой слов. Несмотря на этот недостаток, все же эта книжка передает русские народные сказки в их неприкрашенном виде. Тут образы и язык — все народное, все дышит неподдельностью выражения. Выбор сказок сделан толково, хотя нет некоторых хороших сказок, как например «Перышко Фениста-ясна сокола», «Два Ивана — два солдатских сына» и др.

*Народные русские сказки А. Н. Афанасьева.* 4 тома. 1873 г., изд. 2. Ц. 6 р. Издание, сделанное с научными целями и совсем неудобное

---

<sup>2</sup>См. «Иностранные поэты в переводе Д. Л. Михайловского», 1876 г. (ц. 1 р.), или «Английские поэты в биографиях и образцах» Гербеля.

для чтения детям, во-первых, потому, что во многих местах изложение неприлично по содержанию и ругательным словам, во-вторых, слишком много чертовщины и мертвечины, что производит на детей слишком угнетающее впечатление.

*Польские сказки, изложенные по К. В. Войницкому и К. Балинскому.* 1880 г. Ц. 80 к. Компилятивный список неизвестно с какими целями изданный. Язык очень искусственен и едва ли передает народный дух. Хотя есть и очень недурные сказки (напр., «Поветрие»), но для детей сборник этот не годен, потому что здесь есть сказка «Оборотень», которая по своей чертовщине должна производить на детей угнетающее впечатление.

*Тысяча и одна ночь. Арабские сказки, по французск. переводу Галланда.* Сокращено для русских читателей А. Афанасьевым-Чужбинским. 1866 г. Ц. 3 р. 50 к. Арабские сказки — любимое чтение многих детей; ими зачитывались в детстве Диккенс, Андерсен, Кольцов, С. Аксаков и многие другие. Гнать их нет никаких оснований, тем более, что и «Арабские сказки», несмотря на все свое волшебство и кажущуюся игру праздной фантазии, не что иное, как собрание народных сказок. Указанное издание безукоризненно во всех отношениях.

*Норвежские сказки П. Хр. Асбьернсена.* Перев. Макаровой. 1885 г. Ц. 3 р. 50 к. Роскошно изданная книга, с прекрасными характерными рисунками, заключает в себе очень ценный материал, особенно, для сравнения с русскими и немецкими сказками, с которыми имеет, в некоторых случаях, большое сходство. Но все варианты запечатлены особой свежей оригинальностью, с которой нам нигде не приходилось встречаться. Между сказками ряд охотничьих сцен и приключений, пересыпанных местными преданиями и легендами; в этих сценах необыкновенно свежи и поэтичны описания дикой северной природы. Но такая прекрасная книга поражает не исправной корректурой. Возьмите, напр., стр. 61: «так и лакают (,) так и лакают», «сабаченку», «ограмный» (вм. о), «заливась» (вм. заливаясь), «лаям» (вм. е), «верх» (вм. вверх).

*Датские народные сказки. Собрал Свенд Гундвиг.* 1878 г. Ц. 1 руб. Тут народные сказки (во многом сходные с предыдущими) переданы уже в свободном изложении, и ни одна из них не представляет народной сказки в ее настоящем виде.

По словам составителя, все его старания клонились к тому, чтобы *очистить первоначальный подлинник от искажений и наносной шелухи.* Не зная оригинала, конечно, трудно судить, пошла ли такая работа на пользу или во вред; но, во всяком случае, такой

прием ненаучен и не имеет никаких оправданий, даже педагогических. Между тем, осталось то, что следовало бы выпустить в книгу, назначаемой для детского чтения; тут есть сказка «Королева в гробу», которая по чертовщине может быть поставлена рядом разве только с Гоголевским «Виём». А жаль, потому что здесь есть прекрасная сказка «Близнецы», которая во многих подробностях представляет близкий вариант немецкой сказки «Два брата», но которую, по мастерскому изложению, нужно по ставить выше последней.

Переходя теперь к другим изданиям народных сказок, где они представлены в свободной передаче, считаем необходимым сделать несколько общих замечаний.

Народные сказки дороги нам не только своими сюжетами, но и образом внешнего выражения. Кто решается передавать по-своему народную сказку, тот должен не только проникнуться ее содержанием, но и изучить внешний характер народного творчества, узнать все его приемы — и только тогда попробовать передать своими словами народную сказку. Я не говорю уже *духе* народных сказок, который дается всего труднее. Возьмите сказку Пушкина «О рыбаке и рыбке». Как ни хороша она у него в смысле искусной передачи, но есть несколько ошибок, которые показывают, что Пушкин не мог вполне понять этого *духа*. Напр., у него: «*удивился старик, испугался: он рыбачил тридцать лет и три года, и не слыхивал, чтобы рыба говорила*». Вот это-то удивление и не у места, потому что в сказках ничему не удивляются: все чудесное для нас — естественно в сказках, и разговор рыбы *не мог испугать* старика, а тем более, привести его в удивление.

Обращаемся к народной сказке (в «Русск. детск. сказках»); там сказано просто: «Взмолилась ему рыба человеческим голосом: „Не бери меня, старичок! Пусти лучше в синее море; я тебе сама пригожусь, что пожелаешь, то и сделаю. Старик подумал-подумал (только!) и говорит...“

Беру „Датские народные сказки“ нахожу в них такое место: „Он видел насквозь все комнаты и что за прелесть такая была внутри залы — и дома: вся мебель из белой китовой кожи, с золотыми и жемчужными нарезками, обита мягчайшими подушками всех цветов радуги; вокруг лежали ковры, сотканые словно из тончайших мхов; были деревья и цветы с причудливо-изгибавшимися ветвями и стволами, зеленые, желтые, красные и белые...“ и т. д. (стр. 31–32). Не зная самой народной сказки, можно заглазно сказать, что все это место — искусственная выставка, и вот почему.

В народной сказке описания никогда не растягиваются не только на целую страницу, но даже на несколько строк. Что бы то ни было — красота, физическая сила, богатство, — все это описывается лишь удачным эпитетом (*царь-девица, добрый молодец, буря-богатырь* и т. д.) или, много-много двумя, тремя неопределенными чертами. Напр.: „Тут синее море всколыхалось, и вышли на берег сорок один жеребец: *конь коня лучше! Весь свет изойди, нигде таких не найдешь!*“ („Русск. детск. ск.“) „У него было три сына — все молодые, холостые, *удальцы такие, что ни в сказке сказать, ни пером написать*“ (id.). „Король вошел, а перед ним стоит девушка, да такая раскрасавица, *какой он в жизни еще не видывал*“ („Сказки бр. Гр.“). Красота описывается, обыкновенно, по производимому ею впечатлению, в чем нельзя не признать замечательного художественного такта. Напр., в немецкой народной сказке: „Вот пришел он и в комнату, где лежит царевна и спит. И уж такая-то она красавица, *что он остановился перед нею и с места не движется, все любуется, даже дух захватило*“.

Иногда изложение народной сказки возвышается и до художественных картин, которые сделали бы честь любому поэту: но и здесь та же лаконичность. Вот для примера такая картина. Красная девица, у которой Иван-Царевич *смял девичью красу*, пустилась за ним в погоню: „догнала доброго молодца, ударила мечом и прямо в грудь угодила. Упал Царевич на сырую землю; ясные очи закрываются, алая кровь запекается. Глянула на него красная девица и взяла ее жалость великая: другого такого красавца во всем свете не сыскать! Приложила к его ране свою руку белую, омочила целящей водой — и вдруг рана заживилась“ (Народн. русск. ск. Афанасьева» кн. 2, стр. 40).

При этом нужно отметить еще очень важный признак подлинной народной сказки: это *полное отсутствие описаний природы*. Да оно и понятно. Природа в сказках сама действующее лицо; она живет в том или другом герое: *в кощее, бабе-яге, змее-горыныче, царь-девице, Иван-царевиче*; даже в неодушевленных предметах и вещах: *живой и мертвой воде, мече-кладенце, скатерти-самобранке, волшебном прутике* и т. д.<sup>3</sup>

Все это такие важные признаки изложения народной сказки, что они всегда помогут нам отличить фальшь от подлинника, сказку более позднего образования от древнейшей. Так, читая последние сказки 2-го тома «Сказок бр. Grimm»: «Роза и Бела», «Гусятница

<sup>3</sup>См. «Поэтические воззрения славян на природу» А. Н. Афанасьев. 1866 г.

у колодезя», «Настоящая невеста», — вы находите здесь *сложные описания природы* (стр. 330, 354, 359–360), *красоты* (366), *дворца* (393), *горя* (366), и даже сложную *характеристику* двух сестер (325), и это заставляет нас совершенно основательно сомневаться в *народной* редакции названных сказок.

И так, одна лишняя черта, лишний эпизод, иногда даже слово — могут лишать народную сказку ее ценности. Вот почему нет никакого разумного основания и никакой нужды переделывать их, а следует направить наши силы на то, чтобы собирать и переводить подлинные народные сказки.

После всего высказанного, рассмотрим сборники, где народные сказки представлены в свободном изложении или даже переделке.

*Народные русские сказки, в изложении П. Полевого*. 1883 г. изд. 2-е. Ц. 5 р. Роскошно изданная книга, но при подлинных народных сказках не имеющая никакого значения, во-первых, потому, что здесь эти сказки «обработаны для юношества» составителем, и во-вторых, потому что сюда же внесены сказки Н. А. Полевого, представляющие прямое искажение русских народных сказок. Стоит, например, прочесть описание пира у Чуда Морского в сказке «Гусли-самогуды»: «Кит перед ними немецкую пляску сплясал, сельди хором песни пели, а караси на разных инструментах играли» — такого вздора вы в народных сказках не встретите. А подобного *солдатского остроумия* в сказках Н. А. Полевого много. Сам П. Полевой в «Морозке» соединяет варианты сказок, созданных в разное время. См. «Морозко» и «Дочь и падчерица» в «Русских детских сказках». Первая из этих сказок, очевидно, позднейшего образования, а вторая, несомненно, очень древняя; на это указывают многие признаки. Так, в первой сказке подарки, полученные падчерицей, состоят из *шубы хорошей, фаты дорогой* и *короба с богатыми подарками*, тогда как во второй эти подарки: *стадо коней и воз серебра* (даже не денег). Этих признаков еще несколько, и об них обо всех толковать тут не у места; скажем лишь еще об одном, очень важном: первый вариант многословен и язык иногда изысканный, второй — краток и язык проще.

П. Полевым выпускаются иногда целые художественные картины, которыми нужно дорожить по их редкости; так выпущена картина убитых Верлиокою девушек: «Приходит (дед) к гороху, глядит, лежат его ненаглядные внучки точно спят, только у одной кровь, как алая лента, полосой на лбу видна, а у другой на белой шейке пять синих пальцев так и отгиснулись. А старуха так изувечена, что и узнать нельзя! Дед зарыдал не на шутку: целовал их,

миловал, да слезно приговаривал...». Животный (басенный) эпос, столь характерный и богатый в русских сказках, у П. Полевого *соввершенно отсутствует*. По всем этим причинам сборник Полевого, несмотря на его безупречную внешность не заслуживает внимания, особенно, при существовании издания «Русские детские сказки».

А. Брянчанинов. *Русские народные сказки в стихах*. Т. 1. 1885. Цена (2 р. 50 к.). Брянчанинов не переделывает сказок, но рабски следуя оригиналу, *перекладывает их в стихи*. С подобным искажением сказок опять-таки нельзя согласиться. Странно как-то доказывать еще до сих пор, что народные сказки дороги лишь тогда, когда они записаны со слов народа, и дороги не только как памятники старины, но и своим языком и безыскусственными образами, от которых, несмотря на их простоту, веет дыханием жизни. К чему же здесь понадобилась стихотворная форма? На непригодность ее для сказок прямо указывает их уже отлившаяся прозаическая форма, существующая рядом с стихотворными былинами, и такой выбор, в этом случае, имеет же какие-нибудь важные основания. На примере Пушкина указывать нечего, значит и он не умел ценить как следует народной поэзии; но ему, во всяком случае, служит оправданием время, в которое он жил. Помимо всех этих соображений, в переложениях Брянчанинова, кроме похвального усердия к труду, нельзя найти никакого таланта. Стихи его утомительно-монотонны и нигде не возвышаются до силы поэтического выражения.

*Русские сказки в стихах*. В. Водовозова. 1883 г. Ц. 1 р. 50 к. — Лукьяновский. *Русские народные сказки и былины в стихах*. Т. 1 и 2. 1884 г. Ц. 4 р. Как переделки русских народных сказок, да еще в стихах — также не заслуживают внимания. Посмотрите, напр., разве есть тут что-либо, напоминающее народную сказку: «Забылась в сладком сновидении... Стоит пред ней родная мать, в сиянии ризы белоснежной... На голове венец горит... И к ней склоняясь с улыбкой нежной, и глядя в очи говорит: „Не плачь, дружок, не грусти и злую мачеху прости!.. Того, кто добр, и кто полюбит злодеев и врагов своих, кто Богу молится за них — того несчастье не погубит! От колыбели до могилы, и на яву я, и во сне, всегда с тобой, ангел милый!.. Молись и помни обо мне!“» Какой же здравый читатель догадается, что это из русской народной сказки о Морозке! Да что и требовать от Лукьяновского, когда он же перекладывает в стихи *были*, мастерски рассказанные Далем. Или, вон, у Водовозова, в сказке «Марко богатый», герои играют на *гитарах* и распевают *романсы*. Такие сказки могут быть названы русскими лишь потому, что они написаны *по-русски*.

Между пересказывателями и перелагателями в стихи народных сказок встречаются, кроме В. Водовозова и другие почтенные имена. Такт напр., В. П. Авенариус, в своих «Детских сказках» пересказывает и перелагает такие сказки, как «Байка о шуке зубастой», «Солнце, мороз и ветер», «Волга и Вазуза», «Журавль и цапля», хотя эти сказки уже отлились, положительно, в художественную форму, и их переделывать не следовало бы. Нужно помнить одно, что только безыскусственная народная сказка представляет такой материал, который не потеряет своей ценности, на какой бы ступени развития человек не находился. С каждым новым шагом в области мысли, народные сказки будут понемногу открывать свои сокровища; умственный взор будет находить в них все новые и новые, хотя темные и искаженные, но почти единственные памятники доисторического прошлого. Увлекая ребенка родственностью мировоззрения, сказка, вместе с тем, увлекает и ученого исторической ценностью своего материала, и будущее ее не страшно. Не то с переделками народных сказок. Ну, какой для нас, людей взрослых, могут иметь они интерес? Правда, в детях эти переделки и подражания могут вызывать известное впечатление, сделаться даже популярными, но какое разочарование охватывает вас, когда вы, спустя долгое время, вздумаете перелистовать то, что волновало вас в наивные времена детства!

Понятно, что здесь нельзя быть строго последовательным особенно теперь, когда в детской литературе властно царит переделка всего, приходится мириться с некоторыми вещами, хотя и не имеющими настоящей ценности, но иногда очень милыми и остроумными, помимо вопроса о народности. Таковы почти все стихотворные пересказы народных сказок Пушкина, или, напр., *Конек-горбунок П. Ершова* (1885 г., изд. 12, ц. 40 к.), или *Русские сказки для детей Н. Ахшарумова* (1890 г., изд. 3-е, ц. 1 р. 50 к.), или *Украинские сказки Данилевского* (готовится новое издание). Дело не в этой последовательности, а в том, чтобы, сознав настоящее значение и цену народных сказок, приложить свои силы не к тому, чтобы переделывать их, а записывать и переводить их в их нетронутым виде. Целый мир открыт для этой цели.

В так называемых, *волшебных* сказках уже совсем нет народности. Авторы этих сказок ставят чудесное прямо своею целью, чудесное, без всякого отношения к его смыслу, который оно имеет в народных сказках. Все дело тут лишь в таланте рассказывать, в умении пользоваться темными сторонами человеческого ума.



Наиболее популярным типом этих сказок являются *Волшебные сказки Перро*, написанные прекрасным языком и уже с давних пор держащиеся в обиходе детского чтения. Собственно говоря, мы ничего не имеем против этой невинной вещи, но нужно, чтобы перевод их был хорош и стоил бы дешево. В русской же литературе мы знаем два перевода: один, сделанный Тургеневым (1867 г.), стоит несообразно дорого (10 р.); другой, московский (1878 г., изд. 2-е), хотя стоит 1 р., но сделан топорно, так что оба издания неподходящи.

*Волшебные сказки Музеуса*, перев. В. Крестовского (псевд.) 1883 г., изд. 2-е. Ц. 2 р. Эти сказки, также идущие из старины, уже самым сюжетом едва напоминают народные сказки и предания. Это, собственно, не сказки, а волшебные повести во вкусе прошлого столетия, на что указывает и щеголеватая, книжная речь. В истории немецкой литературы, может быть, сказки Музеуса и имеют некоторое значение, и знакомство с одной, двумя из них не лишено интереса для нас; но переводить эти сказки сполна и с таким жаром рекомендовать их для детского чтения, как это делает почтенная переводчица, это совершенно непонятно. В сказках Музеуса хорош только пересказ народных легенд о Рюбецале, неподдельный юмор которых возбуждает здоровый смех и мешает проявляться суверенному страху.

*Царство сказок. Кармен Сильва* (Елизаветы, королевы румынской). Пер. с немецк. 1883 г. Ц. 2 р. Кармен Сильвы представляют, по словам предисловия, художественную переработку румынских народных сказок, но с народными сказками вообще не имеют никакого сходства; сами сюжеты некоторых сказок заставляют сильно сомневаться в их народности. Вообще же все они, кроме двух, трех (напр., «Чахлау»), не имеют для нас никакого интереса.

*Сказки Вильг. Гауфа*. Перев. с немецк. под редакц. В. Зотова. 1875 н. Ц. 2 р. 50 к. С внешней стороны не оставляют желать ничего лучшего; перевод сделан хорошим литературным языком, картинки прекрасны, но зато содержание — нелепость на нелепости, не имеющая никаких оправданий. Сколько в этих сказках мертвецов, убийств, и убийств отвратительных, как, напр., в сказке «Рассказ об отсеченной руке»! Относительно же волшебства, так это по истине волшебные сказки, и здесь волшебное само себе цель. Такие сказки не имеют никакого здравого смысла.

Таковую же, исключительно волшебную, сказку представляет и прекрасно изданная *Сказка про Щелкуна и мышиноного царя*, перев. с немецк. С. Флерова. 1882 г. Ц. 2 р. 50 к. Сказка эта написана известным фантастом и мечтателем Гофманом. Было время, от этой

сказки приходил в восторг Белинский — до того, что желал, чтобы каждое дитя выучило ее наизусть. Но много воды утекло с тех пор: сам Белинский, в конце своей деятельности, разочаровался в Гофмане и, как язвы, советовал избегать давать его для чтения детям. В сказке Гофмана чудесное — синоним бессмыслия.

Затем, остается помянуть о компилятивных сборниках сказок. Таковы *Фантастические сказки, перев. с немец. А. Степановой и О. Гримма. 1880 г. Ц. 1 р.* — *Волшебные сказки для детей, собранные Ю. Гофманом. Перев. с немецк. Кутейникова. 1879 г. Ц. 1 р. 25 к.* — *Бабушкины сказки С. Макаровой. 1884 г. Ц. 2 р.* — *Зимние сказки, составл. М. В. Архангельскую. 1885 г. Ц. 45 к.* — *Сказочный мирок. Составл. О. И. Шмидт-Москвитиновой. 1883 г. Ц. 3 р. 50 к.* — Все это по больше части бестолковые переделки народных сказок, а у Макаровой и Шмидт переделывается даже Андерсен. Во всяком случае, лучшая из этих книг — первая так как в ней, среди макулатуры, есть и прекрасные сказки, например, «Кеифана и ее муж» и «Доктор Златокудрый».

Таким образом, из всего нашего беглого обзора сборников сказок читатель может видеть, что народная сказка, мало-по-малу, выродившись в волшебную или фантастическую сказку, или такую же повесть, где чудесное, уже бессмысленное, ставится прямой целью, потеряла свое настоящее значение и смысл.

Но предмет наш еще не совсем исчерпан, и на очереди стоит вопрос о сказке современной, где внешняя форма сказки служит лишь для выражения тех или других идей. Такая сказка представляет крайнюю степень вырождения народной сказки и стоит несколько особняком. Об ней следует поговорить отдельно, но об этом до следующего раза.

#### *Собрания сказок для детского чтения*

23. *Семь новы сказок Коваленской.* 24. *Сказки Андерсена.* — 25. *Сказки Кота Мурлыки.* — 26. *Сказки для детей Уйда.* — 27 *Бабушкины сказки Жорж Санд.* 28 *Сказки Топелиуса.*

Нужно ли говорить, после всего сказанного нами, что сказка уже отжила свой век? Олицетворение явлений природы и жизни, в настоящее время, уже не имеет для нас иного смысла, кроме риторического; наше время твердо установило новые пути знания, и весь мир не только физических, но и психических явлений находит свои реальные законы, а все случайное, фантастическое уплывает в старину. В наше время очень трудно поглядеть на мир теми гла-

зами, какими смотрел на него первобытный человек или и теперь еще смотрит необразованный человек; для этого нужно переродиться, забыть то, чему нас учили, а это невозможно без насильствования своей природы. У современного человека сказка будет только формой, в которую вкладывается то или другое содержание, а без этого внутреннего содержания сказка, в настоящее время, будет лишена всякого смысла. Прекрасный пример для подтверждения этого представляют сказки г-жи Коваленской<sup>4</sup>, составляющие попытку написать сказки без содержания. Кроме скуки, они во взрослом читателе ничего другого вызвать не могут, хотя написаны вообще недурно.

А между тем, форма сказки не исчезает; к ней прибегают, и будут еще прибегать, и знаменитые, и незнаменитые писатели. Форма эта служит большей частью, для сатиры, где аллегория вызывается не только личной потребностью авторов, но и посторонними соображениями, — как, напр., у Салтыкова, — а также для выражения тех или других общечеловеческих идей, когда в авторе сильно бьет лирическая струя, как это видим у Андерсена и Вагнера.

Сказки Андерсена производят на детей чарующее впечатление, они не могут не нравиться и взрослым, и всемирный успех их громаден. Андерсен составляет украшение своей родины; ему поставлен памятник, и он уже попал в истории литератур. Вот, что читаем о нем во «Всеобщей истории литературы» И. Шерра<sup>5</sup>:

Апогея своей деятельности и своей славы Андерсен достиг в сказках. В них он чрезвычайно любезен и поэт в каждой строчке, что хорошо умела оценить немецкая публика. Как сказочник, Андерсен вполне заслуживает похвалы... по оригинальной творческой силе фантазии, по свежести и милому изобилию образов, колориту; теплоту и легко возбуждаемому вдохновению и юношеской причудливости, он, без сомнения, далеко оставляет за собою всех датских поэтов до Эленшлегера.

К этому мнению известного немецкого писателя читатель позволит нам присоединить и то, что сказано нами об Андерсене в другом месте<sup>6</sup>:

Еще будучи студентом, с 1828 года, он начал писать и издал несколько сочинений; его романы обратили на себя внимание публики. Критика же встретила его неприветливо и занималась более

<sup>4</sup>См. Восп. и обуч. № 1 стр. 24.

<sup>5</sup>Русский перевод под редакц. Пыпина, изд. 2, стр. 670.

<sup>6</sup>См. «Женск. образов.» 1886 г. № 6 и 7.

счетом грамматических ошибок в его произведениях. В 1835 году, Андерсен выпускает первую книжку сказок, состоящую из пересказов сказок, слышанных им в детстве. Успеха не было. Изъявлялись даже сожаления, что он занимается таким ребячеством, как сказки; говорили, что сказки совсем не в характере его таланта; давались советы изучить прежде французские образцы сказок. «Я, — говорит Андерсен в своей автобиографии, — перестал печатать сказки, но не перестал писать их, потому что они сами неотступно просились на бумагу». Следующие выпуски сказок, где уже был дан простор личному творчеству, возбудили всеобщий интерес, и сказки Андерсена стали в Дании народной книгой, равно интересной как для детей, так и для взрослых. Они читались даже в театрах, во время антрактов, вместо стихотворений. Андерсен стал любимейшим поэтом Дании. В чем же тайна такого необыкновенного успеха? Тут много, очень много причин: яркая картинность, проникновение духом народных сказок, одухотворение всей природы, фантастическое, так слитое с содержанием, что составляет с ним нераздельное целое, это раз. Второе — необыкновенное понимание детской природы и горячая любовь к детям; в одной из его сказок находим следующие слова, вылившиеся из его нежной души: «я могу собирать пригоршнями золото; но это золото особого рода: я черпаю свое богатство из блестящих детских глазок, из улыбок их невинных уст». Третье — самое содержание сказки, фантастическое, не есть цель для Андерсена: оно служит только формой для выражения его самых задушевных убеждений, его мучений и страданий. Но это содержание не кричит, не поглощает форму; сначала вы упиваетесь ею, и только потом, уже после второго, третьего чтения, содержание выступает перед вами. Можно даже подумать, что Андерсен, когда писал свои сказки, и не думал о внутреннем смысле их; что они сами собой являлись из его наболевшей души. Один из современных Андерсену критиков очень хорошо выразил эту сторону творений Андерсена, и хотя он говорит, главным образом, об его романах, но все это сполна можно отнести и к его сказкам<sup>7</sup>:

Главное содержание лучших и наиболее обдуманных и развитых сочинений Андерсена составляет борьба таланта или вообще высокой, могучей природы, стремящейся вырваться из низкого, удручающего положения... И он, в этом случае, воспроизводит весьма любопытную и назидательную сторону жизни — внутренний мир, которого никто

<sup>7</sup>Здесь эта выписка приводится в более полном виде.

не может знать лучше того, кто сам, испил горькую чашу страданий и лишений и вынес из опыта много тяжелых и глубоких чувств; внутренний мир, весьма близкий к тому, что автор сам испытал и выстрадал, и в изображении которого, следовательно, рука об руку с его творчеством идет память, мать муз, как с глубоким смыслом называет ее древний миф. Он восстает не только за талант и гений, но и вообще за всех несправедливо гонимых и страждущих людей. А как он сам испытал и глубоко почувствовал эту тяжелую борьбу, как он сам должен был испытать до дна всю чашу горечи, которую равнодушный и надменный свет часто подает удрученному, то он мог придать своей картине истину и силу убеждения, раздирающий, трагический пафос, которые не могут не оставить глубокого впечатления в сердце, сострадающем человечеству.

Но, увлекаясь так Андерсеном, мы не делаем из него идола, и ясно видим и его недостатки. Из существующих ныне четырех книжек переводов сказок Андерсена («Полное собрание сказок Андерсена»: т. I, изд. 5; 1883 г., перев. Петра Вейнберга, ц. 1 р. 76 к.; т. II, изд. 3, 1883 г., перев. Марко-Вовчка, ц. 2 р.; т. III, 1885 г., перев. С. Майковой, и «Последние сказки Андерсена», 1876 г., перев. Е. Сысоевой, ц. 1 р. 50 к.) мы рекомендуем безусловно лишь I том, где находятся все лучшие сказки. К этому можно прибавить еще III том, где несколько очень хороших сказок или, вернее, рассказов («Еврейка», «Сновидение», «Мать на могиле своего ребенка», «Сидень» и др.), хотя язык перевода несколько сух, иногда неправилен<sup>8</sup>, а в некоторых местах, просто, небрежен. См., напр., стр. 266, где говорится о капустном *черве*, превращающемся в *гусеницу*, стр. 292 — о *завязи*, распускающейся *цветком*, стр. 298 — о *дыме*, падающем *каплями*, и т. п. Вместе с тем, считаем долгом указать на неверность заявления в предисловии к этому тому, что он будто бы состоит из сказок, впервые появляющихся на русском языке, — так как часть этих сказок переведена уже гораздо раньше г-жой Сысоевой в ее «Последних сказках Андерсена». Что ж касается II-го тома, то в нем слишком мало истинно хороших вещей (как, напр. «Медный кабан» и «Магометов рай»), чтобы тратить за них 2 рубля; к тому же рисунки этого тома двух последних так безобразны, что мы совершенно не понимаем для чего они помещены в книге.

---

<sup>8</sup>Напр.: «избегал всякие разговоры и даже малейшее упоминание» (230); «вступив во владение аистовых гнезд» (301); «ты заботишься о припасенных для нее перьях» (315); «дитя вторит песни» (334) и т. д. Что тут опечатки — судить трудно.

Сказки Андерсена ждут только опытного издателя, который сумел бы из всех трех томов составить один, отбросив весь балласт, нечитаемый ни детьми, ни взрослыми. Нам не хочется говорить много, но вместе с тем, не хочется быть и голословными, и потому мы решаемся сделать хотя [бы] одну выписку для образца таков балласта.

Кто узнает Андерсена в следующих, напр., строках? «Он (дьявол) отправился к болоту, достал из гнилой стоячей воды камыш, вложил в него эхо, повторявшее лживые речи и смазал его составом, который он приобрел, скупив похвальные песни, подкупные свидетельства, лживые надгробные речи, заказные свадебные стихотворения, и превратил все это и порошок; потом, сварив этот порошок в слезах зависти, он превратил его в массу, которую смазал румянами, взятыми с увядшей щеки одной молодой женщины, и слепил из нее девушку», (т. III, стр. 26.) Что это такое?!

Перейдем к Коту-Мурлыке, о котором наша речь будет, может быть, очень коротка.

Сказки его имеют большой успех и достигли уже 3-го издания (1883 г., ц. 2 р.). Детям они очень нравятся, юношей увлекают, во взрослых возбуждают иногда недоумения. Эти недоумения, впрочем, относятся не к таланту автора, не к его образцовому уменью говорить с детьми, но сущности самого мирозерцания Кота Мурлыки. Второе и третье издания, где исключены *лучшие* сказки первого прибавлены новые, производят менее цельное впечатление, чем первое. Скажем и то, что лет 15 назад, сказки Кота-Мурлыки производили на нас не только какое-то чарующее музыкальное впечатление, но и будили нашу молодую мысль, отзывались в наших нервах на подобие звуков боевой трубы. Кроме того, нам известны примеры крайнего увлечения детей этими сказками, увлечения, доходящего до какой-то влюбленности. Но так как о сказках г. Вагнера следует поговорить много, а в настоящей заметке нет места, то мы постараемся это исполнить отдельно.

Во всяком случае, сказки г. Вагнера, наравне со сказками Андерсена, может быть, единственные книги во всемирной литературе, которые с полным правом носят, в настоящее время, название *сказок*. Все остальные сборники или во всех отношениях ниже их, или совсем не заслуживают внимания.

«Сказки для детей» Уйда (перев. с англ. Разных лиц, СПб., 1883 г. ц. 2 р.), кроме трех номеров, самых неудачных в сборнике, вовсе не сказки; но ныне такая воскресла мода на сказки, что это название служит верным средством сбыта. Поговорим подро-

нее об одной из таких сказок «Честолюбивая роза» (в переводе В. Гаршина). Это — сухая нравоучительная аллегория, рассказывающая о том, как исполнение желаний розы блистать в свете — послужило ей. В этой аллегории вы везде видите белые нитки, потуги автора сказать что-то очень интересное и поучительное; такая аллегория делает честь шаблонно-благородным чувствам автора, но не его художественному таланту. В сказках действующие лица живут сами по себе, без всякого отношения к своей среде, так что читатель забывается, читая такое произведение. Такова сказка Андерсена. Конечно, было бы смешно какую бы то ни было теорию проводить слишком последовательно; поэтому можно написать и аллессию, где будут видны белые нитки, а между тем, она будет производить более сильное впечатление, чем самая художественная сказка; но это будет только в том случае, когда за дело возьмется человек, которому есть что сказать, и когда его идеи не только высоки, но и выражены сильно; но какую же жалкую сказку написала Уйда, какие пустые мелочи в ней осмеиваются, как бледен и прозаичен ее язык! Почти вся сказка испещрена фразами, подобными этой: «Для *Rosa Damascena* это не было смешно, потому что рана, нанесенная тщеславию, заживает также долго, как и рана от конической пули в теле». А позвольте спросить, как долго не заживает рана от такой пули? Что же это за художественное сравнение, к которому нужно делать учено-медицинское примечание! Посмотрите, как истинные таланты пользуются миром растений для сказочных образов.

Возьмите «*Atallea princeps*» Гаршина (переводчика «Честолюбивой розы»), «Маргаритку» Андерсена и «Березу» Вагнера. Тут, мало того, что растения эти живут перед вами, но сказки захватывают ваше внимание и своим внутренним содержанием; тут и язык таков, что вы о нем не думаете, когда читаете, — так он хорошо служит для выражения образов и чувств. А это потому, что сказки эти написаны под влиянием и глубокого чувства, и глубокой мысли, хотя и весьма различной у всех трех авторов: Андерсен морализует, Вагнер философствует, а Гаршин (при внешнем сходстве с Андерсеном) вводит нас в область острых общественных вопросов.

Оживлению сказки Уйда не помогают ни латинские названия, ни французские фразы, ни школьная ученость автора, — все это, напротив, наводит одну скуку. Когда автор, описывая восторг розы, попавшей, наконец, в вазу из севрского фарфора, и, давая понять читателю, что роза на другой же день умрет, восклицает: «поспешим заключить эту правдивую, раздирающую сердце повесть», то

читатель вовсе не согласен с этим, чтобы эта повесть *раздирала сердце*. Нет сил читать подобную сказку детям, они хлопают глазками и спят — так она снотворна, хотя автор, кажется, рассказывает ее и с одушевлением.

Таковы же и две другие сказки Уйда «Индюк» и «Похождения одной краски». Остальные произведения сборника Уйда рассказы, и в них нет вообще ничего, что возвышало бы их над другими заурядными повестями, которые обыкновенно пишутся для детского чтения. Но безусловно хороши два номера «В стране яблонь» и особенно «Маленький граф». Последний — маленький шедевр, но он издан и отдельно (в переводе г-жи Архангельской) и стоит всего 40 коп.

О сказках Жорж-Санд мы уже говорили<sup>9</sup>; теперь скажем несколько слов о «Сказках Топелиуса» (перев. с шведск. М. Гранстрем и А. Гурьевой, СПб., 1882 г. ц. 1 р., 50 к.).

Заметьте, читатель, какие все имена: Жорж-Санд, Андерсен, Уйда, Вагнер, Топелиус; ведь все это известные или даже знаменитые писатели или профессора. А между тем, приходится осудить и сказки профессора Топелиуса. Книжка издана очень изящно, язык перевода прекрасен, как и всех вообще изданий г. Гранстрема, но как убого содержание всех сказок, кроме одной, действительно, очень недурной и по замыслу и по выполнению («Конькобежец»). Что проповедует Топелиус? То, что Финляндия — лучший край на земле, что нужно слушаться родителей и не быть жадным, иначе детей могут унести злые духи, зато добродетельные дети награждаются здесь же, на земле, и не кем другим, как самим их ангелами-хранителями и т. д., а в заключении проповедуется, что на земле мир и тишина, и все в нем счастливы, даже такие бедняки, которые доедают свой последний кусок хлеба... Мимо! Прочь эту болотную сентиментально-моральную дребедень! Дадим нашим детям лучше сказки русского профессора, который познкомит их с горем человеческой жизни.

В заключении, не забудем указать прекрасный полусказочный рассказ г-жи Тур «Жемчужное ожерелье», составляющий украшение ее сборника «Три рассказа для детей» (СПб., 1884 г. ц. 1 р. 25 к.). Мы уже упоминали об этом произведении<sup>10</sup>. Скажем о том впечатлении, которое оно производит. Не так давно нам пришлось читать его вслух в семействе приятеля, перед самой разношерстной публи-

<sup>9</sup>См. «Восп. и обуч.» № 1, стр. 23.

<sup>10</sup>См. «Восп. и обуч.», № 2, стр. 38.



кой: сам приятель и три девочки 7, 9 и 14 лет. По мере чтения, общее внимание возрастало, а когда дело дошло до того патетического момента, когда слезы утешенной матери сделались жемчужинами в коробке старого еврея, я оглянул слушателей: младшая девочка совсем расчувствовалась, а у всех других глаза блистали сдерживаемыми слезами...

Нельзя также обойти молчанием прекрасную, хотя в общем и прямо нравоучительную книжку князя В. Ф. Одоевского «Дедушки Ириниея сказки и сочинения для детей» (М., 1885 г., изд. 3, ц. 75 к.). Дедушкой Иринеем восхищался еще Белинский, и он до сих пор все так же мил и любезен. Его, написанные образцовым языком, «Городок в табакерке», «Бедный гнедко», «Червячок» и «Журнал Маши» — шедевры, с которыми читатель, вероятно, уже давно знаком по детским сборникам и хрестоматиям.

Обсуждение «Образцовых сказок» г. Авенариуса не входит в план нашей статьи, так как это сборник компилятивный.

Мы уже почти кончили наш беглый обзор сборников сказок и высказали почти все из тех теоретических соображений, которые считали нужным предложить вниманию читателя, чтобы он мог, более или менее верно и полно, осветить путанный вопрос о сказках. Теперь нам остается сказать еще об одном роде сказок, которому лично мы, положительно, не симпатизируем. Это — *сказки*, в которых рассказывается о *научных* вещах. На этих сказках следует остановиться несколько подробнее, и мы нарочно приберегли их к концу, потому что, по нашему твердому убеждению, сказки эти представляют крайнюю ступень *вырождения* народной сказки.

Вот характерный в этом отношении сборник д-ра Бальдаму-са («Птичьи сказки», перев. А. Г. Степановой, под редакцией д-ра О. А. Гримма. Спб. 1879 г., ц. 1 р.). В предисловии говорится:

В каждой из сказок автор проводит какую-либо черту из жизни той или другой птицы и (.) заимствуя фабулу рассказа из природы, обставляет ее подробностями (.) абсолютно верными действительности. Этим путем он не только дает читателю более или менее интересный рассказ, но и знакомит его с массой фактов из образа жизни птиц, мало того, он заставляя любить природу и т. д.

Чего бы, кажется, лучше: на основании тех же самых соображений, дать реальные рассказы из жизни птиц? Нет, *мода* заставляет прилетать волшебное и к вполне реальному. Как-будто забывают, что волшебное народных сказок *не есть* волшебное в нашем смысле: это — *реальные* верования создателей сказок, и они правы,

рассказывая их. А вот мы так неправы, придавая реальному *нестественную* окраску и нисколько не веря ей сами! Вот, например, в сказке «Принцесса эльфов» Бальдамус знакомит нас с нравами кукушки; да разве эти нравы не интересны, если я расскажу об них просто, естественно, не облакая в форму сказки? Ведь, этак можно и таблицу умножения изложить в сказочной форме, была бы лишь охота да время заниматься подобными глупостями.

У Бальдамуса, принужденного говорить только о действительных вещах, и самый слог таков, что не имеет ничего сказочного, и лишь возбуждает недоумение. Судите сами:

Голова и сердце были у нее (ивы) совершенно пусты, и если бы столь крепкая на вид ива была человеком, то, по добросовестном исследовании ее головы, можно бы было постановить верный диагноз размягчения мозга. Крестьянин же и лесничий, когда он подходит к такой иве, обозначает подобное патологическое состояние ее словом «гнилое дерево» и презрительно поворачивается спиной к этому бесполезному в хозяйстве продукту (стр. 4–5).

Но и в этой фальшивой форме автор сумел выказать талант хорошего рассказчика, и в этом отношении, очень недурны две его сказки: «Жизнь артиста» и, особенно, «Охота на страусов». Последняя была бы вполне восхитительна, если бы только герои ее были не *страусы*, а, например, *бедуины*.

Мы не хотим сказать, что нельзя и в этом фальшивом роде поэзии написать чего-либо выдающегося и интересного. Так, например, детям очень нравятся сказки г. Авенариуса «Пчелка-мохнатка» и «Муравей-богатырь» (в его «Детских сказках», Спб., 1885 г., ц. 1 р. 60 к., и в отдельных изданиях); так очень милы и привлекают против воли «Приключения сверчка» Кандеза, о которых в «Воспитании и Обучении» уже был отзыв<sup>11</sup>. Мы хотим только сказать, и это будет заключением наших положений, что лучше было бы, если бы обо всем этом было рассказано *реально*, но, разумеется, в доступной и увлекательной форме, а что это возможно, тому примером служат очень многие из милых рассказов из природы Германа Вагнера.

В настоящее время, перед нами лежит ветхая книжечка, с которою у нас связаны хорошие детские воспоминания. Она называется «Чтения для умственного развития малолетних детей и обогащения их познаниями. Составл. Егором Гугелем. Спб., 1838 г., 5-е изд.»

---

<sup>11</sup>См. № 1, стр. 26.

Тут вы найдете целый ряд научных рассказов, написанных так мило и настолько опытной рукой, что некоторые из них потом целиком попали, например, в распространенную «Книгу для чтения» Паульсона («О пауках» и «О волосатике»). В самой книге Паульсона наше внимание, еще в раннем детстве, привлекали такие статьи, как «Природа днем и ночью». Какой поэзией правды веяло на нас со следующих строк:

В глухом овраге проснулась сова, встряхнула перо и зорко глядит в сумрак, легший на доли. Проснулись и сыч, и филин, ненавистники света, и широко распустили райки своих глаз, собираясь лететь за заснувшей добычей. Вылез из норы и хорек, и фыркает носом, жадно нюхая ночной ветер, не принесет ли он теплую, горячую кровь. А там, на широкий цветистый луг, слетелись стаи ночных мотыльков и с легким шумом, как журчанье далекого ручья, вьются над цветами, высасывая из них сахаристые соки. На побережье широкого пруда, в сумраке нависших кусов, рассыпались, рассыпались зеленые искры: засветились ивановы червячки. В дупле тарой липы слышится писк: проснулась в нем семья летучих мышей, и вот показалась одна, вспорхнула, летит неслышным полетом, а за ней другая, третья... все понесли, стелются, вьются над водой, режут воздух, как резвые ласточки.

Ну неужели этакая свежая, поэтическая картинка уступит в интересе какой-либо сказке? И кто же сумел написать такую картинку, чье это такое простое и вместе, волшебное перо?

А вот спросите об этом у почтенного Кота-Мурлыки и попросите его передать автору цитованных строк, чтобы ему написать для русских детей целую такую книжку!

*Николай Завьялов*

## СКАЗКА И ЗНАЧЕНИЕ ЕЁ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ

*Впервые опубликовано в: Педагогический листок. 1887. № 4.  
С. 297–316.*

Сказка — складка, песня — быль.

(Пословица).

...Но в этой сказке моей найдётся и правда...

(Жуковский).

Нередко явление, что пока теория занимается решением того или другого вопроса в науке, нетерпеливая практика уже порешила с этим вопросом в обыденной жизни, по-своему. Теория, конечно, может ошибиться; ещё легче ошибка является на практике, — но во всяком случае предупредительность практики достойна бывает серьезного внимания: она приготавливает почву, собирает данные для обстоятельного решения теоретического вопроса. — Соображения эти пришли нам в голову именно по поводу сказок вообще. Много, много лет прошло с тех пор, как сказываются сказки детям, читаются ими или для них, наконец служат лучшими подарками, особенно, если книжки с картинками; а между тем, вопрос о значении сказок в воспитательном отношении до сих пор представляется до некоторой степени открытым: есть педагоги, стоящие за и стоящие *против* сказок.

Теоретическое состояние вопросов о сказках, если судить по некоторым авторитетам, довольно шатко, неопределенно. Руссо, например, восстает против сказок решительно: по его мнению, это — скорее пища для взрослых, а не для детей; дети нуждаются в голой истине... вредно действует на них и тот ложный мир, куда вводит их сказка; нравственное влияние их на детей сомнительно:

легко может быть, что дети станут симпатизировать именно дурному, например, хитрости лисицы... (То же относится и к басням).

Бенеке в своем Руководстве к воспитанию и обучению стоит за сказки и басни. «Мы должны взять на себя решительную защиту басен и сказок против всех нападений», говорит он. Но соображения, которые приводит он в защиту их, отличаются не столько психологическим (как оно должно быть), сколько философским и дидактическим характером. «Мы считали бы по истине удивительным, если бы для детей оказались непригодными произведения детского возраста человечества». Мысль — довольно странная: аналогия между ребенком-человеком и ребенком человечеством слишком смела: сходство, разумеется, есть, — но заключать от одного к другому более, чем рискованно: ведь в детском возрасте человечества бывали и зверские поступки, и родовая месть, и грубейшие суеверия... неужели же все это должно повториться и в мире детей? Что касается собственно сказок, то ведь эти последние составляют столько же достояния древнего, сколько и нового человечества; мотивами народных сказок пользовались такие таланты, как братья Гриммы, Андерсен; у нас — Вагнер, Пушкин и другие. Далее, в защиту сказок и басен Бенеке приводит то соображение, что в детском возрасте «немыслимо правильное понимание высших умственных и нравственных истин». Защита странная: как будто правильное понимание в виде уступки детской незрелости... может или должно быть заменено неправильным. Бенеке, впрочем, не боится, «чтобы ребенок перенес сущность сказочного мира в свое действительное миросозерцание», т. е. другими словами, пусть ребенок читает или слушает сказки — авось позабудет. — Дурного нравственного влияния их он также не боится: если в детях нет склонности к воровству, то сколько бы ни рассказывали им о ворах, — побуждения к воровству они не почувствуют. Ну, а если, спросим мы, побуждение к воровству есть — тогда так и быть! В заключение Бенеке не только не советует изгонять сказки и басни, но даже считает их совершенно необходимыми для элементарной подготовки к действительной жизни и для оживления детских игр. — Одним словом, в устах защитника сказок, сказка занимает очень второстепенное место и имеет побочное значение. Мы пока не останавливаемся на том неправильном воззрении, по которому смешиваются в одно — сказки с баснями.

Бэн говорит о сказках менее снисходительно: развитие воображения есть в начале бужение эмоций, приятных ребенку. Помощью этого возбуждения эмоций запечатлеваются некоторые картины,

образы или описания... Чем они необычайнее, тем больше возбуждают в данное время и тем менее обогащают запас полезных представлений. «Яков и Бобовый ствол», «Замарашка», «кот в сапогах» и hoc genus omne обладают весьма малою развивающей силой. Отсюда почти прямо уже можно вывести о бесполезности сказок вообще.

Что касается наших руководств к воспитанию, то они или вовсе игнорируют вопрос о сказках, или рассуждают надвое: сказки выходят как будто полезны, а как будто и вредны, ибо могут запугать детское воображение.

Между тем, вопрос о том, рассказывать ли, читать ли детям сказки — имеет очень важное значение. Сказки слушают дети со времен незапамятных; интересно знать: неужели все это долгое время они поучались вредному или, по меньшей мере, даром тратили время?

Удовлетворительное решение занимающего нас вопроса зависит от двух условий: 1) значения сказки вообще и 2) ее отношения и соответствия потребностям детской природы. На каждом из этих условий мы остановимся отдельно.

Первое появление сказки или — точнее — появление первой сказки на свете было в сущности событием удивительным, и, быть может, ни в чем так сильно не выразилась гениальность и независимость человеческого духа, как в создании сказки. В самом деле, действительность, окружающая человека и влияющая на него со всею силою реальной необходимости, казалось бы, должна была связывать, обуздывать полет воображения, скорее чем вызывать его на самобытную деятельность; в настоящее время мы это и видим: селянин, занятый тяжелым трудом земледелия, — труженик, добывающий поденною работою кусок насущного хлеба — все это люди, которым не до поэзии, а особенно не до сказок; тяжелая и грубая действительность не позволяет им мечтать, неволею сдерживает порывы их чувства и воображения, если бы даже и вздумалось им порываться наружу. Мечта, поэзия, сказка — удел тех, кто достаточно обеспечен; у кого есть досуг подумать «не о хлебе едином»... Но не таково было значение сказки в древности.

Родиною сказки считают восток. Во времена доисторические, среди роскошной, щедрой природы — человеку жилось не только привольнее, — но он и не знал, что такое бедность, нужда — в теперешнем значении этих слов; природа с избытком давала ему все, необходимое для жизни. Обеспеченный с этой стороны, человек мог и должен был дать свободный полёт своей фантазии, которая,

кстати сказать, собирала и сосредотачивала в себе все силы его духа. Мы даже полагаем, что деятельность ума, известная под именем *рассудка*, выделилась в особую способность мало-по-малу, только под отрезвляющим влиянием опыта и наблюдений. Такое значение фантазии мы наблюдаем и до сих пор в детях и вообще людях простых, живущих более непосредственно, чем резонерствующую жизнью. Действительно, и в тех, и в других мы видим эту господствующую способность воспринимать все интуитивно, каким-то цельным созерцанием, в которое входят и мысль, и чувства, и воображение. Так точно и на рассвете народной жизни, особенно в благословенных странах востока, вся духовная деятельность человека выразилась в сознаниях фантазии, — силы, воспринимающей образами и творящей образы... Вот почему в древнейшие времена не только интересы собственно поэтические, но и философские, и научные, и общественные — все принимали окраску поэтическую, все становилось эпосом по преимуществу: такова поэзия древней Индии и Персии, такова египетская наука (даже известная под именем *таинство*), такова вообще форма первоначальных мифологий и космогоний, таков и наш народный эпос. Выделение рассудочной силы ума из области духовной вообще не составляет предмета настоящей статьи, и мы не будем останавливаться на этом вопросе, как он ни интересен сам по себе. Наша цель состоит собственно в том, чтоб показать все громадное значение фантазии, как силы развивающей и творящей — в первые времена жизни целых народов и отдельного человека.

Итак — что же такое фантазия? Это — сила, или способность непосредственного восприятия образов, предметов или явлений всего окружающего мира, причем воспринятые ею образы не остаются в ней в состоянии пассивном, но возбуждают активную, или — как говорят — творческую силу фантазии. Первым актом ее творчества является — *сказка*. Сказка — есть не иное что, как материал той же действительности, переработанный согласно целям и стремлениям самого человека.

Существенное свойство и существенная роль фантазии до сих пор остаются одни и те же: нет области знания, нет области практической, где бы она ни принимала большого или меньшего участия, — в математике и астрономии, в поэзии и музыке, в ремеслах и обыденной жизни. И везде обнаруживается коренное ее свойство — цельность, живопись понимания, если можно так выразиться. Если мы взглянем в последнее свойство внимательнее, то увидим, что оно служит не только к облегчению понимания в его нача-

ле, но и к довершению его в его конце. С одной стороны, первые шаги человека в его развитии его мыслительной способности требуют наглядности, след., участия фантазии; с другой стороны — зрелый ученый, будь он математик, историк, физик, химик, — в довершение своей специальности, ищет и строит, помощью той же фантазии, видимый образ, видимое здание своей науки: механизм неба, страну и народ, исторические лица и события, устройство и внутренний состав тел, геометрическое построение, философскую систему...

Если таково в нас значение фантазии, то и удивительный факт появления сказки во времена отдаленнейшие — становится понятен. Она, т. е. сказка, как раз отвечала потребностям человеческого духа, искавшего объяснения всему видимому и невидимому, и находившего его объяснение в самом себе, в своем творчестве. Сказочный, точнее мистический элемент, покорял себе действительность: явления природы, силы и свойства, в ней скрытые, олицетворялись человеком в виде божеств, демонов, злых или добрых, смотря по отношению самой природы к человеку. Сказки мифологические положили основание мифам религиозным; они отвечали на вопросы об создании и устройстве мира и человека, на вопросы о силах творящих и предметах творимых.

Но, спрашивается, как могла удовлетворить человека его фантазия, когда на каждом шагу, в каждый момент его жизни — действительность становилась в противоречие с фантастическими созданиями? Каким образом не убедился человек, что его мечты о жизни и смерти, о правде и неправде, о добре и зле — здесь, в этой жизни, по крайней мере, неосуществимы?

Для того, чтобы уяснить себе не только возможность, но и необходимость такого факта, нужно уяснить себе различие между идеальным и реальным; из соотношения этих понятий мы убедимся, что рядом с действительной жизнью должна быть мечта; что именно волшебное, чудесное, сверхъестественное (необходимые признаки сказки) — обуславливаются и вызываются так называемую действительностью.

Если определять реальное и идеальное — в наиболее обширном смысле этих слов; то можно безошибочно сказать что реальное — есть представление всей действительности, всего окружающего человека, как чего-то независимого, отдельного, до некоторой степени постороннего человеку; *идеальным* же будет, наоборот, весь внутренний мир, вся духовная область человека, — как противопоставление действительности, т. е. как нечто свое, собственное,



единственно несомненное. Таким образом, идеальное и реальное, противоположные между собой с указанной точки зрения, — в то же время между собою и параллельны, — так как существуют вместе, живут и развиваются одно подле, одно рядом с другим. Эти два мира — проза и поэзия человеческой жизни, ее *Dichtung und Wahrheit*, по выражению Гете. — Очевидно, что между этими двумя областями, уже в силу их противоположности и сопоставления, должно возникнуть известное отношение, известная связь. Произведения поэзии вообще и выражают это отношение, — а одною из первоначальных форм этого отношения является эпос вообще, сказка — в частности.

Во времена первобытные, в эпоху появления сказки, обе области — идеальная и реальная — еще не отделились одна от другой, по крайней мере с тою строгостью и точностью, с какими они являются перед нами теперь, в настоящее время. Для такого отделения необходим был продолжительный, многовековой опыт, бесчисленные наблюдения, сравнение и анализ, короче — наука. А до тех пор, фантазия человека, еще не побывавшая в школе опыта, еще смелая и свободная, не только врывается со всею силою в мир действительности, но и преобразовывала, пересоздавала его, согласно с теми идеалами, которые возникли, жили, в ее глубине. Идеалы же эти, тогда, как и теперь в сущности были одни и те же: истина, добро, прекрасное. Сказки удовлетворяли стремлению к осуществлению этих идеалов в области воображаемой, ею созданной действительности: мифические сказки объясняли происхождение, устройство и порядок этого мира, — они были Голубиною книгою народов; сказки бытовые — устанавливали другой порядок — нравственный; они давали победу добру над злом, простоте и честности — над коварством и изменой, — причем все доброе, нравственно чистое облекалось в форму красоты: герои и героини сказок всегда невыразимо прекрасны.

Но кроме этой стороны, так сказать поэтической, есть в сказках и другая сторона, не менее, если не более серьезная; это сторона практическая, общественная. Создание идеалов не могло быть без стремления осуществить их, или по крайней мере приблизить к ним настоящую действительность, область реального: в свойствах мечты есть, между прочим, стремление воплотиться, реализоваться в жизни, в противном случае мечта потеряла бы всякую цену, явилась бы только шуткой, химерою... не более. Само собой разумеется, что такое осуществление необходимо предполагает и соответствующую действительность, направление в жизни. Отсюда

связь фантазии с действительностью, сказки с жизнью, как бы ни казались различными формы той и другой. Идеал, лежащий в основе сказки, составляет ее зерно; фантастический, чудесный мир — оболочку этого зерна.

Собственно в этом последнем обстоятельстве и заключается серьезное значение сказки. Сказка это отрывок, отголосок первобытного эпоса; и чем наивнее ее содержание, тем более в нем веры в возможность осуществления сказочной мечты, тем следов. больше побуждения к деятельности, направленной в смысле этого осуществления, след. тем и больше в ней серьезности. Мы вообще убеждены, что история сказки пережила по крайней мере две эпохи в своем развитии: эпоху веры, очарования, и эпоху разочарования, смеха, забавы от нечего делать... Относительно второй эпохи говорить много нечего: сказка, как форма литературная, сделалась просто лишнею, ненужною; человеческое развитие переросло ее; явились иные формы, которые способны были более удовлетворить стремлениям созревшего опытом человеческого духа, чем сказка, таковы: повесть, роман, песня, наконец драма. Мы не читаем теперь сказок, по крайней мере *для себя*, а если и читаем их, то в той особой сатирико-юмористической форме, в которой являются они под пером наших сатириков. Но во 1) говоря мы, мы разумеем так называемую интеллигенцию, т. е. меньшинство; 2) для огромного большинства людей, для народа, не говоря уже о детях, сказка и до сей поры сохраняет свое значение; стоит напр. Обратить внимание на сказки гр. Л. Толстого, которыми зачитывается большинство нашего грамотного люда.

Масса литературных и поэтических произведений, которые в настоящее время готовы к услугам всякого образованного человека, масса эта явилась не вдруг, не в виде готовых форм эпоса, баллады, песни, романа, драмы и проч. и проч. В историческом смысле между этими разнообразными формами поэзии несомненно существовала преемственность, органическая солидарность. В силу этой преемственности поэтические формы развивались одна из другой; общий поэтический материал таким образом постепенно и мало-по-малу расчленился на отдельные части, которые с течением времени получали значение самостоятельных поэтических членов, существовавших уже рядом вместе друг с другом. Драматические представления древней Греции возникли, как известно, из празднеств в честь Диониса; в этих последних, отличавшихся чисто мифологическим и след. сказочным характером, уже заключались зародыши будущей драмы. Народные представления,

особенно в средние века, действовавшие преимущественно на воображение толпы, мало-по-малу дали начало народному театру и вообще явились почвою для развития серьезных драматических представлений. Нечто подобное должна была испытать и сказка, этот отрывок первобытного эпоса, в течение своего развития.

Если животный эпос, с одной стороны, положил основание аллегорической басне, нравоучительной поэзии, — то сказка, с другой стороны, весьма естественно могла развиваться в романе и повести, т. е. в ту же сказку, — только для взрослых, а не для детей. Между сказкой и романом — много общего, много внутренней связи, которая заставляет предположить не только возможность, но и необходимость перехода одной формы в другую. Область романа и сказки одна и та же. — Попробуем взглянуть пристальнее на сущность того и другой и посмотрим, как мало-по-малу сказка могла переродиться в роман.

Начнем с того несомненного положения, что как сказка, так и роман — произведения творческой фантазии человека. Но творческая фантазия создает свой мир, свои образы только в силу присущих ей идеалов истины, добра, красоты. Тот мир действительности, который испокон века окружал человека, — та проза жизни, которой он волей-неволей должен был подчиняться, — его не удовлетворяли. Отсюда — стремление перестроить, пересоздать этот мир по-своему; но область действительности уступает человеку только после трудной, долговременной борьбы: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается... Вследствие этого первые попытки творческой фантазии выразились первоначально в формах чудесного, несбыточного, сверхъестественного, т. е. в формах чистого вымысла: для того, чтоб наказать злого человека или наградить доброго, — являлся волшебник или волшебница, которые своими чарами производили желанное действие; мачеха, обижавшая свою падчерицу и баловавшая свою дочку, наказывается помощью волшебника Мороза, который дает падчерице целый сундук приданого и пристукивает избалованную дочку: почему это так? Да потому, конечно, что фантазия наивного человека еще не могла найти в действительности той силы, которая могла бы или — точнее хотела воздать каждому должное, поделом... С другой стороны, и самый материал такой сказочной эпопеи легче поддавался всякой переработке и превращению: как захочет волшебник, так, разумеется и будет; мешать тут некому, своя рука — владыка, — и добро непременно торжествует, а зло — неизменно наказывается. Однако наивный человек, путем опыта и размышления, приходил к тому

убеждению, что во 1) на деле зло не так-то легко уступает доброму началу, и даже, что — наоборот — чаще оно торжествует, чем наказывается; во 2) что разрешат вопросом вмешательством чудесных, сверхъестественных сил — значит, в сущности, только себя тешить, ни мало не разьясня самого дела. Поэтому естественно было человеку обратиться к настоящей жизни, к области действительного, и в ней поискать способов и путей для разрешения тех же вопросов о добре и правде. Этой цели и достигает роман.

Таким образом, нетерпеливая фантазия наивной сказки, не желавшая иметь никаких счетов с законами действительности, впоследствии обратилась неволью к наблюдению и изучению этих самых законов; неволью к наблюдению и изучению этих самых законов; если сказка только предчувствовала в себе торжество добра и правды, гибель зла и неправды, — то роман, путем изучения условий общественной и частной жизни, должен был увериться, что в этих же условиях, в правильном их преобразовании и постановке заключаются и условия нравственного успеха, прогресса вообще. Место волшебных чар заступают в романе естественные отношения людей в обществе, отношения — регулируемые силами бытовыми, религиозными, историческими, психологическими, юридическими. Понятно что содержание романа, его интрига, представляется несравненно более сложным и запутанным, чем в сказке: завязка и разные перипетии интриги, которые в сказке разрубались, подобно Гордиеву узлу, или разрешались непосредственным вмешательством *deus ex machine*, — теперь, в романе, должны были развязываться путем естественным, под условиями времени, обстоятельств и характеров. — Наконец, цель сказки — торжество правды и добра — с одной стороны, гибель лжи и зла — с другой, также изменила форму, оставаясь по существу одной и той же, а именно: торжество добра и правды, совершавшееся в сказке немедленно и воочию, непосредственно и по-детски (в роде того как мы ставим ученика в угол, лишь только успел провиниться) — в романе (мы опять-таки разумеем роман настоящий, художественно-правдивый) обеспечивается в его *идее*, в его духе, т. е. в отношении поэта к лицам и во впечатлении, производимом на читателя ходом событий. Торжество это не видится, но чувствуется и понимается; самое понятие торжества становится тоньше а потому и ближе к истине; это торжество внутреннее, торжество идеала — в тот момент, когда гибнет его представитель в действительности. В сказке напр. Не успела мачеха отправить свою падчерицу в лес на мороз, на погибель: добрый волшебник — Мороз уже снабжает ее богатым приданым;

не успела мачеха порадоваться, что и у ее дочери, поехавшей вслед за счастливой сестрой, тоже появится приданое: как старик-отец уже везет ее замороженные косточки. В романе не то: читатель, следя за ходом событий в Дворянском гнезде, напр., с невольным прискорбием видит, как г-жа Лаврецкая торжествует над Лизой, или как Лаврецкий постепенно теряет все надежды на личное счастье, несмотря на все свои права на него; — но при этом, глубокое чувство симпатии и уважения к Лизе и Лаврецкому, и столь же глубокое чувство презрения к г-же Лаврецкой — сразу показывают, на чьей стороне истинное торжество и каким образом наказывается в жизни всякая фальшь, неправда и зло. Конечно, иной простодушный читатель, пожалуй, и пожалеет о том, что Лиза не вышла замуж за Лаврецкого, и что Лаврецкая не умерла на самом деле: но то ведь будет читатель *простодушный*...

Итак, к какому же выводу мы приходим относительно сказки и романа? Как в той, как и в другом мы нашли а) единство идеала. б) борьбу добра со злом и с) торжество добра и правды. Другими словами: сказка есть младенчествуroman, а роман выросшая созревшая сказка, при условии «*mutatis mutandis*».

Из всего сказанного дальнейшим выводом будет то, что если роман имеет и должен иметь своих читателей, то и сказка должна иметь — своих, и эти читатели, разумеется, дети... Переходим к рассмотрению другого вопроса о том, на сколько сказка соответствует природе детей: их пониманию, чувству, стремлениям, словом, их мирозерцанию.

Мы выше говорили уже о той особенности детского ума, в силу которой все, ими воспринимаемое и понимаемое, представляется образно, конкретно, — в противоположность абстрактному пониманию взрослых; к детям с полной уверенностью можно применить философское положение — «*nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu*». — Не говоря о том, что такое положение представляется в высшей степени вероятным и а priori (так как самое понятие *отвлечение* уже предполагает *конкрет*) оно подтверждается и тем общеизвестным фактом, что обучение детей всегда и повсюду, особенно на первых парах, отличается характером *наглядности*. Очевидно, что такие требования дидактики было вызвано наблюдениями над природой детского ума. Если же факт этот не подлежит сомнению, то сказка для детей представляет самую естественную, самую удобоваримую для ума пищу. В сказке все образы, картины; все наглядно, рисуется — и притом в формах, наиболее знакомых детскому воображению, в формах окружающей детей обстановки.

На основании сказанного, мысль Руссо, по которой детям нужна только «голая истина» скорее строга, чем справедлива. Да и что такое голая истина? Истина, лишенная той одежды, в которой является она обыкновенным людям? Но такая истина и доступна бывает только уму ученому, искушенному теорией, а не уму обыкновенного человека, и тем более — ребенка.

Впрочем, утверждая о сказке, что она вполне удовлетворяет уму ребенка своей *одетой* истиной, мы не исключаем и голой истины; всему пора и время: сказочные повествования мало-по-малу переходят в рассказы другого рода, напр. в рассказы о животных, о путешествиях и т. п. Некоторые педагоги даже прямо советуют, минуя сказки, начинать с этого рода рассказов и описаний.

На первый раз предположение это кажется целесообразным, так как рассказы из естественной истории или из путешествий совершенно удовлетворяют условию наглядности, образности. Но при этом упускают из виду одно обстоятельство, о самое важное: элемент наглядности в естественно-исторических рассказах есть элемент второстепенный; он касается одного только материала содержания; дальнейшая же и самая главная цель рассказа состоит уже в отделении и группировке признаков, следовательно, в работе логичной, научной, а значит неинтересной и малодоступной для детского понимания. В таком смысле, напр. составляются рассказы эти в наших хрестоматиях (Ушинского). Если же исключить этот научный элемент, если наглядность поставить на первом плане, тогда или статья потеряет своей естественно-исторический смысл и не достигнет научно-описательной цели, или — что еще хуже — обратится в полусказку-полуроман, в роде рассказов Майн-Рида, где естественно-историческое скучно или сомнительно, а романтическое — ложно и никуда не годно. Поэтому место для естественной истории не в первом, а во втором детстве, т. е. в начале школьных годов, в возрасте, близком к 10-ти-летнему. Путешествия, по тем же причинам, не могут заменить сказок: цель их опять-таки в характеристике страны и народа, его обычаев, нравов, истории, развития, — всего того, что еще недоступно ребенку.

Самый веский упрек, который делают сказке, состоит в том, что образы ее ложны, невозможны, даже нелепы. Какая, говорят, польза в том, что весьма наглядно изображается Иван, едущий на печке? Скачущий «повыше дерева стоячего, да пониже облака ходячего»? Позволительно ли набивать головы таким невозможным вздором — Говоря об элементе чудесного, мыс коснулись этой стороны дела; но на чудесное мы смотрели тогда с той точки зрения, так сказать,

нравственной, по отношению к силам, награждающим добро и наказывающим зло. Если же посмотреть на сказку именно со стороны ее «небылиц в лицах», то мы в защиту ее должны сказать следующее: Дети гораздо умнее, чем обыкновенно о них думают; они непрактичны, правда, в смысле рассудочном; но они обладают так называемым здравым смыслом в довольно высокой степени, и скорее инстинктивно, или интуитивно, чем вследствие обсуждения. Попробуйте сказать ребенку, что его деревянная лошадка убежала со двора, или что кочерга с ухватом отправились гулять; он, по меньшей мере, усомнится и вытаращит на вас глазенки; а то так и просто засмеется и скажет, что этого не бывает. Его внутреннее чутье, с одной стороны, и житейский ежедневный опыт, — с другой, — подскажут ему, что вы его обманываете, над ним смеетесь. Да действительно, основания вероятностей так рано закладываются в душе ребенка, невольно и вольно наблюдающего действительность чуть не с момента своего рождения, что сказочные небылицы именно только и забавляют его, как небылицы, никогда не смешиваясь и не застилая собой действительность возможных явлений. А поэтому страх за сказочные небылицы лишен серьезного основания: фантазия ребенка тешится ими точно так же, как сам ребенок тешится игрушечной лошадкой или солдатиком, т. е. ни на минуту не забывая, что это только игрушка. — Но, говорят, дети подвержены часто невольной лжи; у них сплошь да рядом к событиям, действительно бывшим, примешиваются придуманные, сочиненные; они говорят, и сны в состоянии перемешать с явью. Это совершенно верно; но наше положение от того нисколько не меняется: невольная ложь, невольное смешение бывалого с небывалым относится всегда к области возможного, и между небывалым и несбыточным огромная разница. Ребенок, напр. может уверять вас, что вы его прибили, тогда как он это видел во сне; ребенок может сочинить, что видел, как какой-нибудь мальчик слетел с крыши и весь в крови, с разбитой головой, лежал на улице и стонал (тогда как этого никогда не было), но он никогда не сочинит, не выдумает (если только это не шутка), что он ехал верхом на печке, или что Змей-Горыныч о 12 головах пробежал по двору, или что Дедушка-Мороз постучался к нему в окошко, не выдумает просто потому, что такие образы противостественны. Если же спросят нас, к чему же эти образы в сказке, то мы ответим: ради забавы и интереса; ребенку, а нередко и взрослому, приятно бывает вообразить себе возможным то, про что знает он, что оно невозможно! Это интерес, свойственный всему волшебному, чудесному, фантастическому... это — игра воображения.

Противники сказок выставляют еще одно возражение: сказки запугивают детское воображение; мертвецы, привидения и прочие выходцы с того света влияют на детей гнетущим образом — они пугают их наяву, не дают им спать по ночам и, вообще, играют роль тех глупых нянек, которые страхом думают принудить детей к послушанию. На это отвечаем, что в сказках, как и во всех занятиях необходим выбор, и, кажется, нечего говорить о том, что для детей хороши только лучшие сказки, т. е. многие сказки народные и некоторые из художественных, напр. Пушкина, Андерсена, Гриммов, Вагнера и т. п. Это уже дело такта и вкуса воспитателя. Впрочем, кстати сказать: «не так страшен чёрт, как его малюют»: читая сказки народные, а также и многие из художественных, мы убедились, что нечистая сила очень часто играет в них роль комическую, и следовательно в состоянии возбудить в детях не чувство страха, а чувство смеха; вспомните сказку «Солдат и черти», или Пушкина — О Кузьме-Остолопе.

Таким образом, если выбор сделан удачно, то маленькие дети получают лучшую пищу для своего ума и воображения, какая только может быть в их возрасте. Здесь можно будет коснуться вопроса о баснях. Совершенно напрасно многие ставят рядом эти два различные рода произведений. Басня есть поучение, предложенное в стихотворной форме, и потому никоим образом не принадлежит к области поэзии; поэтического в ней одна оболочка. Место ее — в школьные годы (как на практике, большею частью, и делается), но никак не в первые годы детства. Да и этом случае необходима большая осторожность: многие басни в прекрасной своей оболочке содержат весьма сомнительную мораль; напр. Крылова Ворона и Лисица, Стрекоза и Муравей, — даже Метафизик Хемницера (отчасти). Мы еще не коснулись одной, весьма важной, стороны сказок, в высшей степени, благотворно действующей на развитие детей, — это стороны *нравственной*. Но если мы заговорили об этой стороне сказки поздно, то потому, что она слишком очевидна. Ведь в самом деле, где, как не в сказке, сильный защищает слабого? Доброта и честность находят себе истинную оценку и награду? Где, как не в сказке, все дурное, злое, завистливое — является, в конце концов, бессильным и получает достойное возмездие? Могут, конечно, и в этом случае сказать: «ребяческое утешение, детская забава»! Но, во-1) ведь мы и говорим о детях; во-2) разве грезы эти, наивные, несбыточные мечтания не перенесутся впоследствии, меняя формы, в более поздний возраст, в пору наиболее серьезной общественной деятельности человека? Разве не сказка засеивает те семена, кото-



рые всходят в зрелую пору? Пастер человек — растет и сказка; ее маленькая правда становится большой правдой. И неужели сказочные мечты о добре и правде навсегда останутся мечтами? «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», говорит та же сказка; но будет терпеливы; будем знать и верить, что всякая серьезная, истинно-гуманная деятельность — есть сила, непременно преобразующая и изменяющая действительность. Эти преобразования и изменения совершаются во имя идеалов, а зародыши, зачатки этих идеалов — в волшебных грезах человечества, в его наивной поэзии, в сказке. Нравственно развивающая сила сказки не подлежит сомнению, но, занимая высокое место в жизни и воспитании *детей*, она, может быть, не чужда и *юноше*, как идеал, к осуществлению которого должна быть направлена его будущая деятельность, — и практически жизнь *зрелого человека*, как сила, поддерживающая его в борьбе за существование правды на земле, и даже воспоминаниям *старца*, как надежда, уверенность в том, что если не ему, то его внукам и правнукам удастся-таки увидеть торжество этой самой правды...

Наконец, сказка оказывает могущественное влияние на детей и богатством своего *языка*.

Что вообще язык находится в ближайшей связи с духовным развитием человека, это истина, давно доказанная. Но в воспитании наших детей давно уже замечен тот недостаток, что язык книжный играет в жизни их более важную роль, чем язык живой, разговорный; грамматика уже с самого начала школьной жизни берет решительный перевес над словесностью. Влияние сказок может и должно, хотя несколько, противодействовать этой печальной односторонности. Само собою разумеется, что для достижения указанной цели сказки должны именно не столько *читаться*, сколько *сказываться*. Простой и живой, живописный и в то же время естественный язык наших сказок повлияет и на воспитателей, и на детей; он разрешит те узы, которые, очевидно, связывают способность нашей речи и, можно сказать, так неприятно поражают нас в письменных работах учеников, особенно в так называемых *сочинениях*. Припомним, что один из великих наших поэтов, Пушкин, признавался, что научился говорить от своей няни; другой, Лермонтов, рассказы московских просвирен готов был предпочесть своей французской беллетристике легкого сорта: «я не слышал народных сказок», говорит он, «в них, верно, больше поэзии, чем во всей французской словесности!». Как бы ни были преувеличены эти мнения в той форме, в какой они высказаны, — для нас важно то

обстоятельство, что первоклассные авторитеты нашей литературы придают такое важное значение поэзии и языку народных сказок. К сожалению, наши народные сказки еще не изданы и не распространены у нас так, как они того заслуживают; но мы убеждены, что будущность остается за ними. Не даром же один из лучших писателей нашего времени, гр. Л. Толстой, так проникся духом народного языка и в своих сказках, и в своих книжках для детского чтения; пора нам, наконец, логическим путем дойти до того, в чем инстинктивно были убеждены величайшие представители родного слова, именно в том, что народные сказки и сказки художественные должны составлять необходимую принадлежность в воспитании детей первого возраста; что влияние их, как в отношении умственном, так и нравственном, в эту пору детской жизни — ничем незаменимо...

Было бы в высшей степени важно, чтобы изучение эпических произведений, как народных, так и художественных, получило серьезную и систематическую постановку в наших средних школах (мы разумеем корпуса, гимназии и соответствующие им заведения). Мы слишком мало занимаемся поэзией, как будто считаем ее или мало серьезной для изучения, или же легкомысленной, сравнительно с грамматическими и историко-литературными упражнениями. Но это не так. Как сказка в возрасте детском, так изучение поэтических произведений в школе — приведут к тем же результатам: заронят в душу воспитанников идеалы правды, добра и красоты, возбудят в них стремление к проведению, осуществлению этих идеалов в жизни, воспитанию их нравственно, дадут им богатый запас идей и образов, с которыми они никогда не расстанутся... «Науки юношей питают»; но, смеем думать, искусства, и особенно поэзия питает их еще больше, — лишь бы только дано было ей настоящее место в семье и школе.

В начале статьи нашей о сказках мы привели авторитеты, мнения которых говорили далеко не в пользу сказок. Теперь, в заключение статьи, приведем иные мнения об этом роде произведений, мнения людей тоже авторитетных, изучивших поэзию и историю сказки специально. Мнения эти проливают иной свет на сущность и значение этих древнейших произведений человеческого духа. Вот, что говорит Афанасьев в своем сочинении: «Поэтические воззрения славян на природу»:

«Сравнительное изучение сказок, живущих в устах индоевропейских народов, приводит к двум заключениям: во 1-х, что сказки создались на мотивах, лежащих в основе древнейших воззрений

арийского народа на природу, и по 2-х что, во всему вероятно, даже в эту давнюю арийскую эпоху, были выработаны главные типы сказочного эпоса и потом разнесены разделившимися племенами в разные стороны, на местах их новых поселений, сохранены же народной памятью, как и все поверья, обряды и мифические представления. Итак, сказка — не пустая складка; в ней, как и вообще во всех созданиях целого народа, не могло быть и, в самом деле, нет ни нарочно сочиненной лжи, ни намеренного уклонения от действительного мира... Чудесные сказки — есть чудесное могучих сил природы; в собственном смысле, оно нисколько не выходит за пределы естественности, и если поражает нас своей невероятностью, то единственно потому, что мы утратили непосредственную связь с древними преданиями и их живое воспоминание».

А вот, слова г. Порфирьева («История русской словесности») о том же предмете: «Вследствие фантастического элемента — составилось понятие о сказке, как о произвольном совершенно и бессмысленном вымысле, достойном внимания только детей и людей необразованных. Но, с одной стороны, народная фантазия не создает ничего по одному чистому произволу, без всякого смысла и основания, а с другой стороны — нельзя оставить без внимания того обстоятельства, что сказки разных народов удивительно сходны между собой... Это сходство сказок, которого нельзя объяснить одними позднейшими заимствованиями одного народа у другого, потому что оно замечается у народов не только соседних, но и отдельных друг от друга пространством и временем, указывает на один общий первобытный источник сказок и заставляет допустить, что все сказочные диковинки первоначально имели определенный смысл, который впоследствии затерялся».

Мориц Каррьер, в своей замечательной книге «*Das Wesen und die Formen der Poesie*», говорит: «Сказка, последний из мифических отпрысков, есть выражение детской фантазии, которая одушевляет все вещи на свете, — но среди этой игры фантазии дает чувствовать и вечную истину, и справедливость».

*Якоб Фрошамер*

## О ЗНАЧЕНИИ ФАНТАЗИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

*Впервые опубликовано в: Педагогический сборник. 1888. нояб.  
С. 381–391.*

Под именем фантазии принято вообще разуметь присущую человеку способность представлять себе то, что не существует на самом деле, или же действительно существующее воображать себе иным, чем оно есть в действительности. В этом смысле к области фантазии могут быть отнесены так наз. воздушные замки, горячечный бред, различные точки помешательства у безумных, всевозможные олицетворения в детских играх. Людям, усвоившим себе такое обыденное, житейски практическое понимание термина «фантазия», должен казаться весьма странным и даже невероятным тот факт, что в позднейшее время фантазия в научной области начинает признаваться основным двигателем мировой жизни, началом, из которого проистекает как мировая деятельность вообще, так и духовное развитие каждого человеческого индивидуума в частности.

Но и в обыденном применении рядом с распространенным определением термина «фантазия» существует другое, более глубоко охватывающее ее значение и отправление. Фантазия признается силою, проявляющеюся и в творчестве вообще и в единичных творениях в частности, в способности человека-художника в произведениях своих воплощать те чувственные и духовные образы и идеалы, которые возникают в его сознании. В этом своем толковании слово «фантазия» несомненно приобретает более высокое значение; здесь слышится намек на возможность признать ее началом мировой деятельности. Уже Аристотель доказывал, что природа в своем творчестве несколько тождественна с художником, трудящимся над своими произведениями, с тою только разницею, что природа творит бессознательно, человек же сознательно стремится воспроизвести существующее в природе. (Nat. ausc. II. 8). Но и в обыденном своем толковании, в смысле способности представлять

себе то, чего нет в действительности, или действительно существующее воображать в иной комбинации, фантазия несомненно является творческой силой хотя, быть может, и для единичного субъекта. В истории человечества, на почве религиозного развития фантазия в сознании масс создает веру в «нечто», хотя и не имеющее реального существования, но в исторической жизни целых поколений играющее более серьезную роль, чем самое стремление к познанию истины. Даже в сновидениях, когда при бессознательном состоянии человека, фантазия его действует с наибольшей свободой и произволом, обнаруживается свойство ее, как начала мировой творческой силы — стремление духа и способность его к неутомимому, хотя, по временам, и бессознательному творчеству, проявляющемуся и в природе, в ее многочисленных и разнообразных созданиях.

Для определения основного коренного значения понятия «фантазия» необходимо разобраться в истории последовательного применения самого термина. Термин этот первоначально употреблялся в объективном, вещественном смысле, означал внешний мир, кажущееся, явление, как единичное, так и совокупность их. Под именем фантазии разумелся внешний мир, предмет, а отнюдь не представление его в сознании; никто не понимал того, что это самое представление и есть средство к воспроизведению явлений внешнего мира, отражению их в сознании: (все это конечно начинает пониматься и принимается в соображение лишь при размышлении о том, каким путем происходит познание внешнего мира), мало развитая масса, не умеющая размышлять о причинах явлений, не задумывается и над вопросом об отправлениях внешних чувств, для нее важно то, что познается известным чувством, а отнюдь не процесс познания. Но коль скоро у человека сказывается потребность уяснить себе внутренний духовный процесс, идущий параллельно восприятию окружающего мира, он невольно начинает замечать, что между познаваемым миром со всеми его разнообразными явлениями и актом познания их есть что-то посредствующее, что сами предметы в силу своей объективности и вещественности не могут проникнуть в сознание. Это посредствующее «нечто» является сначала как бы подражанием предметному миру, знаком, который оставляет в душе воспринимаемое впечатление, — и этот внутренний образ, след предмета, внутреннее явление, соответствующее внешнему получает название *фантазии*. «Фантазия», «фантастический образ» в силу такого понимания вещей есть как бы внутреннее представление предметов и отношении их в душе, внутренний мир,

возникающий в человеческом сознании. В этом смысле слово «фантазия» употреблялось Аристотелем и стоиками, и как первый, так и последние ставили определение свое в тесную связь со словом, означающим свет, так как внутренний образ (душевное явление) в свою очередь находится в прямой связи с сознанием (внутренним светом). По определению стоиков фантазия есть нечто отражающееся, отпечатлевающееся в душе, являющееся как себя, так и то, что вызвало отражение, т. е. и образ предмета и самый предмет. Очевидно, что и в этом толковании стоиков понятие «фантазия» пока не утрачивало своего вещественного объективного характера, не означало еще творческой духовной силы; представители стоической философии полагали, что предметы сами отпечатлевают свой образ в душе, что образ этот воскрешается памятью, хотя в очень слабом отражении. С течением времени однако слово «фантазия» начало употребляться в смысле особой образовательной, душевной силы. Мало-помалу стал уясняться факт, что в душе зачастую возникают образы, не соответствующие внешним предметам, не имеющие с ними никакой связи (мечты, фантастические образы). Эти те образы, очевидно не могущие проникнуть в сознание извне, самостоятельно зарождающееся в нем, заставляют предполагать существование какой-то особой творческой силы, создающей эти образы, и в этом смысле «фантазия» утрачивает прежнее свое значение внутреннего образа и приобретает более совершенное и самостоятельное — значение духовной творческой силы. Обозначая таким образом в последовательном своем применении в речи сначала нечто объективное, конкретное — понятие «фантазия» начинает мало-помалу соответствовать душевному явлению и наконец делается выражением особенного внутреннего процесса, творческой силы, свойственной душе способности создавать внутренние образы. Это более совершенное понимание деятельности фантазии, как было уже указано выше, явилось результатом уяснения себе людьми того факта, что в сознании зачастую возникают образы, не имеющие отношения к внешним предметам, не похожие на существующие и даже вовсе не существующие в действительности. Нельзя сверх того не заметить, что в смысле силы, порождающей произвольные, фантастические образы, слово «фантазия» более всего соответствует своему обыденному, общеупотребительному толкованию, но об исключительном применении слова в указанном смысле не должно и не может быть речи по той простой причине, что прежде чем слово «фантазия» стало обозначать силу, порождающую образы, оно некогда отождествлялось с самими образами внешних предметов

или даже с самими предметами. Во всех этих толкованиях деятельности фантазии, в самом определении понятия, на первый план выдвигается не момент творчества, зарождения образа в сознании, а главным образом явление, внутреннее или внешнее, подобно тому, как в пластинке, в изобразительном искусстве, для наблюдателя безразлично, существует ли изображаемый предмет в действительности или же он является лишь мечтою художника. Но признавая односторонность и неточность обыденного, общеупотребительного определения деятельности фантазии нельзя допустить возможности применения этого понятия и в остальных двух его толкованиях. Фантазия обнаруживает двоякий род деятельности, объективную и субъективную, (см. *Die Phantasie als Grundprincip des Weltprocesses*. München 1877, Theod. Akkermann) причем обыденное применение понятия фантазия должно быть отвергнуто, и принято более широкое, первоначальное его толкование. Судьба слова «фантазия» аналогична с тем, через что прошли большинство из важнейших слов или выражений человеческого языка. Так напр. греческое слово «*Pneuma*» лишь постепенно, после долгого промежутка времени, получило значение «духовного» начала в противоположность всему «материальному», «телесному». Первоначально же, подобно латинскому «*Spiritus*» и еврейскому «*Ruach*» оно означало воздух, ветер, дуновение.

Стоики, которым главным образом принадлежит заслуга введения в философский язык термина «*Pneuma*», разумели под ним отчасти теплое течение воздуха, дуновение, проникающее в тело и оживляющее его, вообще же течение, теплое дуновение в виде животворного огня, мировой души. Как чувственный мир, так и все умственное и нравственное, качества, деятельность, какая бы она ни была, само божество, по убеждению стоиков, являлось чем-то материальным, телесным. Всему телесному в свою очередь приписывали они в то же время и духовные силы, качества, духовную деятельность. Мало-помалу в определении понятия «*Pneuma*» эти духовные элементы приобрели преобладающее значение и в конце концов слово «*Pneuma*» сделалось синонимом всего духовного, умственного и, следовательно, стало употребляться в смысле, диаметрально-противоположном тому, в каком употреблялось первоначально. В Новом Завете и во всей христианской догматике слово «*Pneuma*» в позднейшем своем обозначении играет выдающуюся роль; если же оно безусловно не утратило своего первоначального значения, то во всяком случае применяется в нем весьма редко и в исключительных случаях, как напр. при обозначении

нии спиртных напитков. Кроме того слово дух является синонимом призрака, привидения; но и в этом своем применении, в противоположность своему первоначальному значению, означает недостаток, отсутствие всего реального, материального. Таким образом оказывается, что как слово «фантазия», так и слово «дух» (pneuma), в первоначальном своем применении имевшие чувственное физическое значение, лишь постепенно, мало-помалу, одновременно с прогрессивным развитием умственного состояния человечества, одухотворялись и приобретали новую окраску.

Возвращаясь от истории слова к определению деятельности фантазии, следует заметить, что так как понятие «фантазия» первоначально соответствовало внешнему явлению, затем отражению его в сознании в виде внутреннего образа или явления, а наконец, способности или силе, создающей внутренние явления, образы или представления — самый факт этих явлений прежде всего останавливает на себя внимание. Но так как эти явления, в свою очередь, суть образы, знаки — то очевидно, что главный вопрос сводится к возникновению в душе именно таких образов, которые соответствовали бы внешнему миру, делали бы этот кажущийся внешний мир достоянием души, другими словами, «внешнюю» фантазию превращали бы во «внутреннюю». Таким образом, фантазия, как субъективная психическая сила, является началом внутренних психических процессов, насколько последние воспроизводят внешние явления или подражают им. Но параллельно возникновению в сознании известных образов, во внешнем мире, в свою очередь, происходит непрерывное творчество, бесконечные органические процессы. Неизбежно поэтому и во внешнем мире предположить известное творческое начало, органическую жизненную силу, аналогичную внутренней субъективной фантазии.

Эту мировую творческую силу, в отличие от последней, следует назвать «объективной фантазией», полагая, что природное творчество вообще, в особенности же «процесс зарождения» могут быть уяснены лишь одним путем — уподоблением творческой деятельности природы субъективной творческой деятельности фантазии. При ближайшем рассмотрении вопроса относительно общей связи или аналогии между обоими видами фантазии, субъективной и объективной, становится очевидным, что эти два вида состоят в причинном отношении между собою: субъективная фантазия в великом мировом процессе неизбежно вытекает из объективной. В древности эта причинная связь не была еще обнаружена, хотя уже Аристотель упоминает о свойственном природе непрерыв-



ном творчестве, стоики же предполагают существование общей мировой души, непрестанно действующего творческого огня (мирового разума). Но в то же время, как стоики, так и Аристотель не придают особенного значения выражению «фантазия», причем Аристотель употребляет это слово лишь в смысле душевной силы, доставляющей уму представления, как пищу или материал для его познавательной способности, состоящей в уяснении себе общего (понятий), как сущности вещей, и в логическом соединении этих понятий. По учению стоиков «фантазия» есть собственно познавательная способность; они доказывали, что она не только создает материал для познания, но вырабатывает одновременно и способность понимания, убеждения. Цельность и гармония мирозерцания стремятся однако к установлению, по возможности, единого основного принципа познания как физических, природных, так и духовных явлений, как единичной, так и исторической общечеловеческой жизни. Фантазия в психической жизни является одновременно органом усвоения, восприятия, с другой стороны, воспроизводящим началом. Путем чувственного восприятия явления внешнего мира с помощью фантазии или воспроизводятся в сознании, или являются в новой комбинации; сделавшиеся достоянием сознания открываются или воплощаются в известных формах или знаках, главным же образом в речи и в искусстве. В природе эта творческая сила обнаруживается внешним образом, создавая формы, явления, проявляет себя в этих формах; одновременно с этим внешним процессом в душе совершается внутренний процесс, путем концентрации телеологически-пластического творчества, ведущий к способности ощущения, от ощущения к чувству, сознанию, желанию и, наконец, выражающийся в душевной деятельности со всеми ее органически соединяющимися силами и способностями, совокупным, синтетическим началом которых является, в свою очередь, субъективная фантазия. (См. по этому вопросу статью «Der psychische Organismus» в *Pädagogium* за апрель месяц 1886 г.).

Не вдаваясь в подробное рассмотрение и объяснение деятельности объективной фантазии, Фрошамер упоминает о несомненном и многостороннем значении для духовной деятельности вообще — фантазии субъективной, как способности создавать, комбинировать представления и ставить их во всевозможные взаимные отношения. Первая ступень деятельности субъективной фантазии, есть создание соответствующих внешним чувственным предметам внутренних образов (эквивалентов), затем самостоятельное,

без всякого постороннего влияния, создание внутренних образов, знаков, представлений — независимо от того, соответствуют ли эти представления действительно существующим предметам или нет. В сознании, зачастую, возникают фикции, которые становятся силами, подчиняющими себе воображение целых поколений и приобретают большее влияние на судьбы их, чем образы и представления действительно существующих предметов и отношений. Возможность зарождения в сознании представлений, соответствующих действительно существующим предметам и отношениям, влечет за собою предположение о существовании в нашем сознании условий пространства и времени, в границах которых возникают означенные образы. Предположить же существование в сознании условий времени и пространства можно только с помощью фантазии. Из представлений, путем отвлечения, соединения в одно целое общих существенных признаков, образуются понятия. Понятия, в противоположность представлениям, не воспроизводят в сознании внешних конкретных предметов; предметов, прямо соответствующих понятиям, не существует в действительности, понятия суть отвлечения, порождения духа. В образовании понятий, главным образом, участвует творческая сила фантазии, соединяющая отвлечаемые признаки однородных предметов в одно общее целое. В этом смысле понятие, само собою разумеется, является не ясным конкретным образом, а неопределенною общею схемою, содержащею в себе однородные признаки многих предметов, в виде задатков возможного осуществления известного понятия; но коль скоро упоминается то или другое понятие, предметы, признаки которых оно охватывает, воскресают в душе во всей своей совокупности и разнообразии. Это видно из того обстоятельства, что для уяснения понятия обыкновенно приводятся наглядные примеры, указываются факты, прием — обыкновенно практикуемый при занятиях с детьми, стоящими на сравнительно низком уровне умственного развития.

Не менее важное значение фантазия, как способность создавать и комбинировать представления, имеет в процессе возникновения суждений. Для определения логической связи между понятиями или представлением (предметом суждения) и понятием (сказуемым) необходимо сопоставить или сравнить означенные два элемента сознания и признать их соответствующими или противоречащими одно другому. Эта способность сопоставления представлений является, само собою разумеется, продуктом деятельности субъективной фантазии. При образовании суждений отрицательных

принимается в соображение новый момент, свидетельствующий о деятельности фантазии в особом смысле. Отрицание происходит путем применения к суждению категории «небытия»; параллельно с представлением идеи «небытия» в уме невольно вытесняется идея «бытия», понятие о существовании чего-то, совершается известный творческий процесс. Во внешней, объективной действительности «идея небытия», «ничто», не может повести к каким-либо ощутительным результатам, вызвать изменение, уменьшение или увеличение существующего. При отсутствии постороннего влияния факт остается неизменным, так как несуществующая причина не имеет и не может иметь последствий. В области же мышления мы встречаем как раз обратное явление, там отрицание имеет некоторым образом значение реальной, положительной силы, так как непосредственно влечет за собою утверждение, положение. Идею «небытия» обуславливается сверх того всякое разграничение и определение связи между «конечным» и «бесконечным», причем самая возможность разграничения всенепременно предполагает необходимость возникновения между представлениями и понятиями идеи или представления «небытия». Каждый отдельный предмет, сам по себе, в силу своего реального положительного существования невольно является конечною величиною; момент же конечности, отличаясь от всякого другого тем, что он не есть этот другой, не тождественен с остальными умственными моментами (идеями), несомненно приобретает в области мышления отрицательное значение.

Но самое зарождение в сознании этой играющей в области мышления столь важную и заметную роль, обуславливающей и разграничивающей суждения *идеи небытия* возможно лишь при помощи воображения, неизбежно является продуктом фантазии, так как, будучи противоположно реальному, действительно существующему, извне, из действительного мира, представление «небытия» не может проникнуть в сознание. Эту столь важную для умственной жизни способность мышления и познания создает, таким образом, фантазия; само собою разумеется теперь, что и в логической деятельности эта субъективная душевная сила не столь ничтожна или даже безусловно излишня, как могло бы показаться с первого взгляда.

Как много влияет фантазия на темперамент и чувства человека, как велико ее значение в этом отношении, мы легко можем заключить из того простого факта, что ни одно душевное ощущение не может возникнуть у нас без того, чтобы мы не представили себе

известный предмет или событие в настоящем, прошедшем или будущем моментах, из которых в два последние мы можем проникнуть только благодаря деятельности субъективной фантазии. Ощущения страха, надежды, раскаяния, в свою очередь, тесно связаны с известными представлениями. Равным образом, и воля в своей деятельности и направлении своих стремлений определяется и руководится тою же силою фантазии, так как всякая разумная произвольная деятельность, всякое умственное стремление предполагает существование цели или закона, к которым человеческое существо стремится, которых во что бы то ни стало желает достигнуть. Если всякая разумная деятельность предполагает в деятеле сознание того, чего он хочет, очевидно, что способность представлять себе то, чего хочешь и к чему стремишься, должна являться основным условием всякой разумной деятельности. Сверх того не безызвестно, что в творчестве фантазии, кроме момента произвола, свободы, таится и известная доля идеализации, что, благодаря вмешательству фантазии, идеал уясняется сознанию, постигается чувством, волею, олицетворяется, как во внутренних, так и во внешних образах, — способность, исключительно свойственная человеку и возвышающая его над другими живыми существами.

Едва ли, после всего сказанного выше, нужно упоминать о том, какое значение имеем фантазия в деле воспитания и обучения: это явствует само собою. Фантазиею определяется умственная деятельность, как в зарождении, так и в развитии своем; из нее исходит способность понимания предметов и явлений, ей подчиняется жизнь чувства. Идеалы, иллюзии, *idées fixes*, дающие определенное направление человеческой деятельности, в свою очередь, являются порождениями фантазии, понятия и законы только в том случае прививаются к людям и в этом привитии своем приводят к успешным результатам на почве нравственности, если в воплощении и олицетворении их принимает участие деятельность фантазии. Даже дикари, стоящие на самой низкой степени умственного развития, не признающие законов разума и нравственности, сдерживают свои порывы, повинаясь силе фантазии, подобно тому, как культурные люди в деятельности своей руководятся известными идеалами.

*М. Артемьева*

## ДЕТСКАЯ МЕЧТАТЕЛЬНОСТЬ

*Впервые опубликовано в: Женское образование. 1889. № 6/7.  
С. 377–399.*

Мечтать свойственно человеческой природе во все возрасты. Годы, условия жизни, характер дают свое содержание и окраску мечтам; но мечтают все люди, даже самые черствые и положительные натуры. Каждое действие человека жило сначала в мечте его и, пройдя через мысль, осуществилось в действии. Чего проще кажется напр. Ходьба; но была пора, когда неумевший ходить младенец мечтал о ходьбе; это доказывали и движения ножек, и те звуки, в которых только мать или няня угадывают слова, и которые вырвались у него при виде ходивших детей. Мечту можно сравнить с газообразным состоянием материи, сгущающиеся в планету; как из нее, в свою пору, образуется твердая почва, так из мечты формируется мысль и направляет волю к действию; Мечтает человек представлениями, выражаются они словами, т. е. тем же способом, как и мысли его; но здесь есть громадная разница. Когда человек мыслит, то он имеет определенную цель; он владеет мыслями, направляет их к ней; он критически относится к ним, принимает одни, откидывает другие, смотря по большей пригодности или негодности для цели; он ищет недостающего звена в цепи мыслей, необходимого для полного уяснения того, о чем он мыслит. Когда человек мечтает, он не выбирает свои представления: они владеют им, сменяясь без всякой определенной цели: он не повторяет их критически, но вполне отдается им во власть. Они возникают на основании залегших в память следов впечатлений и от реальных фактов и от работы мысли, самостоятельно родившиеся, или внушенной другими, от чтения, т. е. от всего и реального и фантастического, что довелось услышать или прочесть. Вспоминать, мыслить и воображать — совершенно различные деятельности духа. Запоминаем мы произвольно и вольно, сосредотачивая внимание на предмете, который считаем нужным запомнить. Мы можем вызвать, по желанию, в памяти нашей представление о виденном и

испытанном; но бывает так же, что прежние следы настолько заслонены новыми, что не удается припомнить, не смотря на все усилия. Если вызванные нами представления о былом верны действительности и мы ничего не прибавили, то это воспоминание; если же мы перестроили так или иначе прошедшее, то действовала мечта. Мечта играет творческую/ роль, но это не значит, что она вносит что-либо небывалое, чего бы не было раньше накоплено в залежных в мозгу следах. Локк говорит: «Власть человека в маленьком мире его понимания — то же, что и в большом мире видимых вещей, где человек может творить лишь из материала данного ему природой, но не может ни разрушать, ни создавать ни одного атома». Творческая роль воображение не в создании, а в группировке материала. Самые чудовищные представления о драконах, гномах, волшебницах, если взять каждую черту порознь, не имеют в себе ничего такого, чего бы не было в действительности. Фей не слетают с неба, но самый факт летания существует для птиц и фантазия наградила фей крыльями, придав им образ красивой женщины. Львиные хвосты, птичьи клювы, звериные головы и множество рук на чудовищных идолах существуют в отдельности, все это не существует только в подобной группировке. Когда говорят о писателях, создавших новые типы, то это означает воссозданное подмеченных черт жизни в такой группировке, какая еще была сделана до них; даже создание фантастических сказок Гофмана невозможно без действительности, давшей основные черты для фантастических сочетаний представлений.

Прошедшее дает мало пищи мечте; совершившиеся факты плохо поддаются перегруппировке; настоящее слишком сильно захватывает всего человека, вызывает работу не одного воображения, но еще более чувства, мысли, требует практической деятельности. Будущее и настоящее, в известной мере, обуславливают отношение наше к будущему, но в нем нет ничего настолько определенного, что положительно мешало бы нам устраивать и перестраивать его нашему желанию. Безднадежно больной, не знающий о своем положении, мечта о том, что сделает по выздоровлении больной, знающий о своем положении, невольно отдавших тем же мечтам, признает невозможность их. Эта оценка мечтаний есть уже деятельность мышления, которое анализирует и сверлит мечтания наши с действительностью.

Чем менее развита способность мышления, чем менее опыт накопил в памяти фактов для проверки созданий фантазии тем больший простор для мечты; и потому понятно, что дети, отно-

сительно, бывают большими мечтателями, нежели взрослые. Надо притом заметить еще, что нервные и впечатлительные дети отличаются большей силой воображения, чем с более тупой восприимчивостью и более крепкой нервной системой. Воображение развивается в детях очень рано, хотя развитие его труднее проследить, чем развитие сознания и памяти. Ребенок, еще не умеющий говорить и пытающийся подражать слышанному крику животного по воспоминанию, работает воображением. Представления детей очень немногочисленны, но ярки вследствие впечатлительности детского мозга и взрослые, плохо понимающие детскую природу и непривычные сдерживать себя ради детей, бывают иногда изумлены, как могла их так сильно поразить какая-нибудь совершенно пустая вещь; но дело в том, что пустой она кажется взрослым, а для детей вещь эта серьезная. Дети готовы поверить всякой нелепости и сами додумываются нередко до нелепостей. У взрослых есть манера забавляться, дразня детей рассказами о небывальщине, даже очень часто потрясающей воображение страшными представлениями; но и без всяких пуганий детское воображение легко создает себе ужасающие признаки почти из ничего. Гарриета Мартино, в автобиографии своей, первые главы которой заключают много ценного материала по детской психологии, говорит и паническим ужасе, какой ей внушало круглое белое пятно света от волшебного фонаря. Движущиеся тени доставляли ей много удовольствия, только уже после схватки страха, вызывавшей боль в животе; даже в тринадцать лет она не могла смотреть на круг этот, не ухватясь за спинку стула, или не причинив себе какой-нибудь боли, чтобы избавиться от гнетущего чувства ужаса. Но в то же время девочка была в замечательной степени одарена нравственным мужеством и, раз она знала, что такую-то вещь должно сделать, она пересиливала свой ужас. Представления о разных духах, которые слишком рано даются детям, способствуют болезненному направлению воображения. Гарриета Мартино так и описывает испытанный страх. «В комнатах, где обыкновенно находились дети, не было солнца, гостиная выходила на солнечную сторону. В одно летнее утро, я вошла в гостиную, которую обыкновенно редко пользовались в то время. И увидела зрелище, заставившее меня спрятать лицо в кресло и кричать от ужаса. Хрустальные подвески подсвечников сверкали и, казалось, шевелились; все цвета радуги ярко сверкали и плясали на стенах. Я думала, что они живые, что это какие-то духи; и я с этой минуты, никогда не смела войти в эту комнату одна по утру. Я опасюсь, что мне придется сознаться в том, что в продолжении

всей жизни моей сердце мое билось, когда я видела, как радужные полосы прыгали на стене».

С такой паникой трудно совладать путем логики и правило — показывать и объяснять детям предмет, вызывающий в них страшные представления, не всегда может быть применимо с успехом; Лдин отец принудил трехлетнюю дочь, напуганную трубочистом, протянуть тому руку, убеждая, что трубочист такой же человек только черный от сажи, от которой и у кухарки черные руки, что у трубочиста есть такая же маленькая девочка, и что надо же показать себя молодцом. Девочка перестала бояться трубочистом и с гордостью объявила: я не боюсь. Но то же самое средство оказалось недействительным над ее младшей сестрой, не только в три года, но и в пять — шесть лет. Девочка была больной и слабой. Вереницы представлений детского воображения очень коротки и отрывочны, между ними мало связующих звеньев, и вот почему так трудно действовать на детей путем логики.

Для маленького ребенка каждый предмет существует как бы отдельно, сам по себе, а не как представитель целого ряда подобных предметов; общей связи еще не могло образоваться в его уме, т. е. связи причин и последствий; случайные совпадения, последовательность во времени, — вот что составляет, и в отношении очень многого, эту связь для ребенка. Маленькие дети переносят свои понятия о хорошо известном для них, на неизвестное, и оттого представления их о внешнем мире преимущественно антропоморфические. Ушибется ли ребенок о какую-нибудь вещь, он бранит ее злой. Неизвестное населено для него личностями таинственными и оттого страшными. Очевидно, что при таком общем состоянии детского ума, все представления о сверхъестественном и чудесном должны действовать на него очень сильно. Дети всегда легко верят всему, что им рассказывают, как бы нелепы ни были рассказы. Бенеке замечает, что они часто принимают сны свои за реальность. Естественно, что на такой почве ошибочные представления могут разрастаться сторицей.

Хотя воображение развито у детей относительно сильнее, чем у взрослых, но детям несвойственно продолжительно и упорно предаваться деятельности этой психической стороны; Причина тому в кроткости детских представлений, имеющей следствием своим частную смену детских представлений, имеющей следствием своим частую смену детских ощущений. Дети беспрестанно переходят от смеха к слезам и наоборот; рассеянность сменяется у них вниманием, поражающим взрослых своей напряженностью. И внимание



и рассеянность порождены незначительностью числа накопившихся представлений и разрозненностью их. Новый предмет поглощает внимание детей так всецело, потому что в воображении нет вовсе, или есть крайне мало представлений, родственных с ним, которые отвлекли бы хоть часть внимания в эти минуты; но за то и внимание не может быть продолжительным и скоро утомляется. Новый предмет заставляет быстро забыть прежний, так поглощавший ребенка за минуту. Можно найти и очень близкую аналогию между этим состоянием детского ума и умом взрослого, не изучавшего систематически какой-нибудь научный предмет, когда он прочтет популярную книгу о нем. Взрослый быстро усвоит сведения из книги, но так же быстро и забудет, потому что в уме его нет систематических следов, к которым бы он мог прикрепить добытые отрывочные сведения.

Годы приносят в детскую душу новые представления; они пополняют недостающие звенья между прежними, врываются между разрозненными звеньями прежних и сплетают новые вереницы представлений. Эта работа идет непрестанно в детском уме, и благо, когда действительность, окружающая ребенка, дает ему только здоровые представления. Если настоящее ребенка хорошо, то оно будет захватывать все стороны души его, а не давать положительно или отрицательно пищу одному воображению его. Законы дешевого мира одни и те же для взрослого и для ребенка; разница только количественна. Взрослые тем более живут воображением, чем более стеснена деятельность их чувства, мысли и воли. Бывали целые эпохи, отмеченные болезненным развитием воображения, когда мечтательность считалась признаком высшей природы, и задавленные силы души уходили в мечту. То же бывает и с детьми. Если действительность дает только одни суровые впечатления неумолимой дисциплины, или тоскливого однообразия, то дети будут черпать материал для душевной жизни в мире вымысла: книги, по избытому выражению, открывают таким детям новый мир, — и создаются мечтательные характеры.

Дети окруженные нездоровой жизнью, рано начинают уходить в мир мечты и сами того не сознавая. Одна пяти-шестилетняя девочка была прозвана разиней за то, что «считала ворон» на прогулке и оттого часто спотыкалась и падала. Девочка любила следить за полетом птиц, особенно под ясным небом и мечтала, что птицы летят к солнышку, где так светло, и, полетав, прилетят домой в свое гнездышко, где так весело чирикают и так дружно живут. Жилось девочке тяжело в мрачной детской окнами на север, с огромной

лежанкой, из печурки которой постоянно торчала розга, больше впрочем для назидания, чем для действия. Когда девочка ждала гостей, то засовывала розгу подальше в печурку, чтобы концы не торчали предательски. В автобиографии своей Гарриэта Мартино так передает мечтательное настроение, вызванное тяжелыми отношениями семьи. «Вероятно, я была религиозным ребенком, потому что единственное утешение и удовольствие, какое я помню в этом раннем возрасте было поручено только из этого источника. Мне только что минуло семь лет, когда наступило великое событие моего детства — путешествие в Ньюкасл. Мать поехала с четырьмя детьми к своему отцу. Я хорошо помню, что до этого путешествия я дорожила религией более, чем всем другим. Только по возвращении домой, когда Анна Тернер, дочь по возвращении домой, когда Анна Тернер, дочь пастора унитариян из Ньюкасла, приехала к нам, благочестие мое впервые приняло практический характер. Задолго до этого времени оно было знакомо мне лишь как самоуслаждение. В то время, когда я боялась каждого человека, которого видела, я нисколько не боялась Бога. Постоянно чувствуя себя очень несчастной, я постоянно жаждала неба, и это очень серьезно, потому что я составляла планы самоубийства с целью пойти на небо. Я знала, что самоубийство признано преступлением, но я не считала его за преступление. Мной владела пожирающая страсть к справедливости — справедливости во-первых в отношении в моей драгоценной особе, а затем ко всем, кого притесняли. Но в семье нашей справедливость понимали и соблюдали всего менее в отношении прислуги и детей. Иногда я, в порыве горя, изливала отчаянные жалобы; но вообще я мрачно задумывалась над своими обидами и обидами тех, которые не смели жаловаться, и тогда искушение убить себя становилось очень сильно».

Можно подумать, что эти строки автобиографии Гарриэты Мартино послужили материалом Достоевскому для его характеристики задумывающихся и обиженных детей. Натура Гарриэты Мартино была выдающейся по редкой чуткости и даровитости; впечатлительность девочки проявлялась ранее и отличалась особенной силой; обыкновенные дети развиваются позднее, чувствуют менее сильно, но все-таки они чувствуют значительную долю душевных страданий испытанных Гарриэтой; и у них воображение принимает опасный характер преобладания. Для заурядных детей это еще опаснее; у талантливых самое чрезмерное развитие воображения идет на пользу таланта, который будет для них опорой в жизни; я имею в виду не один материальный смысл слова. У заурядных детей

такое развитие будет исключительно болезненно, потому что будет бесплодно. Много озлобления накопилось в душе бедной Гарриэты, о чем свидетельствует строгая характеристика ее детства, сделанная ей: «Теперь для меня очевидно что у меня был очень дурной характер; теперь мне кажется, что он был бы положительно дьявольским, если бы не известная доза спокойствия, которая всегда сильно раздражала меня против меня самой. Мой характер мог бы и с очень раннего возраста быть *сделан* добрым, и это *сделало* бы малейшее снисхождение, выказанное к моим естественным привязанностям, и влечениям и разумное отношение к моим недостаткам. Но я была из числа младших детей и потому обречена выносить не только строгость системы воспитания, которой мы все были подчинены, но еще грубое и презрительное обхождение старших детей, которые не хотели делать мне зла, но нанесли мне непоправимое зло».

Родители и не подозревали, какие пытки выносила бедная девочка. Взрослые, даже отличающиеся педагогическим тактом и хорошо знающие детскую природу, очень легко могут делать ошибки, потому что, как бы ни старались они перенестись в мир детства, и все-таки он для них пережитый поря и *вполнь* понять ребенка, т. е. настолько, чтобы быть ему товарищем, они не могут. Интересны чисто детской жизни, столь важные для детей, занимательны для взрослых лишь по сочувствию к ребенку, или как материал для наблюдений. Ребенку столько же нужно жить исключительно детскими интересами, сколько и теми, которые поднимают его и постепенно приближают к уровню взрослых. В детях, живущих исключительно с взрослыми, как бы идеальны ни были отношения, замечается тепличность, отсутствие кипучей жизнерадостности, которая нужна для здорового детства, хотя бы она и балы порой надоедлива и требовала водворения ее в необходимые границы. Гарриэта, росшая в многочисленной семье, в сущности, была одиноким ребенком. Система «держания в руках», ставила стену между ней и родителями; при господствовавших иерархических понятиях, старшие дети были отчасти начальством для младших; старший брат давал маленьким сестрам уроки. Все это очень хорошо при иной системе, которая не поддерживала властолюбие старших детей. У Гарриэты была сестра Рейчел, старше ее года на полтора, но товарищеским отношениям мешала болезненная ревность Гарриэты; Рейчел была любимицей матери и няни за ее хозяйственные способности. Гарриэта, хотя не была обделена ими, что и доказала в продолжение целой жизни, но поглощенная своими мыслями и мечтами, не выказывала и сообразительности, которые так радовали старших.

А между тем очень немного нужно было, чтобы превратить озлобленного ребенка в любящего, искоренить в нем «напускное упрямство и своеволие». Гарриэта говорит: «малейшее слово или тон нежности мгновенное смягчали меня, несмотря на самую сильную решимость быть черстой и неприятной». Она приводит несколько случаев, доказывающих, как глубоко она чувствовала ласку, и долго постанавливается на няне Эйтон, приходившей шить в семью. «Она разделяла общее мнение семьи о моих способностях и считала меня тупым, неловким и неповоротливым ребенком, лишенным наблюдательности. Уча меня шить, она обыкновенно говорила (и я вполне соглашалась с ней) что „тихо и крепко“ — мое правило, а „соро и хорошо“ — правило Рейчели. Я не ревновала ее к Рейчели за этот отзыв, он казался мне неопровержимым». Последние строки доказывают, что зависть и ревность девочки были извращением натуры симпатичной, порожденным несправедливостью, которая была следствием родительского непонимания характера дочери. Рейчел была ребенком по плечу семьи, не говоря уже о том, что живой, здоровый и красивый ребенок всегда имеет более шансов быть любимым; к некрасивому и больному ребенку привязываются реже. Но Рейчел сверх того не причиняла родителям никаких неприятностей «страстной любовью к справедливости». Рейчел, ни мало не смущаясь, передавала прислуге грубые приказания, выговоры, требования, чтобы прислуга не смела смеяться на кухне, и т. п. что подвергало Гарриэту в мучительные колебания между долгом повиновения родителям и долгом евангельской любви к ближнему. Колебания разрешались тем, что девочка передавала прислуге какую-нибудь вымышленную фразу и фраза эта от волнения и смущения оказывалась дичью, вызывавшей смех. Смех этот, как отплата за неизвестные добрые намерения, был горькой обидой и сверх того девочка мучилась упреками совести за ложь. Каждый день нес нравственную пытку детской душе, и она покушалась на самоубийство.

«Без сомнения, в этом было много мстительного чувства» говорит г. Мартино. «Я упивалась мыслью, что я, наконец, заставлю кого-нибудь, каким бы то ни было путем, вспомнить обо мне. Что же касается допущения меня в другой мир, то я была уверена, что Бог не может очень рассердиться на меня за то, что я поспешила вернуться к нему, когда никто в этом мире не дорожил мной и столько людей мучили меня. В один день я пошла на кухню взять большой нож, чтобы перерезать себе горло; но прислуга обедала и самоубийство было отложено до другого времени. Намерение это постепенно

слабело и перерабатывалось в план бегства. Я подолгу стояла, высунувшись из окна, смотря в право и в лево на улицу и спрашивая себя: как далеко могу я уйти, чтобы меня не поймали, я не сомневалась, что если мне только удастся попасть на ферму, надеть шерстяную юбку и доить коров, то я буду в полной безопасности и никто не будет разыскивать меня». Мечты о жизни на ферме, среди природы, которую девочка глубоко любила, были утешением в ее тяжелом детстве, в котором она помнит «очень немного, что не было бы для нее горем». С семилетнего возраста религия стала приносить ей столько же муки, сколько и утешения; г. Мартино говорит: «Моя страстная любовь к справедливости была оскорбляема и там, как и повсюду. Пастор поучал там только обязанностям подчиненных в отношении старших; — о других же — об обязанностях вторых к первым, он не говорил ни слова; ни слова также о равном обращении со всеми. Родителей поучали, правда, что они должны воспитывать детей своих в страхе Господнем и питать умы их ученьем Его; господ поучали исправной уплате жалованья слугам; но никогда не было сказано ни одного слова о справедливости, соблюдать которую в отношении младших есть долг старших. Я всегда жаждала услышать слово о притеснениях, которые прислуга и дети выносят повсюду (я воображала, что повсюду), — о том, что выносят они даже тогда, когда их кормят, одевают и учат как должно; но я никогда не слыхала ничего подобного. Вместо того, чего я ждала, я слышала одно учение о пассивном поведении, — учение, заставлявшее меня терзаться угрызениями совести и делавшее меня еще более несчастной. Я была как нельзя более послушна фактически, потому что я никогда не смела помыслить о фактическом ослушании; но внутреннее возмущение держало совесть мою в состоянии непрерывной пытки. Насколько я помню, совесть моя нисколько не приносила мне пользы; потому что, хотя я всегда заключала, что я сама виновата во всем, но в то же время наружно я казалась вполне довольной собой и уверенной в себе. Мой нравственный смысл был почти совершенно затемнен страхом и унижением».

Это место из автобиографии Г. Мартино тем замечательнее, что жизненную правду его подтверждает все, что приходилось слышать и замечать в религиозном настроении обиженных детей. В евангелии они ищут тех мест, где говорится о любви к «малым сим». Отец мой, человек религиозный, сам учил меня закону Божию по катехизису времен Екатерины II, по которому сам учился. Там, при разъяснении пятой заповеди, говорилось и об обязанностях роди-

телей в детям, господ к прислуге, — и я помню, с каким живым интересом товарищи мои, учившиеся по другому катехизису, читали эти строки. Старшие редко когда умеют разумно отнестись к религиозной мечтательности детей, которая иногда, как у Гарриэты Мартино, бывает соединена с стремлением к истине и добру, иногда же бывает только мистическим самоуслаждением. Эта последняя черта была и у Гарриэты. Она говорит: «Второй моей бедой в церкви было то, что я не была в состоянии следить непрерывно за службой, ни воздержаться от самоуслаждения самыми нелепыми и хвастливыми мечтами, которых я сама стыдилась все время, пока предавалась им. Окна в крыше Нарвичской церкви пропускали свет как-то особенно, косыми лучами. Я подолгу, сидя на скамье своей, смотрела на окна эти, ожидая, что ангелы придут и возьмут меня на небо, — и это на глазах всех присутствовавших. Конец мира должен был непременно наступить в то время, когда мы находились в церкви. Я думала об этом и о гимнах ангелов все время богослужения и мне казалось ужасным, что я не могу молиться в церкви. Я думаю, что я ни разу в жизни моей и не молилась в церкви. Я много молилась, когда я бывала одна; но для меня молиться иначе было делом невозможным, а невольное лицемерие — делать вид, что я молюсь, когда не могла молиться, — было долгое время для меня источником тяжелого горя». Здесь очевидно девочка была под властью навязчивых представлений, какие возбуждал в ней косою столб солнечных лучей. Дети очень часто мечтают о том, что в таком столбе к ним сходят ангелы; но отдаются таким мечтам только обиженные дети. Им надо утешать себя в холодности и пренебрежении к себе родных мечтой о том, что за это Бог особенно отметил их. Обиженная нелюбимая Гарриэта мечтала о том, что ее унесут ангелы и непременно на глазах всех собравшихся прихожан. Надо заметить, что девочка сама стыдилась этих мечтаний, предаваясь им, и все-таки предавалась; ей нужен был этот гашиш. Замечательный ум спас ее от вредных последствий таких мечтаний, которые у менее умных детей легко переходят в религиозную манию, особенно в среде невежественной, где ее принимают за истинную религиозность и потому раздувают. Я знавала детей, у которых мечтательность этого рода сопровождалось галлюцинациями. Были в том числе и дети, таившие свой внутренний мир от взрослых, и дети открывавшие его им, в полной уверенности услышать одни восторженные похвалы. Религиозных людей в истинном смысле этого слова, т. е. людей, живущих для своей святыни, не вышло ни из тех, ни из других. С годами мечтательность

детей этих приняла другую форму, и постоянно носила характер самоуслаждения.

На Гарриэту благотворно повлияла девочка лет четырнадцати Анна Тернер. Уже одно т было счастьем для маленькой Гарриэты, что нашлось существо, интересовавшееся ее внутренним миром, и девочка с этой минуты не была уже более одна. Все высказанное принимает более определенную и разумную форму, нежели какую имеет невысказанное, живущее в мечте; многое из преувеличенного болезненного испаряется. Анна Тернер рассказала Гарриэте, как видела мать ее, усталую от забот дневных и сидящую поздно ночью за починкой белья детей и в том числе Гарриэтино, Анна напомнила, как мать во многом отказывала себе, чтобы платить в школу за Гарриэту наравне со всеми и покупать ей не только необходимое, но и мелочи для удовольствия; наконец, Анна указала, насколько Гарриэта сама отталкивала своим характером. Все это ослабило горечь, Гарриэта перестала считать себя презираемой и нелюбимой; она только сознавала себя менее любимой. Потребность сильной поглощающей привязанности, отличающая доровитых детей, нашла исход в любви к родившемуся маленькому брату, к которому Гарриэта целую жизнь относилась с материнскую нежность. Школьные уроки, особенно история, дали иное содержание мечтательности девочки.

Мечта для детей, как и взрослых, есть суррогат жизни; в небольших дозах она полезна, как отдых душевной деятельности; человек отдается во власть мечте, и когда после того принимается за сознательную работу мышления, он чувствует себя освеженным. Но надо помнить, что для такого действия, нужен небольшой прием мечты; слишком большой производит обратное, — расслабляет, отуманивает человека. Для детей мечта имеет еще воспитательное значение. Бернар Перез в книге своей «L'art et la poesie chez l'entfant» указывает на полезное влияние ее исключительно со стороны эстетической и производит воспоминания о детстве молодой женщины, к которой он обращался за «живыми документами». Девочка любила прогулки в ближний парк и поля, на берегу речки речки и видела в этих местах сцену трогательных библейских историй о Моисее, Иосифе, Руеи, а равно и тех повестей, которые ей давали читать. Там поселяла целыми сельями, заставляла жить, а иногда, обливаясь слезами, и умирать, своих друзей и знакомых; конечно, и кошки были не забыты. Позже я узнала, что это значить дурно вести себя, то может вести к дурному. Феннелон сказал: «Не допускайте дочерей ваших мечтать, занимайте их действительностью; если вам

нечем занят их, бросайте на пол булавки и пусть он подбирают»; Полно! Добрый епископ, неблагодарный по неведению, клеветает на мечту. Она не так безумна даже у девочек. Воображение и чувство разве не могут жить в доброй дружбе с разумом? Сколько примеров доказывают нам противное!

«Я обладала телом и душой, внешними чувствами и умом; я давала каждому его пищу, и ни один из них не жаловался. О, счастливые минуты мечтаний, когда я была одна в зеленом углу под деревьями, или сидела у окна своего, выходявшего на сады!»

Девочка жила не вполне приятной жизнью. Мать не могла кормить ее по болезни, а недостаток средств заставил отдать ее в деревню кормилице, у которой девочка осталась до трехлетнего возраста. Привезенная домой, маленькая дочь природы нашла стеснительными условия цивилизованной городской жизни; приучение к ним не могло быть приятно. Но в целом жизнь девочки была гораздо отраднее, чем жизнь Гарриэты Мартино: она пользовалась значительной долей свободы детей небогатых родителей; мать не держала прислуги, делала все сама, кроме грубых работ, для которых приходила по часам поденщица. Когда девочка приобрела цивилизованные привычки, ей стало житья легче; но она все-таки бессознательно чувствовала себя стесненной в городе и природа была ей более родная, чем ее братьям и сестрам; отсюда привычка мечтать, и мечты ее были поэтические; в них не было и тени мстительных мечтаний о самоубийстве, как в мечтах Гарриэты Мартино.

Г-жа Мэненон — эта родоначальница институтских, так же как и Фенелон, относилась враждебно к мечтательности. Она долго была авторитетом по женскому образованию и воспитанию, и намерения ее были несомненно благие. В век распушенности нравов она хотела воспитать добродетельную девушку, которая была бы добродетельной женой и матерью. В том веке вообще много говорили о добродетели, к которой сама г-жа Мэнтенон обратилась под старость. Хорошо известно, что идеалы воспитания девушек г-жи Мэнтенон были узки и вред замкнутого воспитания доказан так неопровержимо, что нападать на него значит ломиться в открытую дверь. Г-жа Мэнтенон очень неодобрительно относилась к чтению исторических книг; молодые девушки зачитываясь мечтают о героях и героинях, становятся заносчивыми, недовольными своим положением. На этом основании ей следовало бы запретить своим воспитанницам читать и житие святых. Там подвиги, пока держится католицизм, — вечный культ в глазах католиков, поклонение миллионов людей.



Я знавала молодых девушек, которых чтение Четьи-Миней поднимало нравственно, и потому внушало недовольство жизнью, окружавшей их и отданной одним мелким своекорыстным целям.

Не в том беда, когда люди недовольны своей средой, если он среду сносную считают невыносимой, в хорошей видят только одни темные тени и, отдаваясь мрачному настроению, не делают ничего для улучшения. Не в том беда, что ребенок увлечется каким-нибудь героем, помечтает порой о подвигах, совершив которое у него не хватит хронических состоянием его ума, и, обуреваемый манией величия, он возомнит себя героем. Но если ребенок не глуп, то мечты не перейдут в манию, и можно всегда разъяснить ему нелепость их.

Помню один случай с двенадцатилетним мальчиком. Он жил в семье очень не дружной. Отец, мать и тетка обижали его и, как люди больные и раздражительные, задерживали его. Хороший или дурной день ребенка зависти вполне от сна или от несварения желудка старших. Как люди, не получившие хорошего воспитания, они были грубы и неразборчивы в выражениях; как люди добрые и любящие, они жалели о своих вспышках, но никогда не сознавались в несправедливости, сделанной ребенку, и только баловали его после чересчур сильной вспышки, дисциплины ради, доказывая ему, что он был виноват. Виноват, конечно, он был, но большая доля вины лежала не на нем. Эта справедливость тем сильнее возмущала мальчика, что он провел год в образцовой школе в Германии у превосходного педагога. Мать была очень недовольна школой, где мальчик по ее уверению, избаловался получил дурные манеры и выучился рассуждать и быть за-пани брата со старшими. Ему объявили, что его больше не отдадут в эту школу, и это было большим горем для мальчика, привязавшегося к учителю и товарищам. Приглашенная на лето учительница тоже вызывала негодование матери за свое сочувствие порядкам немецкой школы. Она давала мальчику детские книги; он, как одинокий ребенок, страстно любил чтение. На мальчика произвела сильное впечатление автобиография одного из итальянских патриотов, напечатанная в книге «Маленькие герои». Мальчик до того увлекался чтением, что его надо было толкнуть, чтобы до того увлекался чтением, что его надо было толкнуть, чтобы заставить очнуться. Иногда у него вырывались слова очень эффективные и произнесенные героем. Раз учительница застала такую сцену в своей комнате: мальчик стоял на диване, размахивая ножом, который в волнении забыл раскрыть, а нож был большой садовый. Мать, взбешенная, прискакивала пе-

ред диваном, усиливаясь достать рукой до лица ребенка, и кричала с грубой бранью: «Сойди, я приказываю». — Если вы меня тронете, я зарежусь, отвечал громким криком ребенок. В позе его, в голосе было что-то бессознательное театральное, бывшее на эффект. Учительница покончила сцену. Это театральное в манере мальчика поразило ее, потому что мальчик был вообще естественный и правдивый. Дав ребенку успокоиться, она расспросила его, улучив хорошую минуту откровенности, а минуты эти выпадали редко, потому что ребенок был замкнутый.

Мальчик рассказал, по временам прерывая рассказ рыданиями, что он не может выносить позорного унижения и зарежет себя как Лоренцо. Это выяснило учительнице то напряженное состояние, в каком находился ребенок все эти дни. Она приписывала это только обостренному чувству от семейных неприятностей, но оказалось, что явился и новый — мечта быть героем, конечно, ни слова об этой мечте не было передано родителям, но осторожно сократительским приемом была выяснена мальчику нелепость мечты о том, что он Лоренцо. Лоренцо был сыном итальянского патриота, воспитывался в школе у австрийцев, где систематически преследовали итальянцев. Лоренцо еще в 9–10 лет отличался такими чертами мужества, о каких и не снилось его подражателю; угроза зарезаться оказалась обезьянством. Мать и не думала *опозорить* мальчика оплеухой; ее самое так воспитывали. Беседа заключалась моралью, что лучше быть самим собой хоть маленьким, но хорошим человеком, чем обезьянничать героев. Слово *обезьянничанье* произвело сильное впечатление на самолюбивого ребенка.

Один мальчик лет 13, зачитавшийся глупых романов в роде Роккомболя, раз с театральной миной и соответствующими жестами, занес над головой родственницы тяжелую медную папиросницу с криком: «Отмщу, хоть сам погибну!» Мстил он за какую-то помеху вредной затее. Родственница преспокойно осталась сидеть на месте и, не отклоняясь от пепельницы, хладнокровно смотрела в глаза мальчику, рука которого, конечно, не опустилась с орудием. После она ему сказала: ведь ты разыграл сцену из какого-нибудь дурного романа и думал меня запугать. Мальчик сконфузился и удивился. Это было действительно сценой, разыгранной для устранения, и сцена с садовым ножом была подражанием, которое могло бы кончиться и трагически, будь нож раскрыть и не подоспей вовремя учительница.

Сколько было в газетных известиях о детях, бежавших из дома с целью отправиться в Америку, или в другую страну. Главными

двигателями были мечты. Но почему же детские мечты принимали силу? Вот в чем суть вопроса. Ответят, что обыденная жизнь семьи однообразная, а пылким мечтательным детям нужна иная жизнь, полная ярких впечатлений. Но нам думается, что если бы умели давать здоровую пищу детской душе, то дети не погнались бы за яркими впечатлениями куда-нибудь в Америку. По крайней мере во всех случаях детского бегства или покушений на него, какие мне доводилось видеть, или о каких я читала и слышала, среда, окружавшая ребенка, была плоха. Исключением были случаи бегства в пору какого-нибудь общественного движения, сильно поражавшего детское воображение: так в 12 году мой дядя, тогда четырнадцатилетний мальчик, рослый не по летам, чуть было не записался в волонтеры, да попал на знакомого офицера; так в последнюю турецкую войну дети уходили в санитары. Но такие черты говорят о хорошей детской натуре; дети шли на подвиг, бросить родной дом, любимых людей было для них тяжелым горем, мучительной жертвой. Это не то, что убежать ради увеселительной прогулки или подражания жизни краснокожих.

Домашняя жизнь наша дает очень мало здоровых представлений детскому воображению. Обрядность и пустота велико-светской жизни больших бар, мещанская житейская канитель с претензиями на светскость в чиновничестве, — это в сытых и образованных классах. В бедных классах труд, перебивание с хлеба на квас. У первых и вторых обычная процедура ученья и еще иногда в ходу развивание играми и книгами; у третьих игре отдаются редкие минуты, урванные от труда, который ложится на плечи ребенка, как скоро он начинает годиться на что-нибудь в хозяйстве; здесь вместо книг и развивающих игрушек сказка и песня матери и бабушки, да рассказы странников и других досужих людей. Школа делает крайне мало для здорового направления воображения, она дает отрывочные цепи представлений, не связанных жизненным общим. В ней дети видят всего чаще скучную повинность, отбываемую как меньшее зло, во избежание горшего. Дети народа останавливаются на элементарном обучении, а оно не дает им никаких представлений, которые вытеснили бы залегшие крепко в мозгу следы суеверных страхов, нелепых представлений, и оттого так быстро разрастаются в народе самые чудовищные бредни. Да и не одно элементарное обучение, все курсы страдают отсутствием стройной системы, при которой ученье было бы радостью детей, а не повинностью. Когда она — радость, то это редкие исключения — выдался хороший педагог;

или при плохом попадается ученик с всепоглощающей любознательностью и крупными способностями.

В детской жизни вообще нет пищи для здоровой мечтательности, нет праздников, которые были бы ярким светлым явлением в году, о которых бы дети мечтали, к которым бы готовились с трепетно-радостным ожиданием. В Швейцарии, Англии, Германии и Америке есть общие празднества для детей. Не говоря уже об экскурсиях с естественно-научными целями, есть специально детские праздники. В Швейцарии дети принимают участие и в народных празднествах в память какой-нибудь великой исторической годовщины. Массы детей сходятся вместе, им говорят об общей связи. Бывает хоть день в году, когда бедный ребенок, когда безродный сирота знают, что они живут общей жизнью с массой, что о них заботятся, думают о радостях их. И такой праздник — яркая светлая точка в однообразии школьной жизни.

Детская шалости неисключительно следствие потребности движения, шума, кипучести физической жизни; шалости и разные детские фантазии бывают также следствием потребности разнообразия. Дети, живущие однообразно суровой жизнью, придумывают сами себе разные развлечения: дуют на стекло и выводят пальцем узоры, разглядывать ветки и елки, которые мороз рисует на стеклах, и детская фантазия из этих ветвей и елок создает самые причудливые образы. Иные изобретатели развлечений опускают голову до пола, перевесясь через стул и между ножками его и своими собственными ногами как в рамке видят оригинальную картину всех предметов и людей вверх ногами; другие любители придавливают себе один глаз пальцем, чтобы видеть все предметы двоящимися. Зачем? Любопытная картина. Это был ответ такого любителя. Дети, чья жизнь богаче впечатлениями, изредка займутся подобными штуками, те, чья жизнь бедна, сильно пристращаются к ним. Я знала девочку, считавшуюся музыкантшей; благодаря отличной памяти и проворству пальцев она играла трудные штуки очень порядочно, но холодно и автоматически. При этом лицо ее принимало то крайне сосредоточенное выражение, которое переходит в бессмысленное. Мне удалось добиться от нее откровенного признания, что музыки она не любит, потому что она может тогда думать о своем и все представлять себе так, как хочется, и музыки она своей не слышит под конец, следовательно музыка просто-напросто оглушала ее, изолировала и давала простор ее мечтательности.

Когда за неумением нашим давать здоровое направление детской мечтательности, она принимает нежелательный характер, то

считают долгом искореняет ее. Всего чаще искореняют без всяких глубоких соображений о влиянии мечтательности на весь строй характера ребенка и его отношения к жизни; просто фантазии ребенка кажутся глупыми, ведут к штукам нарушающим спокойствие. Редко гонение на детскую мечтательность порождено соображениями о том, что, развившись чрезмерно, она создает людей, непригодных для разумной жизни. Было целое поколение людей, чья жизнь была испорчена мечтами, это было поколение сороковых годов. На смену мечтателей потребовались практики. Слово это понималось в смысле деятельной жизни во имя полезных общественных целей; но вскоре эгоизм и своекорыстие подставили другие цели и вместо деятелей появились на сцене дельцы. Задавленное воображение ведет за собой сухость и рассудочность; а свойства эти вовсе не то, что трезвость и разумность, и они сильно вредят симпатичности человеческой натуры. Развивать в меру не значит давить. При подавленном воображении не может быть ни верного понимания людских отношений, ни человечности. Чтобы понять человека не холодно умом, но сочувственно сердцем, надо нам уметь пережить воображением то, что чувствовал, мыслил, — что пережил человек. Вполне невозможно, но чем полнее мы в состоянии это сделать, тем шире будет наше понимание людей, тем менее мы будем судить о них эгоистично и пристрастно и тем легче нам будет руководиться в отношении к ним справедливостью и человечностью. Тондель доказал, что воображение нужно даже и для успехов такого положительного знания, как естественно-научное.

Вред от излишне развитого воображения, от чрезмерной мечтательности был испытан долгое время, вред от гонения на эту силу души начинает сознаваться теперь, когда тон жизни дают дельцы и карьеристы. Французы называют воображение *la folle du logis*: но тот дом, где его нет, черств и холоден, а тот дом, где эта безумная властвует самодержавной хозяйкой — несчастен. А на человека, управляемого одним воображением, нельзя положиться. Вы не знаете, как будет истолкован шаг поступок сквозь призму его фантазии; вы постоянно можете ожидать от него несообразных поступков. Не ищите логической связи между его действиями. Сегодня те же отношения, те же факты представляются ему в одном свете, завтра — в другом. Он сходится с людьми, с которыми у него не может быть ничего общего, потому что ему померещились симпатичные ему черты, разрывает долготлетние связи оттого, что фантазия его раздувает какую-нибудь мелочь.

Такой характер всего чаще встречаются между женщинами, а именно оттого, что в них развивают не мысль и волю, а только воображение и чувство. Они неспособны контролировать представления своего в свои поступки пристрастие, в тех, кого он любят все хорошо, а в тех, кого они не любят, все дурно; если он чего захотят, то требуют того упорно наперекос всем доводам здравого смысла; если же чего не захотят, то не сделают, не смотря на все требования справедливости и общественного долга. Впрочем представления о последнем едва ли не совершенно чуждо женскому воображению. Это признано делом мужским и до понимания этого поднимаются немногие женщины. Сам горячий защитник женский равноправности Милл упрекает их в непонимании общественного долга, указывая, что оно есть плод веками вложенного в них понятие, что долг этот не их ума дело. Мужчина, неспособный бескорыстно служит общественному долгу, будет исполнять его добросовестно, из чувства личной чести. Большинство женщин не способны понимать честь иначе, как в смысле женского целомудрия, или в грубейшем элементарном виде — не таскания чужих кошечек. Для женщины не представить к сроку обещанную работу и тем поставить других в затруднительное положение, портить неаккуратностью общественное дело — ничего не значит. Она удивительная, как могут за то негодовать настоящая работницы; и те же самые женщины предобросовестное исполнять обязанности хозяйки, отличаются честностью в тесном кругу. Все это — следствия односторонности воспитания, специализация чувства и воображения в мире интересов исключительно женских. Если в поздние годы новые впечатления будут вплетены в сет представлений исключительно женских, то новые будут несравненно слабее. Они восприняты в том возрасте, когда представления утрачивают свою первобытную яркость, залегают не так глубоко характер уже получил свою окраску от первых впечатлений, и они будут влиять на чувства, мысли и поступки, вызываемые позднейшими представлениями, и во всем неизбежно скажется и узость понимания и непоследовательность, и неспособность владеть своими мечтами и стать на объективную точку зрения, — это недостатки преимущественно женские.

Фенелон запрещал девушкам мечтать, опасаясь мечтаний вредных для нравственности; но дело в том, что не в них главное зло; так мечтают очень немногие; главное зло в том призрачном мире, который создают себе из романов, в отвращении к простой, будничной жизни. Г-жа. Ментенон гнала чтение истории потому,

что оно внушало высокомерные мечты и порождало недовольство настоящим. Но есть недовольство — и недовольство. Одно бывает разумным чувством и горю тем, которые, живя в грубой, мелкой бескорыстной среде, не испытывают его; оно — залог лучшего, стремлений к нему. Другое — плод суетности, праздности, самомнения, неоправданного ничьим, потребности постоянной смены сильных ощущений, раздражающих нервы.

Хороший воспитатель будет следить за детскими мечтами, потому что эта сторона важна при выработке характера ребенка. В том, что так часто называют глупыми фантазиями ребенка, есть свое разумное. Ребенок в пять лет мечтает быть кучером. Педагоги, гоняющиеся исключительно за трезвостью мысли, поспешат доказать ему нелепость такого идеала и добьются того, что ребенок никогда не станет говорить им о своих фантазиях. Но примите участие в этих фантазиях, расспрашивайте, напр., как он станет держать лошадей, кого возить, какую лошадь больше будет любить, за что, и проч. Да мало ли можно выткать на канве этой фантазии узоров, которые внесут в мысль и сердце ребенка благотворные представления. В том, что пятилетний ребенок идеалом жизни считает быть кучером, нет ничего страшного для развития в нем здорового мышления; но, убивая фантазию его о том, что для него в настоящую минуту жизни, вы насильственно врываетесь в его душу и, отталкивая его, отнимаете у себя средство влиять на него.

Автобиография Жорж Санд представляет интересный пример разумного отношения к мечтам ребенка. Мать ее была простой необразованной женщиной, и с поэтическим чутьем. Девочка с трех лет начала рассказывать себе нескончаемые сказки, которые мать слушала иногда и спрашивала: а что сделал твой принц, твоя принцесса. Это вносило связь в рассказ, приучало девочку к последовательности. Дети очень любят рассказывать свои сказки, которые всегда — винегрет из слышанных и прочитанных ими. Здесь средство приучать их к последовательности, к логике; сказочные герои имеют свои характеры; здесь средство видеть симпатии ребенка и его чуткость к действительности, окружающей его. Все это отражается в выборе сюжета и героев, в отношении к ним.

Дети в мечтах вообще сильно раздумывают собственные особы. Они сознают свою слабость даже и тогда, когда им не дают чувствовать их беспомощность и слабость. Они ценят силу и крупные размеры; слово большой — для них синоним хорошего, и в этом они близки к дикарям. Одному ребенку рассказывали о девочке, заслонившей собой маленького брата, когда на них бежала бешеная

собака. «Верно, девочка была большая и сильная», сказал ребенок. Представление о том, что девочка добрая, что она любила брата не пришло ему в голову и только, когда ему сказали, что тут же стоял двоюродный брат, который был больше и сильнее девочки, он понял, что сила и рост не непрменные условия мужественного, самоотверженного поступка. Ребенок в сила видеть идеал и все лучше связывает с ней. Карапуз, которого собьет с ног порыв ветра не очень сильного, мечтает об избиении целого неприятельского полка, и его ее отрезвляет и тот факт, что няня, слабенькая старушонка, в положенный час тащит на руках в постель побивателя неприятельских полчищ, который беспомощно бьется на ее цепких руках.

Примите участие в его фантазии, представьте ему напр. неприятельские полчища уносящими детей от матерей, и вы внесете в мечты ребенка не должны занимать большое место в его жизни; в мире мечты уходят только несчастные дети. Мечта — отдых; — и горе, если она станет всепоглощающей, и детская душа привыкнет рано к опьянению гашишем.

Ребенок так легко воспринимает новые впечатления, в мозгу его накоплено ещё так мало следов, что довольно иногда немногих метких вопросов и замечаний на то, чтобы направить мечты его. Один мальчик рассказывал сказку о робинзоне своего героя даже если бы он и не проговаривался наивно, можно бы было угадать его самого в героя. Ему сказали: «что ж это, Вася твой уходит из дома и весел и ни разу не подумал, что расстался со своими, что они будут тревожиться и горевать? Ему их не жаль, какой же он черствый!». Мальчик покраснел и через несколько времени явился вариант о настроении Васи, герой сильно печалился, но уступал непреодолимому влечению. Вариант вызвал новое замечание, что прогулка на речной остров ночь проведенная в самодельном шалаше из ветвей были слишком дорого оплачены тревогами домашних; герой оказывался все-таки эгоистом, причинившим горе ради своей фантазии. Эта критика вызвала новый вариант — герой отправляется совершить какой-то подвиг.

С годами детская мечтательность все более и более приближается к действительности. Ребенок мечтает о путешествиях, сражениях, геройских подвигах, или о богатстве, крестах, чинах; но представления его фантазии приняли более скромные размеры. Он уже не побивает один целые полчища, не живет в дворцах из чистого золота; он не сказочный царь, перед которым трепещут миллионы. Правдоподобие мечтаний, стало его потребностью. Иногда у него



являются научные фантазии, он находит, что хорошо бы изобрести то или другое; если даже толчок в сторону истории, то он по своему перестраивает исторические события и спрашивает вас, что было бы, если бы этого не случилось и исторический герой поступил бы иначе. Детские мечты связывают все события с героями.

Воображение работает над материалом, какой дает жизнь и книги, и мечтательность по своему перестраивает окружающий мир. Дело воспитателей давать здоровый материал. Они часто впадают в ошибку, — воображают, будто весь материал дается только через них, и ничто не может быть получено помимо их. И какое горькое разочарование постигает их за такое ослепление. Ни один человек не может быть целым миром для ребенка, как бы велик ни был первый и мало последний. Даже если бы ребенка увезти на необитаемый остров, чтобы изолировать его от всех влияний, кроме влияния воспитателя, и тогда влиять будет природа. Руссо увез Эмиля своего, так сказать, на необитаемый остров, потому что представил влияние своего педагога абсолютным, и оттого книга эта, произвела переворот в воспитании, все же на практике иногда оказывается не совсем верным руководством. Руссо не указывает, как надо воспитателю пользоваться впечатлениями общественной жизни, чтобы воспитателю пользоваться впечатлениями общественной жизни, чтобы влиять на ребенка. А дети чутко отзываются на события общественной жизни; каждое становится для них предметом оживленных толков. Надо направлять мечты детей к великой действительности, не давать им зарываться в мелочных представлениях тесного уголка. Не беда, если мы тем пробудим с них стремления, которым не всем суждено осуществиться. Чтобы попасть к цели, нужно метить выше ее. Но раз дана детским мечтам широкая цель, ребенок застрахован он болезненного разъедания себя своими личными невзгодами, от мелочного ворошенья всего большого, что делает ему среда, от засушивания себя в своекоростных и честолюбивых мечтаниях.

*Наталья Леонтьева*

## НЕЧТО О ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

*Впервые опубликовано в: Женское образование. 1891. № 6/7.  
С. 619–626.*

В последние годы детская литература значительно обогатилась не только в количественном, но и в качественном отношении. Появилось много книг, написанных именно для детей, составленных так тщательно и осторожно, что маленький читатель не встретит там ничего непонятного или шекотливого; слог их хорош и доступен. Одним словом, по всему видно, что авторы этих сочинений добросовестно поработали над ними и искренне желали дать молодому поколению хорошую и здоровую пищу. Все гладко, умно, — и что же? Эти книги, к которым вы не можете представить никакого замечания, читаются детьми легко, но легко и забываются; очень немногие производят впечатление. Даже способные, одаренные хорошей памятью, дети часто смешивают одну повесть с другой — очевидное доказательство, что интерес не был возбужден. «Почему же», спрашивает себя педагог: «я то в детстве несколько раз перечитывал „Робинзона“ и сказки Андерсена да и теперь с удовольствием вспоминаю о приятных минутах, доставленных мне этим чтением?» Можно подумать, пожалуй, что наши подростки не то, чем были мы в их возрасте, и уже переросли предлагаемое им чтение. Но это предположение опровергается следующим фактом: дайте теперь детям того же старого Робинзона, и они не смогут оторваться от книги, волнуются, а потом бегут поделиться с вами полученными приятными впечатлениями. На детский суд можно положиться если не всегда, то очень часто, и приведенный факт свидетельствует о том, что в данном случае ребенок нашел именно то, что нужно для него. Между тем, авторы этих и им подобных старых книг не могли назваться педагогами, писали, «не мудрствуя лукаво», и Фребелевское общество едва ли бы удостоило их премии.

Чем же объясняется их постоянный успех у детей? Конечно, талантом писателя и присутствием поэтического элемента. Автор здесь не следит неусыпно за собой, опасаясь постоянно,

чтоб не вкралось в повесть, чего Боже избави, какое-нибудь слово или выражение, неизвестное молодым читателям. Он пишет, сам увлекаясь ходом рассказа, оттого то и книга так занимательна и читается с таким захватывающим интересом. Не беда, если в ней проскользнула где-нибудь мысль, понятная лишь взрослому и преждевременная для ребенка. Надо иметь слишком невыгодное понятие о детском воображении, чтобы думать, будто маленький читатель обратит внимание именно на вредные частности.

В этих книгах много душевной свежести, и потому они так близки ребенку, тогда как многие современные детские повести часто производят впечатление написанных по заказу. Берется не глупый и образованный человек за перо и говорит себе: «Я напишу повесть для детей и приведу в ней такую-то и такую-то благую мысль». И вот из-под его пера выходит страница за страницей; он ни на минуту не забывает, что пишет для маленькой публики, и тщательно обрабатывает свой слог. Действительно, благие мысли выражены легко, ясно, понятно, а между тем...

Не веселит

И сердца, так сказать, ничуть не шевелит.

Во время этого творческого процесса автор резонно говорит себе: «В детях необходимо развивать эстетическое чувство, а потому я помещу здесь несколько описаний природы». И вот он приводит их, но эти описания так шаблонны и слащавы, что преднамеренность их появления положительно бьет в глаза. Между тем, стоит ребенку прочесть сказку Андерсена «Ледяница», и у него навсегда остается в памяти Швейцария, как страна чудных гор, необозримых ледяных полей, и отважных охотников. Я помню, меня поразила толковый рассказ одной девочки о швейцарской природе. Оказалось, что она составила себе о ней понятие именно по этой сказке Андерсена, прочитанной ей 2 года тому назад. Читая же рассказ гладкий, но бесцветный, дети, как мы в этом убедились по опыту, очень часто не замечают ни места, ни времени действия.

И так, недостаток таланта и истинной поэзии составляет настоящую причину неуспеха современных детских беллетристов. Кроме того, мало развивать юным читателям трезвые и честные мысли, необходима пища не только их уму, но и их растущему воображению. Поэтому мы далеко не против Жюль Верна, живые рассказы которого производят сильное впечатление на детей и положительно наталкивают некоторых на серьезные занятия естественной историей. Сказочная форма в данном случае отнюдь не мешает.

Мы не хотим этим сказать, будто детям следует предлагать лишь интересное, но так как в классе им приходится слышать не одни занимательные вещи, но в силу необходимости знакомиться и с отделами довольно скучными, то лучше будет, если внеклассное чтение предложит им знания в более или менее увлекательной форме. Ведь и в глазах взрослого человека форма играет большую роль, и многие журнальные статьи, интересные по своему содержанию, часто остаются непрочитанными лишь вследствие сухости изложения: тем скорее подобное изложение оттолкнет ребенка от любой деловой статьи, может быть, хорошо задуманной но пестрящей именами и цифрами, от которых веет скукой. Современные рецензенты с снисходительным пренебрежением отзываются о Фурмане, тогда как этот писатель, несмотря на устаревший, сентиментальный слог, до сих пор сильно нравится детям; фабула скомпонована у него всегда живо и эффектно, и представленные им исторические личности рисуются, как живые. Производя постоянные наблюдения над внеклассным чтением учащихся, мы не раз могли убедиться в этой популярности Фурмана. Мы стоим за раннее ознакомление детей хотя с главнейшими событиями русской истории и думаем, что чтение хороших исторических повестей даст им фундамент, на котором учителю истории легче будет воздвигнуть здание.

Кроме живости рассказа и поэтического элемента, в книгах, написанных для детей, должен быть юмор, — юмор живой, легкий и светлый, потому что дети любят добродушно посмеяться: поэзия и смех необходимы для детской натуры. Между тем, наши детские писатели или оставляют эту сторону без внимания, или же их юмор тяжеловат и так же редко вызывает смех, как и пресловутое немецкое остроумие.

Признав некоторую несостоятельность современной детской литературы, мы считаем нужным сказать несколько слов о так называемых дешевых изданиях, которые, благодаря их доступной цене, охотно раскупаются родителями, наивно полагающими, что если эти книжки написаны для народа, то, стало быть, годятся и для детей. Да и религиозно-нравственные заглавия, как мы заметили, привлекают не мало, служа как бы ручательством полезности чтения. Как бы то ни было, факт остается фактом, и мы постоянно видим в детских руках эти полутора копеечные и трехкопеечные брошюры, так что волей-неволей нам приходится считаться с этим явлением.

Всего более читаются сказки Толстого, хотя мне случалось часто убеждаться в том, что родители снабжают ими детей, не ознакомив-

шись предварительно с содержанием сказок (прочитав на обложке имя автора, они не сомневаются в их достоинствах), и вот, так как эти сказки всего чаще попадают в руки юного поколения, мы и хотим поговорить о них с нашими читателями.

Сказки Толстого распадаются на два отдела: в одном проповедуется деятельная любовь, в других мистическая и беспочвенная мораль непротivления злу; в первых еще есть что-то симпатичное и любящее, вторые отзываются жестокостью и часто противоречат морали первых. Начнем с наиболее читаемой сказки толстого «Чем люди живы». Доктрины его, вообще несколько черствые и депотичные, являются здесь довольно мягкими, и на всем рассказе разлит какой-то трогательный колорит. Личности Матрены и Семена стоят перед нами, как живые, и естественности больше, чем в других сказках: здесь является ангел, но нет чертей, этих неприятных атрибутов последних произведений Толстого. (удивительно, как такой рационалист в деле религии может прибегать к подобным вымыслам). Но детей затрудняет последняя страница сказки с ее туманными рассуждениями о том, что люди живы любовью, — это многословие и эти повторения утомляют читателя.

Сказка «Два старика» не так пересыпана беспрестанными повторениями одной и той же мысли, и потому читается гораздо легче; она особенно может быть полезна ребенку, так как он, подобно народу, видит прежде всего в религии ее обрядовую сторону.

Если в сказке «Где любовь, там и Бог» выражена та же симпатичная и трогательная мысль, что и в предыдущей, то все же по своим литературным достоинствам она значительно ниже первой; нет ничего хуже такого рассказа, где тенденция проглядывает отовсюду, сквозит из каждой строчки, на каждом шагу позволит, так сказать, вам глаза; подобные произведения могут наскучить не только ребенку, но и человеку взрослому: усиленное подчеркивание вместо того, чтоб сосредоточить внимание на повторяемой мысли, приводит иногда к результатам обратным, и личность Елисея Бодрова, безмолвно делающего добро, скорее производит впечатление на читателя, чем сапожник Мартын, читающий нравочения каждому встречному и поперечному.

Рассказ «Упустишь огонь — не потушишь» близок и понятен народу и не страдает излишним многословием, в которое Толстой стал вдаваться с недавнего времени; поэтому и дети читают его с удовольствием. Но еще выше предыдущего рассказ «Бог правду видит, да не скоро скажет», лучшая вещь из всего написанного Толстым для народа. Правда и то, что эта историка относится к лучшей

поре его творчества, когда «великий писатель русской земли» не полагал еще, будто рабочая для народа, ему нужно забыть прежнюю художественную речь и изобрести особый язык, ультра-реальный и грубый. Этим отнюдь нельзя угодить народу, уважая печатное слово, он всегда ожидает от книги чего-то лучшего и высшего, чем обыденная грязноватая жизнь, и каждое бранное выражение, там встречающееся, неприятно поражает его. В выше названной коротенькой повести мы еще не находим этих позднейших недостатков: все чисто, ясно, просто и трогательно; это небольшой эскиз, набросанный мастерской кистью и наводящий на глубокую думу. Мысль здесь та же, что и в рассказе «Упустишь огонь — не потушишь» — надо вложить добром за зло, но какая разница в обработке, а потому и во впечатлении! Первую вещь дети читают охотно, но спокойно, без признаков малейшего волнения, хотя там есть 2–3 строчки, где проглядывает прежний Толстой (правда, проглядывает на минуту и сейчас же скрывается), зато, вторую вещь они выслушивают, затаив дыхание, со слезами на глазах и потом долгое время не могут опомниться и приступить к пересказу. Нужно заметить, что этот рассказ годится лишь для детей 13–14 летнего возраста, так как он нуждается в комментариях; то, что произошло с несчастным Аксеновым, возможно было только в дореформенной России, которая была, по выражению поэта,

В судах черна неправдой черной.

Итак, из первой категории рассказов только последний может быть назван безусловно хорошим и вполне пригодным для детского чтения: остальные же, если и хороши по содержанию, то по форме таковы, что педагог не решится их дать прямо в руки детям, не желая познакомить их с массой неприятных выражений; для детей, слог которых еще не образовался как нельзя более важно чтение сочинений, образцовых не только по содержанию, но и по языку.

Что касается второго отдела сказок Толстого, где трактуется о непротивлении злу, то наиболее читаемая здесь сказка «Свечка» кончается, как известно, тем, что добродетель награждается, а порок наказывается; между тем, это окончание ничего не объясняет, и близорукий читатель может даже подумать, что легчайшее средство избавиться от лихого человека — пожелать ему гибели. Выходит, что в данном случае победителем является, пожалуй, и не Михай, не противящийся злу, а энергично протестующий Василий: пожелал он врагу самой жестокой смерти, и его пожелание сбылось буква в букву, тогда как между непотухающей свечкой кроткого

Михея и гибелью безбожного приказчика замечается очень мало связи. Положим, рассказ о поступке безответного мужика заставил его призадуматься, но ведь не угрызения совести были причиной смерти приказчика, а запертые ворота и частокол. Составительницы прекрасной книги «Что читать народу» совершенно справедливо говорят, что рассказ «Свечка» может лишь служить поддержкой суеверия и мистицизма и приводит бесхитростных читателей и слушателей к самым неожиданным и, конечно, ложным выводам. В подтверждение этого они сообщают следующее замечание одного из прослушавших сказку крестьян: «Он Богу свечку поставил, чтоб приказчику помереть, на него загадали, он и помер».

Всего же рельефнее и ярче выражено это странное учение в сказке «Крестник», изумляющей читателя своими выводами. Мы, к сожалению, видели эту сказку в руках детей, почему и решаемся сказать о ней несколько слов. Эпиграф красноречиво говорит здесь о мысли автора: «Вам сказано, око за око и зуб за зуб, а Я говорю вам: Мне отмщение и Аз воздам». Автор, очевидно, не так истолковал себе смысл высокого евангельского изречения, направленного против мщения, а не против законной защиты себя или ближнего, проистекающей в первом случае из вложенного самой природой в человека инстинкта самосохранения, а во втором из той же любви к ближнему, которую так горячо проповедует наш философ. Положим, и софизмы могут быть ловко доказаны, но Толстой является непохожим на древних софистов, и сравнения, им употребляемые, страдают бездоказательностью, не говоря уже об их антихудожественности. Ища всюду правды, гр. Толстой оказывается здесь далеко непоследовательным и, обвиняя своего героя в том, что он открыл глаза близким на многое, чего они прежде не замечали, хочет как будто доказать справедливость безнравственной поговорки: «Правда хороша, а счастье лучше».

Герой сказки виноват в том, что, защищая родную мать, убивает разбойника. Выходит, что, по мнению автора, ему следовало спокойно смотреть на убийство. (История же раскаяния разбойника является крайне натянутой: подобное перерождение всего человека не может так легко совершиться). И это говорит тот самый проповедник, который убеждает нас стать ближе к природе, освежить наши чувства, очерствевшие под влиянием извращенных условий жизни. Что же может быть естественнее чувства детской любви? А, между тем, это естественное чувство человек должен подавлять в себе во имя каких-то отвлеченных рассуждений, — так, по крайней мере, требует Толстой. Он забывает, что настоящая любовь

проявляется именно в горячем порыве, выходящем из сердца, а не из рассудка. Впрочем, столь же странный взгляд на не менее естественное чувство материнской любви встречаем мы в последнем произведении Толстого, — там он вооружается против тех матерей, которые борются с детскими болезнями вместо того, чтоб предоставить все судьбе. Мы и раньше говорили о жестокости Толстовской морали, но здесь эта жестокость доходит до крайности.

Странная судьба тяготеет над великими писателями русской земли! Гоголь, родоначальник нашей натуральной школы, и первый «поэт пошлости», по удачному выражению покойного Градовского, вдался потом в мистический бредни, которые и привели его к «Переписке с друзьями», где он

Сжег все, чему поклонялся,  
Поклонился тому, что сжигал.

Достоевский начал свое литературное поприще романом «Бедные люди», а кончил его «Дневником писателя» с ярко выраженной славянофильской подкладкой и значительной примесью того же восторженного мистицизма. Наконец, Толстой, превзошедший реализмом Гоголя и Достоевского в первый период их деятельности, дошел до геркулесовых столбов отрицания, признав а la Руссо вред наук и искусств. Никто из них не остался верен идеалам своей юности! В чем тут разгадка? Отчего верен идеалам своей юности! В чем тут разгадка? Отчего на западе лучшие люди умирают под тем же знаменем, под которым бились всю жизнь? Или и тут сказывается любовь русского человека к крайностям: отрицать — так отрицать во всю ширь? Конечно, великие люди всегда и всюду ломали головы над теми вопросами, которые и названы *проклятыми* потому, что никогда не поддаются решению. Обыкновенный ум смиряется пред железной необходимостью, но такой человек, как Толстой может жить, подобно большинству, день за день, не задумываясь над задачами собственного существования; он пробудет их решить и в тоске мечется по тому бесконечному лабиринту, откуда не выведет никакая Ариаднина нить, принимая за выход то один, то другой из бесчисленных темных переходов.

Но мы отделились от предмета нашей статьи, в чем и просим извинения у наших читателей. Нам пришлось остановиться на сказках Толстого не только вследствие имени их автора, но и потому еще, что они породили целую подражательность литературу с особой мистической моралью и искусственной подделкой под народную



речь. Литература эта при всем однообразии направления разнообразна по содержанию: тут вы найдете и жизнеописание Сократа, и жития святых, и переделки лучших произведений иностранной словесности применительно к понятиям простого русского человека. Стремление образованных людей, занявшихся этой новой отраслью писательства, познакомить народ с биографиями великих деятелей и с содержанием классических иностранных романов и повестей, весьма симпатично, но они часто не так берутся за дело: обезображенная передача ничего не скажет народу, и подобное знакомство останется чисто фиктивным; надо действовать иначе и постараться поднять народ до понимания высоких произведений искусства, а не эти произведения спускать до уровня народного развития. Наша детская литература кишеть подобными переделками, которые только лишают детей удовольствия прочесть впоследствии ту же вещь во всем ее объеме, как нечто свежее и новое. Знакомьте детей с удобными для них отрывками из образцовых писателей, но не уродуйте хорошую вещь ради того, чтоб доставить ребенку возможность якобы познакомиться с ней несколькими годами раньше.

Мы заговорили о толстовской литературе потому, что она опять таки вследствие дешевизны брошюрок сделалась и детским чтением. И так по настоящее время наши дети не получают надлежащей духовной пищи — остается положить всю надежду на будущее. Может быть, и явятся в скором времени детские писатели и писательницы, которые, обладая несомненным талантом, облегчат трудную задачу педагога и дадут молодому поколению ряд неувядающих произведений.

Екатерина Балобанова

## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ АНДЕРСЕНА: В 4-Х ТОМАХ; ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ СКАЗКИ АНДЕРСЕНА. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ 6-ТИ ТОМАХ

*Впервые опубликовано в: Воспитание и обучение. 1894. № 3,  
март. С. 159–163.*

Собрание сочинений Андерсена: в 4-х томах. Перевод с датского подлинника А. и П. Ганзен. Том I, выпуски 1 и 2. Спб. 1894. Иллюстрированные сказки Андерсена. Полное собрание 6-ти томах. Перевод Б. Д. Порозовской, издание Ф. Павленкова Спб. 1894.

В нашей критической литературе до сих пор еще господствует то издавна установившееся у нас отношение к переводам иностранных художественных произведений, которые требуют от перевода лишь *легкости языка*, независимо от того, разбирается ли перевод какого-нибудь Вальтер-Скотта с его тяжеловатой речью прошлого столетия, мрачно напыщенного ли произведения романтической школы, или же, наконец грациозной повести Диккенса. В огромном большинстве разборов мы встречаемся со стереотипной фразой «перевод хорош — читается легко», «перевод плох — читается тяжело», и почти нигде не видим требования верной передачи духа, колорита и стиля произведения. При таком отношении нам, разумеется, все равно, с какого языка ни сделан перевод и проверен ли он или нет. Иногда даже прямо указывается, что такой-то напр. испанский роман переведен с французского *оригинала*(!). Таким образом сами понятия оригинала и перевода представляются нам довольно смутными.

За последнее время особенно посчастливилось у нас северной литературе вообще, а Андерсону по преимуществу.

Андерсен, знаменитый датский писатель (родился в 1805 г., умер в 1881 г.) не менее пятидесяти лет служивший высоким идеалам правды и добра, ни разу не уклонившись со своего пути, оставив яркий след не только в истории литературы своей родины,

но и в истории всемирной литературы. У него явилось не мало подражателей, главным образом его сказкам, но никто не мог сравняться с ним в изяществе, поэзии и правдивой простоте его произведений. Переводы его сказок существовали у нас уже давно и в настоящее время из них только что изданы вновь; но кроме того явилось еще два совершенно новых перевода их — гг. Ганзен и Б. Д. Порозовской. Вот об этих-то переводах я и позволю себе поговорить. А. и П. Ганзен задались целью познакомить русскую публику не только с более или менее известными сказками Андерсена, но и со всеми его сочинениями, повестями, рассказами, романами и проч. с которыми до сих пор мы совершенно не были знакомы. Переводчики решили дать нам сочинения Андерсена в их хронологическом порядке, чтобы дать возможность проследить ход развития таланта, что, разумеется, очень важно для знакомства с автором.

В настоящее время вышло всего еще только два выпуска I-го тома, заключающие в себе тридцать сказок. Поскольку можно судить по этим выпускам мы будем иметь прекрасный перевод сочинений Андерсена. Сказки, вошедшие в эти выпуски, отличаются не только точностью перевода, но и пониманием всех мельчайших деталей подлинника. Особенно удается переводчикам передача тонкого юмора Андерсена. В вышедших выпусках мало сказок лирического характера, так как они относятся уже к более зрелому периоду развития таланта автора, но по тем образчикам, которые имеются в этих выпусках, такого рода сказки удаются переводчикам менее первых, хотя и тут перевод во всяком случае прекрасный, но в них местами не достает тонкого изящества подлинника, часто почти неуловимого. Язык перевода хорош, даже иногда чересчур хорош, если можно так выразиться: переводчики подчас как будто слишком увлекаются отделкой языка, заботой о его колоритности и выпуклости, и в некоторых случаях в этой колоритности тонет изящество безыскусственно простой речи Андерсена, вследствие чего тон сказки является иногда не совсем выдержанным.

Изредка встречаются не вполне удачные выражения, как напр. в сказке «Огниво» (стр. 5): «солдат *срубил* старухе голову», или в сказке «Соловей» (стр. 199): «это *стояло* в книге», «приходится *вычитать* о ней из книг», и проч. Но, во всяком случае, подобных промахов не так много, чтобы они могли портить впечатление, и забота о языке перевода такая у нас редкая вещь, что за нее переводчики во всяком случае ничего не заслуживают, кроме благодарности.

Внешняя сторона издания — шрифт и бумага, удовлетворительны и книга читается без утомления.

Перевод Б. Д. Порозовской оказывается не так удачен, как предыдущий. Переводчица тоже, видимо, не мало потрудилась над своим переводом, она даже составила недурной очерк о жизни Андерсена по его автобиографии, — но она обнаруживает некоторое незнание с языком подлинника. Так, напр. попадаются у нее «кучи мусора» вместо «жидкой грязи» (Калоши счастья, 155 стр. I т.); или «душистая изгородь» вместо «цветущего куста» (Дикие лебеди, 43 стр. I т.); или же в сказке «Принцесса на горошине» автор оканчивает рассказ восклицанием: «See, det var en rigtig Høstorie!» т.-е.: «вот так история!» или «вот так настоящая история» — г-жа Порозовская переводит: «Да, это не сказка, а самая что ни на есть — правдивая история» (201 стр. II т.). Затем «большой Клаус» и «малый Клаус» превратились у переводчицы в Ивана и Иванушку, хотя имя Клаус соответствует нашему Николаю. (155 стр. II т.). Кроме подобных мелочей, которых однако встречается в переводе не мало, мы можем упрекнуть переводчицу и в более крупных недочетах. Так напр. в сказке «Дикие лебеди» мы читаем в оригинале: «По берегам ее деревья протягивали над ней друг к другу свои длинные, полные листьев ветви, и где при естественном их положении они не могли достать друг друга, там выдрали из земли свои корни, склонились они над водой, переплетаясь между собой ветвями» (I). (H. C. Andersens Eventyr og Historier. Første Bind, стр. 204. *Deviede Svaner*).

У г-жи Порозовской мы читаем:

«Там, где они не могли дотянуться друг до друга, корни их высовывались из земли и висели над водой — сплетаясь с ветвями»<sup>1</sup>.

Картина, разумеется, невероятная.

Встречаются искажения, происходящие от недостатка знакомства с предметом. Так Фата-Моргана — фея тумана — принимается за фату-моргану, т.-е. мираж, в родительном падеже употребляется *фата-морганы* (33 стр. I т.). Погрешностей против русского языка встречается тоже не мало: в сказке «Огниво» «солдат отрубил ведьме голову, и она бухнула на землю»; лебеди подхватили сеть с сестрой, которая еще спала: «солнечные лучи падали прямо не ее лицо, а потому один из лебедей носился над ее головой» (вместо летел, держался) (31 стр. I т. Дикие лебеди); там же, на предыдущей странице: Элиза увидала лебедей «летевших по направлению

<sup>1</sup> Сказка «Дикие лебеди», I т., стр. 29.

к берегу. Они *носились* вереницей один за другим» (вместо: они неслись), — видимо, глагол этот как-то не дается г. Порозовской. Что же касается до языка перевода, то он легок, но не колоритен, бледен, однообразен и совершенно не напоминает собой изящного, простого, но вместе с тем и глубокого поэтического языка Андерсена. Недостаток этот легко было бы объяснить себе, если бы г-жа Порозовская не с датского оригинала, а напр. с немецкого или английского перевода, при чем, разумеется, произведение по необходимости вдвойне утрачивает свой колорит, но так как у г-жи Порозовской ничего об этом не сказано, то и этот крупный недочет приходится вменить в вину самой переводчице.

С внешней стороны издание г. Павленкова тоже значительно уступает переводу А. и П. Ганзена: мелкая, чересчур компактная, а потому слепая печать, при скупости на поля, является большим недостатком в книге, которая читается по преимуществу детьми.

*Е-в В.*

## МЫСЛИ В. П. ОСТРОГОРСКОГО О ДЕТСКОМ ЧТЕНИИ

*Впервые опубликовано в: Педагогический листок. 1894. № 3/4, июль-дек. С. 19—22.*

Влиянию книги на ребенка В. П. Острогорский приписывает высокое развивающее значение. Он настаивает на необходимости начать регулирование этой могучей воспитательной силы с самого раннего возраста жизни ребенка, — с его первых шагов на пути умственного развития, в ту пору, когда ещё он всецело находится на попечении матери. Мать начинает развивать в ребенке бессознательные, на первое время, художественные интересы, стоя у колыбели и напевая ему детские песенки, под мирные звуки которых он мирно и тихо засыпает. Ребенок покидает люльку, и мама с няней занимают его то сказочкой, то народной шуткой — прибауткой, то басенкой и т. п. В ребенке незаметно складывается художественный вкус, чувство ритма, гармонии, мелодии и красоты. Все это служит очень важной подготовкой к тем высоким наслаждениям, которые впоследствии откроются для более воспитанного и развитого вкуса при чтении избранных книг.

Ребенок, прежде чем научиться сам читать, прислушивается к чтению взрослых. Чтобы быть интересными полезным, то чтение должно быть выразительно.

В. П. Острогорский на всю жизнь сохранил глубокую благодарность к памяти своего отца за то, что он перед ним, пятилетним ребенком, еще не знавшим грамоты, с детства искусством читал стихи. Это дало ему возможность с детства запомнить множество стихотворений лучших поэтов и получить любовь к поэзии и к декламации.

Сознавая высокую важность первых детских впечатлений, В. П. Острогорский не маловажное значение приписывает той духовной атмосфере, в которой ребенок с самого раннего возраста. Эта атмосфера должна поддерживать в ребенке, так сказать, эстетическое настроение, т. е. любовь к прекрасному.

Окружающие ребенка лица должны сами любить и ценить литературу и поэзию. «Замечая, с какой бережливо, заботой, с каким уважением и любовью относится к книгам и портретам писателей его близкие, он сам приучается видеть в поэзии что-то важное, дорогое, и впоследствии, когда у него самого заведутся свои книги, портреты, статуэтки, иллюстрации к произведениям авторов, будет относиться к ним также и сам»<sup>1</sup>.

Слово «эстетика» автор понимает в широком смысле. Сюда входит не только все прекрасное в художественном смысле, но и нравственно благородное, высокое и светлое. Главнейшей задачей литературы он считает духовное улучшение людей и их нравственных взаимоотношений; внушение высоких идеалов человека и гражданина и т. д.

Все эти чувства еще раньше книги должны зародиться в ребенке, вернее сказать, должны впитываться с молоком матери. Для этого мать должна быть сама развитой, мыслящей личностью и идеалисткой по своим воззрениям на мир и окружающее. Она должна вся проникнуться сознанием великого поэтического смысла жизни. Понимание поэзии жизни дает возможность человеку проникнуться интересом к жизни, и испытывать великое удовольствие и наслаждение так, где другие ощущают одну скуку. Чтобы уяснить себе точку зрения автора на поэзию жизни, приведем его подлинные слова. «Огромное большинство людей живет вовсе без всякой серьезной оглядки на себя и окружающее, так сказать, бессмысленно, пассивно, изо дня в день, без внимания и вдумчивости во все происходящее вокруг; живет по шаблону, не выступая из чужого опыта, или поверхностного наблюдения над тем, что у них под носом, без внимания и вдумчивости во все происходящее вокруг; живет по шаблону, не выступая из ходячих понятий, принятых на веру, и обходясь только самым ограниченным количеством мыслишек, выведенных из чужого опыта, или поверхностного наблюдения над тем, что у них под носом, без всякой связи с общим. Такие люди, как Чичиков, Собакевич, Петухи, не имеют способности видеть в деньгах ничего, кроме средств к приобретению богатства, положения, возможности удовлетворять всяческие потребности. Для таких людей, конечно, мертва и нема жизнь. Но есть натуры, одаренные от природы умом, чтоб видеть не только сверху, но и глубь чувством, чтобы ощущать не толь-

---

<sup>1</sup>«Письма об эстетическом воспитании», стр. 47. См. рецензию об этой книге в библиографическом отделе.

ко доступное чувствам внешним, но и внутренним — нравственным, религиозным, общественным, патриотическим; такие натуры восприимчивая, с живым воображением и чувством, и называются *поэтическими*. Оно-то имеют способность открывать, подобно художникам, поэзию жизни, или её внутренний смысл там, где эта жизнь для других нема и часто составляет одну тяготу и скучное прозябание, даже при семье и детях. Такими натурами поэтическими и должны прежде всего быть наши женщины — матери, чтобы эстетически воспитать своего ребенка»<sup>2</sup>.

Дорожа эстетическим развитием детей, г. Острогорский отрицательно относится к тому балласту, которым преисполнена наша специально — детская литература. И он вполне прав. Он мог-бы в этом отношении, в подтверждении своей мысли, привести слова Белинского, которые во всей полноте не потеряли значение и до наших дней. Великий критик остроумно заметил, что писанием специально для детей занимаются особенные люди. Это — те, по большей части, труженики, у которых охота смертная, да участь горькая. Они, во что бы то ни стало, хотят быть писателями, но им не удастся помешать свои произведения нигде; тогда они принимаются за последнее средство: начинают писать для детей.

Естественно, что г. Острогорский так и боится вредного влияния такой литературы. Он говорит: «всякие, какие бы то ни было, благонамеренные и нравственные, хотя-бы и занимательно-написанные специально для детей, повести, или стишки, если только они не имеют обще-художественного интереса и для взрослых, как напр., сказки Андерсена, Гофмана, Пушкина и т. д., только портят вкус, и никто из замечательных людей ни России, ни заграницей, но специально беллетристике, как показывают биографии, эстетически не развивался»<sup>3</sup>.

Собственно, для детей, по мнению г. Острогорского, должны составлять только книги содержание исторического, этнографического, биографического, и о природе. «Да и тут было бы всего лучше, если составитель с изящным вкусом и литературным пером взялся за умелые выборки, сокращения и пересказы из сочинений тех знаменитых путешественников и ученых, которые с громадными заслугами научными умели соединять горячую любовь к предмету и мастерство занимательнейшего и одушевленного изложения, как

---

<sup>2</sup>«Письма об эстет. воспит.», с. 71–72.

<sup>3</sup>«Письма об эстет. воспит.», с. 48–49.



напр., Гумбольд, Арго, Гартвиг, Пьери, Мишле, С. В. Максимов, Костомаров, Руле и мн. другие»<sup>4</sup>.

Конечно, мнение автора в общем верно: дети могут заинтересоваться и увлечься наукой только тогда, когда она передается человеком, овладевшим ею вполне излагающим её мастерски. В последнее время, не говоря уже о крупных беллетристах, и представители наук стали у нас писать специально для детей: Кайгородов, Богданов, Авенариус и др. Понятно, что труды их чрезвычайно полезны. Сочинения, написанные для взрослых читателей, хотя бы и популярно изложенные, даже не во всей полноте доступны для детей. Поэтому нельзя не пожелать, чтобы те из ученых, которые владеют даром говорить с детьми, принимали бы участие и в литературе для маленьких читателей. Нужно только помнить, чем меньше возраст читатель, тем занимательнее должно составляться для него статьи. Чтение для детей должно прежде всего составлять для него статьи. Чтение для детей должно прежде всего доставлять удовольствие, действовать на чувство, воображение, фантазию.

Было бы весьма жаль, если будет дело, начатое семьёй, не продолжалось и не развивалась далее и школьном возрасте воспитанника. По мнению г. Островского, литературное образование человека должны идти последовательно, год за годом, по ступеням развития индивидуума. В своей книге «Беседы о преподавании словесности» г. Островский подробно и обстоятельно указывает, что и в какой последовательности следует читать детям, начиная с подготовительного класса и до самого последнего. В другой своей книге «Русские писатели» он даёт руководство к избранному чтению из наших первоклассных писателей. В указанных трудах, к которым мы и отсылаем наших читателей, г. Островский устанавливает широкий и целостный план последовательного для детей и юношей чтения с целями умственного и нравственного развития подрастающих поколений.

---

<sup>4</sup> «Письма», с. 49.

Е. Т.

## СКАЗКИ З. ТОПЕЛИУСА, ПРОФЕССОРА АЛЕКСАНДРОВСКОГО

*Впервые опубликовано в: Воспитание и обучение. 1894. № 7, июль. С. 293–294.*

*Сказки З. Топелиуса, профессора Александровского. Перевод со шведского М. Гранстрем. Издание третье, дополненное, с 24 рисунками. Спб. 1893 г. 250 стр. Цена (?).*

Философское положение Локка: «*nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu*» вполне применимо к той отличительной черте детского ума, в силу которой все воспринимаемое и понимаемое ребенком представляется образно, конкретно, в противоположность абстрактному пониманию взрослых. Дети живут почти исключительно непосредственными впечатлениями, и поэтому обращаться к их уму можно только посредством чувства, а не прямо. Общие выводы и соображения ребенок может делать только из конкретных фактов.

Отсюда детская книга должна давать как можно более ярких и наглядных картин и как можно менее (лучше, если и совсем в ней не будет) нравоучений и отвлеченных рассуждений. Голая сентенция может повлиять на субъекта исключительно потому, что в душе его уже сложилось известное чувство, составилось известное представление, которое затрагивает сентенция и переводит его из инертного в активное состояние. Слова сами по себе ничего не создают в нашей душе; они только вызывают наружу то, что в ней уже есть. У ребенка же чувства и представления приходится еще создавать, а создаются и выясняются они не иначе, как конкретными, фактическими впечатлениями самой жизни. Поэтому всевозможные нравоучения не имеют для дитяти решительно никакого смысла: оно их не понимает и не обращает на них внимания, ибо слово — пустой звук до тех пор, пока оно не выражает прочного чувства и ясного, определенного представления.

Из сказанного следует, что во всяком литературном произведении для детей идея должна жить в лицах, а не быть пристегнутой

белыми нитками к рассказу. Вывод ребенок сумеет сделать сам, и этот свободный вывод прочно и твердо уляжется в голове дитяти.

Удовлетворяют ли указанному требованию сказки проф. Топелиуса? Мы должны отвечать отрицательно. Проф. Топелиусу недостает творческой способности, художественности, вследствие чего его образы и картины бледны, и идеи, лежащие в основе их, мало выразительны и мало понятны для детского ума. Проф. Топелиус, по-видимому, сам сознает свой недостаток и прибегает к ложному приему, вводя в изобилии отвлеченные рассуждения, моральные сентенции, как бы желая таким путем прийти на помощь ребенку в деле усвоения им смысла сказок, и тем окончательно портит даже наиболее удачные из них.

Таково наше мнение о сказках почтенного профессора. Мы не вдаемся в детальное рассмотрение их, так как они выходят уже третьим изданием и не раз служили предметом всестороннего обсуждения в педагогической литературе<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>См. «Восп. И Обучение» за 1886 г. стр. 56, где помещен подобный же отзыв о сказках Топелиуса, издания 1882 г., и написанный другим лицом

М. А. Ч.

## ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СКАЗКИ

*Впервые опубликовано в: Воспитание и обучение. 1894. № 1, янв. С. 45–50.*

Сказка появилась еще в то отдаленное время, когда народ находился в состоянии младенчества и, уподобляя себе весь мир, оживлял его и населял фантастическими, но в то же время себе подобными существами. Народ еще не умел мыслить абстрактно и выражал свои идеи при помощи образов. Так было в отдаленные времена древности, так это и по сейчас в простом народе. Начните разговаривать с крестьянином о каком-нибудь отвлеченном, хотя и доступном его пониманию вопросе, и он тотчас же сведет свою речь к рассказу конкретных, подходящих случаю фактов, к образному мышлению. Еще лучше можно заметить это на детях. Повторяйте им тысячу раз одну и ту же нравственную ситуацию, и она все же останется для них мертвой буквой; расскажите им повесть, сказку, проникнутую той же самой мыслью — и ребенок взволнован, потрясен ей. Есть рассказ Антона Чехова на эту тему. Маленький мальчик вздумал курить. Его наставляют на путь, но он остается глух к убеждениям старших. Отец рассказывает ему трогательную историю, как вредно повлияет курение на здоровье одного мальчика, и сын со слезами бросается на шею отца и обещает никогда не курить. Таких фактов из жизни детей можно подсказать много, и каждому воспитателю приходилось иногда употреблять с детьми этот прием убеждения. Не даром наша детская литература еще недавно так изобиловала поучительными рассказами. Дело в том, что чем ближе рассказ к голой сентенции, тем менее он действует на детей, и только вполне художественное произведение может оставить прочный след в душе ребенка. Этой способностью детей мыслить образами нельзя пренебрегать, да ей и не пренебрегают на практике. Сказка издавна сделалась неразрывным спутником детских лет. Сведенная взрослыми на степень забавы, для детей она остается могучим рычагом нравственного и умственного развития. Вспомните детские годы Пушкина и сказки его старушки-няни, которой единогласно приписывают такое огромное значение в его

жизни. Вспомним и свое детство и юность. Разве не случалось нам иногда высказать мысль, как нечто неподлежащее сомнению, и, встретив возражение противника, признаться самому себе, что мы, не отдавая себе в этом отчета, вынесли ее из сказок, которыми нас убаюкивали в детстве. Сказками пользуются все или почти все родители и воспитатели, но слишком часто бессознательно, по привычке, не придавая им их настоящего значения. Есть и такие, теперь уже немногие педагоги, которые являются гонителями сказок, как вымысла, небывальщины, искажающей действительную жизнь и поселяющей в душу ребенка веру в чудесное. Но даже при самой незначительной помощи со стороны взрослых ребенок без затруднения научится отличать вымысел от действительности; вера в домовых для него совсем не опасна, если из окружающих его никто не верит в них; окружающие могут тотчас же разрушить эту веру, если она и появится. Сказка есть плод фантазии; она слагается из знакомых ребенку черт, комбинируемых в новую форму, и от нее и только от неё ребенок научится синтезу, созданию нового целого из известных частных, научится творчеству. Роль воображения, фантазии и творчества в умственной жизни человека выяснена, и важность их признана. Но и в деле нравственного развития способность творчества имеет огромное значение: только при ее помощи является возможность выработать идеал. Сказка более всего способствует его созданию, она же должна вселять и верить в него. У Вагнера есть «Сказка», но на вопрос внучки зачем существует сказка, бабушка начинает рассказывать трогательную историю принцесс Альмара и ее жених прерывает ее на самом на самом интересном месте. «Ну, а дальше что?» спрашивает ребенок. «Тебе бедную Альмару», говорит бабушка «жаль все доброе и хорошее и не жалко злого, и дурного, — вот и все, для чего существует сказка», Вагнер полагает, что только в этом значении сказки, но, однако этим исчерпывается все ее значение; сказка осталась неоконченной и не дала слушателям никакой идеи. Главная, господствующая идея во всех настоящих как народных, так и искусственных сказках — это торжество добра, вера в идеал, оптимизм. Оптимизм иногда ошибочно смешивают с довольством жизнью и с отсутствием стремления к высшему. Между тем это слово обозначает только такое мирозерцание, в основе которого (в противоположность пессимизму) лежит вера в лучшее будущее: это одно уже обуславливает и недовольство настоящим и стремление к лучшему. Такой оптимизм дает возможность создав идею добра, поверить в нее и сделать ее руководящей нитью своей жизни.

У нас слишком много Гамлетов и почти нет Дон-Кихотов, а прогресс может двигаться без болезненного анализа вечно сомневающегося Гамлета. Можно, анализируя действительность, находить в ней почти одни недостатки, можно сомневаться в истине основных идей нашего времени, но при всем том необходимо сохранять веру в возможность лучшего. Только такое мнение плодотворно. Без этой веры какой смысл бороться со злом, какой смысл в самой жизни? Без этой веры жизнь действительно становится пустой и глупой шуткой, и только вера в идеал способна дать ей серьезное содержание. Эта вера должна сообщаться ребенку с первых лет его жизни, и лучшим средством для этого является сказка. Сама сказка возникла из недовольства окружающим, из стремления к лучшему; она есть реализация мечты.

Идея сказки должна быть выражена резко и определенно без уступок, как и всякая проповедь добра. Поэтому такие сказки, как например «Страшная месть» Гоголя, могут иметь вполне вредное воспитательное значение. Сомнению в преимуществе добра, снисхождению к злу в сказке нет места. Если сказка возбуждает слишком сложные, недоступные ребенку чувства или требует от него непосильной умственной работы, она тем самым ослабляет свое впечатление, основная идея бледнеет и стирается в воображении ребенка.

Бесспорно, первое место среди сказок принадлежит сказкам народным. Русская народная сказка по своей простоте, живости, картинности, по глубине жизненной и идейной правды должна занять первое место среди сказок всего мира. Для русских детей она имеет и еще другое, не менее важное значение: она знакомит их с народным бытом, она передает им народное мирозерцание. И если русская интеллигенция имеет с народом так много общих симпатий, то она в значительной степени обязана этим сказкам, с которыми одинаково знакомы дети всех классов. Народная сказка, служа, как всякая другая, развитию синтетической способности в ребенке, развивает в то же время и анализ. Ребенок привыкает улавливать в ней и выделять знакомые черты окружающей его жизни. Для детей интеллигентной среды народная сказка первый и главный путь к сближению с народом. Жизнь народа, его нравы, быт, сам язык и наконец его идеалы и мировоззрение становятся ему понятны, близки и дороги с самого детства. Только при условии такого, если не врожденного, то с детства привитого, понимания может быть действительно полезной и плодотворной всякая работа интеллигента на пользу народа. К сожалению, слишком часто

вместо народной сказки детям дают грубую подделку. Фальшь и ложь в сказке вносят в жизнь ребенка самый опасный и самый вредный диссонанс. Фальши и лжи в сказке надо избегать более всего, потому что она сама есть олицетворение торжества истины и добра. Если у нас и попадаются сборники хороших сказок, то рядом с ними немало таких, составители которых не обращали ни малейшего внимания на идеи сказок; нередко рядом встречаются сказки с не только совсем различными, но прямо противоположными идеями. Еще менее, даже в хороших сборниках, соотносятся их составители с возрастом детей. А между тем литература сказок, как народных, так и искусственных, между которыми не мало истинно художественных произведений (многие сказки Андерсена, Вагнера и других), настолько богата, что могла бы дать материал для всех возрастов, начиная с едва лепечущих малюток и кончая взрослыми юношами. Гг. педагогам более чем необходимо поработать над составлением таких сборников.

*С-в. Ир.*

## СКАЗКИ В ДЕЛЕ ВОСПИТАНИЯ ПЕРВОГО ДЕТСТВА

*Впервые опубликовано в: Вестник воспитания. 1894. № 2.  
С. 190–196.*

### **II. Сказки в деле воспитания первого детства.**

Те общие рассуждения г. А-та о «рациональной педагогии», которые мы приводили и оценивали выше, представляют только, так сказать, общее вступление к рассмотрению частного вопроса об отношении «рациональной педагогии» (конечно, с точки зрения г. А-та) к сказкам и притом к сказкам специально детским, можно даже сказать к сказкам для детей в возрасте до 5 лет, самое большее, до 7. Нечего и говорить, что г. А-т на измышленную им «рациональную педагогию» сваливает все глупости, все несообразности, все даже эксплуататорские приемы книжного рынка по отношению к детским сказкам. Само собой «рациональному педагогу» от г. А-та и тут достаются только самые неодобрительные и презрительные аттестации, вроде, напр. такой: «Увы, его бедная головушка не думает и не воображает, что главное то извращение понятий находится не в детских головах, а в его собственной голове, придавленной тяжестью непереваримого педагогического материала». «Рациональным же педагогам» г. А-т придает кличку «каменных прозаических умов», «рациональных чиновников от педагогии», а свою «рациональную педагогию» называет слепорожденной и, конечно, не только справедливо, но даже слишком снисходительно, что, вероятно, объясняется его авторским пристрастием. Та «рациональная педагогия», которой занимается г. А-т — не только слепорожденная, но и лишенная всех других чувств, след., прямо мертворожденная, и напрасно он посвящает этому трупу так много внимания и отнимает у других так много времени.

В мою задачу здесь впрочем не входит проследить все длинные, хлестко-фельетонные рассуждения, соображения, сравнения и более всего глумления г. А-та, главная задача которых заключается не столько в том, чтобы разъяснить дело, сколько в том,



чтобы вызвать аплодисменты толпы, всегда любящей яркие цвета, резкие звуки, грубые слова, сильные контрасты, пошлый смех и едкое глумление — над чем, это для нее совершенно все равно. Но особенно толпе много удовольствия доставляет тот, кто общественному поруганию подвергает что-либо превосходящее её понимание, а особенно если это «что-то» служит в тоже время укором толпе в нравственном отношении. Но это так, к слову. Нельзя же в самом деле не поворчать ввиду явных несообразностей, которые себе позволяет шестая великая держава, периодическая печать.

Я хочу здесь собственно остановить внимание на значении сказок для маленьких детей, на определении — какие сказки для них наиболее подходящие и какие совсем негодны. Все мы в детстве, вместе с молоком матери, с её горячими ласками и нежными словами, упиваемся и сказками, как и разного рода колыбельными и игорными песнями. Это было очень давно, но в моих ушах и до сих пор ещё как будто стоит припев возвратившейся из лесу козы: «Козлятушки, мои детушки! Отопритесь, отомкнитеся, а я, коза, в бору была, ела траву шелковую, пила воду ключевую»... Этого мало. Я слышу тот же припев, но напеваемый грубым голосом волка, который старается обмануть запершихся в избушке, козлят. После того, как волку не удалось обмануть их в первый раз, он пошел в кузницу, чтоб сделать язык свой тоньше... «А разве у волка язык железный?» «Железный, голубчик», не обинуясь, отвечала нянька и напевала второй раз тот же припев уже тонким голосом. Конечно глубокая жалость в детском сердце пробуждалась, когда в третий раз волку удалось наконец обмануть козлят, а затем их пожрать... Но едва ли ещё не жалче было возвратившейся матери-козы... Нянька так жалобно при этом напевала, что навертывались слезы на глазах... Но зато, какая радость была, когда лиса обманула самого волка, заставила его хвостом рыбу ловить в проруби и быть затем здесь убитым, так как хвост его примерз ко льду и он поэтому не мог убежать... Или вот и до сих пор перед моими глазами развертывается картина, как «за горами, за долами, за тридевять земель, в тридесятом царстве жил-был царь Горох» — и была у него Неулыба-царевна — дочь или сам Иван-царевич... Едет этот Иван-царевич на Конне-горбунке или летит на ковре-самолете куда-нибудь на море-океан, на остров Буян за кольцом — или в царский терем за спящей девицей, — совершает он там разные невиданные подвиги... Особенно меня удивляло, как этот он или Иван-дурачок подскакивал на коне до седьмого венца царских хором... А этот Иван-дурачок... Каким умницей оказался! Царевну вылечил или

освободил и на ней женился... А Жар-птица! Этот один восторг, как удалось добыть её все тому же Ивану-дурачку... А милая золотая рыбка! Да разве все эти, действительно, бесхитростные, непосредственно вылившиеся из народных фантазий сказки — не выше пресловутой «Красной шапочки», где вместо козлят волк пожирает людей... Конечно, очень жаль бедную «Красную Шапочку», жаль и её бабушку, но гораздо лучше, «рациональнее» культивировать это чувство не на пожирании людей зверями, а на пожирании ими тех животных, которые обычно служат им пищей. Для первого детского возраста, по-моему, самые лучшие сказки те, которые принадлежат к области чистого животного эпоса и которые в таком разнообразии и обилии находятся в устах нашего народа и в сборниках Афанасьева, Даля и других собирателей наших народных сказаний. Я прямо удивляюсь, почему так пренебрегают этим богатым источником наши составители и издатели «детской литературы», а вместо этого предлагают разные «немецкие сказки по-русски», написанные, по выражению г. А-та таким «откровенно подлым языком, каким нельзя на самом деле писать для детей сказок». Я этих сказок не читал, но судя по тому, что о них рассказывает г. А-т, это действительно, должно быть, — «гадость, а не сказки», как и все издательские переделки (вернее сказать — проделки) сказок более или менее популярных и потому обещающих хороший барыш. Я не вполне соглашаюсь с г. А-том, что «сказка, детям понятная, должна быть прежде всего без мотивов, без всяких нравоучительных целей», но вполне согласен, что такая сказка должна быть «как можно конкретнее по своей фабуле и отвечать на вопросы: что? как? и где?» и опять не вполне согласен, что она «вовсе не должна отвечать на вопрос: „почему?“» — Г. А-т несколько ниже говоря о сказке про Сову, сам противоречит этим своим утверждениям.

И сам г. А-т, и его дочка, 3 с небольшим лет, оба очень любят сказку о Сове, в распространенной семейной импровизации. Фабула этой сказки большинству, конечно, известна. — Летит Сова, а на встречу ей Коршун. «Куда?» «В лес обедать». «Не трогай только моих деток». «А какие они?» «Самые красивенькие», отвечает по материнской слабости Сова. Коршун, действительно не трогал красивеньких птенчиков других птиц, а некрасивых, пучеглазых совят поел. Тут общеизвестной фабуле и — конец, для детской головки совершенно достаточно этого материала для размышления, особенно когда рассказчик или рассказчица несколько распространятся о характере и виде Совы, Коршуна, других попутных птиц, а также их птенчиков. Но в домашней редакции г. А-та сказка

продолжается в таком виде. Только что Коршун съел последнего совенка, как прилетела сова и стала его укорять в жестокости и нарушении слова, упав, дескать, в тоске и отчаянии на землю (это, заметьте, рассказывается девочке 3 лет, тогда как г. А-ту кажется удивительным, как это детям 3–4 лет говорят, что серый волк на старости стал писать записки!). Затем «Сова собирает перышки своих птенцов и хоронит их в одной могилке под развесистым деревом, а Коршун, видя это горе совей кумы, дает слово *вовсе* не есть более никаких маленьких птичек». И вот опечаленная Сова объявляет это решение по всему пернатому царству, и там возникает такая радость, что все птички слетаются к деревьям и цветам, растущим на могилке маленьких совушек, и поют радостные песни, которые утешают скорбящую о гибели своих деток мать. «Слушая эту *бесхитростную* (курсив мой)», продолжает г. А.-т, сказку, дитя (уже более года, след., начиная с 2 летнего возраста) часто затевает такой диалог: «А хорошо поют птички?» «Хорошо, деточка» (речь очевидно, идет о Сове и не о Коршуне). «А совушкам хорошо лежать в могилке?» — «Хорошо, деточка» (Да, ведь, совушек Коршун съел, и Сова собрала только перышки). «А они слышат, как поют птички?» — «Не знаю, деточка». (Что очевидно, тоже относится к съеденным Коршуном совушкам). «А сова плачет?» — «Плачет, деточка». «Отчего плачет?» (Как же сказка может *вовсе* не отвечать на вопрос — почему?). «Ей деток жалко». «А Коршун, он улетел?» — «Навсегда улетел». «Знаешь, мамочка, кто я?» — «Кто?» «Я, мамочка, белая куропаточка — хорошенькая». Очевидно, говорит вслед за этим г. А-т, успех сказки отличный.

Интересно, однако было бы знать, какой ответ получила бы дочка г. А-та, если бы она спросила: «А Коршун, мамочка, птичек уже не ест» — Живи она в деревне, она прямо сказала бы: «Как же, мамочка нынче у нас летом коршун со двора цыпленка унес?».

Затем вернемся к вопросу о мотивах и нравоучительных целях. По домашней редакции г. А-та Сова летит за лекарством больной деточке. Что это — мотив или нравоучительная цель — А вся эта похоронная прибавка и самое заключение сказки — без мотивов и нравоучительных целей?

Я совершенно согласен с г. А-том, что доставать из волчьего брюха Красную Шапочку и её бабушку, распарывая это брюхо, по меньшей мере, не остроумно, если не прямо глупо, не говоря уже об эстетике. Точно так же возмутительны и рассуждения Вольфовского серого волка, лежащего в бабушкиной постели в ожидании внучки — Красной Шапочки: «Хорошо дескать, живут эти люди!

Мягко спят, жирно едят, а мы вот живи впроголодь. Поневоле их есть будешь». Но я не могу согласиться в пользу для маленьких детей и такой «хитростной» сказки, какой является сказка о Сове и Коршуне в домашней редакции г. А-та. Очень уж много материала для маленькой детской головки. От этого она и задает такие несообразные вопросы. Будь эта сказка в пределах понимания и внимания дочки г. А-та, она скорее всего задавала бы такие вопросы: «А хорошо поют совушки?» «А есть птенчики у Коршуна?» «Красивенькие?» «А зачем Сова неправду сказала?» «А Коршун виноват, что Сова неправду сказала?» «Мама, а жаль тебе Совы?» «А совушек?» «И мне жаль». — Вот тогда, при таком заключении, я признал бы, что сказка имела отличный успех у ребенка. Для понимания этого вовсе даже не нужно никакой «рациональной» педагогики, а достаточно одного здравого смысла и наблюдения над детьми, которые всегда в своих вопросах строго держатся тех конкретных предметов, которые они видят или о которых они слышат. Только отвечая на детские вопросы, можно позволить себе при случае некоторой отвлеченности и некоторого расширения самого содержания сказки.

*Ив. Г-ий*

**ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СКАЗОК  
Ф. АДЛЕРА (ПЕРЕВОД С АНГЛ.  
ИВ. ГОРОДЕЦКОГО)**

*Впервые опубликовано в: Вестник воспитания. 1895. № 7.  
С. 66–80.*

Между педагогами существовало и до сих пор еще существует разногласие во взглядах на значение сказок. Смее думать, что причина недоразумения в данном случае корениться в том, что в логике принято называть «нераспределенным средним термином» иными словами — в том, что каждая из спорящих сторон имеет в виду различные роды сказок. Эта отрасль литературы может быть подразделена на два крупных подвида: один, состоящий из рассказов, которые должны быть отвергнуты, как действительно вредные и от дурного влияния которых следует охранять детей, другой, состоящий из рассказов, которые имеют самое прекрасное и возвышающее влияние и которыми мы не можем не воспользоваться.

Их главное воспитательное значение заключается в том, что они упражняют и культивируют фантазию. Фантазия — самое могучие орудие в развитии ума и воли. Известный анекдот о Марии Антуанетте, которая, услышав, что у народа нет хлеба, спросила, почему же он не ест бриошей, указывает на недостаток фантазии. Выросшая среди придворного блеска и окруженная роскошью, она не могла перенестись на место тех, кого угнетала действительная нужда. Добрую долю людского эгоизма следует приписать не действительному жестокосердию, но лишь подобному отсутствию фантазии. Счастливым трудно представлять себе потребность несчастных. Если бы они могли это сделать, то они часто проникались бы состраданием и энергично стремились бы помочь людям. Поэтому способность переноситься в положение другого приносит большую пользу, хотя и не прямую пользу делу нравственности, а эта, способность может культивироваться сказками. Молодые слушатели,

внимательно следя за, ходом действия, постоянно бывают вынуждены ставить себя в положения, в которых они никогда не бывали, воображать себе искушения, опасности и затруднения, каких им никогда не приходилось испытывать, воспроизводить в себе такие чувства, как например, чувство одиночества на белом свете без родительской любви, терпеть голод и не иметь хлеба, очутиться без всякой помощи лицом к лицу с врагами и т. д. Таким образом, их симпатия возбуждается в самых разнообразных направлениях.

Затем сказки содействуют наклонности к идеализации. Чем была бы жизнь без идеалов! Как могла бы зародиться в сердце надежда или даже вера, если бы мы не могли разочарованиям настоящего противопоставлять представления исполненных желаний. Вера, говорит Апостол Павел, есть некоторое упование в то, на что надеются, и уверенность в вещах невидимых как бы в видимых. Таким образом, сама вера не может существовать без живого идеализма. Конечно, идеалы детства и носят детский характер. В истории «Das Marienkind» мы узнаем о маленькой дочери бедного дровосека, которая была взята живою на небо. Там она каждый день ела сладости, пила сливки, носила золотые одежды, и ангелы играли с ней. Лакомства и сливки в изобилии и золотые одежды, и ангелочки-товарищи по играм могут быть идеалами малютки, и эти идеалы довольно материальны. Но, несмотря на это, я полагаю, что уже многое достигнуто, раз ребенок научился объективировать подобные желания и придавать им с помощью фантазии некоторое реальное существование. Чем более подрастает ребенок, тем духовнее становятся его желания и тем выше в соответствии с ними становится его идеал. Говоря о сказках, я разумею главным образом немецкие Märchen, небрежным пересказом которых являются сказки других народов. Märchen — более, чем простые рассказы о благодетельных волшебницах. Они, как хорошо известно, имеют мифологическую подкладку. Они до сих пор еще сохраняют ясные следы анимизма (одухотворения всей природы), и их основные мотивы — мифы, которые группируются вокруг явлений грозы, борьбы солнца с облаком, борьбы весны-красны с темными силами зимы. Но, что первоначально было порождением суеверия, теперь, по крайней мере, до известной степени, очищено от шлака и обращено в чистую поэзию. Сказки дошли до нас от тех времен, когда мир был еще молод. Они представляют детство человечества, и поэтому они никогда не перестанут нравиться детям. Сказки имеют свой собственный тонкий аромат. Они проникнуты поэзией лесной жизни, исполнены чувством таинственности и

какого-то благоговения, которое легко охватывает человека, когда он проникает в глубь леса, все дальше и дальше от человеческого общества. Die Märchen (сказки) затрагивают подземную жизнь природы, жизнь пещер и горных недр, где гномы и карлики заняты собиранием скрытых сокровищ. К этому подземному миру дети питают чрезвычайную симпатию. Die Märchen дают нам яркие картины уютных очагов, где можно укрыться от завывающих ветров и лютого холода. Но, быть может, их главная привлекательная сила — в том, что они представляют ребенка в братском общении с природой и всеми ее созданиями. Деревья, цветы, животные дикие и прирученные, даже звезды представляются здесь товарищами детей. Что животные — лишь переряженные люди, это — аксиома сказок. Животные носят человеческий характер, т. е. родство между животной и человеческой жизнью чувствуется здесь еще ясно, и это напоминает нам о тех ранних «анимистических» истолкованиях природы, которые впоследствии привели к учению о переселении душ. Растения также часто представляются как бы оболочками, воплощающими человеческие души. Так, в двенадцати лилиях живут двенадцать братьев, и в истории о Беляночке и Розочке жизнь обеих девочек, по-видимому, стоит в связи с жизнью белого и красного кустов розы. Родство всех существ, как бы то ни было, все еще чувствуется, и поэтому не удивительно, если люди понимают язык животных, и, если эти последние являются на помощь героям и героиням сказок при угрожающих опасностях. В истории о верном слуге Иване три ворона, летя над кораблем, открывают секрет про красного коня, серную рубашку и про три капли крови, и Иван, который понимал их разговор, мог спасти жизнь своему господину. Далее, что может быть прекраснее того способа, каким дерево и два белых голубя стараются вместе устроить счастье отверженной Золушки! Дерево сбрасывает на землю, золотые одежды, в которых она появляется на балу, а голуби предостерегают принца, когда он выбирает не ту невесту, которую следует, пока не является сама Золушка, и они тогда летят на ее плечи, один — на правое, другой — на левое; это, быть может, самая милая картина, которую можно встретить во всем царстве сказок. Ребенок все еще живет в неразрывном единении с целой природой; гармония между его собственной и окружающей жизнью еще не нарушена, и эта-то гармония человеческого мира с миром природы и отражается в атмосфере сказок и делает их так удивительно подходящими к запросам детского сердца.

Но как воспользоваться этими сказками и какой метод должны мы применить, приспособляя их для нашей особенной цели? На этот счет я имею несколько соображений, которые осмелюсь предложить в форме советов.

Мой *первый совет* таков: расскажите историю, не давая ее читать ребенку. Для этого есть очевидное практическое соображение: дети могут наслаждаться сказками, слушая, прежде чем они научатся читать. Но это — не единственное соображение. В сказке, как мы видели, говорит детство человеческого рода с ребенком наших дней. Голос далекого предка слышится с уст рассказчика. Слова «жил-был когда-то» открывают неопределенный взгляд назад, в прошлое, и ребенок получает таким образом свои первые смутные понятия из истории. Сказки воплощают в себе предание о детстве человеческого рода. Поэтому они имеют в себе свое собственное оправдание, конечно, не в силу своей буквальной правды, но оправдание, вытекающее из того обстоятельства, что они являются типами известных чувств и желаний, присущих детству, как таковому. Ребенок, слушая сказку, смотрит с широко раскрытыми глазами в лицо рассказчика и содрогается, когда чувствует, как дыхание ранней жизни рода человеческого сливается с его собственным. Такое действие, конечно, не может быть достигнуто мертвой буквой. Предание есть нечто живое, и оно должно не живым голосом.

Мой *второй совет* также практического характера, и я решаюсь утверждать, что следование ему совершенно необходимо для успешного пользования сказками. Не следует подчеркивать мораль сказки<sup>1</sup>, но нужно дать ребенку наслаждаться сказкой во всей полноте. Не сводите историю к одному пункту, нравственному, иначе вы выжмете из нее весь сок. Не следует ради того, чтобы привлечь внимание только к нравственному элементу, подавлять чисто фантастические и натуралистические элементы повествования, как например, любовь к таинственному, к скитанию по свету белому, чувство дружбы с миром животных. Напротив, вы достигнете лучшего нравственного воздействия как раз обратным путем. К нравственному элементу нужно относиться, как к чему-то случайному; конечно, его следует подчеркнуть, но как бы мимоходом, — все равно, как срываешь цветок по дороге. Как часто случается, что, отправляясь в дорогу с определенной целью, мы вдруг наталкиваемся на пути на что-то непредвиденное, но это случайное

---

<sup>1</sup>По-английски: Do not take the moral plum out of the fairy-tale pudding.



в конце концов оставляет в нашей душе глубочайшие следы. Цель, которую мы себе поставили, давным-давно забыта, но случайный дорожный инцидент помнится еще долгие годы. Так и поучительный результат сказок отнюдь, конечно, не уменьшится от того, что он будет добыт случайно. Пример пояснит мою мысль. В сказке «Лягушка, сделавшаяся королем», рассказывается, что жила-была молодая принцесса, которая была так прекрасна, что само солнце, которое многое видало на свете, не знало ничего красивее ее. Ее любимой игрушкой был золотой мяч. Однажды, сидя у колодца под тенью старой липы, она играла мячиком, и он упал в колодец. Она была очень несчастна, и плакала горькими слезами. Вдруг из воды высовывает лягушка свою безобразную голову и обещает для нее снырять в воду за мячиком, но лишь с тем условием, чтобы принцесса взяла ее к себе в товарищи по игре, позволила бы вместе с ней есть и пить и клала бы ее спать к себе в белоснежную постельку. Принцесса все пообещала. Но лишь только лягушка принесла ей ее мяч, как принцесса сбросила ее назад в колодец, не внимая ее крикам. На другой день, когда царская семья сидела за обеденным столом, послышался стук в дверь. Принцесса приотворила дверь и увидела безобразную лягушку, которая желала войти. Она с ужасом вскрикнула и поспешно захлопнула двери. Когда же король, ее отец, узнал в чем дело, он сказал: «Что ты обещала, то ты должна исполнить»; она повиновалась своему отцу, хотя совсем против своей воли. Но, ведь, это требование было справедливо, дети, прими ли? Нужно слушаться, даже если бы это и трудно было. Таким образом, лягушка была выпущена и посажена на за стол, и она стала есть с золотой тарелочки и пить из золотого кубка. И когда она наелась досыта, она сказала: «Я теперь устала, положи меня в твою белоснежную кроватьку». Принцесса опять стала отказываться, а король опять сказал: «Что ты обещала, то должна исполнить. Как она ни безобразна, она помогла тебе в твоём горе, и ты теперь не должна отвергать ее». И наконец сказки таков, что безобразная лягушка ударилась об стену и назад уже упала прекрасным королевичем, который, конечно, женился на принцессе.

Натуралистический элемент истории есть превращение принца в лягушку и опять назад из лягушки в принца. Дети очень любят подобные переодевания. Для них нет большего удовольствия, как воображать вещи не тем, чем они есть; и главная прелесть подобных рассказов заключается в том, что они способствуют любви малюток к таким маскарадам. Нравственные элементы истории очевидны:

они должны быть затронуты так, чтобы интерес не был отвлечен от главного хода истории.

Мой *третий совет*: выбрасывать из сказок все, что в них только суеверие, только остатки старинного анимизма и, конечно, все, что непригодно с точки зрения нравственности. Сюда принадлежит, напр., сказка о ленивом пауке, смысл которой, по-видимому, в том, чтобы показать, что о лентях печется особое провидение. Равным образом, все сказки, в которых рассказывается об успехах обмана или хитрости. Особый вопрос, относящийся сюда, бывший предметом частых горячих споров, заключается в том, насколько мы должны знакомить детей с существованием зла в мире и до какой степени мы можем пользоваться рассказами, в которых идет речь о злых существах и злых мотивах. По моему мнению, мы можем говорить в присутствии детей лишь о тех незначительных формах зла, физического или нравственного, которые им уже знакомы, но исключать все то, что выходит за пределы их детского опыта. Поэтому я бы выкинул всю массу рассказов о мачехах и, скорее (так как это было бы сопряжено с слишком большой утратой) я бы переделал сказки, в которых встречается типическая злая мачеха, если только эти сказки имеют значение в других отношениях. Нет никакого основания, почему бы следовало приучать детей видеть вообще в мачехах недоброжелательно расположенных лиц. То же самое можно сказать о сказках, в которых упоминаются не родные отцы. Я бы исключил также такие сказки, как «Волк и семеро козлят». Старая коза, уходя из дома, предостерегает своих малюток против волка и указывает им на два признака, по которым они могут узнать его: грубый голос и черные лапы. Волк стучит, но его узнают и не впускают. Тогда он наедается мела, чтобы поправить свой голос и белит у мельника свои лапы. Затем он снова стучит, его впускают, и он пожирает всех козлят одного за другим. Эта сказка имеет целью предостеречь детей от впускания незнакомых людей: волк является здесь вместо злых лиц вообще: бродяг, разбойников, людей, которые похищают детей и т. д. Я бы, с своей стороны, не считал нужным внушать детям страх перед незнакомыми лицами. Страх деморализует. Дети должны относиться с полным доверием ко всем людям. И их не следует приучать бояться разбойников и воров. Даже вид диких животных не должен пробуждать в них страха. Дети в простоте сердечной удивляются красоте тигровой шкуры, а лев в их понятии — благородное создание, о жестокости которого они не имеют ни малейшего представления. Для них еще будет достаточно времени, чтобы познакомиться с тем фактом, что

и в человеческом обществе, и вне его существуют опасные виды зла. И для них будет гораздо целесообразнее узнать об этом только тогда, когда они вместе с тем будут убеждены, что силы права и порядка в мере достаточно сильны, чтобы бороться с темными силами и держать их в подчинении.

А теперь рассмотрим несколько сказок, по отношению к которым нельзя сделать ни одного подобного упрека и которые являются превосходной пищей для детской души, и посмотрим, какое место они должны занять в деле нравственного воспитания. Мы уже установили, что каждый период человеческой жизни имеет свой особый круг обязанностей. Главные обязанности детского возраста: повиновение родителям, любовь и ласковое отношение к братьям и к животным. Мы можем классифицировать сказки, которыми мы можем пользоваться, сообразно с этим разнообразным подразделением. Начнем с последней группы сказок, где речь идет о *добром отношении к животным*.

*Домик в лесу.* Дочь бедного дровосека заблудилась в лесу и ночью приходит к одиноко стоящему домику. Там сидит старик. Трое животных — корова, петух и цыпленок — лежат на печи. Ребенка приглашают в гости и просят приготовить ужин. Девочка варит для себя и для себя, но забывает о животных. Вторая дочь точно также сбивается с дороги в лесу, попадает в ту же избушку и поступает, как и первая дочь. Третья дочь, кроткий и добрый ребенок, прежде чем самой сесть за свою еду, приносит сена для коровы и ячменя для петуха и для цыпленка и таким ласковым отношением к животным снимает колдовство, которое лежало над домом. Старик немедленно превращается в принца и т. д.

Сказка про «Собаку Султана». Султан состарился, и хозяин должен убить его. Волк, видя своего двоюродного брата в беде, обещает оказать ей помощь. Он утром унесет овцу, принадлежащую хозяину Султана. Султан побежит за ним, а он, волк, выпустит овцу, и Султан приобретет доверие за спасение. Сказано — сделано, и жизнь Султана пощажена его благодарным хозяином. Но через некоторое время волк приходит на добычу к дому и объявляет своему двоюродному брату, что долг платежом красен и что он теперь самым настоящим образом пришел за своим бараном. На это собака возражает, что ничего не может заставить ее изменить интересам своего господина. Волк настаивает, но Султан подымает тревогу, и вор по заслугам получает здоровую трепку.

Главный интерес в вышеупомянутой прекрасной сказке о «Беляночке и Розочке» сосредоточивается на приключении с медведем.

Раз в холодную зимнюю ночь слышится стук в дверь. Беляночка и Розочка идут отворять, как вдруг на пороге появляется медведь и просит приюта. Он, как он говорит, страшно иззяб и хотел бы немножко отогреться. Две маленькие девочки сначала испугались, но потом, ободренные своей матерью, они собираются с духом и приглашают медведя в кухню. Скоро между Мишкой и детьми завязывается сердечная дружба; они счищают снег с его шкуры, и, то дразнят, то ласкают его. После этого медведь приходит каждую ночь и в конце концов он превращается в прекрасного принца.

Сказка о «Царице пчел» трактует о трех братьях, которые странствуют по свету, ища приключения. Раз они приходят к муравейнику. Два старших брата хотят его разрушить просто ради шутки. Но младший стал оспаривать их, говоря: «Не мешайте им жить; их жизнь так же дорога им, как наша нам». Затем они пришли к пруду, в котором плавали утки. Два старших брата решили стрелять в них, а младший опять стал заступаться: «Не мешайте им жить» и т. д. Наконец, он так же спасает от разрушения пчельник. Таким образом, они продолжали путешествовать до тех пор, пока не пришли к заколдованному замку. Чтобы снять чары, необходимо найти и собрать тысячу жемчужин, которые лежат во мху в известном лесу. Пять тысяч муравьев приходят и помогают младшему, отыскать жемчуг. Во-вторых, нужно найти золотой ключ, который заброшен в пруд, лежащий возле замка. Благодарные утки приносят ключ со дна пруда. Третья задача — самая трудная. В одной из внутренних комнат замка находятся мраморные статуи трех окаменелых принцесс. До превращения одна из них очень любила сахар, другая — сироп, а третья — мед. Для того, чтобы вернуть им жизнь, нужно найти ту, которая любила есть мед. Царица пчел является туда со всем своим роем и садится на губы самой младшей сестры и таким образом разрешает проблему. Чары моментально рушатся. Все эти истории иллюстрируют доброту по отношению к животным.

Из историй, в которых говорится *об уважении к личности служащих*, можно упомянуть сказку о «Верном Иване», который благодаря знанию птичьего языка спас своего господина и т. д. — сказка, которая в добавок научает, что мы должны доверять лицам, которых раз нашли заслуживающими доверия, хотя бы даже не всегда понимали мотивов их поведения. В популярной сказке «Золушка» характерные пункты: благоговение Золушки перед памятью матери и тот факт, что бедная работница на кухне под грязью и золою, которые обезображивают ее, обладает такими достоинствами, ко-

торые ставят ее гораздо выше ее сестер-белоручек. Эта сказка учит, что мы должны отличать внутреннее достоинство от случайности, ранга и жизненного положения, — урок, который не может быть запечатлен в детских душах слишком рано или слишком глубоко.

К сказкам, в которых трактуется о любви к братьям и сестрам принадлежит прелестная история о «Снегурочке». Маленькие карлики постоянно ведут себя по отношению к ней как братья. И она платит им за их братскую привязанность нежной любовью сестры.

История о двенадцати братьях, которых искупает семилетним молчанием их сестра с опасностью для своей собственной жизни, есть другой пример нежнейшей привязанности и самообладания сестры. Эту историю, однако, надо слегка видоизменить. Вместо злого отца (мы вообще должны не упоминать о злых отцах), который приготовил двенадцать гробов для своих сыновей для того, чтобы дочь сделалась наследницей всего королевства, следует выставить, например, управляющего дворцом, который надеется, убивши сыновей короля, впоследствии сам сделаться королем.

Наконец, назовем еще сказку о «Красной Шапочке», которая иллюстрирует главную добродетель детства — *повиновение родителям*. Дети по долгу ротозейничать по дороге, раз их посылают родители с поручением. Красная Шапочка мешкает и играет в лесу; отсюда и происходят все несчастья. Ее посылают отнести бабушке вино и пирог. Примерами подобного внимания развивается почтительное отношение к старшим. Дети учатся почтительному отношению к родителям, отчасти благодаря тому уважению, которое эти последние оказывают по отношению к своим. Другой важный пункт заключается в том, что Красная Шапочка, уклоняясь с прямого пути, обманывает себя в своих мотивах, чтобы успокоить свою совесть. Она говорит: «Я соберу букет диких цветов, это порадует бабушку». Но ее действительная цель — попользоваться свободой в лесу; это можно видеть из того, что она тут же совершенно забывает о бабушке. Иногда делали один упрек по адресу этой сказки, а именно относительно той роли, которую играет в ней волк. Но волк здесь вовсе не изображен враждебным и страшным существом. Он встречается на дороге с Красной Шапочкой, и они дружелюбно разговаривают друг с другом. Он скорее имеет в виду плута. Но, ведь, говорят, он проглатывает сначала бабушку, а потом Красную Шапочку. Совершенно верно, но странное дело, когда взрезали его живот, бабушка и Красная Шапочка вышли оттуда невредимыми. Им, очевидно, ничего не сделалось! — Дети имеют очень недостаточные понятия о человеческом теле, исключая

некоторых наружных частей, как руки, ноги и лицо. В исследовании, недавно предпринятом профессором Г. Стэнли Голь (G. Stanley Hall) относительно знаний, с которыми дети являются в школу, было установлено, что 90 процентов из них не имели понятия, где находится сердце, и 81 процент не имели никакого представления о легких, 90 процентов не могли сказать, как расположены их ребра и т. д. О внутренних органах дети не имеют никакого понятия. Поэтому, если в сказке говорится, что бабушку проглотил волк, то у большинства детей складывается понятие, что ей пришлось влезть в какую-то темную дыру, где пришлось ей очутиться в положении, правда, неудобном, но отнюдь не критическом. Мысли о разорванном и изуродованном мясе у детей обыкновенно не является. Поэтому акт проглатывания не вызывает чувства ужаса, сказка о Красной Шапочке, (а это — излюбленная сказка всех маленьких детей) может быть рассказана без всякого колебания относительно ее нравственного впечатления.

Затем существуют еще и другие сказки: про отправившегося за границу изучать искусство дрожания — прекрасный пример храбрости; сказка о семи швабах — насмешка над трусостью; «das Marienkind» содержит поучительный урок по поводу лжи, упрямства и т. д. Я, конечно, далеко не пытался здесь дать всего материала, но лишь хотел указать на несколько примеров достаточных для того, чтобы уяснить себя, в каком направлении следует делать выбор. Нравственные интересы, свойственные детству, — вот те центры, вокруг которых может быть сгруппирован весь материал.

Значение сказок заключается в том, что они возбуждают фантазию, что они отражают полную гармонию человеческой жизни с жизнью вообще, с жизнью четвероногих животных, птиц, рыб, деревьев, цветов и звезд, и в том, что они, по-видимому, ненамеренно, за то с тем большей силой пробуждают нравственные чувства.

Воспользуемся же широко теми сокровищами, которые уже имеются в нашем распоряжении. Мы с удовольствием приветствуем сказку в нашем первоначальном курсе нравственного обучения, чтобы она, с ее нежными узами, сотканными из «утреннего благоухания и утренней зари» помогла нашим детям войти в светлое царство идеала.

*Платон Краснов*

## ДАТСКИЙ СКАЗОЧНИК

*Впервые опубликовано в: Книжки «Недели». 1895. сент.  
С. 181–190.*

Собрание сочинений Андерсена в 4-х томах. Перевод с датского подлинника А. и П. Ганзен. Спб. 1894–95.

### I.

Даже в Дании Андерсена считают по преимуществу детским писателем. «Русский же Андерсен» до последнего времени и не появлялся иначе, как в издании для детей. Только в нынешнем году супруги Ганзен дали возможность, благодаря своему превосходному переводу, сделанному впервые с датского и, что еще важнее, с нежной любовью к переводимому писателю, познакомиться с Андерсеном во всем объеме. И подобно женщине, по выражению Сенкевича, Андерсен от близкого знакомства только выигрывает. Как женщина, он умеет быть интересным и милым и для детей, и для взрослых.

У нас иные ценители Андерсена, заметив поэтическую чуткость и тонкость датского писателя, не всегда доступную для детей, начинают считать его писателем исключительно для взрослых. Это, очевидно, крайний взгляд. Правда, самому Андерсену было приятнее внимание взрослых. Но наряду с множеством тонких и глубоких чувств, недоступных детям, свежесть мысли, непосредственность обращения, молодость сердца, даже некоторая наивность Андерсена делают его понятным и интересным для юных читателей, а поэтичность фантазии и взыскание изысканное изящество образов пленяют внимание вполне развитого человека.

Лучшим из всего, что написал Андерсен, считаются его сказки. В сказках всего более отобразилась самая своеобразная черта таланта датского поэта — его изящная, гибкая фантазия, одухотворяющая и преображающая внешний мир. В области творчества, по сравнению с другими поэтами, Андерсен — творец в последний день создания: он в созданное уже тело вселяет душу.

Вот это то способность оживлять и одухотворять все окружающее и делает сказки Андерсена любимую книгою. Кругозор ребенка невелик, и он все серит меркой своего маленького существа. От того дети являются такими жестокими и безжалостными в области чувств и нежно сострадательными, когда дело коснется ошущений. Область сложных чувств еще не доступна им, но физическая боль уже знакома, и на этой почве преимущественно развивается детское сострадание, переносимое ими на мир не только животных, но и неодушевленных предметов: какой-нибудь оловянный солдатик, мяч, кубарь, кукла, цветы, кухонная посуда — с точки зрения детей могут жить, чувствовать, понимать. Дети играют в эти вещи вполне серьезно, перенося на них свои мысли и чувства. Эту особенность детского мирозерцания и усвоил себе Андерсен: он говорит с детьми на их языке и вращается в кругу их понятий и интересов.

Но с другой стороны Андерсен тонкий психолог и физиономист. Каждый из неодушевленных предметов имеет свою физиономию и какой либо чертой напоминает соответствующую черту из человеческой природы. Андерсен необыкновенно метко подмечает эту физиономию, и все поступки, все речи его действующих лиц — неодушевленных предметов замечательно соответствуют характеру их внешности.

Сказки по существу своему — род творчества тенденциозный. Даже большинство народных сказок, если верить ученым, только аллегории. Искусственные же сказки почти всегда пропитаны каким-нибудь нравоучением, обыкновенно невысокого качества. Совсем не таковы сказки Андерсена, и это особенно привлекает к ним сердца детей. Сказки Андерсена — это маленькие поэмы в прозе, не преследующие иных целей, кроме эстетических. Конечно, Андерсен не чуждается в поучениях; но у него оно само свободно вытекает из содержания рассказа.

Андерсен никогда не щеголяет запутанной интригой, сложными чувствами, изображением страстей, искусной формой, у него все просто. Его фантазия играет ради себя самой чисто по-детски тешится мечтой, переходя от положения к положению, от картины к картине — словно гуляет по волшебному саду с роскошными пестрыми цветами. В этой непринужденной фантазии Андерсена бездна поэзии. Двумя-тремя словами он умеет нарисовать живую яркую картину (стоит припомнить хотя бы его «Картинки-невидимки»), которые хотя бы и не принадлежала к существующему миру, представится как живая и надолго врежется в память. А что



хорошо запоминается, — хорошо написана: это один из немногочисленных признаков художественности.

Фантазия Андерсена всегда чистая; у него сердце кроткое и любящее. Какие поэмы самой совершенной женской любви его «Русалочке», «Пастушке и трубочисте»!.. Как блещет его религиозное чувство, вера в божью милость и всепрощение в «Девочке, наступившей на хлеб» и других сказках! У него лучшие характеристики материнской любви («Мать», «Девочка со спичками»).

Весьма характерно для Андерсена, что он, будучи одарен такой живой фантазией, не презирал современного и реального. Быть может именно, потому что с детства он не бы напичкан греко-латинской дрянью, для него легче было видеть поэзию в обыденных для него предметах и в произведениях науки и искусства. Для него не представлялись неперенным условием красоты тога и хитон, копье и щит, колесница и парусное судно. Андерсен понимает прелести современной одежды, пароходов, электричества, телеграфов. Даже вообще он предпочитал современную жизнь, и в «Калошах счастье» весьма остроумно осмеял пристрастия к средним векам. У Андерсена есть сказка, посвященная парижской выставке; в другой он говорит о скорости распространения электричества; в третьей воспитывает расположение телеграфного кабеля в Америку... Датские художники и скульпторы дают ему сюжеты для фантастических поэм. Как редкий писатель он проникнут уважением к науке, и она не мешает его грезам, даже содействует живости их и вдохновляет поэта. По общественным взглядам своим Андерсеном убежденный демократ, и, хотя в поэтических сказках его действуют принцы и принцессы, однако никогда он не упускает случая свалить доблесть и славу многих датских художников и поэтов, скромного происхождения. Но при это демократизм Андерсена чужд всякой остроты и горечи.

Наряду с нежностью, сердечностью, у Андерсена идет тонкий умор, а иногда и злая сатира. Часто это — сатира *pro domo sua*. В сказках Андерсен разделяется со своими литературными врагами и завистниками которых у него, как у всех кто гении, было много; но гораздо чаще Андерсеном осмеиваются человеческие слабости — чванство, глупость, самодовольство ограниченности, пошлость... Сатира Андерсена остроумна, но никогда не обидна, Андерсен не сбивает своего врага, он просто обессиливает его и в последнюю минуту выказывает великодушие. Такое оружие действует сильнее.

Андерсен любит свободу и повсюду прославляет свободное искусство, но эту свободу он понимает в широком смысле. Безобразный утенок, ставший лебедем, идет есть хлеб из детских рук, а свободный соловей соглашается петь для развлечения китайского императора. Брандес укорял по этому поводу поэта в низкопоклонстве и в лести сильным мира. Но кажется, гораздо справедливое видеть здесь кроткое сердце поэта, которое любит всякого, кто, как и сам поэт, ценить искусство.

Такова нравственная, внутренняя сторона сказок Андерсена. Едва ли не замечательнее и не симпатичнее самая форма их. Как пишет Андерсен, так говорят дети и так говорят с детьми. Ни одного непонятого, двусмысленного слова. В речи много движения, звукоподражаний... Самый стиль (отразился он и на русском переводе супругов Ганзен) звучит в тон содержанию — то он течет эпически плавно, потом вдруг после ряда коротких быстрых фраз, почти междометий рассыпается блестящим фейерверком эпитетов и метафор. Иногда сказка звучит игриво поучительным тоном — точно уговаривают ребенка ласковыми и нежными словами. В своих сказках Андерсен редко выводил детей; но вследствие самого тона их при чтении так и мерещатся внимательные детские головки.

## II.

Андерсен писал не одни сказки. Он писал стихи, то нежные и грустные, то детски-радостные, проникнутые тем же кротким, светлым чувством, драматические произведения, повести и романы; наконец, он написал весьма замечательную автобиографию: «Сказка моей жизни».

Драматические произведения наименее замечательны из всего, что писал Андерсен: в них недостает именно той тонкой фантазии, которая так пленительна в датском поэте.

Гораздо значительнее романы и автобиографии Андерсена. Любопытно читать их параллельно, одни непосредственно вслед за другой. Героем обоих романов Андерсена, переведенных г. Ганзеном на русский язык: «Импровизатор» и «Петька-Счастливец», является сам автор, за что ему в свое время доставалось от его близких друзей, для которых он, по известной пословице, не был великим человеком. Но в «Импровизаторе» жизнь Андерсена — в поэтическом освещении, а в автобиографии — действительная. Андерсен смотрел на жизнь поэтическими глазами, старался видеть все красивее, чем было на деле. Потому в «Импровизаторе» он описал себя в виде

итальянского поэта среди произведений искусства, роскошной красивой природы. В «Импровизаторе» столько описаний Италии, то одна царственная особа даже говорила об этом романе Андерсену: «Я читала вашу прекрасную книгу об *Италии*». Все события жизни, до массы несущественных мелочей, всех знакомых поэта, всех его родных и друзей можно узнать в «Импровизаторе», несмотря на их преобразования. И в этом, пожалуй, главный недостаток романа: под итальянскими именами действуют, в сущности, датчане. Но этот случайный недостаток книги объясняется господствовавшим в то время романтическим настроением и пристрастием ко всему итальянскому. Напротив, Андерсену следует еще поставить в особую заслугу, что приукрашивание жизни не пошло у него далее романизирования героев романа, оставивших вполне живыми людьми с плотью и кровью.

Помимо интереса интриги романа, множество художественно написанных страниц, вполне живых характеров как мужских, так и женских — и вообще достоинств, так сказать, общих, присутствие которых обязательно для всякого художественного произведения, — роман «Импровизатор» отличается замечательно нравственным, возвышенным взглядом на любовь, который не только в пору нашему времени, но во многом даже выше его. Нынешняя литература не так давно взялась за пропаганду половой нравственности. Андерсен в конце романтического века, на рубеже натуралистического движения, как раз в то время, когда неутомимость в любовных похождениях считалось едва ли неглавной обязанностью героя романа и делало его особенно интересным в глазах читательниц, вывел героем человека необыкновенно целомудренного. Он был влюблен в певицу, актрису, в Италии, в тридцатых годах, и она его любила, и любовь эта была чиста. Затем, импровизатора соблазняла молодая дама, неаполитанка Санта, производившая на него чарующие впечатления; но герой не подал соблазну, потому что Санта была замужней женщиной. Наконец, импровизатору, в качестве друга своих знатных покровителей, приходилось присутствовать при несколько не серьезных и отнюдь не целомудренных заигрываниях с хорошенькими крестьянками и даже прямо с кокетками, и никогда эти похождения не соблазняли его. Напротив, когда он мог, он мешал успеху молодых ловеласов, охраняя честь и целомудрие более беззащитных женщин. Импровизатор сохраняет свое целомудрие до конца романа, чтобы сложить его у ног прекрасной Марии, дочери венецианского подесты, которая по таинственной случайности судеб оказывается в торжественной с одной неапо-

литанской слепой нишей, красота которой некогда так поразила импровизатора, что он не мог удержаться и поцеловать ее. Святость такого поцелуя так велика, по понятиям Андерсена, что для благополучного исхода необходимо понадобилась и свадьба. Целомудрие датского писателя выражается притом так свободно и непосредственно, так миролюбиво, что в его романе нет даже слов осуждения легкомысленному поведению других героев.

Автобиография Андерсена справедлива названная им «Сказкой моей жизни», — может так же считаться одним из его романов. Уже с чисто внешней стороны автобиография эта крайне интересна: ведь любопытно, в самом деле, прочесть, как сын башмачника, единственно в силу твоего таланта и твердой веры в него, стал не только знаменитым писателем, но и свел дружбу почти со всеми коронованными особами Европы, бывал у них во дворцах запросто, пил чай, читал сказки и притом — вещь совсем неслыханная — когда они предлагали ему деньги отказывался от них. Но и по внутреннему содержанию автобиография Андерсена одно из самых замечательных произведений в этом роде. Немцы в самый разгар гетевской славы, не задумываясь, сравнивали «Сказку моей жизни» с «Поэзией и правдой» Гете. Теперь же преимущество, пожалуй, останется даже за произведением датского поэта. Правда, «Сказка моей жизни» не так глубокомысленна, как автобиография Гете, но ведь и глубокомыслие Гете не вполне здоровое: оно пропитано мистической туманной философией Канта. Сверх того, автобиография Гете с трудом читается, изобилует многочисленными отступлениями то в область библейской истории, то современно-го ему религиозно-сектантского мистицизма. Повсюду появляется на сцену самодовольная фигура самого Гете, унижавшегося перед веймарским герцогом, рассказывается обо всех пошловатых ухаживаниях великого поэта и всего меньше говорится о том, что наиболее хотел бы знать читатель, а именно, как складывались произведения Гете в его уме и как постепенно росла его слава и известность.

Именно об этой стороне жизни Андерсена и говорится в его «Сказке моей жизни». Андерсен отлично понимал, что общество им интересуется не потому, что он сын башмачника, и не потому даже, что он обедает иногда у короля, а потому, что знает его произведения, любит их и хочет знать, как они приходили в голову поэту, и что он испытывал по поводу них. И Андерсен именно об этом и рассказывает. «Сказка моей жизни» — собственно история литературных успехов Андерсена с тех пор, как он впервые стал рассказывать сказки в Одензе знакомым девочкам, и до последних

лет его жизни, когда его сказки стали переводиться на все языки. Сам же Андерсен, как личность, все время остается на втором плане. Его сердечная привязанность отчасти даже не описаны вовсе, отчасти же лишь едва затронуты как неясный намек. И вот именно это то обстоятельство и заставило разных «друзей», вроде Коллинов, и знакомых, вроде Брандеса или Блока, извергнуть целый ряд клевет, неблагоприятных сообщений, сплетен, передержек по адресу поэта после его смерти и даже еще при жизни. Все эти ничтожества, когда-то оказывавшие мелкие прозаические услуги Андерсену или писавшие кисло-сладкие рецензии на его книги, мечтали быть превознесенными на крыльях датского лебедя к самому солнцу, и когда их ожидания не оправдались, обрушились на поэта с обвинениями в эгоизме, самодовольствии, низкопоклонстве, неблагодарности. Образцы этих нападок приложены к изданию русского перевода сочинений Андерсена, — и это, конечно, лучшая месть для их авторов.

Другое преимущество автобиографии Андерсена над автобиографией Гете заключается в легкости ее изложения. Она увлекательна как роман.

Как бы дополнением к автобиографии служат многочисленные путешествия Андерсена, с отрывками которых супруги Ганзен знакомят русских читателей. Отдельные описания из этих путешествий давно уже стали образцовыми и включаются в лучшие хрестоматии, но в целом путешествия Андерсена не могут справедливо находить и русский их переводчик, интересовать современного читателя. Они слишком субъективны — в них много личных чувств и мало фактов. Между тем, что современный читатель в путешествиях ищет скорее фактов для ознакомления с чужой страной. И в этом отношении путешествия натуралиста, если только он мало-мальски владеет слогом, всегда будут иметь преимущество пред путешествием поэта.

Андерсен писал уже давно; но его сочинения не из тех, чтобы стареть. По своему реализму и по своим светлым нравственным взглядам, он даже еще ближе нашему поколению, чем своему. Теперь, когда в обществе наступила реакция против крайностей натурализма, вполне своевременно освежить в памяти сочинения датского поэта с его кротким, чистым, но вполне трезвым и ясным, лишенным мистического тумана романтиков взглядом на жизнь и на человеческие отношения.

*Александр Алферов*

## СКАЗКИ АНДЕРСЕНА

*Впервые опубликовано в: Читатель. 1896. Кн. 38, окт.  
С. 7–32.*

Кто молод, тот лирик.

Андерсен.

Сказка и действительность в сущности не так далеки друг от друга.

Андерсен.

58 лет уже прошло со времени первого издания сказок Андерсена.

С тех пор сын сапожника, предназначенный матерью быть портным, Ганс Христиан Андерсен сделался всем известен, как поэт-писатель. Его сказки более всего знакомы в Англии, Германии и у нас, меньше всего — во Франции. В Германии, по словам Швейцера, он любим почти как национальный поэт; он не мог проникнуть во Францию, по мнению этого ученого, вследствие глубокой и существенной разницы между натурой германца и галла; германец любит природу, чувство, наивность; француз — рассудочное, искусственное, насмешливое.

Действительно, французам не нравятся сказки Андерсена своей несимметричностью, своей иногда тяжеловатой и несколько немецкой философией, а один из них говорил Брандесу, что даже для пятилетнего французского ребенка эти сказки слишком наивны. Между тем это очень несправедливо: они скорее могут только показаться такими и наивность их в большинстве случаев очень призрачна: это наивность только формы, а не содержания, и мы слишком неосторожно и неумеренно предлагаем их детям. Вот почему стоит изложить несколько оснований которые могли бы быть руководящими при составлении действительно детского сборника

сказок Андерсена, и наметить кстати и способ пользования таким сборником. Особенно стоит сделать это в виду нередко встречающегося у нас обычая давать в руки детей произведения гениального писателя без строгого выбора, что отражается дурно и на писателе, и на детях, которые при этом приобретают сведения, иногда вредные для этого возраста, и могут получить даже нерасположение к писателю, наполовину им непонятному; да притом в подобном чтении может быть еще одна существенно вредная сторона: натываясь то и дело на трудные для чтения места, юный читатель начинает мало-по-малу усваивать мысль, что все книги частью непонятны, частью скучны, получает дурную привычку читать с пропусками, относиться к чтению несколько внешне, мало из книги вычитывать.

Я не знаю, какие читатели мелькали в уме Андерсена, когда он писал свои сказки. Пробегая глазами написанные им строки, можно подумать, без желания сказать остроту, что он рассчитывал на читателей от 5 до 80 лет включительно, вернее, не на читателей, а на слушателей, — на такую аудиторию, в которой между детьми есть и взрослые, перед которой, развивая детский рассказ, можно, по существу, подмигнуть и взрослым.

В одном из русских периодических журналов<sup>1</sup> автор одной статьи, ссылаясь на слова Брандеса, хорошо знавшего Андерсена, утверждал, что Андерсен терпеть не мог детей, и что когда скульптор Собию, в своем проекте памятника Андерсену, поместил у его ног двух мальчиков, как бы слушающих сказку, то писатель был взбешен и грубо выбранил ваятеля за мысль изобразить его вместе с детьми. Между тем в статье Брандеса, приложенной к этому вступлению, приведены подлинные слова Брандеса, что «в фантазии Андерсена была симпатия ко всему детскому» и что он «поэт, исполненный любви к ребенку».

Трудно согласить друг с другом эти два сведения, но можно поверить, что, даже и любя детей, Андерсен мог избрать Собию: известно, что Андерсен придавал очень большое значение своим философским сочинениям и романам, — очень может быть, что в данном случае он выразил протест, так как хотел предстать перед потомками как мыслитель и романист, а не как автор сказки. Да и трудно читателю Андерсена помирится с мыслью, что он терпеть не мог детей; — вот что сам Андерсен говорит в одной из сказок: «Вечером, когда дети еще чинно сидят за столом или на своих скамейках, приходит Оле-Лук-Ой. Неслышными шагами всходит он

---

<sup>1</sup>Русская Мысль. 1888.

по лестнице, тихо затворяет двери, и брызжет в глаза детей сладким молоком, — брызжет осторожно, но все-таки настолько сильно, что они не могут открыть глаз, и потому не видят его. Он прокрадывается сзади их, тихо дует им в затылок, и от этого голова их тяжелеет. Но это ничего — не больно, потому что Оле-Лук-Ой *очень любит* детей; он хочет только, чтоб они сидели спокойно, а спокойны они лишь тогда, когда укладываются в постель; он хочет, чтоб они были спокойны для того, чтоб он мог им рассказывать сказки.

Уже в самом тоне этих слов много знания детей, много ласки и доброжелательного отношения к ним, но Андерсен еще откровеннее говорит про себя, упоминание о поговорке одного токаря, нашедшего счастье в ветке груши: «то же самое, — прибавляет он, — говорит и думает *пишущий эти строки*». Существует в народе поговорка: — «Положи себе в рот белу ветку — и ты станешь невидимкой»; но, конечно, надо суметь сперва найти, а потом взять в рот ту настоящую ветку, которую посылает наш Господь, как более или менее крупное подаяние счастья. Я тоже получил такую ветку, благодаря которой *мне* дано счастье любоваться звонким блестящим золотом, лучшим в мире золотом — золотом, светящимся в детских глазенках, золотом, звенящим из уст малюток, а порой бросающим и светлое отражение даже и на пасмурные лица отцов и матерей. Пока дети и их родители читают сказки, которые я им рассказываю, я слушаю, стоя среди них в той же комнате; но для них я невидим, так как во рту у меня белая волшебная ветка, и если при этом я слышу и вижу, что то, что я им рассказываю, радует их и веселит, тогда и я тоже говорю: «Да, и в ветке порой кроется наше счастье». В такой поэтической иносказательной форме выразил Андерсен свое сердечное отношение к маленьким читателям его сказки.

Его — сказка не совсем сказка: она то действительно сказка, то басня, то анекдот, то злая сатира, то роман — плохой, то стихотворение в прозе; это калейдоскоп не новой философии и самостоятельной поэзии, это совершенно особенный вид литературного произведения. «Да ведь это не сказка», — говорит один мальчик в его сказке, а ему отвечают: «правда — это не сказка, но... из действительности-то и вырастают самые чудные сказки».

Трудно, конечно, указать между ними, по самому характеру их, такую, которая была бы написана специально для взрослых, но можно указать не мало сказок совершенно недоступных для детей и по языку, и по мысли, а иногда, пожалуй, и вредных. По крайней мере, из 121-й сказки, бывших у меня под руками,



я мог найти менее трети пригодных для детского чтения, да и то многие из них и до сих пор остаются у меня под сомнением<sup>2</sup>.

Не жалеть о таком большом числе сказок Андерсена, исключенных из детских библиотек, не приходится: большинство из них значительно слабее оставляемых в руках детей. Позднейшие из них носят на себе следы некоторого злоупотребления той непринужденной формой сказки, которая так хороша в первых детских его сказках и которая здесь является как будто бы уже усвоенным шаблоном рассказа. Самый рассказ становится длиннее, стремится иногда из сказки перейти в роман, не делаясь ни романом, ни сказкой, оставляет иногда несколько утомительное впечатление растянутым изложением мысли и находится, таким образом, в противоречии со словами самого же Андерсена, что «маленькие не любят чересчур длинные любовные канители». Они согласны — «пусть несчастье, да только, чтобы живо!» Нередко в этих сказках выступает на сцену что-то мистическое, как в сказке «В последний день».

В этих позднейших сказках можно отметить еще одну фальшивую для сказки черту: желая внести христианские идеалы в сказку, Андерсен жертвует для них самой сказкой и вносит в нее разлад. Сказка требует непременно условной правды; пусть она представляет неосуществимую фантазию, но части этой фантазии должны соответствовать друг другу и не разрушать иллюзии. Догмат христианской религии, приставленный вплотную к сказочному элементу, как в сказке «Дочь болотного царя», конечно, разрушает его. Форма сказки уже непригодна для передачи догматических сторон религии: сказка увлекает своим обманом, как декорация, — нельзя среди обаяния сцены шептать зрителю на ухо, что сцена — только подделка; нельзя будить человека, когда он видит прекрасный сон: сон пропадает и не вернется, а прекрасные сны так редки. Между этими «отреченными» для детской библиотеки сказками

---

<sup>2</sup> Вот этот приблизительный список: 1) Сказки: Оле-Лук-Ойя (кроме воскресной); 2) Цветы маленькой Иды; 3) Аисты (если пропустить окончание от слов: «Ну, теперь мы улетим»); 4) Дюймовочка; 5) Ель; 6) Иванушка-дурочок; 7) Безобразный утенок; 8) Детская болтовня; 9) Соловей; 10) Оловянный солдатик; 11) Маргаритка; 12) Дорожный товарищ; 13) Старый дом; 14) Ленъ; 15) Гречиха; 16) Сидень; 17) Что старик ни сделает — все отлично; 18) Колокол; 19) Снежная королева; 20) Девочка с серными спичками; 21) Маленький Тук (прекрасна по мысли; требует пояснения); 22) Медный кабан (требует нескольких примечаний); 23) Великое горе; 24) Бабушка; 25) И в ветке порою кроется наше счастье. Выбор сказок Андерсена, изданных Маракуевым, на мой взгляд, не совсем удовлетворителен, а только-что вышедший их сборник, изданный Сытиным, совсем неудовлетворителен.

есть и такие, которые или слишком отвлечены, как воскресная сказка «Оле-Лук-Ойя», «Перо и чернильница», «Камень мудрости», «Пчтица Феникс», или символичны, как сказки «Лебединое гнездо», «Злой мальчик-амур», и потому непонятны детям, которые склонны понимать слова буквально. Я исключаю из детского чтения также те сказки, которые-то, впрочем, как редкое исключение, — сочувствуют довольно жесткосердечным обманщикам, как сказка «Петр и Петруша», и тем напоминают некоторые грубые, простонародные сказки, то чужды русскому ребенку, по слишком сильному местному элементу, как «Гольгер Данске», то даже, что может показаться странным, несколько шутивно циничны, тоже, впрочем, в виде исключения, как, напр., сказка «Анна Лизбета» в своем начале. Что особенно суживает выбор из сказок Андерсена для детского чтения, так это присутствие в них романа: у него почти нет сказки без романа, и хотя в нем много идиллии и наивности, хотя это схематический рыцарский роман, иногда роман Дон-Кихота Ламанчского, — но все-таки не следует преждевременно знакомить детей с описанием любовных побуждений и страданий, а иногда даже с прибавкой к ним, практического расчета, как это делает, например, сказка «Мотылек».

Не стоит жалеть также о таких сказках, которые сами по себе великолепны, художественны, но требуют не малого литературного развития и житейского опыта для своего понимания, потому не стоит жалеть, что они прочтутся позднее, в свое время и с большим удовольствием; они представляют то злую сатиру, облеченную в форму сказки, и напоминают сказки Щедрина, то, по красоте изображения и как тип литературного произведения, могут равняться разве только стихотворениям в прозе И. С. Тургенева.

Как, например, следующий отрывок:

Золотой луч заходящего солнца падает на мрачную камеру одного заключенного. Солнце ведь равно освещает и хорошее, и худое. И доброе, и злое. Угрюмый, ожесточенный преступник смотрит с горестью и отвращением на этот играющий, золотой солнечный луч. На решетку села подлетевшая к тюрьме птичка. Она ведь рано щебечет и добрым, и злым.

Она вышебечивает одно свое коротенькое: квивит! квивит! но все сидит на решетке, взмахивает крылышками, вытаскивает перышки из-под крылышка, чистится, топорщит перышки на грудке, охорашивается, повертывает головкой туда и сюда, поблескивает темными глазками — и угрюмый каторжник глядит на нее. Хотя тяжелая цепь по-прежнему давит, но его лицо как-то смягчается. Новые мысли, новые чувства

приливают, — вы это можете заметить. Он еще сам не уясняет себе, что это за мысли и что за чувства, но они сродни солнечному лучу и благоуханию фиалок, что цветут весной у подножия тюремной стены.

Вот раздался звук рогов, — это трубят стрелки. Что за звучный отголосок пошел по горам!

Птичка испугалась., встрепенулась и улетела прочь. Золотистый солнечный луч мало-помалу гаснет и исчезает.

И опять потемнело в мрачном каземате, и опять потемнело лицо угрюмого каторжника.

А все-таки хорошо, что заглянул к нему луч света и прошебетала ему птичка.

«Раздавайтесь! Раздавайтесь звуки охотничьих рогов! — Раздавайтесь, — вечер чудный, и море тихо колышет свою зеркальную, гладкую поверхность».

Но как ни хороши эти произведения, они имеют преимущественное значение для взрослых, а я теперь перейду к тем сказкам Андерсена, которые чрезвычайно желал бы видеть в руках детей. Для оценки своих *детских* сказок Андерсен сам дает план.

«Все аисты, — говорит он, — до сказок большие охотники и обыкновенно рассказывают в назидание своим птенцам или для их развлечения массу сказок». И далее: «Большая часть их сказок очень искусно приноровлена к возрасту и пониманию юных птенцов; хотя, конечно, самые маленькие из сих последних большей частью бывают очень нетребовательны и нередко довольствуются даже и тем, если им повторяют бессмысленное: „крибель-крабель“ и „лурре-мурре“, находя такую сказку прелестной.»

Итак, насколько занимательны сказки Андерсена и приноровлены к детскому пониманию — и затем: насколько они назидательны, иначе — полезны? — От себя прибавлю: как следует их предлагать ребенку, чтобы он мог вынести из них больше всего наслаждения и пользы?..

Если дети любят сказку за ее манеру одушевлять предметы, то Андерсен делает еще шаг навстречу детскому вкусу и одушевляет предметы особенно близкие ребенку. В его сказках вся домашняя утварь оживает и приходит в движение: книги, тетради, карандаши, грифельные доски, все цветы, как по сигналу, торопливо, озабоченно или весело, каждая вещь со своей физиономией — лезут на детский стол или распределяются по полу детской комнаты и открывают настоящий журфикс. Роли распределены очень метко.

Так представлен бал цветов Иды, таково сватовство кубаря и мяча. Таков разговор игрушек в сказке «Оловянный солдатик», такова напр., сцена, где маленький Гиальмар слышит во сне, как расставленные им криво во время урока, чистопоисания буквы плачутся на то, что они упали и разбили себе нос.

Иногда Андерсен оживляет картину, висящую в рамке на стене, берет ребенка за руку и вводит его в эту картину.

«В одно мгновение птицы, нарисованные на картине, запели, древесные ветви зашевелились и тучи понеслись по небу: можно было видеть, как тень их скользила над пейзажем».

«После этого Оле-Лук-Ой приподнял маленького Гиальмара к раме, поставил его ноги в картину, как раз в то место, где росла высокая трава; тут мальчик стоял несколько минут, между тем как солнце освещало его сквозь ветви деревьев. Затем он побежал к воде и сел в маленькую лодку, стоявшую в ней».

Далее рассказывается путешествие мальчика в лодке мимо оживших замков, нарисованных на картине, где принцессы просовывали руки сквозь перила и держали в каждой из них по превосходнейшему прянику; проезжая мимо каждой принцессы, Гиальмар схватывал один конец пряника, принцесса крепко держала другой; таким образом пряник переламывался, и каждый получал по куску: она — самый маленький, — Гиальмар — самый большой. Перед каждым замком стояли на часах принцы: они делали на караул золотыми саблями и рассыпали в изобилии изюм и оловянных солдатиков. И вообще трудно представить себе что-нибудь восхитительнее, чем это путешествие. В большинстве случаев Андерсен развивает свою сказку в пределах детской комнаты, садика, около дома, в пределах какого-нибудь птичьего двора, но нередко показывает детям и более фантастический мир; если он расскажет про какое-нибудь Лебединое озеро в прекрасном лесу, то нарисует его так живо, что ребенку очень ощутительна будет свежесть сверкающей прозрачной воды.

«При свете луны он увидел в лесу, — говорится в одной сказке, — много маленьких красивых эльфов... Большие пестрые пауки с серебряными венцами на головах строили из паутины дворцы и висячие мосты с одного кустарника на другой — и эти постройки чудно блестели при свете луны, отражавшейся в мелких каплях росы».

Понятности и наглядности рассказа всего лучше способствуют сравнение; но для этого оно должно быть взято из мира наиболее близкого ребенку.

Какие же сравнения употребляет Андерсен? Богатство у него определяется так:

«Жил-был купец такой богатый, что мог вымостить серебряными деньгами целую улицу, да еще переулок».

Древность колокола:

«Старый колокол был на свете гораздо раньше, чем родилась бабушкина бабушка».

Размеры растений:

«От стен дачи до самой воды тянулись репейники, такие высокие, что под самыми старшими из них дети могли стоять во весь рост».

Дети скучно и трудно усваивают что-нибудь однообразное. — это совсем не в их характере. День жизни ребенка представляет бесконечную и быструю смену положений, интересов, предприятий, настроений, по выражению Щедрина, «детские лица не успевают осохнуть от слез, как уже расцветают улыбкой», и рассказ интересен для ребенка только тогда, когда он состоит из беспрестанно сменяющихся образов и приключений. Я не буду приводить примеров контраста и движения из сказок Андерсена: они полны мгновенных перемен обстановки, полны неожиданных переходов от сна к пробуждению, от горя к радости (редко наоборот), полны всевозможных внезапных превращений и переполохов, при этом остаются умеренны, никогда не пугают ребенка и не доводят до подавленного и напряженного настроения; слушая их, дети не теряют ни ясности головы, ни бодрости духа; эти светлые, радостные впечатления часто венчают сказки Андерсена.

К сожалению, я могу судить об языке Андерсена только по отражению его в переводах. Если Гоголь был прав, говоря про Крылова, что «даже и определить нельзя, в чем характер его пера. У него не поймаешь его слога. Предмет, как, бы не имея словесной оболочки, выступает сам собою, натурой, перед глазами», что его «речь покорна и послушна мысли и летает как муха», — тоже почти можно сказать об Андерсене: его язык очень применяется к движению.

Что делает сказку Андерсена особенно привлекательным, так это юмор. Дети любят веселье не меньше, чем «страхи». Они всегда просят рассказать им или страшную, или веселую сказку. Юмор, таким образом, отвечает детской потребности и тем самым необходим в детском рассказе, но при этом он является и прекрасным воспитательным средством: он очень отрезвляет среди волнения, умеряет его, дает новые точки зрения, развязывает напряжение и развивает бодрое отношение к действительности. Юмористические

намеки рассыпаны по сказкам Андерсена во множестве, но иногда они тонки и в полном своем объеме понятны только взрослым, как в сказке «Новое платье короля» или как такое замечание:

«Вдруг в залу входит какой-то этакий чудной человек, весь в черном, что-то вроде студента, садится, громко смеется, где следует, аплодирует, тоже кстати, — просто необыкновенный зритель! — не зритель, а находка!»

Или:

«Она обладает замечательным даром слова и по своему красно-речию могла бы сделаться проповедником или, по меньшей мере, женой проповедника».

Если такие замечания иногда и вызывают детскую улыбку или даже смех, то очень редко, по существу, и соль этого рода остроты до них не достигает; но у Андерсена не мало шуток занимательных и понятных и ребенку; так, например, в одной его сказке мамыши клешаков говорят о своих детях:

«Взгляните—ка на моего: — Ангелочек!»

«Ах, это такие деточки, что выразить вам не могу! Такие миленькие, такие забавные! А тихие какие, кроткие! Никогда не кричат, разве только, когда у них резь в животике!»

А в третьей сказке Оле-Лук-Ойя:

«Экие у вас славные тонкие ноги! — сказал калькутский пехтук. — Почем платили за аршин?»

Очень возможно, что дети, познакомившись с последней сказкой, за вечерним чаем, встретив длинного брата, пристанут к нему с вопросом: «почем платили за аршин?»

Среди способов развивать перед ребенком рассказ, следует очень и очень различать два: первый служит для простого развлечения, — в нем события прицепляются одно к другому, каждое ради своей собственной занятости, рассказ ведется мозаикой, растет как снеговой шар, который катят дети в оттепель по снегу: катить этот шар очень занятно, но он растает и от него ничего не останется. Таких сказок у Андерсена («Сундук-самолет») очень немного. Другой способ развития сказки представляет внутренний рост идеи, вложенной в сказку, причем автор предоставляет самому читателю сделать заключение, а сам только дает повод к нему своим рассказом: по выражению Лафонтена, рассказ «ведет основную мысль не за собою, а с собою» (*Le conte fait passer la morale avec lui*). Какие же основные мысли сказок Андерсена?

По Швейцери, идейное содержание их — «непринужденная оценка *быть и казаться* внешней оболочки и внутреннего содер-

жания» (Lustige Gericht über Schein und Wirklichkeit über die äußere Schale und den inneren Kern). К этому можно прибавить, что они чрезвычайно гуманны: в сказках Андерсена при этом много нравственного света и сердечного тепла, как раз того, чего недостает басням Крылова, которые мы так привыкли считать детскими за их живое изображение животных и простоту языка.

По замечанию Гоголя, «ум Крылова сродни уму наших пословиц, — в них есть все: издевка, насмешка, попрек, словом — все шевелящее и задирающее за живое»... «Его басни отнюдь не для детей. Тот ошибется грубо, кто называет его баснописцем в таком смысле, в каком были баснописцы Лафонтен, Дмитриев, Хемницер и, наконец, Измайлов. Его притчи — достояние народное и составляют книгу мудрости самого народа. Звери у него мыслят и поступают слишком по-русски: в их проделках между собой слышны проделки и обряды производств внутри России». Правда, у Крылова есть отдельные замечания, которые дали повод Гоголю сказать, «что слова эти останутся доказательством вечным, как благородна была душа самого Крылова»; но если оценивать философию его басен по общему впечатлению, которое они оставляют, то она представится проповедью только благоразумия, и с особенным вниманием отнесшись к словам Плетнева, что «Крылов ничего не полюбил, как человек общественный, как писатель гениальный», или к словам Вигеля, что «природа наделила Крылова всеми талантами... Одного ему дано не было: душевного жара, священного огня... Везде ум, нигде не проглянет чувство»...

«Кто молод, тот лирик» — говорит Андерсен и отводит в своих рассказах *для детей* почетное место сердцу.

«Руководимый чувством участия к слабым и заброшенным, Андерсен, сам вышедший из народа, — говорит Брандес, — выводит в своих сказках, как то делает Диккенс в своих романах, преимущественно лиц, взятых из беднейших классов, простых по происхождению, но благородных сердцем людей».

И оттого-то сказки Андерсена и сделались так общеизвестны, что они затрагивают не узкие местные, а общечеловеческие мотивы, и он умеет подсмотреть эти мотивы в самых ничтожных, по-видимому, событиях из детской жизни, как в сказке «Великое горе», которая оканчивается так: умерла моська, и над ней устроена была могилка.

И дети прыгали и танцевали вокруг могилки. И старший внучек, паренек практичный, семи лет от роду, предложил сделать выставку

мосечкиной могилы: пусть идут на выставку все дети с их улицы, а за вход платят по пуговице от штанов. У всякого мальчика ведь имеется такая пуговица, и всякий мальчик может тоже дать по пуговице девочке.

Предложение это приняли единодушно. И все дети с этой улицы, и не только с этой улицы, а и с заднего переулка, хлынули толпой. И каждый платил пуговицу, так что очень многие проходили целое после обеда об одной подтяжке. Но зато ведь они видели мосечкина могилку, а это гораздо поважнее

Перед кожевненным домом, у самого входа стояла девочка. Девочка была в лохмотьях, но прехорошенькая. Волосы у нее вились кудрями, а голубые глаза были так ясны и милы, что просто загляденье! Девочка не говорила ни слова, но и не плакала. Только каждый раз, как отворялась калитка. Она бросала долгий, очень долгий взгляд на двор.

У нее не было пуговицы, и она хорошо знала это, и потому стояла на улице очень печальная, и стояла до тех пор, пока все прочие не перебывали на выставке и не пересмотрели мосечкину могилку, и не разошлись.

Тогда она присела у забора, закрыла себе личико загорелыми рученками и залилась горькими слезами.

Только она, она одна не видала мосечкиной могилки! Так-таки и не видала!

Вот было горе-так горе! Настоящее, великое — такое, какое только может испытывать взрослый человек.

Мы все это видели сверху, из наших окон, — а *глядя сверху*, ведь невольно улыбнешься и на это, да и на иное чужое или свое собственное «великое горе».

Много мыслей задевает и сказка «Гадкий утенок»; тут есть намек на то, что наружность обманчива (вещь старая для нас, а не для детей), тут есть и «не славен пророк в своем отечестве», тут есть, наконец, и та мысль, что нельзя карать развивающееся существо за нескладность его свойств, — развитие может завершиться чудным созданием; сказка «Соловей» развивает торжество искреннего и самоцветного дарования над бездушной и пошлой подделкой. Все герои сказок Адерсена несколько философы; солнечный луч, например, который часто проглядывает в его сказках, ласкает и греет всех и проповедует равенство: «не всегда верь людям, когда они говорят тебе, что человек никуда не годится» — рассказывается в сказке «Она никуда не годилась». Когда умерла птичка в сказке «Маргаритка», то дети устроили ей царские похороны. «Когда



она жила и пела, — прибавляет Андерсен, — ее забывали, держали в клетке и лишали необходимого; теперь после смерти ее начали чествовать и оплакивать».

Андерсен умеет вызывать большой интерес к природе, подмечая черты жизни во всем: у него все живет, думает, говорит, чувствует; — ручьи болтают, цветы танцуют, страдают. «Тюльпаны стояли так же надменно, как прежде, и при этом лицо их было красно от злости, потому что они рассердились». «Маргаритка была вполне весела и довольна; она повернулась лицом прямо к солнцу, смотрели на него и слушали жаворонка, который пел высоко в воздухе». «Церковный колокол высоко висит и далеко смотрит кругом, видит вокруг себя птиц и понимает их язык; ветер с шумом врывается к нему сквозь опускные окна, звуковые отверстия, сквозь каждую трещинку, а ветер знает и ведаёт все — ему обо все рассказывает воздух, а воздух ведь обнимает все живущее, воздух проникает в легкие человека, знает все, что даёт о себе знать звуком или словом. знает каждый вздох».

«Проникни в жизнь природы. — говорит Андерсен, — до самых глубоких и потаенных ее изгибов, зорко всматривайтесь в эту жизнь, чутко прислушивайся к ней и при этом люби ее, сочувствуй ей, непременно сочувствуй!»

Иногда сказка Андерсена, не теряя своих поэтических достоинств, сообщает какое-нибудь техническое, полезное сведение, причем самый технический процесс описывается как жизненный, как в сказке «Лен». Эта сказка напоминает несколько Масе «Историю кусочка хлеба», но она лучше не только своей художественностью, но и тем, что она короче, и таким образом даёт, обнять его целиком, особенно благодаря, отсутствию подробностей.

Но сказки Андерсена написаны не только для детского чтения; — не говоря уже о том, что Андерсен, ведя рассказ, не может, не уронить нескольких, замечаний, которых могут потребовать или объяснений, или известного освещения. — они написаны в такой форме, что само собою назначены для беседы, для совместного чтения. В них много приемов, рассчитанных на чтение вслух. В них то и дело можно встретить такие выражения: «слушайте — мы начинаем!»

«Подмастерье сбегал за огнивом, отдал его солдату, и... вот послушайте, что из этого вышло.»

«Я тебе расскажу сказку, которую слышал давно, когда еще был маленьким мальчиком».

В этих сказках многое связано со звуком и паузой, и эта сторона сказок при чтении непременно ускользает от внимания детей, особенно если принять во внимание ту степень искусства чтения, на которой они могут находиться.

Как важно, например, прочесть вслух такие места сказок Андерсена:

Мать журавлей учит их ходить и летать следующим образом:

«Смотрите только на меня, — говорила мать, — голову держите вот так! Ноги ставьте вот так. Раз, два! Раз, два!» Или: «слушайте лучше меня, это гораздо поважнее. Раз, два, три! Теперь направо — раз, два, три! Теперь налево вокруг трубы. — Видите, как хорошо!»

Или:

«Корабли приветствуют замок из своих пушек звуком „бум“, и замок тоже отвечает им пушкой „бум“, потому что у пушек этот звук то же самое, что у нас „здравствуйте“ или „покорно благодарю“».

Или:

«Чистая ключевая вода била из-под них, и чудесен был звук ее, точь-в-точь, как будто она произносила: клук! клук! клук!» И т. д.

А вот и пример паузы.

Больной китайский император, лежа один в своей комнате, обращается к искусственному соловью!

«Музыку! Музыку. Моя милая, хорошая птичка! Пой же, пой! Ведь я тебе подарил так много золота и драгоценностей, я повесил тебе на шею мою золотую туфлю. От чего же ты не поешь?»

«Но птица молчала: в комнате не было никого, кто завел бы ее, а без этого она не могла петь. Между тем смерть продолжала смотреть на императора своими большими пустыми углублениями для глаз, и во дворце было так тихо, так мучительно тихо!..»

(Пауза).

«Вдруг под окном раздалось чудное пение. Это был живой соловей».

Если ребенок сам будет читать эту сказку, он ни за что не ощутит в такой сильной степени радость китайского императора при звуке этой искренней и утешительной песни; он быстро перебежит глазами эти строки и будет заглядывать подальше.

А иногда эти паузы пригодны и для того, чтоб успеть приласкать маленького слушателя. Например:

«Солнце светило на лен, а дождевые тучи поливали его и для него это было так же хорошо, как хорошо для маленьких детей, когда их моют и когда после мытья мама их целует; они от этого хорошеют».

«Всякая мать, — говорит Брандес, — легко поймет, что за этими словами должна последовать небольшая пауза для того, чтобы дать ребенку тот поцелуй, о котором говорится в книге: этот поцелуй подразумевается сам собой».

Если прибавить к этому, из того же Брандеса, что «у устного слова является масса союзников — в выражении губ, которым сопровождается его произнесение, в движении руки, которая иллюстрирует его в более протяжном или более отрывистом, резком или мягком, серьезном или комическом тоне, словом, в движении каждого мускула лица и общей манеры говорить, — то, мне кажется, ясным будет, почему желательно, чтоб эти сказки предварительно читали детям вслух, а там уж после, они сами могут искать в книге пережитых впечатлений».

Но к желанию, чтобы сказки Андерсена читались детям вслух, я присоединил бы еще одно.

Тургенев, выпуская свои «Стихотворения в прозе», просил не читать их все подряд, а приблизительно в день по одному, и мне кажется, что это в той же мере применимо и к сказкам Андерсена. Если читать их помногу, то они промелькнут в голове пестрой и не совсем ясной вереницей сплетшихся образов и видений.

Наоборот: нужно дать детям время, по прочтению каждой сказки, разобраться в испытанных впечатлениях, перенести мысли из сказки в свои игры, сделать сравнения (к которым зовет манера сказки оживлять неодушевленные предметы и подбирать им соответствующие характеры), дать друг другу и разным предметам прозвища, слышанные в сказке, поспорить друг с другом и, наконец, обратиться к вам с вопросом, иногда мелочным, иногда по существу. Для того, кто любит в детских вопросах подмечать инстинкты человечества вообще, эти вопросы часто будут иметь философский характер и послужат источником интересных бесед, в которых можно и для себя самого почерпнуть много неожиданно нового, и удовлетворить законнейшим запросом детского возраста. Когда же книга попадет наконец в руки детей, они должны встретиться в ней картинки.

Каковы же должны быть эти картинки? Когда вы рисуете детям картинку, они с любопытством следят за движением кончика вашего карандаша, ищут в рисунке полного воспроизведения частей фигуры; для них дорого, чтобы была вырисована какая-нибудь мелочь, занимательна для них, хотя бы она ничего не имела общего с требованиями рисунка; они бывают очень разочарованы, когда

один предмет на картинке заслоняет часть другого, и требует ответственности во всех деталях для каждого изображения

С этим вкусом считаться необходимо, хотя невозможно, конечно, делать это в ущерб воспитанию художественного и прививать уродливые представления об изображении действительности на бумаге. Компромиссом будет требование, чтобы фигуры в рисунке были, по возможности, раздельны, чтобы содержание рисунка отнюдь не было сложно, чтобы ракурсы выбирались такие, которые давали бы невозможность видеть как можно больше частей предмета; при этом необходима окраска, но только отнюдь не пестрая, чуть не лубочная, которая так часто встречается у нас в детских книгах. Силуэты, мне думается, не совсем пригодны для иллюстрации детской книги, потому что чернота физиономий и рук всегда приводит несколько смущению детей. Если бы надо было на картинке среди белых лиц изобразить трубочиста или негра, то силуэт произвел бы громадный эффект, а сам по себе он даже мало понятен. С ним, мне кажется, произошла та же история, что и со сказками Андерсена: быть может потому, что силуэтами у нас обыкновенно рисуют детей, этот вид рисунка у нас начинают переносить и в детскую книжку, а между тем эта форма рисунка наиболее подходит взрослым; силуэт ненавязчив, он оставляет вам ваше субъективное представление о типе, вынесенное из художественного произведения, и в то же время намекает на существо характера.

Само собой разумеется, что при всей элементарности рисунка в детской книге он должен заключать в себе движение и быть исполнен хотя несложным, но выразительным, метким штрихом.

Такие картинки очень подойдут к характеру книжки: нельзя не согласиться с Брандесом, что «Андерсен коснулся лишь простых, а не сложных душевных состояний, встречающихся в жизни и в романе; мы слышим лишь единственный чистый тон, который так редко встречается в сложных гармониях и дисгармониях жизни».

Вот несколько литературных справок и соображений, которые хорошо сопоставить при рассмотрении сказок Андерсена; к ним можно прибавить еще два не очень дерзкие сопоставления.

Не так давно в Англии умер один парламентский деятель (Джон Брант), который, как истый пуританин, был хорошо знаком с Библией, а после смерти жены много пережил при чтении «Потерянного рая» Мильтона. Эти две книги в его политической и житейской борьбе давали ему неистощимый материал и для иллюстраций, и для доказательства его убеждений. Нельзя приравнять сказок

Андерсена к этим двум так дополняющим друг друга книгам, — такое сравнение следует понимать только как очень преувеличенный намек на то обстоятельство, что нередко книга может оставить впечатление неизгладимое, и хорошо, если у человека, среди досадной борьбы с мелкой житейской сделкой, когда совесть уже начинает несколько обкатываться и меньше задевать углами. — хорошо, если у человека с молодых лет останется светлое воспоминание, около которого может приютиться его нравственное чувство. Говоря словами Андерсена, «могут быть в детстве каждого человек светлые точки, которыми до конца освещается его последующая жизнь».

Еще сопоставление:

Когда в 1887 году Россия праздновала освобождение пушкинского текста от монополии книготорговца, профессор В. Ключевский, в своей публичной речи, теперь уже напечатанной, возвращаясь к юности своей и своих сверстников, говорил, что роман «Евгений Онегин» был для них «первым житейским учебником, который они робкой рукой перелистывали, едва сойдя со школьной скамьи». Я рад этому термину и готов применить его к сказкам Андерсена, но при этом далек от мысли учить человека жить по книжке; — я просто выражаю желание, чтобы человек с детства привык и в книге искать жизнь.

Пусть роман «Евгений Онегин» будет не первым житейским учебником, пусть сказки Андерсена займут здесь свое достойное место: они богаты смыслом, полны движением и причудливы, и правдивы как сама жизнь.

Е. С.

## БЕССМЕРТНЫЙ ТВОРЕЦ СКАЗОК

*Впервые опубликовано в: Читальня народной школы. 1898.  
№ 7/8, июль-авг. С. 3–46.*

**(Картинки из жизни Андерсена)**

### I.

В 1805г. в Одензе<sup>1</sup>, в маленькой, бедной квартирке, жил молодой башмачник со своей женой. Жили они мирно и счастливо, хотя под час переносили не мало лишений. Через год после свадьбы, 2-го апреля, у них родился мальчик которого назвали Ганс Христиан Андерсен.

Единственная комната была загромождена принадлежностями башмачного ремесла, Вся скудная мебель, начиная с кровати до рабочего верстака, была сделана руками молодого хозяина. На былых станах комнаты красовалось несколько картин; на большом комодке были расставлены хорошенькие чашки, граненые стаканы и разные безделушки; в углу, у окна, висели полки для книг. В крошечной кухне, щеголявшей своей чистотой, были живописно расставлены тарелки, блюда, кастрюли, кухонная посуда, к довершению красоты двери её были разрисованы. Из кухни внутренняя лестница вела на чердак, где в слуховом окне был приделан деревянный ящик, наполненный землей. В нём мать Андерсена сажала салат, лук, петрушку и даже цветы — желтофиоль и гвоздику, в шутку называя этот уголок своим садом. Уж и баловали своего единственного сынка молодые родители! Мать лаская мальчика, часто говорила:

—Христиан, ты растешь у нас, право, точно графский сын! Не такое детство выпало мне на долю: меня родители каждый день выгоняли со двора собирать милостыню. Раз, как-то, никто не подал мне ни одного гроша, и я из страха, что меня забранят, забилась под городской мост, да и просидела там до ночи, заливаясь слезами.

---

<sup>1</sup>Одензе — главный город на острове Фиония, в Дании.

Грустный рассказ этого до такой степени поразил Андерсена, что и после того он очень часто представлял себе, как его мама, будучи маленькой девочкой, дрожа от холода, голодная сидела под мостом, -и при этом на горько плакала.

Дед и бабка Христиана были зажиточные крестьяне, но их всю жизнь преследовало несчастье: то у них скот падёт, то дом сгорит. Это довело наконец Андерсена-деда до сумасшествия. Жена перевезла его в Оденсе, а единственного своего сына, умного и бойкого мальчика, отдала в этом городе в обучение к бамачнику.

«Это был большой удар для моего отца», пишет Ганс Христиан Андерсен в своём жизнеописании, «потому что он всегда мечтал попасть в школу, сделаться учёным, и разбитые надежды отравили ему всю жизнь».

Лет десять спустя, молодой башмачник женился, обзавелся своим отдельным хозяйством. Водиться с товарищами по ремеслу он не любил; к нему ходили в гости только родные его или самые короткие знакомые. В свободные часы и в воскресные дни он не расставался со своим сыном, которого он любил без памяти. Зимой он делал ему игрушки, рисовал картинки, а по вечерам читал ему и жене вслух разные книги. Летом он отправлялся в лес и непременно брал мальчика с собой. Во время этих прогулок отец обыкновенно молчал: сядет, бывало, под дерево и задумается; а Христиан прыгает, бегаёт, рвет землянику, нанизывает её на соломинку или плетёт из цветков венки.

Только раз в год, именно в май месяц, когда буковый лес стоял во всей своей красе, с ними ходила гулять и молодая мать. В такой торжественный день она постоянно надевала одно и тоже коричневое ситцевое платье с цветочками, служившее ей несколько лет сряду. В этом платье она щеголяла только в дни причастия или в торжественные семейные праздники. Возвращаясь из лесу, мать Андерсена приносила с собой целый пучок свежих березовых веток, которыми украшала печку у себя в кухне.

«Одним из ранних моих воспоминаний», пишет Андерсен, «я считаю посещение смиренного дома в Оденсе. Я на это здание и снаружи и то не мог никогда смотреть, без ужаса, а тут вдруг попал во внутренние его помещения. Вот как это случилось. Мои родители были хорошо знакомы с главным привратником смиренного дома. Однажды он их пригласил к себе на именины и требовал непременно, чтобы я также был у него в гостях. В то время был так еще мал, что меня принесли туда на руках.

Помню, как теперь, мой неописуемый страх, когда громадные железные ворота с визгом распахнулись перед нами, до сих пор слышу, как громко звякнул замок, когда привратник, гремя связкой ключей, запер их за нами. Мы поднялись по крутой лестнице наверх. За обедом все гости много ели, пили; прислуживали нам два арестанта. Но меня никакие силы в мире не могли заставить притронуться к чему бы то ни было; я даже отталкивал от себя пирожное, которым меня угощали. Мать думала, что я заболел, и меня уложили в постель. Не знаю, было ли это в самом деле или мне только так показалось, — только я естественно слышал за стеною гудение колеса, которое вертели арестанты, занимаясь какой-то работой, и громкие их песни. Меня охватило такое тяжелое чувство, точно я находился в доме, населенном разбойниками. Мы вернулись домой поздно вечером. Меня опять несли на руках; холодный ветер уныло завывал, и крупный дождь бил мне прямо в лицо».

У Христиана была бабушка. Она души не чаяла в своем внуке и каждый день заходила к сыну, чтобы хоть несколько минут взглянуть на его мальчика. Она жила со своим помешанным мужем в маленьком домике, близ больницы для сумасшедших. Домик этот был куплен ею на остатки своего прежнего хорошего состояния; он прилегал к саду больницы, отданному ей на попечение. Она каждую субботу приносила оттуда букет цветов, который поступал в распоряжение горячо любимого ею внука.

Бедные сумасшедшие, которым позволялось иногда гулять по двору, зачастую заходили в гости к Андерсенам. Христиан издали робко прислушивался к их несвязному пению и разговору. Сторожа позволяли иногда мальчику гулять по коридорам больницы. Двери комнат, где содержались опасные сумасшедшие, были всегда заперты наглухо, и в коридор выходили только круглые слуховые окошечки, через которые сумасшедшим передавали пищу. В одной двери была довольно большая щель; маленький шалун Христиан встал однажды на коньки, припал лицом к дверной щели и начал смотреть в комнату. Там на соломенном тюфяке сидела молодая девушка. Длинные волосы её разметались по плечам, она диким голосом напевала какую-то песню. Вдруг её глаза встретились с глазами мальчика; в одно мгновение безумная вскочила на ноги, кинулась, как тигр, к двери и так сильно ударила по ней кулаком, что стекло слухового окна вылетело вон. Сумасшедшая просунула в отверстие руку и силилась достать ребёнка; тот обезумев от ужаса, растянулся на полу плашмя и ревел благим матом. Прибжавший сторож выручил его;



но это происшествие всю жизнь помнил Андерсен. Сумасшедшего деда своего он совсем не боялся. Старик был спокойный больной; он постоянно резал из дерева человечков со звериными глазами, зверей с крыльями, каких-то странных птиц и каждый день носил целый короб таких игрушек в окрестные деревни, где крестьянки угощали его и набивали его короб мясом и мукой в благодарность за то, что он наделял их ребятишек своими изделиями.

С детьми Христиан не охотно водился, даже и тогда, когда поступил в школу. Любимым его собеседниками были старухи в городской богадельне, тихие сумасшедшие да бабушка с отцом. От старух, занимавшихся пряжей шерсти в богадельне, он наслушался такого множества сказок, что из них можно было бы написать другую книгу «Тысяча и одна ночь». Дома у мальчика была пропасть игрушек и картинок, заготавливаемых для него отцом. Лучшим же развлечением его было лежать на во дворе под тенью фартука матери; из этого фартука ему устраивали род палатки, близ единственного куста крыжовник, на который он смотрел с большим любопытством. Христиан, когда задумывался, имел привычку беспрестанно закрывать глаза, вследствие чего многие думали, что у него слабое зрение.

Когда Андерсену минуло 4 года, мать отдала его в начальную школу к одной старухе, которая обучала детей только чтению.

«Как теперь вижу её», пишет Андерсен, «сидящую в кресле с высокой спинкой, под стенными часами. Наставница наша держала в руке большой пук розог, а мы должны были все разом вслух читать по складам. Большинство моих сверстников были девочки; если которая-нибудь из них отставала, старуха хлестала ее розгой по плечу. Так как всем в городе было известно этот школьный обычай, то мать моя в день поступления моего в школу предупредила заранее старуху, что бить меня она не позволяет. Я хорошо запомнил эти слова, и в то утро, когда наша школьная учительница вздумала ударить меня своей розгой, я в ту же минуту встал, собрал свои книги и отправился домой, сказав матери что в эту школу я уже больше не пойду».

Тогда мать поместила мальчика в школу некоего Карстена, где были одни мальчики; в среду их замешалась одна только крошечная девочка, всего лишь годом старше Андерсена. Он с ней сейчас же подружился. Малютка постоянно толковала о пользе и добре и объявила однажды Андерсену, что она ходит затем в школу, чтобы выучиться хорошенько арифметике, и что когда она будет боль-

шая, то возьмёт в аренду ферму в богатом подгородном поместье и заживет барыней.

—Хочешь быть арендаторшей в моем дворце, когда я вырасту большой — спросил маленький Андерсен.

—Какой у тебя дворец! Вскликнула, смеясь, девочка, — ты такой же бедный, как и я.

Тогда Андерсен взял карандаш, нарисовал дом, сад и стал уверять девочку, что это его собственное поместье, что он очень знатного происхождения, что его подменили другим мальчиком и что по ночам к нему слетаются Божьи ангелы и беседуют с ним, — словом, он припомнил сказки старух из богадельни и начал рассказывать девочке все, что ему в эту минуту приходило в голову, воображая, что та будет поражена, изумлена. Вместо того девочка вытаращила на Андерсена глаза и, обращаясь к мальчишкам, стоявшим возле неё, пресерьезно заметила:

—Посмотрите, а ведь он такой же помешанный, как и его де-вушка!

Мороз подрал по коже Андерсена при этих словах; он думал, что поразит свою слушательницу богатством своей фантазии и ума, а та приняла его за помешанного.

Старик Карстен очень любил и ласкал Андерсена, и так как Андерсен был самый маленький ученик в его школе, то, когда прочие мальчики принимались резвиться или бегать, Карстен всегда малютку за руку: он боялся, чтобы ребёнка как-нибудь не сшибли с ног. Много лет спустя, Карстен с самодовольной улыбкой вспоминал то время, когда Андерсен маленьким мальчиком был у него в школе.

—Да, да, господа, — рассказывал он своим гостям, — вы, пожалуй не повторите, что бедный старый Карстен был первым учителем знаменитого датского писателя Андерсена.

Осенью, по окончанию жатвы, мать Андерсена и другие бедные женщины имели обыкновение выходить на поле для сбора упавших колосьев.

«Когда я смотрел на мать», пишет Андерсен, «мне всегда вспоминалась Руфь на поле Вооза. Однажды мы с ней вместе занимались этим делом в имении одного богатого помещика, у которого был презлой приказчик. Тот явился вдруг в поле с длинной плетью в руках. Мать моя и другие женщины при виде приказчика бросились бежать. Срезанная солома нестерпимо колола мои босые ноги, я не мог поспеть за бежавшими и остановился. Управляющий замахнулся на меня своей страшной плетью, но не опустил руки.

— „Ты не смеешь меня ударить, — сказал я, смело глядя ему в лицо: — Бог это увидит!“

Слова мои так сильно на него подействовали, что он, не тронув меня, опустил бич, погладил по щеке, дал мне денег и милостиво отпустил домой».

Несмотря на крайнюю бедность родителей Андерсена. мальчик рос, не зная нищеты. Отец и мать готовы были переносить; они лишали себя даже необходимого, заботясь только о том, чтобы их Христиан был сыт, тепло и хорошо одет. Отец мечтал постоянно о том, как бы им нажать небольшую избушку с садиком вне города; как человек умный, он тяготился окружающей его средой и постоянно искал уединения. Разнёсся слух, что в господском доме какой-то помещицы, на острове Фионии, требуется годовой башмачник. Вместо жалования ему предлагалась даровая квартира в отдельном домике с небольшим садом и лугом для одной коровы. Муж и жена Андерсены пришли в восторг от одной мысли, что это завидное место может выпасть на их долю. Муж отправился к помещице, которая выдала ему кусок шелковой материи и заказала пару бальных башмаков с тем, чтобы подошвы они поставили свои. В течении целой недели в доме Андерсенов только и было толку, что об этих башмаках. Маленький Христиан заранее радовался, что у них будет садик с цветами и кустарниками, где ему можно будет сидеть на солнышке и слушать кукованье кукушки.

Несколько раз в день принимался он горячо молиться богу об исполнении этого желания: высшего счастья ни он, ни родители не могли себе представить.

Наконец башмаки поспели.

Отец, мать и Христиан осматривали их с чувством какого-то благоговения, — ведь на этих башмаках держалось все их счастье! Отец завернул свое изделие в платок и с тревожным сердцем отправился в господский дом. Мать и Христиан в полной уверенности, что отец вернется торжествующий, сели у окна и стали нетерпеливо ожидать его. И что же? Бедняк вскоре вернулся, но он был бледен, расстроен, что помещица не только не примерила башмаков, но даже мельком взглянула на них и прямо объявила, что башмаки гадкие, что Андерсен испортил её материю и что дать ему место башмачка у себя она не может.

— Так она меня разозлила, — заключил отец Андерсен, — что я хватил ножом по подошвам, разрезал их пополам, да и говорю: вы уверяете, что я вам материю испортил, пускай же разом и подошвы мои пропадают!

Это обстоятельство было причиной, что отец Андерсена затосковал; он все чаще и чаще стал уходить один в лес, лишился сна и покоя.

В то время Франция воевала с Германией. Дания пристала к Франции, и Наполеон<sup>2</sup> в глазах датчан казался великим героем.

Бедняк — башмачник увлекся мечтой, что если он поступит в солдаты в армию, то вернется домой непременно офицером. Жена, услышав его намерение, плакала день и ночь, а соседки, поживая плечами, наперерыв бранили мечтателя — ремесленника, упрекали его в безумии, твердили, что он идет на верную смерть, позорить себя, когда никто от него этого не требует: в Дании звание солдата считалось тогда самым унижительным.

В то утро, когда надо было выступать в роте, в которую записался Андерсен, молодой новобранец встал спозаранку и, одеваясь, громко пел и смеялся, стараясь скрыть свое волнение. Но он едва не разрыдался, когда ему пришлось прощаться с малюткой сыном, лежавшим в то время в кори. Барабан гремел; по главной улице валил народ; женщины громко плакали; ребятишки гурьбою бежали за гордо маршировавшими солдатами. Отец Андерсена насилиу вырвался из объятий семьи и выскочил на улицу, отирая слезы. Старуха бабка пришла к постели внука и, плача, приговаривала: «Лучше бы тебе не родится на белый свет, мое дитяtko!»

## II.

Это был первый тяжелый день в детстве Христианина Андерсена; но сколько их потом пронеслось над его головой!..

Война скоро окончилась, и отец вернулся домой. В комнате маленького домика опять устроилась мастерская, и молодой башмачник клал по-старому заплаты на изношенную обувь заказчиков и шил новые башмаки, а в свободное от работы часы играл со своим сынишкой. Но и без того не крепкое здоровье его пострадало от трудной лагерной жизни. Однажды утром он проснулся в бреду; ему казалось, что он на поле сражения: он разговаривал с Наполеоном, получал от него приказания и командовать во всё горло. Вместо того, чтобы послать за доктором, привели какую-то знахарку — и через три дня больной лежал уже на столе.

Итак, Гансу Христиану пришлось расти без отца. Куда как трудно было бедной матери прокармливать себя и сына ручным трудом!

---

<sup>2</sup>Французский император.

Мальчик по целым дням сидел один в запертой квартире. Между тем как мать ходила стирать по домам, он развлекался тем, что шил костюмы для кукол, служивших ему актерами на устроено им самим кукольном театре, или ходил в гости по соседям.

Эта мирная жизнь мальчика, вращавшаяся только около игрушечного театра, вскоре несколько изменилась. Мать его вторично вышла замуж. Отчим, молодой ремесленник, не обращал ни малейшего внимания на ребенка. Семья переехала на другую квартиру, и там при доме был крошечный садик. Прямо из сада стояла водяная мельница, — «Монастырская» по прозвищу. Когда она работала, было весело слушать шум её громадных колес.

Любимый уголок мальчика был крошечный заливчик, где речка врезалась в ближайший луг. Христиан засиживался на берегу его по целым часам, любясь на игру облаков и на полёт птиц. Ему казалось, что облака бегут, а птицы летят — глубоко, глубоко под ногами. И чем дальше они засматриваются на реку, тем более разгорячилось его воображение. Река в его глазах росла, росла и превращалась в океан; водные растения вдоль берега — в громадные деревья тропических лесов: плавающие по воде листы кувшинчиков казались ему зелеными островами. Прыгнет неожиданно где-нибудь лягушка — конечно, мальчик вскакивает, дрожит, принимая ее за какое-то чудовище. Темные углубления между рогатыми корнями плакучих ив внушали Христиану такой ужас, точно это были подводные скалы, где он может погибнуть. Мальчик был убежден, что все эти картины, созданные его собственным воображением при помощи рассказов покойного отца, должны были казаться точно такими же и другим людям. Когда к нему приходили в это время чужие дети, он передавал им все свои вымыслы, да так красноречиво и серьезно, что те сначала верили, считая все это правдой, а затем принимались хохотать, называли его помешанным. «Ты точно твой дедушка!» говорили они, смеясь. Если Христиан сердился за это, называл их глупыми, мальчики еще злее дразнили его; он убегал тогда, и вся толпа сорванцов мчалась по его пятам с хохотом, гиканьем и бранью, пока он обливаясь слезами, не прятался на коленях матери! Но той это не нравилось, и она не на шутку бранила своего маленького сына за трусость.

С некоторыми детьми маленький Андерсен положительно не мог играть и потому гораздо охотнее создать сам себе товарищей. Сплетая листья и цветы, он придавал им форму маленьких человечков: веточки, птичьи перья — все шло у него в дело. Надевает он, бывало, целый десяток таких странных кукол, рассадить

их вокруг древесного корня — и доволен. Иногда вскарабкается он на один из плоских камней, и примется распевать во всё горло разные песни, которым его научили: а не то и сам начнет сочинять, подчас даже недурные песенки. Не даром крёстный отец предсказал во время его крести, что у мальчика будет прекрасный голос. Поглядел бы кто-нибудь на Христиана, когда он, стоя на камне, на берегу реки, с непокрытой головой, с рассыпавшимися по плечам длинными белокурыми, почти льняного цвета волосами, пел, делая резкие движения руками, — каждому невольно вспомнились бы те речные духи, о которых говорится в сказках. Сын народа, он по мягкости обращения, по складу речи и привычкам не имел в себе ничего грубого или пошлого. Это была нежная, впечатлительная натура.

Мать всегда сердилась на сына за его склонности к мечтательности и хотела непременно, чтобы мальчик зарабатывал себе хлеб, а не сидел по целым дням сложа руки. Вот она и определила его на фабрику, где ткали ковры; туда охотно брали мальчиков его лет.

Сначала ему жилось отлично на фабрике. Старшие рабочие наслаждались его пением, а заданная ему на урок работа исполнялась другими. Но вот раз как-то один из рабочих, слушая пение Христиана, в шутку заметил: «А что я вам, братцы, скачу. Андерсен, верно, нас обманывает: это не мальчик, а переодетая девочка; вон он какой белый из лица, волосы у него длинные, тонкие, а голос совсем женский!» Христиану следовало бы шуткой ответить на шутку, а он вместо того возьми, да и расплачься, как настоящая девочка.

Фабричный народ, известно, какой грубый. Раздался хохот; все подняли на смех несчастного ребёнка, обступили его со всех сторон, дразнили, толкали, — еле-еле успел вырваться мальчуган из толпы дерзких товарищей, опрометью убежал домой и после того на фабрику ни ногой.

### III.

После бегства с фабрики Андерсен упорно сидел в углу своей каморки, грустил, горячо молился Богу и шил платья на своих кукол. Родителям это нравилось, потому что они задумали сделать из него портного. А его тянуло в актеры.

Вот он какой еще был ребячливый! А ведь ему шел 14-й год. В это время Андерсен стал ходить в бесплатную школу для бедных. Но здесь он мало чему научился; мать выдержала его там до

дня конфирмации<sup>3</sup> — с тем, чтобы после тотчас сдать его с рук на руки какому-нибудь честному цеховому мастеру. Готовили детей к конфирмации обыкновенно два лица; дети благородных и богатых родителей брали уроки Закона Божия у пробста (благочинного), а дети бедных мещан и ремесленников у капеллана школы (младшего священника). Ганс Христиан записался у первого — не из высокомерия, как студили об этом его товарищи по школе, а из страха опять подвергнуться насмешкам и оскорблениям грубых уличных мальчишек. Если тут примешивалось с его стороны некоторого рода тщеславие, то дорого же оно обошлось ему, как бедняку!

Новые его товарищи по классу как будто и не замечали его; он сидел на последней лавке и, краснея, чувствовал, что он непрощенный гость в этой чужой для него среде. В свободные часы, когда остальные ученики весело играли на церковном дворе, Христиан грустно стоял за решёткой и искренно завидовал счастливым, у которых так много книг в ранцах и которые, верно, сами-то как много знают. Из всей школы нашлась только одна девочка, и к тому же по классу первая, которая постоянно обращалась с ним кротко и приветливо, а в день конфирмации подарила ему даже розу! В этот день мальчик вернулся домой совсем счастливый. «Есть же на свете хоть одна душа, не презирающая меня!» думал он весело.

По окончании обряда конфирмации в семь началась упорная борьба между матерью и сыном. Мать настаивала, чтобы Христиан стоял на своём, что из него никогда и не за что не выйдет хороший портной и потому лучше не терять времени понапрасну.

— Мама, — говорил мальчик, — отпусти ты меня в Копенгаген<sup>4</sup> в то время он считал этот город величайшим в мире. У меня денег довольно в копилке.

— Что ж ты будешь делать в Копенгагене — спросила изумленная мать.

— Я хочу сделаться знаменитым. Я знаю из истории великих людей, что в жизни надо бороться, испытать много неприятностей, лишений, а когда все это перенесешь, то сделаешься знаменитым.

Мать покачала головой.

— Вылитый ты отец! — воскликнула она. — Тот также рвался из дому, а что же хорошего вышло? А ты почти этот вздор; оставай-

---

<sup>3</sup> Конфирмация — первое причастие у лютеран.

<sup>4</sup> Главный город в Дании.

ся дома и займись, как все добрые люди, делом. Стыдно бедняку баклуши быть и только песни распевать!

Мать то лаской, то строгостью старалась повлиять на упрямого Христиана, но всё напрасно: он уперся на своём, и бедной матери пришлось уступить.

— Ну, ступай! — сказала она наконец. — Видно, уже такая судьба, Бог с тобою!..

Христиан тотчас же собрался в дорогу.

Это было в сентябре месяце. Погода стояла восхитительная, когда в один день, после обеда, из ворот Одензе вышел Андерсен, 14-тилетний мальчик, с палкой в руках и дорожной сумкой на спине. Провожали его только две женщины: мать и бабушка, густые, роскошные волосы, которые совсем побелели от горя; обе они проводили мальчика до большой дороги и вместе с ним ждали тут почтовой кареты, которая должна была принять Андерсена, как «слепого», т.е. дарованного пассажира, и довести его до Копенгагена. В дали показалась карета, почтальон затрубил в рожок; времени оставалось немного, надо было прощаться. Мать все читала Христиану наставления, а бабушка без слов, рыдая, кинулась ему на шею. Христиан видел ее в последний раз: она умерла в следующем году: и когда взрослый Андерсен по прибытию в родной город захотел поклониться могиле старушки на кладбище бедняков, он не мог её отыскать.

Расставшись со своими, мальчик горько расплакался: но в карете так было покойно сидеть, солнце так ярко светило, рожок почтальона трубил так весело, что он вскоре забыл о своём горе. По небу дружно неслись на юг стаи перелётных птиц, а на земле смелый мальчик спешил, одинокий, в неведомый ему мир.

Утром 3-го сентября 1819 г. Андерсен впервые увидел копенгагенские башни и замок Христианебурге<sup>5</sup>. Выйдя из кареты, он пошёл по дворцовой аллее, через городское предместье, прямо на город. По случаю базарного дня, понедельника, в Копенгагене было большое оживление. Христиан воображал, что так всегда бывает; его ничто не удивило, он только смотрел и любовался зданиями, магазинами, нарядной толпой людей и был в восторге, что достиг своей цели.

Он остановился на крошечном постоялом дворе; там он поел, отдохнул немного и прямо направился к зданию театра; он долго и

---

<sup>5</sup>Загородный дворец короля.



внимательно осматривал его, в полной уверенности, что это будет для него вторым родным гнездом.

На следующий день Андерсен собрался с духом и прямо отправился к управляющему театра с просьбой принять его на службу. Тот оглянул мальчика с ног до головы и отрывисто заметил:

—Вы не годитесь на сцену: слишком сухошавы.

—Беда не велика, — возразил Христиан: — дайте мне только место с небольшим жалованием; я буду есть посытнее, жиру-то у меня прибавится.

Управляющему ответ не понравился, и он велел Андерсену уходить вон.

Отверженный, покинутый всеми, мальчик очутился опять на улице. На него напало такое отчаяние, что ему захотелось тут же умереть. Но вдруг его точно осветила мысль, что он не одинок, что у него есть надежный покровитель—Господь Бог. Он-то уж, конечно, не отринет его, не погубит, а поможет, когда нужно будет. Ведь сколько раз Христиан читал в книгах, что жизнь—путь тернистый, что надо на земле уметь терпеть, мириться с временными испытаниями, и когда пройдешь школу горя, наступит то, что называется у людей «счастьем».

#### IV.

Расплатившись со своим хозяином на постоялом дворе, Андерсен остался почти без денег. Жить было не на что; приходилось выбирать из двух зол одно — или повидаться с первым, более добрым капитаном судна и попросить, чтобы он сжалился над мальчиком и свез бы его даром обратно в Одензе, или идти отыскивать работу у кого-нибудь из столичных ремесленников... Вернуться опять домой — какое страшное унижение для Андерсена! Нет! Лучше исполнять самую унижительную работу на чужой стороне, чем подвергаться насмешкам в родном городке.

Христиан, отправился к одному шорнику, вызвавшему через газеты желающих поступить к нему в ученики. Мальчика приняли с радостью. Хозяин оказался прекрасным человеком, зато подмастерья его и другие рабочие гадко обращались с робким новичком и до того измучили его своим приставанием, говоря, что он глупый, ни к чему неспособный болван, что несчастный мальчик бросился со слезами к хозяину и попросил рассчитать его.

И вот он опять остался не при чем! Вне себя от отчаяния Андерсен в течении дня избегал весь город, не зная, где приткнуться.

Вдруг у него мелькнула мысль: «Да ведь у меня хороший голос! Ведь мне можно пойти в хор». Вспомнилось ему, что он где-то читал о певце, итальянце Сидони, и, долго не думая, отправился прямо к нему на квартиру. Приняла его очень приветливая экономка почтенных лет. Взволнованный расстроенный мальчик откровенно рассказал её всю историю своей жизни, и добрая женщина, докладывая хозяину о бедственном положении Андерсена. Вскоре в дверях комнаты появился сам Сидони, а за ним толпились гости, приехавшие к нему обедать. Все они с большим интересом смотрели на мальчика. Перед ними то Христиану и пришлось петь свои песни и произносить стихи. Пел он с таким искренним, глубоким чувством, что под конец не выдержал, разрыдался и тронул до слез своих слушателей.

Сидони обещал учить Андерсена пению, — и тот же предложил сделать сбор в его пользу; не прошло четверти часа, как ему была вручена значительная сумма денег. В этот день едва ли в целом Копенгагене нашелся бы другой такой счастливец, как Ганс Андерсен. Он горячо благодарил вечером на молитве своего Небесного Покровителя и Помощника и написал восторженное письмо матери, которая в свою очередь сообщила домашнюю радость всем знакомым в Одензе.

Прошло шесть месяцев. Андерсен был принят в дом Сидони как свой, уроки пения итальянец давал ему даром, и Андерсен был совершенно счастлив; но это счастье длилось не долго: в этот год зима стояла суровая; Христиан не имел еще средств обзавестись шубой, он как-то сильно простудил горло — и навсегда лишился голоса.

Это был ужасный удар для него! «Не повезло мне с пением», — сказал он себе, — «попробую, не выйдет ли чего с танцами?» Один из его доброжелателей, танцор Далан, попробовал было обучать юношу этому искусству, но увы! — неуклюжие ноги Андерсена не поддались выучке.

Два года прожил Андерсен в Копенгагене и ничему еще не выучился, ничего не достиг. Денег, собранных для него в доме Сидони, хватило не на долго. Стыд мешал ему сознаться людям, расположенным к нему, насколько велика его нужда: он голодал и мучился тайне, но не терял надежды, что ожидаемое счастье явится, если не сегодня, то завтра. Жил Андерсен очень скудно; он занимал каморку в доме вдовы матроса, которая только по утрам поила его кофе. Обедать он уходил «к знакомым», как уверял он свою хозяйку. Если бы добрая женщина знала, у кого и что он ел, она, верно,

с радостью делилась с ним своим скромным обедом. Молодой Христиан чаще всего уходил в королевский сад, забирался за густым кустарником, где стояла скамейка, садился там и украдкой съедал ломоть сухого, чёрствого хлеба. Но Андерсен был молод в то время, и горе не могло надломить его сил; минутами бывало ему тяжело, но скоро юноша опять оживлялся, делался веселым и готов был воспевать стихами и солнце, и цветы, и голубое небо. Раз, гуляя в прелестный летний день по саду; Андерсен до того увлёкся очаровательной картиной, раскрывавшейся перед его глазами, что бросился к одному из прекрасных, высоких деревьев аллеи и с восклицанием восторга обхватил его и поцеловал, точно это было живое существо.

—Глядите! Ведь это никак помешанный! — крикнул садовникам сторож. — Надо его поймать!

Как только Андерсен это услышал, он сломя голову, выбежал из сада и пошел назад в город, грустно размышляя: «неужели я не похож на других? Отчего я такой особенный?»

Счастье улыбнулось Андерсену в тот самый памятный день, когда он впервые переступил порог углового небольшого домика с остроконечной крышей, оттенённого громадным вековым деревом, как раз за городскими воротами, где в то время жил тогдашний управляющий королевским театром в Копенгагене — Коллин. Андерсена направили к нему добрые друзья. О! Как сильно билось сердце бедного просителя, когда он поднимался по ступеням старомодного деревянного балкона, ведущего к входной двери. Не чуяло это сердце, с каком удовольствием и как часто впоследствии Андерсен будет ходить в этот дом; какого неизменно-верного друга он найдет в Коллине, человек по наружности холодном, деловом, а в сущности истинном друге ближнего.

Коллин принял Андерсена более чем сухо, и огорченный юноша расстался с ним, потеряв всякую надежду на успех. Дело в том, что Андерсен незадолго перед тем отослал на почту Коллину свое новое сочинение для театра, и подписал ее полным своим именем. Знакомые и друзья насказали ему много лестного по поводу этого нового его произведения, а между тем Коллин, который, верно, успел уже прочитать рукопись, ни слова о ней не упомянул.

Прошло три дня после свидания юного писателя с Коллином, и наконец, так нетерпеливо ожидаемое решение участи театрального сочинения было доставлено Андерсену в большом пакете с надписью: «Для представления не годится, но среди хлама найдено много золотых зёрен; будем надеяться, что юный сочинитель, се-

рьёзно проучившись несколько лет, подарит датскому театру новые достойные произведения».

Коллин этим не ограничился. Ему удалось при личном свидании с королём Фридрихом VI, передать ему вкратце грустную историю талантливого мальчика, и августинский монарх тут же назначил Андерсену денежное пособие на несколько лет. Кроме того, по ходатайству Коллина, Христиан был принят бесплатным учеником в латинскую школу города Слагельзе<sup>6</sup>. Королевское пособие поручено было выдать Коллину с тем, чтобы он следил за поведением и учением молодого воспитанника и заботился бы о его содержании. Андерсену было уже 20 лет, когда он поступил в латинскую школу в Слагельзе. Школа эта была гордостью Городка и доставляла главный предмет разговоров для жителей; в каждом доме было известно, кто из школьников получил повышение в классе за отметки последнего месяца, их всюду охотно принимали.

Андерсен нашел здесь квартиру со столом у одной почтенной вдовы, женщины из образованного класса. Ему отвели небольшую комнату с окнами, выходившими в сад и в лес; дикий виноград, густо обвивая рамы окон, скрывал их плохие, выгоревшие стёкла. В школе Андерсен поступил в один из младших классов; его посадили на одну лавку с самыми маленькими мальчиками, так как он равно ничего не знал.

При отъезде из Копенгагена Андерсен дал себе слово не писать стихов, пока не кончит ученья, но, прибыв в Слагельзе, он при всём желании не мог сдержать своего обета. Учитель пения, прознав через кого-то, что он пишет стихи, поручил ему сочинить приветственную. Песню для годовщины торжественного вступления начальника школы в свою должность. Андерсен сочинил песню, её положили на музыку и пропели в присутствии местного епископы.

Зимой у Андерсена умерла бабушка и дед, завещав ему свой старый домишко, который пришлось за ветхостью снести. Юному наследнику досталось 20 рейхсталеров (около 30 р.), но в его глазах — это было целое богатство. Жизнь представлялась теперь Андерсену в самом блестящем виде. Настало и желанное лето. Учеников распустили. Андерсен с невыразимым восторгом уехал на родину; он переплыл на корабле море и затем пешком отправился в Одензе. Когда вдали показался шпиц старинной, так ему знакомый церковный колокольни, Андерсен раскрыл объятия и готов был тут же на дороге пасть на колени от радости.

---

<sup>6</sup>Маленький городок на острове Зеландии.

«Мать моя», пишет Андерсен, «несказанно обрадовалась, что увидела своего милого сынка; это ей не помешало однако в первый же день напомнить, что я должен обойти с визитом всех её знакомых и важных господ в городе. Когда я проходил по улицам, местный жители раскрывали окна и смотрели мне вслед. Слух о том, что я учусь на деньги короля, быстро облетел маленький городок. „Видно, Ганс Христиан, сын Марии башмачницы, не такой уж глупый, как люди думали“, говорила моя мать, любуясь мною. А когда я раз был приглашен кататься в лодке с семьями полковника Гульдберга и местного епископа и проехал мимо нашего садика, мать расплакалась от радости, замечая своим соседкам: его чествуют, как „графского“ сына».

Косени Андерсен вернулся в Слагельзе и начал очень прилежно учиться; его скоро перевезли в высший класс, но нелегко стоил ему этот перевод! Пришлось много потрудиться, чтобы догнать своих сверстников.

В сентябре 1828 года Андерсен поступил в университет. Сделавшись студентом, Андерсен совершенно изменился, стал живым и веселым; среди товарищей он пользовался большой любовью. Несвязанный более прежним обетом не писать стихов, Андерсен дал теперь волю своему пылкому воображению и начал много писать. Он решился даже рискнуть и на собственные средства отпечатать стихотворную повесть «Путешествие пешком от Холмского канала до восточной вершины острова Амагер». В несколько дней книга это была распродана, и один из книгопродавцов тотчас же купил у него право на второе издание и тем значительно поправил его материальные средства. Вскоре после того, под влиянием веселого настроения духа, Андерсен написал в стихах сочинение для театра. Преставление его прошло блистательно, студенты рукоплескали, кричали автору «ура!» и тот, не помня себя от восторга, выскочил из театра на улицу и побежал к себе на квартиру, где застал только одну хозяйку. Андерсен почти без чувств упал на ближайший стул и разрыдался. Добрейшая хозяйка по-своему растолковала причину этого волнения и начала утешать Андерсена, говоря: «Не принимайте это так близко к сердцу: многих великих писателей точно также освистывали на сцене!»—«Но меня никто не освистал!» воскликнул, рыдая, Андерсен: «Мне хлопали! Мне кричали ура!»

«О, как я был тогда счастлив!» пишет он: «я доверял каждому, чувствовал такую бодрость, такую свежесть воображения; двери лучших домов были для меня открыты, и я носился из одного круга в другой, веселый, самодовольный! Всё это не мешало мне, однако,

усердно заниматься делом в университете, и ко второму экзамену я уже приготовился без посторонней помощи».

Второй университетский экзамен окончился у Андерсена с таким же успехом, как и первый, а к Рождеству вышел из печати первый сборник его стихотворений, очень благосклонно принятый читателем. Для молодого поэта открылся теперь путь, ярко освещенный солнцем!

Андерсен с наступлением весны всегда начинал томиться жаждою переселения, непременно на юг. Зарабатывая сначала самое ничтожное вознаграждение за свои сочинения, Андерсен не смел и думать пуститься путешествовать на собственные средства. Друзья посоветовали ему попытать счастья — обратиться к королю с прошением о выдаче ему небольшого пособия из государственных сумм, носящих название: капитал для вспомоществования недостаточным датским писателям, желающих путешествовать.

Андерсену казалось неловким явиться лично с одним прошением о пособии, и он решился поднести королю только что вышедший тогда в свет сборник своих первых стихотворений. Король милостиво принял подношение юного автора, поблагодарил его и, улыбаясь, кивнул головой, делая тем знак, что он его отпускает. Видя, что времени терять нельзя, Андерсен робким голосом изложил королю своё положение и рассказал, как он, благодаря казенной помощи, пробился в университет и как успешно выдержал экзамен.

— Это очень похвально, — ласково произнес король.

— Ваше величество, соблаговолите повелеть, чтобы мне выдали пособие для небольшого путешествия, едва проговорил взволнованный Андерсен.

— Подайте мне прошение, — сказал король.

Андерсен робко протянул заранее заготовленную бумагу.

— Вот оно, ваше величество! Мне сказали, что я обязан обратиться к вам с этой просьбой, но мне, право, так совестливо, так неприятно вас утруждать!..

Король громко расхохотался, принял просьбу — и через несколько дней Андерсену выдали деньги на путешествие. С тех пор, т.е. с 1831 г. До самой своей смерти в 1875 году, знаменитый творец сквозь не пропускал ни одного лета без того, чтобы не побывать за границей. «Путешествовать — это значит жить!» говорил он всегда. Андерсен чувствовал, что это лучшая для него школа, и если его сказки дышат такою свежестью и таким разнообразием, то всем этим он обязан своим странствованиям по белому свету.

Трудно сказать, где Андерсен не был в течении своей жизни! Завязывая повсюду знакомства с выдающимися современными личностями, Андерсен постоянно обогащался свежим материалом для своих сказов, и слова его, как писателя, росла с каждым годом.

Вот что говорит сам Андерсен о своих сказках:

Нет сомнения, что из всех моих литературных произведений в Дании выше всего ценятся мои «сказки», и потому не могу не остановиться, упомянув о них. Первое появление моих сказок было принято далеко не благоприятно для меня, достоинство их признано и оценено гораздо позднее; даже многие друзья мои, мнением которых я особенно дорожил, и те горячо отговаривали меня писать сказки. «У тебя нет совсем признания быть сказочником», уверял один. «Учись у француз», советовал другой, и т. д. Газета «Ежемесячный обзор литературы» прошла молчанием мои сказки и никогда впоследствии не заикнулась о них. Но я пересмотрел свои старания тетради, где были записаны сказки, услышанные мною в детстве, и переработал их по-своему, назвав «Сказки, рассказанные детям», Хотя в сущности я знал, что он будут одинаково интересовать т взрослых, и детей.

Кое-кто отзывался о них с похвалой. Это подлило масло на огонь, и я не могу более удержаться, — следовала 2-я тетрадь сказок, за ней 3-я, 4-я и т. д. Я сочинял рождественский №, и с тех пор ни одно Рождество не обходилось без моего выпуска.

Успех получился неслыханный; особенно нравились всем «Сказки, рассказанные детям». Не было в Дании семьи, куда бы ни проникли три тетрадки изданных мною собраний новых сказок, где впервые были напечатаны: «Безобразный утёнок» и «Соловей».

Журналы и газеты, местные и заграничные, запели другую песню, особенно когда в немецких и английских обозрениях, появились самые восторженные отзывы о новых произведениях Андерсена. Его сравнивали с Лафонтеном<sup>7</sup>, сказки его называли бессмертными; они раскупались нарасхват. Их начали переводить почти на все европейские языки, и вскоре дети Старого и Нового света познакомились с творцом бессмертных сказок.

Он везде был дорогим гостем. Всюду его чествовали, устраивали для него парадные встречи. В высшем обществе в Англии, куда так труден доступ под чат даже людям знатного происхождения, если у них нет поддержки, Андерсен был всегда желанных гостем, и самые гордые власти древнейших замков считали себя за честь

---

<sup>7</sup>Знаменитый французский писатель.

получать право угостить в своих роскошных палатах скромного сына народа.

Почти все европейские писатели того времени лично знали Андерсена. Общительный, всегда ровновеселый характер привлекал к нему одинаково и взрослых, и детей; он действительно был похож на сказочного принца, которого добрые феи наградили всевозможными дарами, а он оставался все тем же скромным, застенчивым сыном народа.

И в Копенгагене начали всё более и более ценить и уважать Андерсена, как родного писателя; датчане стали наконец гордиться им.

В Копенгагене, начиная с дворца, ему были открыты все двери домов всех датских вельмож, и каждый наперерыв предлагал ему провести летние месяцы в том или другом загородном замке, на случай, если бы он не захотел ехать за границу. Дни его рождения и именин свято чтились его друзьями: 2-го апреля, какая бы погода на дворе ни стояла, комната Андерсена превращалась в цветник.

Но самым большим праздником для Андерсона было 6 декабря 1867 г., когда исполнилось 50-летие его писательства. Великого творца сказок приветствовал весь город.

В этот день всегда тихий город Одензе необыкновенно оживлялся. На крышах домов развевались флаги, школы были заперты, как большой праздник, и нарядные толпы народа спешили со всех сторон по направлению к ратуше, где гремела музыка; на площади выстроился местный гарнизон в полной парадной форме. На лицах публики читалось ожидание; вдруг шляпы фуражки полетели вверх не хватая вымахали белые платки воспетая воздух так и перекатывалось Громкая «ура! А! А!» вслед за открытой коляской, которая остановилась укрыться ратуши. Бургомистр<sup>8</sup> с непокрытой пажу и, проговорить краткое приветствие, помог гостю выйти из коляски. Гость был пожилой, несколько сутуловатый господин, с большими Светлыми голубыми, глазами и необыкновенно приветливым, мягким выражением лица.

Бледный от волнения, до слез тронутый Андерсон мог только молча святая с улыбкой. Раскланиваться на все стороны. Отцы и матери приподнимали на руках детей из Китая, чтобы дать им лучше рассмотреть знаменитого детского друга за уроженца города Одензе, их земляка.

---

<sup>8</sup>Бургомистр — то же, что у нас городской глава.



Приемном зале ратуши почетного гостя ожидало блестящее собрание городских властей и представители всех сословий. Бургомистр произнёс речь и поднес Андерсону диплом почетного гражданина от родного его города, из ворот которого более 50-ти лет тому назад—он вышел искать себе счастье. Он не догадался тогда, то есть счастье таится в нём самом., его чистой, детской душе, в богобоязненном сердце и в его богатой творческою фантазией голове...

За парадным обедом пелись в честь дорогого гостя песни, говорились речи, предлагались различные тосты, читались вслух поздравления, приветственные письма, стихи, и торжество заключилось прочтением адреса с 1600 подписями воспитанников и воспитанниц учебного округа Одензе. Андерсен утирал слезы умиления.

В Одензе, кроме торжественного обеда в ратуше родного города, Андерсен получил много приятных подарков. Король лично возложил на него орден, в театре вечером исполнялись его сочинения, актёры и публика наперерыв старались выразить ему свое сочувствие; венки, букеты, речи, стихи, письма от детей из разных частей света — все это подносилось и сыпалось со всех сторон. Одна маленькая девочка прислала ему из Нью-Йорка<sup>9</sup> в подарок один доллар<sup>10</sup>, все свое богатство, сбережённое в копилке; другие дети, продав заранее приготовленные ими работы и, считая Андерсона все еще бедным и беспомощным, прислали ему по почте свои выручки и выражали письменное желание, чтобы эти деньги помогли ему выйти из нужды. В Копенгагене в этот день открыли подписку, в которой с одинаковым рвением приняли участие взрослые и дети, богатые и бедные; дело шло о том, чтобы «другу детей» воздвигнуть памятник в том самом дворцовом саду, где, бывало, бедный Ганс Христиан скрывался в чаще кустов, чтобы тайком пообедать кусочком чёрствого хлеба.

Можно смело сказать, что ни одному еще смертному не выпала на долю такая счастливая, прекрасная судьба... Под Копенгагеном есть прелестная загородная дача Ролигэд (спокойный приют), принадлежащая богатому семейству Мельхиор. Это были одни из ближайших друзей Андерсена, и он жил у них последние годы своей жизни. За ним там ухаживали, как за ребёнком. Он сумел так живописно и уютно убраться отведенные ему две комнаты, с видом на море,

---

<sup>9</sup>Главный город Америки.

<sup>10</sup>Название монеты, которая равна приблизительно рублю.

что посетителям не хотелось уходить оттуда. Когда он, уже больно, не мог более выезжать со двора, он с радостью просиживал целыми часами у одного из окон, любуясь на мимо плывущие корабли, или вырезал из картона бабочек, цветы, и очень красиво оклеивал ими шторы. Андерсен постоянно мечтал выстроить себе собственную дачу и разбить вокруг неё сад, в саду расставить бюсты знаменитых писателей всех веков. «Буду сидеть среди них и каждый день сочинять новые сказки и истории», говорил он.

Но мечты старика не сбылись. 4-го августа 1875 г., совсем уже готовый ехать в Швейцарию (его сундуки были уже уложены и вынесены в переднюю), Андерсен скоропостижно скончался — или скорее уснул на веки: так тиха была его кончина...

Мы закончим наш рассказ словами, которые были напечатаны золотом на тенте одного из металлических венков, присланных на гроб Андерсена из Берлина от писателей:

Не умер ты, хотя глаза твои закрыты:  
В сердцах детей жить будешь ты во век!

Андрей Филонов

## НАРОДНЫЕ РУССКИЕ СКАЗКИ В ИЗЛОЖЕНИИ П. ПОЛЕВОГО

*Впервые опубликовано в: Народное образование. 1899. Кн. 3.  
С. 49–59.*

*Народные Русские Сказки. В изложении П. Полевого. Спб., 1883.  
Изд. товарищества «М. Вольф». Стран. 320.*

В предисловии к изданию сказано, что эти сказки предназначаются для детей. Действительно, смыслящие дети, при руководстве разумных родителей, могут из предлагаемых сказок узнать о многих хороших мыслях, напр.: о силе ума (или значении ума) в жизни (стр. 93), о необходимости милосердия (стр. 41), о сострадании (или сожалении, стр. 76), о важности родительского благословения (стр. 107 и 127); великое значение в одной сказке придается матери-земле (стр. 161) и особенно ярко изображена могущественная сила царского слова (стр. 164).

Но несмотря на многие хорошие мысли, проблескивающие то там, то здесь, мы не можем признать это издание пригодным *для детей*.

Сказки в изложении П. Полевого (бывшего профессора Варшавского университета по русской словесности) теряют много бытовых подробностей, находящихся в настоящих сказках. Берем для образца сказку «Перышко Фениста-Ясна Сокола» и сравниваем ее со сказкой того же названия в собрании сказок А. Н. Афанасьева<sup>1</sup>. У г. Полевого не сказано, что младшая дочь, выведенная здесь, видела в первый раз Фениста-Ясна Сокола *в церкви*, у обедни. У Афанасьева сказано: «Да ты разве не знаешь?» спросил старик-отец. — «Знаю, знаю, батюшко! В прошлое воскресенье он у обедни был, все на меня смотрел; я и говорила с ним». (Афанасьев, Вып. VIII, стр. 2). У Полевого так говорится: «Не печалься, батюшка! Не суди за глаза моего суженого, авось прилетит — нам полюбится»

---

<sup>1</sup> А. Н. Афанасьева. Народные Русские Сказки. М. 1858–1863. Восемь выпусков, с обилием примечаний всякого рода. Издание в полном смысле классическое. При ссылках мы имеет в виду издание.

(стр. 218). В сказке говорится, что в наступающее воскресенье две старшие сестры идут к обедне, а младшая не пошла. Старшие сестры спрашивают: «А ты что наденешь? У тебя и обновок-то нету»... Она отвечает: «Ничего, я и дома помолюсь». (Афан., VIII — 3) У г. Полевого это последняя религиозная черта пропущена. У него сказано: «Ничего! Я нынче и дома останусь» (стр. 218). У Афанасьева есть подробности о пребывании младшей сестры у обедни. Там сказано: «Народ смотрит да красоте ее дивуется: „видно, какая-нибудь царевна приехала!“ говорят промеж себя люди. Как запели „Достойно“, оно тотчас вышла из церкви, села в карету и укатила». (Афан., VIII — 3). У Полевого и эта религиозная подробность пропущена. У него напечатано: «Как *обедня к концу* — красавица наша села в карету и домой укатила» (стр. 219). Младшая дочь идет искать Фениста-Ясна Сокола. У Афанасьева это дело обставлено такими подробностями: «Долго девица заливалась горькими слезами, много бессонных ночей провела у окна своей светёлки... не летит ни Фенист-Ясён Сокол, ни слуг не шлёт! Наконец со слезами на глазах пошла она к отцу, выпросила *благословение*: „пойду, говорит, куда глаза глядят!“ Приказала себе сковать три пары железных башмаков, три костыля железные, три колпака железные и три *просвиры* железные; пару башмаков на ноги, колпак на голову, костыль в руки и пошла в ту сторону, откуда прилетал к ней Фенист-Ясён Сокол». (Афан., VIII — 4 и 5 стр.). У г. Полевого тут пропущена и речь о *благословении* отца перед отправлением дочери в дальний путь, и речи о башмаках, костылях, колпаках и *просвирах*. Вот как в *изложении* г. Полевого пишется: «Всплеснула бедняжка руками, заплакала: „звать сестрицы сгубили моего друга милого!“ В тот де час (?) собралась она и ушла из дому искать по белу-свету (это без отцовского-то благословения!...) своего милого, Фениста-Ясна Сокола» (стр. 220). Здесь г. Полевой пропустил подробность о сборах младшей дочери — башмаках, костылях, просвирах, а в дальнейшем изложении, уже к концу сказки он говорит что железные башмаки истоптала, чугунный посох изломала (у Афанасьева не посох, а «костыль», что гораздо естественнее сказать народу).

Язык *изложения* г. Полевого далеко уступает языку подлинных сказок, изданных Афанасьевым. Берем из той же сказки несколько примеров. У Афанасьева меньшая дочь просит старика купить «аленький цветочек» (Афан., VIII — 2), у г. Полевого «аленький цветик». Надо помнить, что старшая дочь просит купить новое платье, средняя — шалевой платочек, а меньшая — аленький

цветочек. Тут, в духе народной речи, рифмуют два слова: платочек и цветочек. У Афанасьева меньшая дочь иногда называется «меньшуха» (Афан., VIII — 2); такое слово дает детям понятие о разнообразии народного языка, его обильном словоизвитии. У г. Полевого этот оттенок языка пропущен. У Афанасьева младшая дочь иногда говорит отцу: «Не печалься, батюшко! Знаю, знаю, батюшко!» (Афан., VIII — 2); у г. Полевого в разбираемой сказке нигде нет этой формы, показывающей ясно, что народный язык любит включать церковно-славянские формы языка в свои обороты, а это самое показывает единение двух языков: народно-русского и церковно-славянского. Пропущены у г. Полевого и такие выразительные обороты народной речи: «Избушка, избушка; мне в тебя лезти — хлеба ести» (Афан., VIII — 6 и 7), а они замечательны для понимания церковно-славянского языка, которым, как живой струей, напоеается наша народная, сильная речь. В разбираемой сказке говорится, что старшие сестры, из зависти к младшей, поставили западно ее суженому, именно: они поставили на окне «крест на крест ножи острые». (Афан., VIII — 4): г. Полевой изменил этот яркий образ и изложил так: «И задумали сестры недоброе: под вечер насыпали они на окно сестриной светелки битых стекол, потыкали острых игл и ножей, чтоб Фенист-Ясен Сокол наколоса на те ножи» (стр. 220). И стекла битые и острые иглы совсем, кажется, излишни, где «натыканы» (?) «ножи острые». У Афанасьева выразительнее: «ножи крест-на-крест», а здесь просто «натыканы»...

Еще более отступлений от народного быта и языка, изображенных в наших сказках, у Николая Алексеевича Полевого (1796–1846), отца П. Н. Полевого, в его трех сказках, предложенных в разбираемой нами книге. Главный редактор разбираемого издания, П. Н. Полевой, в предисловии к настоящему изданию говорит, что он не решился вступить в литературное «состязание» со своим отцом в способе изложения трех сказок: «Об Иване Царевиче, о Семи Симеонах и Иванушке Дурачке». «Напрасно», отвечаем мы П. Н. Полевому, он не вступил в литературное состязание со своим отцом, ибо способ изложения сказок, представленных *Николаем Алексеевичем Полевым*, весьма неудовлетворителен. Означенные три сказки были пересказаны Николею Алексеевичем Полевым в тридцатых годах нынешнего столетия, когда еще не было собрания сказок, образцово изданных А. Н. Афанасьевым, не было тех замечательных изданий народных сказок, которые мы имеем с шестидесятих годов, не было и тех ученых исследований о народных сказках, которыми мы в настоящее время можем пользоваться. Издания

А. Афанасьева, Худякова, Эрленвейна, исследования Ф. И. Буслаева, самого Афанасьева, Пыпина, Ор. Ф. Миллера, Вс. Миллера, А. А. Потебни, А. Н. Веселовского (академика) и других<sup>2</sup> много продвинули вперед дело изучения и понимания народных сказок многое уяснили. Поэтому стоять на точке зрения Николая Алексеевича Полевого, умершего в 1846 году и, следовательно, не дожившего до той поры, когда народную поэзию стали понимать иначе, как понимали ее во время Н. А. Полевого, стоять на его точке зрения не следовало, и нельзя было П. Н. Полевому перепечатывать сказок в *изложении* его отца в том виде, в каком сей последний печатал их в свое время.

Несколько сравнительных выдержек из *переложенных* Н. А. Полевым сказок яснее наших слова укажут несостоятельность изложения их бывшим издателем «Московского Телеграфа»<sup>3</sup>.

Берем сказку «О Семи Семионах» в изложении Н. А. Полевого. У. Н. Полевого эта сказка отличается необыкновенностью сложностью содержания: в разбираемом издании она занимает двадцать две страницы (стр. 157–178), у Афанасьева три разночтения (варианта) этой сказки напечатаны: вып. Второй, № 26 «полторы страницы» (изд. 1859 г.), выпуск третий, № 12 «четыре с половиной страницы» (изд. 1860, стр. 48–53), вып. Шестой, № 31 «четыре страницы» (изд. 1861, стр. 154–158). Несмотря на многосложность содержания, на разные придумки Н. Полевого, напр. придумал Н. Полевой царя Архидея (имени которого совсем нет у Афанасьева), придумал Н. Полевой, что отец Елены прекрасной, царь Бузанский, угрожает войной тому, кто посмеет похвастаться за его дочь: «Ни за кого не отдам я моей царевны Елены, а кто будет за нее свататься, на того я войной пойду, царство его разорю и самого его в полон полоню» (Изд. Вольфа, стр. 168), не смотря, говорим, на многие подобные придумки, в настоящих народных

<sup>2</sup>Разумею сд. Исследования: Славянские сказки Ф. И. Буслаева. Очерки русской народной словесности и искусства. СПб. 1861, т. I. Сказка и миф, А. А. Афанасьева. Филологич. Записки (издав. В Воронеже) 1864. О народных Русских сказках, А. Н. Цыпина. Отч. Записки 1856. Статья Ор. Ф. Миллера в книге «XXXIV-е Присуждение Демидовских наград». — Вс. Ф. Миллера. «Журн. Мин. Нар. Пров.» 1897, октябрь. О Бабе-Яге. — А. А. Потебни. Чтения Общ. Истории и древностей при Московском Университете 1866, кн. III. — Новые отношения Муромской легенды, А. Н. Веселовского. «Журн. Мин. Нар. Пров.» 1871, № 4. (Здесь собрано много данных по вопросу о сходстве наших сказок с иноземными, Его же: Мелкие заметки к былинам. «Журн. Мин. Нар. Пров.» 1890, май. (Сказка об Илье)).

<sup>3</sup>Н. А. Полевой издавал десять лет журнал под названием «Московский телеграф» (с 1825 г.).

сказках не встречающиеся, у Н. Полевого *пропущен* занимательный для детей эпизод сказки «О Семи Симеонах», эпизод об ученом коте: кот ученый есть у Афанасьева в сказке «Семь Симеонов» и называется «ученым» и ему придано большое значение. «А Симеон меньшой взял с собой в путь сибирского кота *ученого*, что может по цепу (по цепи) ходить, вещи подавать, разны немецки штуки выкидать. И вышел вор Симеон с своим котом, с сибирским, идет по острову, а товарищей-ребят просит не выходить на землю, пока он сам не придет назад. Идет по острову, приходит в город, и на площади перед царевниным теремом забавляется с котом ученым, с сибирским: приказывает ему вещи подавать, через плетку скакать, немецкие штуки выкидать» (Афан. III — 50). У Н. Полевого совсем пропущен кот ученый, который, по сказке у Афанасьева, так занял внимание царевны Елены прекрасной; у Н. Полевого вместо того говорится о разных драгоценностях, которые будто бы прельстили Елену. «Пришли они (Семь Симеонов), царевне поклонились, развернули парчи, бархаты, рассыпали жемчуги перекатные, разложили каменья самоцветные, каких в Бузанском царстве и не видано и не слыхано» (Изд. Вольфа, стр. 172–3).

Пропуск «ученого кота» в напечатанной сказке делает непонятным для детей одно место в стихотворении Пушкина «У лукоморья дуб зеленый», здесь же, в разбираемой нами книге напечатанное, перед ее началом:

У лукоморья дуб зеленый,  
Злая цепь на дубе том,  
И днем и ночью *кот ученый*  
Все ходит по цепи кругом.

Язык *изложения* Н. Полевого искусственный. «Чернеется Бузан остров, весь пушками, словно горохом, усыпанный: богатыри-усачи щепетно по берегу ходят, усами пошевеливают» (изд. Вольфа, стр. 171), или: «дружина царская стоит, уши повесила, словно охмелела, а богатыри только *глазами хлопают*» (изд. Вольф, стр. 174), или: «Как взвояет, возрыдает царь Бузанский: дочь моя, царевна Елена ненаглядная!... Да как рывкнет он на дружину» (изд. Вольфа, стр. 174), или: «Ахнула царевна Елена прекрасная, ударила *себя по белой груди*» (стр. 175), или: «Не спится ему (царю Бузанскому), не весело его ретивому сердцу, не милы ему пиры царские, не сладки яствы лебединые, не хмелен мед крепкий» (стр. 176), или: «тут царевна Елена на царя Архидея так посмотрела, что ему показалось, будто солнце пляшет, *месяц песни поест, а звезды вприсядку пошли*»

(стр. 177). В других сказках, в переложении Н. Полевого, язык столь же искусственный, или (по-нынешнему) деланный. Напр.: «Иванушкины братья тут-то *расхохлились, расфуфырились*» (стр. 214, сказка «Иванушка-Дурачок»). Вот как начинается сказка «Семь Симеонов» у Н. Полевого: «В некотором царстве, в некотором государстве, за тридевять морей, в тридевяти королевстве, за многими островами, за дальними горами, за широкими реками, на ровном месте, как на скатерти, стоял великий город, а в том городе жил-был царь, по имени Архидей, а по отце Агеевич. Был он царь умный, разумный: богатства у него было без счету, воинства своего он и числа не знал; городов было у него под рукой сорок сороков, а в каждом городе было по десяти дворцов, с серебряными дверями, с золотыми потолками, с хрустальными окнами. Совет его составляли двенадцать мудрых мудрецов; у каждого борода с локоть, а ума палата, и все царю правду говорили, а лгать из них никто не смел. Как такому царю, кажется, не быть бы веселым и счастливым? Да, видно не богатство, ни мудрость счастья не дают, если на сердце кручина есть; а она, злодейка, и в золотых палатах гостить. Вот и царь Архидей был и богат, и умен, да притом еще и такой был красавец, что ни вздумал, ни взгадать, ни пером написать, ни в сказке сказать; но не мог он сыскать себе по сердцу невесты, которая была бы такая красавица, как сам он, и о том царь Архидей часто горевал и кручинился» (изд. Вольфа, стр. 158).

Теперь смотрите, как просто начало этой сказки у Афанасьева: «В одном месте у мужика было семь сынов, семь Семёнов — всё молодец молодца лучше, а такие лентяи, неработницы — во всём свете поискать, ничего не делали. Отец мучился, мучился с ними и повёз к царю; привозит туда, сдаёт всех в царскую службу. Царь поблагодарил его за таких молодцов, и спросил, чего они умеют делать? У самих спросите, ваше царское величество!» (Афан., вып. Второй, стр. 76 и 77). И другие разночтения этой сказки у Афанасьева так же просты, естественны, как и приведенный отрывок: нет ни малейшей искусственности, вычурности, «деланности». Ученые дошли до убеждения, что сказки надо записывать со слов народа и в передаче сохранять все оттенки языка народного, своеобразного, выразительного в простоте своей.

*Изложение* свое Н. Полевой пропитал сатирой. В сказке об Иванушке-Дурачке читаем такие выражения: «Жили в том городе (где царствовал царь Горох с царицей Морковью) всякие люди, купцы честные бородатые, и *плуты* хитрые *тороватые*, ремесленники немецкие, красотки шведские, *пьяницы русские*, а



в слободах пригородных мужички землю пахали, хлеб засевали, муку мололи, на базар возили, а *выручку пропивали*» (изд. Вольфа, стр. 197). Седьмой Симеон (сказка «Семь Симеонов») говорит царю Архидею: «Хотел бы я вороват, давно бы украл и *всю* твою казну *царскую*, с судьями твоими *поделился* бы, а на *остальное* белокаменные палаты себе выстроил» (там же, стр. 164). Сатиры с подобными уколами нет в народных сказках, изданных Афанасьевым.

Приведенных примеров достаточно для доказательства несостоятельности переложения сказок, какое мы находим у Николая Алексеевича Полевого, потому еще раз повторим, что напрасно г. П. Н. Полевой внес эти сказки в свое издание.

Рассматривая все сказки, переложенные (или изложенные) г. П. Н. Полевым и имея в виду предисловие, где говорится, что эти сказки назначаются для *детей*, мы весьма сожалеем о том, что при них нет никаких объяснений: ни смысла сказок, ни мало понятных слов.

Наука же разбирала сказки, пытаясь объяснить их смысл: у г. П. Полевого на эти попытки объяснений нет и намека. Читает смыслящий ребенок, любознательный в прилагаемой книге: «Захочешь попить, поесть: расстели скатерку и двенадцать молодых да двенадцать девиц принесут тебе питья медвяные, и яства сахарные — ешь не хочю! А коли грозит беда неминучая, надень шапочку невидимочку и сгинешь так, что собака чутьем не отыщет». (Изд. Вольфа, стр. 31). Скатерть хлебо-солка; сапоги самоходы, да шапочка-невидимочка упоминаются в сказке «Об Иване Царевиче и гусях самогудках» (стр. 30–31). Есть в разбираемой книге «летучий корабль», есть «баба-яга» и т. д. Что же все это значит? Какой смысл во всех этих скатертках-самобранках, шапках невидимках, летучем корабле и пр.? Не должно вдаваться в разные мудрования, а их не мало в ученых исследованиях, но следует ясно, просто и коротко втолковать детям, что народ в разных сказках, чудесами исполненных, хотел выразить свои мысли о тайнах Божьего мира, о силах природы, ему непонятных. Гремит гром: народ, «темный» народ, — он сам себя так называет, — не знает той милы (электричеством называемой), которая производит это явление и говорит: Баба-яга в ступе едет, толкачем погоняет и тем производит известный стук... Видит народ изобилие трав и цветов на роскошном лугу летом: это «скатерть-самобранка», в понятии народа. Проносится облака и закрывает солнце: это, по понятию народному, «шапка-невидимка», это и «ковер-самолет» и «сапоги скороходы». Пушкин в своих стихах, приводимых в начале разбираемой книги, говорит

о сказках: «Там царь Кошей над золотом чахнет». И этому образу сказочному наука дает посильное объяснение: Кошей — это образ тучи, закрывающей совсем солнце, а солнце и есть то золото, над которым чахнет Кошей (т. е. сильная туча, скованная зимним холодом). Сам с перст, а борода на семь верст: об этом говорится в разбираемой книге. Наука и тут допыталась до смысла: «сам с перст», а борода на семь верст это осязательное представление молнии: мужичек с ноготок — молния, а борода на семь верст — туча. Грозные явления природы — гром, молния в сказках облеклись в образы живых существ<sup>4</sup>. Само собой разумеется, что не всякая подробность в сказках может быть толкуема с этой точки зрения: разные чудесные подробности в них принадлежат вымыслу (фантазии) народа, который к чуду присоединял новое чудо.

Но как бы то ни было, все так в издании сказок для детей должны быть какие-нибудь объяснения.

Слов мало понятных для детей (а может быть и для взрослых) множество в разбираемой книге, напр.: скатный (стр. 18), каленые (29), подьячий (38), косящатый (41), кресало, ледащая (59), лытасть (66), напрасная смерть (111, «напрасная» в смысле древнем), морда (116, в смысле рыболовной снаски, но это не объяснено), котва (158), ширинка (158), ярыжки (165), столник, сайдачник (169), щепетно (171), бердыши (173), литавры (177), обельная, опасная тарханная (178), веницейский (203), шемаханский (205), кольчуга (207), сурны, сопели (210), торока (211), убрис (232), червчатый бархат (244), киса (274), пищал (282), эти и подобные слова не объяснены, а между тем слово есть выражение известной стороны быта народного, его истории хранилище. Ведь многие из этих слов, при объяснении, дали бы хорошему и внимательному к своему делу издателю (или редактору) повод поговорить о сохранении древнего быта нашими сказками. Просим читателей поверить нас, обратив внимание на слова: «обельный, тарханный» и пр. Что в них, в этих словах сохранилось? В них сохранилось напоминание о нашем историческом быте до Петра Великого. А эти «сурны, сопели, пищали» ведь они тоже указывают на следы древнейшего русского житья-бытья. Разъяснив эти и другие подобные слова, оставленные без всякого толкования, редактор издания отметил бы в глазах детей истинный смысл сказки, они, наши дети, увидели ли бы, что и в сказках есть многое, чему можно поучить-

---

<sup>4</sup>См. об этом любопытное сообщение в Филологическом обществе при здешнем Университете. «Журн. Мин. Нар. Просв.» 1891, октябрь, стр. 20 и др.

ся, что они, эти чудесами переполненные, сказки не фантазию (воображение) только занимают, но развивают и рассудок, мышление ребенка, если только сказка разъяснена. Ведь не даром же у нас такие знаменитые писатели, как кн. Влад. Фед. Одоевский, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин и другие писали сказки. «Сказка Дедушки Иринейя» (псевдоним кн. Одоевского), «Овсяный Кисель», «Сказку о Рыбаке и Рыбке» — кто их не знает, кто их не изучает... Заграничные писатели славу себе составили (даже всесветную) сказками: Андерсен (датский поэт), Тонелиус (Финляндский поэт, педагог и ученый), Кармэн Сильва (королева Румынская Елизавета) и другие.

Теперь обратим внимание на рисунки, приложенные к разбираемой книге. Рисунки — хорошая принадлежность детских книг (они весьма уместны и в ученых изданиях): рисунком поясняется содержание рассказа. Хороший рисунок привлекает ребенка и побуждает познакомиться со сказкой. Но сущая беда, если рисунки составлены небрежно, или не скромно, или чудища какие-то представляют (с рогами и хвостами, с длинными когтями), или не соответствуют содержанию, или разные пустяки изображают, т. е. то, что и без рисунка понятно детям. К величайшему нашему сожалению, мы обязаны сказать, что рисунки в разбираемой книге весьма неудовлетворительны и могут вызвать справедливое сетование педагога, хотящего разумного воспитания детям. Мы видим здесь рисунки *голых* мальчиков (рис. 1-й, 7-й), царевну, до самых бедер обнаженную (стр. 193). Чертей и чудищ в книге изображено множество: черти (стр. 1), черти (4 и 5), ведьма (8), черти (25), чудище (44–45), черти (81), чудище (140), черт (198), чудище (стр. 232), при некоторых рисунках разного рода чудищ прилагается и описание в роде следующего: «рожа шитая, нос плетеный, язык строченый, ноги телячьи, уши собачьи» (стр. 261). К рисункам чудищ и чертей разбираемая книга присоединяет не мало рисунков скелетов: скелет головы человека (стр. 121), скелеты людей (более тринадцати скелетов изображено на одном рисунке (стр. 126–127), скелет головы человека (стр. 129). Далее есть рисунки, изображающие наших воевод, бояр, купцов: и все эти рисунки безобразного свойства: на них и воеводы, и бояре, и купцы все пузатые, с огромными животами и тупоумными лицами (стр. 224, 166). К чему такие карикатурные картины? Подумало ли товарищество «Вольф и К» о *нравственной* ответственности, лежавшей на печати? Представлять наших воевод, бояр, купцов в карикатурном видео и притом с помощью рисунков в книге для детей весьма неразумно...

к тому же изображения эти не соответствуют содержанию сказок... Такую книгу истинно-разумная мать не даст своему ребенку.

Еще об одном недостатке разбираемой книги мы должны упомянуть, об отсутствии ударений. Ударение очень важно в деле толкового и выразительного чтения, особенно для детей. Ведь их всему надо учить, надо учить произношению слов с ударением по духу русского языка. У Афанасьева везде в надлежащих местах ставится ударение. Возьмите сказку о Фенисте-Ясне Соколом: шепчет ей *на* ухо (у г. Полевого нет ударения), Фенист-Ясён Сокол (у г. Полевого нет знака над буквой *е* и ударение не поставлено), как придет *на* берег синя моря (у г. Полевого нет ударения: «выйдешь из лечу на берег синя моря», изд. Вольфа, стр. 221), у Афанасьева «девица» (с ударением на букву *е*, вып. VIII, стр. 5), девицу, девицей (там же, стр. 6 и 7): у г. Полевого в этом слове нигде нет ударения. У Афанасьева: «Фенист-Ясён Сокол — цветные перушки»: у г. Полевого никакого знака нет на слове «ясен» и на слове «перушки». В хорошо образованном издании, предназначенном для детей, непременно надо ставить ударения, дабы дети читали верно, с должной интонацией, понимали особенности народного говора и так мало по малу осваивались со своим родным языком.

По поводу сказок в изложении г. Полевого еще хочется сказать несколько слов. В виду большого значения сказок в жизни детей (им рассказывают сказки в колыбели, им дают сказки, как первое детское чтение, на Рождественские праздники преимущественно расходятся сказки), следовало г. П. Полевому сделать выбор сказок более разнообразный и более поучительный. В напечатанных им сказках много чудес, особенности в сказках: «Пойду туда, не знаю куда» (стр. 274) и «Царевна Ненаглядная-красота» (стр. 64–76).

Нравы, описываемые в сказках, избранных г. Полевым, какие-то жестокие, давящие душу. В сказке «Вещий Сон» говорится, что разгневался купец на младшего сына, приказал раздеть его до нага и привязать к столбу бичевать (стр. 225); в сказке «Волшебное кольцо» говорится, что охотничью собаку привязывают к столбу и бьют немилосердно (стр. 289). Сказки с таким ужасным содержанием неприятно могут действовать на детскую душу: они разовью в ней нежелательное направление, и без того существующее у многих детей, страсть к *мучительству* животных и даже людей (низших себе по рангу).

Некоторые сказки у г. Полевого позднейшего происхождения: так в одной из них приводится песня: «Чарочки по столику по-

хаживают» (стр. 35)... В сказке «Вещий Сон» приводятся стихи из Кольцов: «Аль у сокола крылья связаны?» (стр. 227)...

Нам кажется, что значительную часть этих сказок можно было бы исключить из книги, а равно следовало бы опустить в ней и разные сатирические уязвления, направленные на чиновников, обирающих царскую казну, — на судей, живущих взятками, — на купечество и плутоватое и — на весь русский народ, склонный будто бы к пьянству (стр. 197). Все это следовало заменить другим подбором сказок.

Мы советовали бы поместить ряд сказок, более близкий к понимаю детей и наиболее ими любимый, это сказки животного эпоса. У Афанасьева и других собирателей народной поэзии есть сказки про лису, зайца волка, медведя, кота, норку-зверя и разных птиц. Этому роду сказки наиболее близки к понятию ребенка, потому что он часто их видит (кроме медведя и волка); в этих сказках много простоты, наивности и полного добродушия: они же *кратки* по объему. Некоторые из них заключают в себе стихи (напр. сказка «Царевич-Козленочек» Афанасьева, вып. второй, стр. 97), которые обыкновенно поются, когда рассказывается сказка, и тем самым производится еще сильнейшее впечатление на ребенка: ибо пение, по существу своему, заключает в себе какую-то притягательную, влекущую силу... Из этого рода сказок ни одной нет у г. Полевого: обширный отдел сказок, наиболее пригодный детям, пропущен, хотя разбираемое издание с семидесятых годов известно в детской литературе. К. С. Аксаков, известный своей любовью к народному быту, его истории и поэзии, весьма сочувственно отзываясь о сказках из мира животных. «Есть особый отдел сказок, говорит он, это сказки домашние, т. е. детские — о волке, медведе, лисе, петухе и пр. Они исполнены невыразимой красоты и также заслуживают внимания». (Сочинения К. С. Аксакова. М. 1861, т. 1, стр. 408). Вот имея этот замечательный взгляд на сказки о животных, мы очень сетуем, что ни одна подобная сказка не вошла в сборник г. П. Полевого.

В заключение нам хотелось бы сказать против самой мысли *излагать*, или *перелагать* народные сказки на общелитературный язык. Все выразительные оттенки своеобразного народного языка исчезают в такой переделке, а народный язык — это клад, это истинное сокровище народного ума и характера. Читаете вы чисто народную сказку «Семь Симеонов» и находите такие обороты: «мозги переливаются по косточкам», «поплыли доставать царевну по-за сизыми горами, по-за синими морями», «благодарит Симеон

за хлеб-соль, за угощения и за ласки», «а всех одарить не можем», «чуть мреет, далече плывет корабль», «царь поцеловал царевну во уста сахарные» и пр. и пр. (Афанасьев, вып. третий, № 12-й, стр. 50–52). В изложении г. П. Полевого все эти оттенки чудного и изобразительного народного языка нашего не нашли себе места...

Нам кажется, что надо не *перелагать* народные сказки, или *излагать* их своим языком, а *издавать так*, как они записаны с уст народа, пропуская, разумеется, те грубые выражения, которые иногда встречаются в записях народных сказок. Мы думаем, что тот, кто взял бы за этот благодарный труд и, перебрав все имеющиеся сборники сказок Афанасьева<sup>5</sup>, Худяков, Эрленвейна, а также сборник материал для описания местностей и племен Кавказа<sup>6</sup>, где помещено множество сказок, не забыв и «Этнографического Сборника», издаваемого Русским Географическим Обществом (и тут печатаются наши сказки и исследования о них), перебрав все эти богатые материалы, составил бы книгу сказок для детей, тот заслужил бы великую благодарность и детей и родителей. Вникните, господа педагоги, в смысл нашего обращения. Мы желаем хорошей книжки для детей, составленной из одних русских сказок, не в *переложении* и не в *изложении*, а в их подлинном виде, как они записаны с уст народа. Рисунки должны быть без чертей и чудовищ...

---

<sup>5</sup> Умер в 1871 г., а род. В 1828 г. Третье изд. его сказок с биографией и указателями, в двух томах вышло в 1897 г.

<sup>6</sup> Двадцать два выпуска этого «Сборника» существовали уже в 1897 г. и почти в каждом печатаются народные сказки.

С. А-в.

## ГЕНИЙ СКАЗКИ

*Впервые опубликовано в: Семья. 1900. № 31. С. 6.*

*(К портрету. См. стр. 7)*

25 л. тому назад, в один из текущих августовских дней, в присутствии королевской семьи и несметного количества народа, на копенгагенском кладбище опустили в могилу гроб, положительно потонувший от массы цветов и венков, присланных со всех концов света. То родственная и глубоко симпатичная нам Дания в последний раз прощалась с гениальным сказочником, которого она с гордостью называет своим, но который, в действительности, имеет неотъемлемое право на имя *поэта Божией милостью*, как признанный не одними только избранными, интеллигентным классом, но и всеми народами в совокупности, как всеобщий и неизменный любимец не в одних лишь дворцах, но и в бедных хижинах.

Сын бедного башмачника, *Ганс Христиан Андерсен* выступил на литературное поприще в том раннем возрасте, когда многие из детей едва знакомы с грамотой. Уже 9л., прочтя всего Шекспира, он вообразил себя поэтом; улавливая носившиеся в его мыслях образы, он дебютировал трагедией, в которой, проявив необыкновенную жестокость, он отправил в лучший из миров чуть не дюжину действующих лиц. Но, написав еще несколько произведений в этом же духе, помыкавшись с ними по разным директорам театров и потерпев всюду неудачу, однако, продолжая верить в свою счастливую «звезду», Андерсен перешел к лирике. Появились стихотворения — «*Душа*», «*К моей матери*», «*Новогодняя ночь*», «*Умиряющее дитя*», сразу остановившие внимание публики на авторе, который в университете приобрел уже значительную известность. После удачных здесь экзаменов издал полную мысли и юмора фантастическую повесть «*Путешествие пешком в Амагеру*», Андерсен отдался обильной поэтической деятельности, выразившейся в целом и разнообразном ряде произведений. Так выходят в свет — «*Картины западного берега Ютландии*», «*Фантазии Северного моря*», «*Теневые картины путешествия по Гарцу и по Саксонской*

Швейцарии» — путешествия, которые отличаются несомненными достоинствами, но и страдают некоторыми недостатками. Затем — несколько сборников стихотворений, к которым относится также большой эпический цикл, вроде «Агнета и моряк», «Агасферь», далее — целый ряд драм, опер и даже феерий, из которых иные и до сих пор держатся на датской сцене. Наконец — также довольно значительный цикл романов, где Андерсен счастливо очеркивает оригинальные характеры, драматические положения, умеет наблюдать, изображать и освещать все свои картины поэзией; особенно удачно умеет проникать в жизнь народа, понимая и рисуя ее с различных сторон.

Однако, ни один из этих родов художественного слова, ни все они даже в совокупности не доставили Андерсену такой исключительной, всесветной славы и популярности, как именно его сказки. Всем известно, писать таковые для детей может только «истинный» поэт, в котором самом таится нечто *непосредственное, детское*. Сказки Андерсена в этом отношении — само совершенство. В них развертывается бесконечное богатство его фантазии, проявляется вся сила и глубина его поэзии, идеальная чистота души и теплота его сердца. Милые живые сцены, полные добродушного и тонкого юмора, переплетаются с восхитительными картинами природы, которая здесь так кстати вмешивается в человеческую жизнь. Мысли его то глубоко-трогательные, то игриво-грациозные — всегда гуманны, отличаются необыкновенной простотой и ясностью. Каждая сказка его, хотя бы коротенькая, выражает нечто определенное и законченное, непременно «тенденцию». Содержание их напоминает порою старинные мифы или народные сказания, на которых они действительно построены, иногда поговорки и басни древности или даже притчи Нового Завета, и таким образом связующим звеном в них постоянно является идея. Что касается до формы, их можно сравнить с фантастическими помпейскими декорациями, в которых переплетаются и переходят друг в друга растения с самыми фантастическими очертаниями, роскошные цветы, голуби, павлины, человеческие фигуры. Для Андерсена форма служит маской, под которой он чувствует себя совершенно свободным, непринужденным и веселым, и откровенно-замаскированная манера выражаться получает у него естественную, даже классическую интонацию, замечательно хорошо и верно выдержанную. Неудивительно, поэтому, что такая фантастическая форма и манера рассказывать сказки позволяют касаться самых разнообразных предметов в самых разнообразных формах. Здесь мы встречаем глубокомысленные и умные



сказки «Тени»; фантастические и страшные — «Ольховый куст»; веселые и резвые — «Свинопас»; или «Скакун»; юмористические «Принцесса на горошине», «Воротничек».

Недаром один из друзей гениального сказочника сравнил его с «золотой арфой, которая отзывается сладким звуком на легкий ветерок и потрясающим душу стоном на взрыв бури.» Всякий, кто вникал в сочинения Андерсена, согласится, что такое сравнение как нельзя более удачно. Под легкой сказочной формой он умел затронуть самые глубокие жизненные вопросы и отнестись к ним так, как только может это сделать писатель не только с пылким воображением, но и с чистой душой, с бесконечно добрым сердцем.

*Александра Бостром*

## О ЗНАЧЕНИИ СКАЗОК

*Впервые опубликовано в: Воспитание и обучение. 1903. № 5, май. С. 193–241.*

(Реферат, читанный в Самарском Семейно-педагогическом кружке 21 февраля 1903 г.).

Пробегая детскую литературу, нельзя не обратить внимания на преобладание в ней сказочного элемента. Не говоря уже об изданиях, специально фабрикующих страшные, несбыточные рассказы, в роде журнала «Вокруг Света», даже в лучших детских книгах сказки играют первенствующую роль. Чем объяснить это? Написать хорошую сказку гораздо легче, чем сочинить занятный для ребенка правдивый рассказ. Но не этим одним объясняется распространенность сказки.

Не подлежит сомнению, что дети любят сказку: предоставленные самим себе, они начинают фантазировать. Неодушевленные предметы для них оживают, куклы разговаривают, дерутся, наказываются. В голове ребенка создаются комбинации, которые с некоторой вариацией снова и снова повторяются... Так создаются сказки самими детьми. Наблюдая это, воспитатели заключают, что сказки — самое естественное и любимое занятие детей, и сами начинают сочинять и рассказывать детям сказки, а в помощь им сказки пишутся услужливыми специалистами. Так было встарь, так по традиции перешло и к нам. Целый ворох книжек со сказками составляет как бы необходимую принадлежность каждой детской.

Авторитет сказок поддерживается еще и тем, что лучшие наши поэты с любовью вспоминают нянек, рассказывающих им в детстве сказки; чудные сказки написаны самыми гениальными поэтами, и, наконец, в сказках выразилось творчество народного эпоса. Немудрено, что, окруженная таким ореолом, сказка царит в детской литературе и без критики и обсуждения признается необходимой спутницей детства, начиная от пеленок. Но общепризнанность явления не всегда доказывает его разумность. Еще недавно общепризнанным было пеленание ребенка, теперь оставшееся лишь

достоянием темных деревень. Таким образом, критическое отношение к самым общепризнанным явлениям бывает необходимым. Но критика не есть обязательное осуждение; путем критического анализа мы ближе знакомимся с занимающим нас предметом, мы можем расчлнить сложное явление на части, заслуживающие разного к ним отношения. Поэтому, я думаю, не упрекнуть меня за то, что я попробую, насколько это возможно в кратком реферате, подвергнуть критике воспитательное значение детской сказки.

Прежде всего, можно считать бесспорным, что сказка есть воспитательное средство, во всяком случае, очень сильное. Влияние ее на детей крайне разнообразно. Прежде всего, сказкой нянька усыпляет ребенка: здесь сказка играет роль гипнотизирующего средства; сказкой же мать развлекает ребенка, заставляет его не спать, если в это время спать ребенку не нужно. В сказках ребенок получает первое смутное знакомство с предметами, выходящими из круга непосредственных наблюдений; сказки же притупляют наблюдательность ребенка, перенося его внимание от действительности в область вымысла. Через сказку ребенок получает первое понятие о том, что нужно и чего не надо делать: сказка, таким образом, служит проводником в сознание ребенка идеологии прошлых поколений. Примесь к этой идеологии суеверий и страхов, неразлучных спутников невежества, действует через сказку на нервную систему ребенка.

Можно перечислить другие влияния сказок на детей, но и сказанного достаточно, чтобы признать огромную силу за сказкой, как воспитательным средством.

Из этого положения логически вытекает другое: чем сильнее средство — тем необходимее осторожное с ним обращение. Если сказки и усыпляют ребенка, и служат средством для его возбуждения, и обольщают его знаниями, и притупляют наблюдательность, и т. д., то не вытекает ли отсюда крайняя важность для воспитателя изучить это, обладающее столь различными свойствами средство, и огромную литературу, именуемую сказками, разбить на группы, разно действующие на детей. При этой разборке, масса обращающихся среди детей сказок будет отброшена, как вредная, и остается небольшая коллекция очень ценных произведений. Необходимость такой разборки почти всеми сознается, вряд ли можно встретить голос в защиту всех сказок вообще, каждая мама по-своему выбирает сказку своему ребенку, откидывая массу ей не нравящихся. Но такая субъективная разборка, без установления общих принципов, страдает случайностью, требует много времени и труда, а пото-

му выработка общими усилиями основных положений для выбора детского чтения является, по моему мнению, настоятельной потребностью.

Определение основных условий, которым должны удовлетворять сказки, я постараюсь сделать в конце этого реферата, сперва же я хочу обратить ваше внимание на то, что кроме общих принципов, которым должны удовлетворять сказки вообще, весьма полезно рассмотреть внимание сказок на разные возрасты детей. Есть такая пора в жизни детей, когда, по моему мнению, им полезны простые, правдивые рассказы; сказки же безусловно вредны. Возраст этот трудно строго ограничить годами, так как развитие детей не всегда согласуется с возрастом, но приблизительно это бывает до 3-х, 4-х, 5-ти лет. Так как, в большинстве случаев, именно в этом возрасте и занимают детей сказками по преимуществу, то я и остановлюсь на этом своем положении подробнее.

Чтобы доказать вред сказок для детей этого возраста. Было бы полезно предварительно установить взгляд на воспитание вообще, но боясь уйти далеко от занимающего нас предмета, я ограничусь лишь таким положением, с которым вряд ли кто станет спорить: думаю, ни одна мать не пожелает убавить сил своего ребенка в предстоящей ему борьбе за существование. Облик сильного в умственном, нравственном и физическом отношениях человека начинает грезиться матери часто тогда, когда она только почувствует в себе слабое биение новой жизни. Эта греза, подсказываемые верным чутьем материнского сердца, и есть та путеводная звезда, которая должна бы руководить матерью в ее отношениях к ребенку.

К сожалению, не всегда так бывает: в грезах о сильной личности, мать большей частью видит своего ребенка уже взрослым и часто упускает из вида, что для того. Чтобы получилась сильная личность, эта сила должна культивироваться в ребенке с самого раннего возраста. Сила эта заключается в самостоятельности организма, а самостоятельность зиждется на умении пользоваться своими способностями и, в особенности, на умении правильно разбираться в окружающей действительности. Эта последняя способность, то есть умение разбираться в фактах действительности, есть основная способность, без которой во всяком возрасте человек превращается в ничтожество. Понижение способности различать действительность от сновидений или от образов, сохранившихся в памяти, особенно ярко выступает у стариков. Они часто смешивают внуков с детьми и приписывают первым слова и поступки последних. На примере сумасшедших, потерявших способность

различать действительность от их представлений, мы видим все ужасающее значение этой последней утраты и всю важность для человека наибольшего развития именно этой различающей способности. Но возьмем и нормального человека: всегда ли одинаково мы воспринимаем окружающую нас действительность? Конечно, нет. Спросонок мы часто продолжаем мешать действительность с образами, виденными во сне. В жару мы принимаем за действительность образы фантазии. То же — под влиянием алкоголя и других ядов. Обман зрения создает миражи, одиночество в лесу или в большом доме заставляет слышать несуществующие звуки и шорохи. Наконец, мешают различать фиктивное от реального мистицизм, суеверия, нервозность и т. д. Словом, во всех состояниях, когда человек делается физически или умственно слабым, у него понижается способность различения действительности от фикций мозга, и обратно, можно сказать, чем менее человек владеет этой различающей способностью, тем он слабее, ничтожнее. Во всех тех случаях, когда мы хотим помочь такому ослабевшему человеку, мы первым делом стараемся побудить в нем верное понимание действительности.

Обратимся теперь к детям. С чем являются они на свет Божий и в чем всего более нуждаются? Новорожденный ребенок в значительной степени представляет из себя ту белую страницу, на которой жизнь и окружающее напишут потом целую книгу. Умственное развитие ребенка в первые годы ускользает от внимания взрослых. Между тем, в мозгу крошечного ребенка идет самая интенсивная работа. Все окружающее ребенка, проходя через органы его чувств, закладывает в нем свои отпечатки, комбинации которых принимают самые причудливые формы. С каждым днем этот материал накапливается больше и больше, нагромождаясь друг на друга, и вот, повторные впечатления приобретают ту интенсивность, когда в уме создаются представления, и ребенок начинает ощущать их даже без наличности соответствующих этим представлениям предметов... научиться различать толчки уже лежащих в мозгу представлений от впечатлений действительности, мнимое от реального — вот первая и нелегкая задача для создания ребенка.

Кто на себе не испытывал силу вымышленных представлений? Входите вы в полутемную комнату и висящее платье принимаете за живого человека. Вы ощупываете платье и убеждаетесь в обмане, но не сразу отделяетесь от созданного фантазией образа. Он продолжает сидеть в голове и помимо сознания руководит вашими движениями. Дети постоянно переживают подобные ошибки. Затем, в первые годы ребенок совсем не умеет отличать снов дей-

ствительности. Он видит во сне что-нибудь, пугается, с криком просыпается, и вы никаким уговором его не убедите, что в кровати ничего нет. Лишь медленно, накопив опыт, научается ребенок различать сон от действительности. Таким образом, дети только отчасти живут в мире действительном; большая часть их жизни проходит в том призрачном мире, который создают им прихотливые, случайные комбинации полученных впечатлений или сновидений. Представления ребенка, не успевшие войти в прочные между собой ассоциации, легко перемешиваются и, как в богатом калейдоскопе, создают самые прихотливые узоры. В глазах ребенка это самая настоящая реальность. Только путем ряда повторных опытов и наблюдений ребенок доходит до различения в среде массы впечатлений, появляющихся в его уме, некоторую долю таких, которым нечто соответствует в действительности. Выбрать такие в отдельную группу и составить из них основание будущего миропонимания - вот второй шаг естественного развития сознания ребенка.

Набросав, таким образом, краткую схему умственного развития ребенка, мне кажется излишним спрашивать, когда мы более удовлетворяем естественным требованиям ребенка: тогда ли, когда правдивыми рассказами помогает ребенку разобраться в массе поступающих в его головку впечатлений, или тогда, когда усложняем его работу, подсовывая ему в сказке суррогат действительности.

О развитии детей часто слышатся два противоположные мнения. Одни считают необходимым развивать детей, другие считают умственное развитие вредным для здоровья. Со своей стороны, считаю вредным как искусственное развитие, так и искусственное развитие, так и искусственные тормозы правильного развития детского понимания, каковыми тормозами является неверное освещение действительности и искажение ее в сказках. Эти тормозы не убавляют умственной деятельности ребенка, напротив, они ее усиливают, так как к той естественной работе, которую надлежит произвести сознанию ребенка для отделения правды от призраков, прибавляется еще работа по разборке правды от сказочной лжи.

Мне скажут: ребенок со временем отделается сам от неверных образов, навязанных ему сказкой. Он разберется и отделит действительность от вымысла. Что за беда, если ребенок несколько времени будет верить в липовую ногу сказочного медведя? Стоит ли из-за этого лишать ребенка сказочных удовольствий, оставляя ему в удел знакомство с серой, будничной жизнью? На первый взгляд возражения эту могут показаться верными. Детский орга-

низм обладает в высшей степени способностью приспособления. Из-за каких антивоспитательных условий не выбирается иногда ребенок и становится потом человеком. Но эти соображения сводят к нулю всякую воспитательную деятельность, предоставляя все игре случая. Кто же считает долгом, со своей стороны, предоставить ребенку лучшие условия развития, для того каждая его ошибка по отношению к ребенку не может не считаться бедой, а тем более, такая как навязывание ребенку того, от чего ему предстоит потом отделаться. Нелепости гораздо скорее можно привить ребенку, чем от них потом его избавить. Особенно легко прививаются эмоциональные суеверные страхи, которые потом трудно поддаются искоренению. Объяснение этого можно угадывать в том, что предрасположение к этим эмоциям получается ребенком в нервной системе наследственно. Часто дети, растущие не на няньках, до двух, трех лет не знают никаких страхов. И вдруг рассказ о домовом, переданный голосом, полным суеверного страха, — поселяет сразу в ребенке боязнь темной комнаты, одиночества и т. д. И лишь долгим, умелым обращением в ребенке, той ясности, которая служит лучшей гарантией правильного развития ребенка.

Предположение, что без сказок ребенок обречен на серую, будничную жизнь, по моему мнению, — недоразумение, происходящее от того, что мы на ребенка переносим то, что ощущают сами. Для нас, взрослых, чтобы жизнь не была серой и будничной, нужно нечто большее, чем знакомство с окружающей действительностью. Взрослому человеку свойственно стремление вносить что-либо от себя в эту действительность, и неудовлетворение этой потребности делает ему жизнь серой. Для ребенка окружающая действительность полна неизвестности и чарующей таинственности. На каждом шагу ребенок открывает Америку и с каждым открытием входит в новую область неизвестного, и если пытливый ум ребенка не притуплен раздражающими страшными вымыслами, то в ознакомлении с окружающей природой он находит не серую будничную жизнь, а то радостное настроение и подъем духа, которые присущи всякому нормальному развитию.

Говорят еще: ребенку нравятся сказки и этого довольно, чтобы, не мудрствуя лукаво, делать то, что ребенку нравится. Мне кажется, и тут есть недоразумение. Ребенок просит умственной пищи, он хочет, чтобы вы с ним занимались. Поневоле он рад и сказкам, если вы не даете ему другой умственной пищи. Вы замечаете, что ребенок одушевляет предметы, создает вымышленные комбинации, и вы думаете, что это и есть его самое любимое. Но вы забываете,

что ребенок создает сказочные вымыслы не потому, что он их всего более любит, а потому, что он создать другого ничего не может. Он, быть может, рад бы создать не сказку, да не обладает достаточным материалом, он вовсе не хочет сказочного, когда создает сказку, она выходит у него помимо желания; она его невольный минус, который вы принимаете за плюс. Ребенок занят, серьезно занят, он вырабатывает свое мирозерцание. Как отмечает ребенок того, кто является ему в этом помощником. Как любит он тех, кто говорит с ним серьезно. Любит ребенок и позабавиться, нов свое время, большую же часть времени ребенок изучает окружающее, и с каким восторгом слушает он рассказы об этом окружающем, если только они не скучны и не дидактичны. Замечали ли вы, как часто ребенок спрашивает вас по несколько раз почти одно и то же, вам даже надоедает отвечать: «Папа вьет чай?» — Да. «Мама пьет чай?» — Да. «И няня пьет чай?» и т. д. «Лошадка ест? И собачка ест? И кошка ест?» и т. д. Эти вопросы надоедают, а между тем, в голове ребенка идет интенсивная работа мысли, создаются понятия; обобщаются, делятся на родовые и видовые; словом, вырабатываются первые зачатки логического мышления. «Все животные едят», говорит, наконец, мать, инстинктивно угадывая мысль ребенка. То же повторяет ребенок, и восторженно-удивленное выражение его глаз свидетельствует вам о расширении в эту минуту его умственного горизонта: лошадь, собака, кошка сгруппировались в понятие животного. Вы скажете, это мимолетно, он забудет. Пусть так, но как приятны ему будут те рассказы из действительности, которые напомним ему сделанное умозаключение, что собаки, кошки, лошади и все животные едят. Повторенные рассказы возбуждают еще сильнее эмоцию расширенного горизонта.

Ребенок экспериментатор, исследователь по природе. Его интересуется каждая мелочь в окружающем: часто упускается из вида, что неинтересное по своей простоте и обыденности для нас, страшно интересно ребенку. Как и почему — вот вопросы, с которыми ребенок относится ко всему тому, мимо чего мы проходим не замечая, иногда вовсе не потому, что мы это хорошо знаем, а потому, что к нему присмотрелись. Почему качаются ветки березы, растущие под окном, что такое ветер? Все это крайне интересно ребенку, и вовсе не интересно няньке, бессознательно притерпевшейся к таким явлениям и искренно думающей, что ребенок спрашивает это по глупости. Дети с жадным вниманием слушают рассказы о явлениях природы, о животных, о жизни подобных им детей, рассказы, иногда не совсем доступные их пониманию. Нечего особенно боять-



ся, что ребенок поймет только часть рассказываемого, надо бояться лишь искажения действительности. Без сомнения, лучше, если рассказ приурочен к пониманию ребенка. Но кто может с точностью измерить понимание? Пусть сказанное слегка превышает его; в мозгу ребенка остаются бессознательные следы, помогающие дальнейшему пониманию. Рассказы, не доходящие до предела понимания, (рассказы няnek, например), не приносят ни той пользы, которая сейчас указана, ни того интенсивного наслаждения, которое испытывает ребенок при всяком умственном обогащении.

Есть еще важная сторона этого вопроса. Мы желаем воспитывать в ребенке правдивость, мы хотим, чтобы он всегда говорил правду. Крошечный ребенок относится доверчиво к матери или няне. Доверчиво задает он вопросы об окружающем. Предположим, что мать всегда терпеливо давала ясные, разумные ответы. Но вот однажды ребенок просит рассказывать ему что-нибудь и мать, желая развлечь ребенка, отправляется в область бабы Яги, летающей на помеле, или медведя, делающего себе липовую ногу и говорящего человеческим языком. Ребенок рад, он весь внимание, сомнение в справедливости вашего рассказа не зарождается в его доверчивой головке. Добросовестная мать говорит: «не верь мне, это сказка, этого не может быть, медведь не говорит, не делает себе липовых ног». Ребенок сбит с толку, нехорошими глазами смотрит он на мать. Зачем же крошечному ребенку это неправда?

Нам кажется, что ребенок иногда лжет. Но зачастую его ложь только в наших глазах. Он лжет потому, что принимает создание своей фантазии за действительность, лжет потому, что его обманывают показания его чувств: он еще не умеет видеть и слышать то, что происходит вокруг него. Например: ребенок просится гулять, няня говорит, что не знает, позволит ли мама. Ребенок бежит к матери, спрашивает, она говорит, что нельзя. Ребенок бежит к няне и с самым простодушным видом сообщает, что мама позволила. Он солгал, но не потому, что хотел солгать, а потому, что сильно желал получить позволение и сам поверил в свою фальсификацию. Расскажите ребенку с такой живой фантазией сказку и потом попробуйте уверить, что все это неправда. Ребенку хочется верить в действительность страшных и привлекательных образов сказочного мира. Он не хочет действительности, которая после сказки кажется ему пресной и скучной. В каком положении очутитесь вы, безжалостно разрушающая те иллюзии, которую за минуту перед тем создали в головке ребенка. К чему эта ломка, это ненужное разочарование и слишком раннее развитие недоверия к словам матери.

Итак, в раннем детстве сказка, как воспитательное средство, безусловно вредна: а) она ослабляет познавательные способности ребенка в то время, когда они ему особенно нужны, б) она портит ему вкус к окружающей его скромной жизни, в) она задерживает в ребенке развитие самостоятельности, г) она подрывает в нем доверие к самым близким для него людям.

Гораздо труднее решается вопрос о вреде или пользе сказочной литературы для детей среднего и старшего возрастов. Многие, сказанное раньше о вреде сказок, остается верным не только для маленьких детей. Утрировка сказочным элементом имеет много дурных сторон и для детей старшего возраста: слишком частое отлетание от действительности в область вымысла делает подростка мечтательным, нервным, апатичным, или, наоборот, слишком легко возбуждаемым. Он задумчив, рассеян, сидит неподвижно и вдруг вздрагивает; он слаб для суровой, практической жизни.

Однако, после того, как ребенок хорошо научился различать предметы внешнего мира от иллюзий, изображенных в сказках, главный вред сказок, указанный выше, т. е. внесение смуты в его миропонимание, значительно ослабевает. Сознвая разницу между тем, что говорится в сказке, и тем, что может быть в действительности, — ребенок уже не сбивается сказками с истинного пути познания действительности; наоборот, произвольно изменяя сказочные комбинации действительных явлений, он лучше изучает эту самую действительность. В самом деле, изучение предмета требует рассмотрения его с разных сторон, иногда с его изнанки. Вымышленные в сказках комбинации действительности помогают этому, помогают изучению той комбинации, которая окружает ребенка. Появляется критицизм, столь необходимый для плодотворного изучения; существующая действительность перестает казаться непреложной, абсолютно разумной; ребенок научается оценивать в ней то, что стоит оценки, и задумывается над тем, что ему, по сравнению со сказочными вымыслами, может казаться странным. Здесь мы подошли к интересному явлению нашей общественной жизни, могущему бросить яркий свет на занимающий нас вопрос о значении сказки.

За последнее время, даже в литературе для взрослых появилось течение, где царствуют символические образы. Лешие, русалки, гномы и прочие порождения фантазии проходят по сцене и грациозными, иногда ужасными, но всегда необычными образами пленяют зрителя. Люди в полном расцвете умственных сил рукоплещут царевне Грезе или Раунтенделейн и с сердечным трепетом провожают

кузнеца Генриза, уходящего в горы, в мир фей и привидений, ковать колокол для счастья всего человечества.

В чем секрет обаяния этих символов, которые несмотря на смешную сказочную внешность, производят на зрителя эмоцию, удовлетворяют какой-то очень серьезной потребности? Секрет этого обаяния в том, что в человеке слишком живуча потребность обновления, стремления в высь, движения вперед. Жизнь не дает простора этому стремлению. Она консервативна, она налагает на человека рамки, в которых ему душно, тесно. Медленным ходом движется прогресс, и каждое его зерно вынашивается во чреве многих поколений, прежде, чем суждено ему родиться на свет Божий. Немногим достается счастливая доля увидеть осуществление в жизни своих заветных идеалов. Большинство хоронит их далеко, в самую глубь сердца, где они как будто замирают, пока художник не разбередит их и не призовет к жизни. Это они, несбывшиеся идеалы, производят эмоцию, они вибрируют в унисон со смельчаком Генрихом, ради счастья человечества порвавшим с самым дорогим в личной жизни — семейным счастьем.

Бывают эпохи, когда возможность достижения идеалов кажется людям близко осуществимой; тогда символика перестанет занимать умы, на сцену выступает литература критическая, публицистическая, выдвигаются люди, не разделяющие слов от дела. Но разница тут лишь в форме и в широте влияния. Сущность та же. Кроме жизни практической, жизни изо дня в день, жизни, как жили деды, в большинстве людей заложено желание привнести в эту жизнь что-либо свое, субъективное. Будь то большое или малое, но это нечто свое, субъективное и есть та примета, которая отличает человеческую жизнь от жизни животных и которая составляет первую ячейку того, что называется прогрессом. В поэзии, в науке, в искусстве это привнесение чего-либо своего называется творчеством.

Что же это, однако, за способность? Откуда берет человек это лично свое, субъективное, являющееся чем-то, нигде не бывшем ранее? Закон сохранения энергии, общий всем мировым явлениям, убеждает нас, что и в мире идей, как в мире вещественном, не может быть творения в полном смысле этого слова, творения из ничего. Всякое творчество, следовательно, есть лишь новая комбинация явлений природы или идей наших предшественников. В бесконечном разнообразии этих комбинаций и лежит разгадка нашего субъективизма и возможности привнесения чего-либо своего в сокровищницу общечеловеческой мысли, начиная с элементарной сказки и кончая высшим философским или художественным творчеством.

Некоторым из моих слушателей может показаться слишком смелым это обобщение, как бы приравнение сказки к творчеству гениев. Но ведь каждому махровому цветку в природе можно найти соответствующий простой дичок — его родоначальник. И высшим проявлением человеческого духа должна соответствовать низшая простейшая форма. На генетическую связь сказки и творчества указывает их общий принцип: создание новых комбинаций.

Рассмотрев значение сказочного элемента в ряду других видов умственной деятельности и определив принцип сказки, как создание вымышленных комбинаций, посмотрим теперь, в какой степени эта способность создания комбинаций свойственна разным возрастам человека и какого отношения к себе в разные возрасты детей она требует со стороны воспитателей.

Мы уже видели, что в само раннем детстве эта способность перемены комбинаций представляется основным и единственно возможным состоянием ума, вследствие неустойчивости полученных ими ассоциаций. (Детский ум в этом фазисе мы сравнили с калейдоскопом). Далее, с ростом ребенка, по мере увеличения в нем количества представлений, по мере образования из них понятий и расположения их в систему, — полная свобода комбинирования представлений в новых соотношениях уже исчезает. Для этого требуются некоторые психические акты, которые называются способностями воображения и фантазии. Эти две способности являются, таким образом, необходимым коррективом или поправкой к тому неизбежному явлению, что накопление знаний и их систематика, порождая и укрепляя известную связь представлений, парализует свободную, пассивную смену комбинаций.

Как все органическое, способности воображения и фантазии, без достаточной практики, не развиваются и могут даже атрофироваться, как это мы видим у многих людей, привыкших мыслить готовыми комбинациями и совершенно не способных к комбинациям самобытным. Вот здесь-то выступает истинное воспитательное значение сказочной литературы. Давая практику способности к свободной перетасовке в уме фактов действительности, которая, как показано выше, в раннем детстве слишком сильна и бесплодна, она перерабатывает эту способность из бесплодной механической в продуктивную, творческую. Не мешая познавательной деятельности и работе ассоциирования познанных, развивающийся бок о бок с этим элементом свободного комбинирования — фантазия, воображение не позволит этим ассоциациям зарости хрящом, он делает их способными к подвижности, к проблематическим сменам комби-

наций; а в этом, если можно так выразиться, подвижном состоянии умственного богатства и заключается источник творчества, начиная от детски-сказочного, кончая научно-художественным. Замечу мимоходом, что по основному биологическому закону, каждому организму высшее наслаждение доставляет исполнение высших его функций. Вот почему научно-художественное творчество, как высшая деятельность человека, доставляет наиболее интенсивные моменты. Таким же источником высших радостей в детском возрасте являются сказания, сказки, фантастические вымыслы. Вспомним, какое чарующее впечатление производили на нас идеалистические сказки Кота-Мурлыки, полные туманной, пленительной поэзии, многие сказки Андерсена с высшей моралью любви и самоотвержения, почти все сказки Дикенса, полные христианского милосердия и снисхождения к падшим, и «Бабушкины сказки» Жорж Занд.

Способность и смелость самостоятельного комбинирования великий залог не только творческо-мыслительной, но и всякой деятельности. На всех поприщах деятельности научной, артистической, хозяйственной, промышленной и административной, только люди, обладающие этой способностью, делают историю. Люди, совсем лишенные этой способности, с точки зрения истории человечества — трутни, балласт. С субъективной точки зрения, эти последние, быть может, меньше подвергаются несчастным случайностям; можно, однако, подметить интересную черту: старость подобных людей в общем как будто тяжелее; им труднее расстаться с жизнью, как будто перед смертью они чувствуют неполноту прожитой жизни. Люди инициативы, люди, проводившие в жизни что-либо свое, имеющее общественное значение, как бы удовлетворяются иногда тяжелой, полной испытаний жизнью, они проще встречают и смерть. Это вставочное замечание, требующее, конечно, подтверждения в наблюдении, я позволила себе сделать попутно, как дополняющее высказанную схему наибольшего удовольствия от высшего функционирования.

Обращаясь к действительности, мы можем констатировать слабое развитие этой свободно комбинирующей способности в людях зрелого возраста. Как бы поиграв ей в молодые годы, люди, вступая в жизнь, часть порывают с ней связь сначала на время, с надеждой потом, как-нибудь, вновь к ней повседневной жизнью. Литература достаточно определила эти типы, для краткости напомним лишь самые известные их группы: мещанство, все достоинство свое видящее в показном для гостей довольстве; буржуизм, не знающее ничего выше золотого тельца: помещичество, основывающее свое

благополучие на невежестве работающих у него батраков: «человек в футляре», преданный до мозга костей циркулярам входящим и исходящим; рутинер ученый, не желающий знать, что наука давно ушла вперед; педант педагог, видящий в детях лишь объект своего на них воздействия, и т. д. Все эти типы сходны между собой в одном: они преданные рабы окружающих условий, их мораль — общественное мнение; они потеряли способность предположить, что жизнь может течь иначе, чем она течет.

Чем же можем мы оградить наших детей от пополнения им рядов этой самодовлеющей посредственности?

Конечно, прежде всего знанием. История человечества, выработка форм общежития, с семейным и социальным началом, история человеческой мысли, развитие наук каждой в отдельности и влияние их друг на друга, и как завершение здания, открытие законов, общих всем природным и жизненным явлениям, вот та неисчерпаемая сокровищница, из которой наши дети могут почерпать разумное познание действительности, и тот оплот, твердо держась которого, они не погрязнут в тине окружающих мелочей. Но изучение человеческого прошлого указывает нам также, что наряду с наукой, бок о бок с ней, всегда шла работа другой, родственной ей деятельности ума человеческого, — деятельности творческой. Эта деятельность так же стара, как и познавательная. В недрах земли, вместе с первыми орудиями самозащиты человека, находят и следы человеческого вымысла, сказочных изображений. Каждая цивилизация, наряду с памятниками познавательной деятельности, оставила нам свои сказания и в них свои идеалы. Эта историческая справка еще более убеждает нас, что человеку свойственно, кроме забот о том, что есть, мечтать о том, что могло бы быть, и о том, что должно быть. Для того, чтобы мечты эти не переходили в праздную маниловскую мечтательность, фантазия и воображение должны быть с детства культивируемы, чему должно оказать неоцененную услугу знакомство с народным эпосом и с современными поэтическими произведениями, среди которых найдется немало возвышающих душу пленительных вымыслов. К каким же заключительным выводам должно привести нас это беглое исследование? 1) Способность вымысла есть основное свойство человеческого ума. Получая начало в некоординированных вибрациях нервно-мозгового вещества ребенка, она постепенно превращается затем в способности фантазии и воображения, и, наконец, вступая во взаимодействие с правильным мышлением, насыщаемым знаниями, переходит в высшее творче-

ство. 2) Чем выше область явлений, с которыми мы имеем дело, тем осторожнее должно быть обращение с нею. Способность вымысла, как способность высшего разряда, не надо навязывать маленьким крошкам, которых некоординированный мозг еще не требует искусственной практики в этой деятельности. 3) Детям, уже проявившим способность различать вымысел от действительности, следует давать разумную практику этой способности, не утрируя, однако, ею в ущерб развития познания окружающего. 4) В детях старшего возраста способности воображения и фантазии надо культивировать, направляя их в область художественного, прекрасного. 5) Сказки, рассчитанные на возбуждение страхов, ужасов, суеверий или чувственности, должны считаться ядом для всех возрастов.

Александр Налимов

## СКАЗКИ, КАК ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ

*Впервые опубликовано в: Воспитание и обучение. 1903. № 5, май. С. 216–225.*

Полноправные, безотменные аксиомы имеются, кажется, только к математике, не даром ей пришлось установиться раньше всех теорий. Но вот зачастую объявляют неколебимо-беспорным и то положение, что дети любят сказки; что это натуральное детское чтение. Уже самые поверхностные соображения, по-видимому, оправдывают такую «истину». Так называемые народные сказки и бесчисленные подражания этому роду словесности излагаются всегда проще, нагляднее, корректнее. Это наиболее чистая форма повествования, т. е. самой популярной литературной манеры. Сказки и объективнее (а у детей субъективность только еще формируется вылепляется) и свободнее в своих творческих построениях: невозможное, неразрешимое, сомнительное, всякое рефлектирование тут не отягощает ума (а юнцы, утружденные бесплодными размышлениями — ненормальное явление). И другие выводы, как бы с научной подкладкой, — сближают сказки с детьми. Человек, говорят, повторяет целый свой род: онтогенезис (история вида) воспроизводит филогенезис (история рода). Дети, следовательно, частью проходят какие-то патриархальные, изо для в день воинствующие стадии человечества.

В сказках, унаследованных нами по преданию от далеких времен, отражают разные мифические, начальные, наивно-философские воззрения — в своем роде *детское* миропонимание. Можно и дальше развивать подобную мысль. Дети сильно одарены, если не «активной» (по деление Вундта), то «пассивной» фантазией. Они воспринимают образы всем своим существом целиком, взволновывая при этом свою горячую кровь, но только в пределах всего явного, крупного, резкого, хотя бы в общих и примерных чертах, но осязательно-знакомого из окружающей действительно и пережитых впечатлений.



Тонкости психологии и разные сокровенные движения *в слове* — не для них. А в сказках — подвиги храбрости оттенены самими яркими цветами: хитрость крикливо заявляет о себе; злость — обыкновенно вопиющая, и пр. и пр. Бокл, столь сдержанный, острожный, положительный англичанин — толковал когда-то: «Что бы ни говорили... но достоверно, что во всем человечестве вообще гораздо более хорошего, чем дурного, и что в каждой стране добрые дела чаще встречаются, чем злые. Действительно, если бы это было иначе, то преобладание зла давно бы уж истребило весь род человеческий, а некому было бы оплакивать его».

Дети, конечно, в глуби морали не вдаются. Но и они пламенно веруют в добро, поскольку оно определенно рисуется им в данную минуту. И требуют они торжества и победы добра — безотлагательно. Однако, и перед фактом дети нередко безусловно преклоняются. Вовсе они, разумеется, не тупицы и логикой не обделены. Но разбираться подолгу в «причинах» и систематизировать их на допустимые и вовсе шаткие — также не привыкли. «Почему — Да так бывает у людей». «Всяко бывает» — это особенно *детский* аргумент. Тем более, что и настроение у ребят бывает чересчур всякое — и одно быстро сменяется другим. Связности в их *личности* меньше, нежели у нас — взрослых, увы! Также не богатырей по части психического единства. А в сказках? В сказках, с одной стороны, добро преодолевает всяческое — по шучьему велению. С другой — *факт* в этике и социологии — несокрушимая скала. Излюбил какой-нибудь герой подличать — и никаких рефлексий этим ни в ком не порождает. Завелся людоед — и царит на миру безвозбранно... Но... но и вопрос о сказках, как детском чтении, — вовсе не такой, в сущности, ясный и бесповоротно развязываемый. Мы уже оговорились, аксиомы — счастливый удел одних математиков. Начать с того.

Дети всех времен и социальных состояний — такая ли однозвучная, неизменная песня? Грееф, известный и у нас приверженец органических уподоблений в социологии — рассуждает, между прочим, что «человеческий род, в его целом, во всякий момент своего существования, непрерывно во всех своих поколениях, начиная с отдаленной древности, *мыслил прогресс*, со всеми его колебаниями и остановками». Нам думается, что и дети всегда и везде таят в себе какую-нибудь частицу, какой-нибудь зачаток этой *мысли человечества*. Дети непосредственны, пластично-жизнерадостны, склонны к беспристрастному фантазированию — пускай они пребудут такими до поры, до времени. Но самые девственные, подлинно —

«народные» сказки — продукт непременно какой-нибудь исторического момента: их художественная *бессмертность* — условна: наконец, местами их слово запечатано для нас навеки: мы толкуем и перетолковываем их, видимо, не будучи в состоянии перенестись в отжившую логику и психологию *сезона*... Мы теперь для сказок — вполне чужаки. Почему же это *наши* дети должны так интимно сливаться с этими *памятниками*? Они впрочем, и не подчиняются такому приговору — по крайней мере, которые из них. Совершенно подобно тому, как иные их взрослых, и со вкусом и с развитием, наилучшие эстетические впечатления свои выносят исключительно из чтения... сказок! Да, между детьми встречаются настоящие враги сказок. И, по-своему, они решительно правы. Правы не потому, что овладели какой-нибудь убежденностью «сухого» «утилизатора» или «материалиста». А просто, благодаря иной книге, школе, общению с людьми, в *другую* сторону направили свое воображение и наблюдательность.

Мы не забываем нисколько возможных тут серьезных возражений. Скажут: «отнимите от детей весьма уже не детские басни Крылова (никем, однако благополучно не продолженные) и понятные, красивые, добрые духом русские сказки — и чем же вы это возместите»? Однако, во-первых, и басни Крылова — это уже, пожалуй, и настоящая аксиома — мы предлагаем детям по выбору. А, во-вторых, прямой долг каждой эпохи понять для чтения материал, а не только сторожить прежнее достояние. Согласимся. Сказки русского *народа* — плод более сочный и литературно-питательный, нежели результаты творчества какого-нибудь самого усердного детского писателя-ремесленника. Но ведь «сказки для детского чтения» это не кое-что небольшое. Это огромный рынок сказочных переделок на многообразные лады: старейшие и моднейшие, восточные и западные, романтические и реалистичные. И расценивая эту громаду, приходишь к заключению: русские или не русские «народные» произведения имеют в виду при использовании, лучше перепечатывать, сокращать и подбирать, нежели перекрашивать, перекраивать или подражать. Братья Гримм могут оказаться угловатыми для русских детей. Талант Гофмана нельзя перепеть. Японскую сказку легко изуродовать.

И в этом вопросе становится все заметнее, что и мы и наши дети — представители своего времени. Сказка, повествовательная форма, как род литературного творчества, как особая традиция и манера, уже сильно застарела. И тут неизбежны новые пути. Самый «русский дух» приходится поддерживать и развивать иными

приемами. Поэзии нисколько не настал конец. Но будится она и в детях уже не русалками и жар-птицами. Дети смеются от души, слушая не про Иванушку-Дурачка, а про человека, живущего при самых прозаических современных условиях. В рассказе, производящем впечатление, просто художественно обозначено положение героя. Юное воображение ярко разгорается не перед сценами волшебств и чудодейства, а под влиянием картин природы, среди которых совершается история какого-нибудь труженика, весьма реально выписанного. Фантазия читателя или слушателя преисправно работает, хотя нет перед ним ни удивительных превращений, ни хитроумно переплетенной интриги. И переиспытываем действительно художественные эмоции от *новых рассказов*, юнец делается нечувствительнее к *старой складке*, хотя, быть может, и слова в ней проще и знакомее.

Мы часто совсем упускаем из виду, что *устная* сказка создавалась тогда, когда творцы ее воздействовали не на детей, а на весь люд целиком, с его особыми вкусами, верованиями, пониманием. Сказка тогда была *выше* детей. Как и теперь слишком высока для детей — *книга*, настоящая, содержательная книга, а не копия. И если ныне дети будут обходиться без книги — не беда. *Дурная* книга — наибольшее зло. Дурная тем, что напрасно лишает ребенка воздуха, игры, наблюдений, затупляет его любознательность и томит нервы. Не помнит или не думаем мы о том, что ученье в школе и чтение на досуге — не одно и то же. Баснями, сказками в классе мы куем юнцам своего рода орудие, средство, волей-неволей *обучая* детей скопом, стадом, если хотите. На уроке всего дороже массовой результат, наивозможно *популярное* слово, руководящее движение для толпы по линии наименьшего сопротивления. Книгой мы влияем уже прямо на личность. А это самое ответственное дело. Чего бы от нее — и справедливо! — ни требовали, учеба все-таки техника, в известном смысле компромисс. От книги же можно ждать вдохновенного творчества без всяких условностей.

Для иного современного юнца холопы, черти, ковры-самолеты сказок — некие специальные термины, подлежащие почти «ученому» толкованию. Умерщвлять фантазию в ребенке не для чего, да. Пожалуй, у здорового юнца и невозможно. Как нельзя в нем уничтожить известного сознания таинственного в природе и всей жизни вообще. Но пусть лучше он самостоятельно и без сомнительных книжек раздумывает о всяких тайнах над окружающей действительностью. И для нас неясно, почему именно сказочными приемами нормальнее обогащается незрелое воображение? *Форма*

слова, разумеется, весьма много значит. И мы прямо вынуждены черпать волной рукой везде, где повествование гармоничнее и доступнее, прибегая к детской литературе и к персидским и к индийским сказкам, к «мифическим» и «нравоописательным». Цельную образность, изобретательность вымысла и подлинное остроумие, несомненно, легче выловить в народном эпосе, нежели, у «старателей» дидактических пьесок. Нов ведь это все — уступки и «независящие обстоятельства». Суть же, по нашему мнению, в одном. И для детской литературы нужны только авторы и для нее — могий вместить — да вместить и, следуя свободно влечению своей музы, пусть создается образы... А догмат «сказка — детское чтение» — рушится, подчиняться ему — нет оснований.

Возьмем первый попавшийся под руку отрывок в типично-сказочном роде. — Идет герой (в сказке братьев Grimm) и находит красный, как кровь, цветок, в середине которого — чудная, большая жемчужина, срывает он цветок и затем все, до чего бы ни касался последний, — освобождается от чар волшебства. И таким образом Иоригнел спасает добрых людей от коварных колдунов. — Разительные картины, занятная выдумка — поскольку и то и другое не надоеет в многочисленных вариантах. На минуту тут насторожит свое внимание молодой читатель. А потом бесследно исчезнут у него подобные литературные ощущения. С годами встретится слишком мало поводов — вернуть эти образы из-за «порога сознания». Их эстетика и этика не столько древни по своей сущности, сколько не ко времени по внешнему обличию. К слову. Примечается, что усердные и многолетние почитатели сказок нередко дети, забавляющиеся главнейше механизмом чтения, или те. Которые ищут забыться к книгам, уходя от тяжелого Мерки, для книги. Во всяком случае, неутешительные.

Выше мы довольно, кажется, выдвинули многое, как бы связующее сказки с детьми. Смеет думать, однако, что и без противоречий самим себе — мы теперь в заключение не признаем сказок — лучшим и обязательным детским чтением. Спенсер много говорил о вреде всякой духовной скороспелости. И не станем детей торопить без толку; своим чередом их неустранимо «торопит» переживаемый всем обществом момент. В одно — искусственными путями подстрекать в юнце еще дремлющие высшие силы. Другое — по блажать инстинктам, натуральным для прежних культурных состояний. Литературное однообразие, эстетическая упрощенность, суеверные прикрасы, социологическая косность сказок — атмосфера, недовольно естественная и для юнца — нашего современника.

Пусть он себе созревает без ломок. Но раз сочли вы благовременным — привлечь его к книге, так и смотрите на эту минуту с должной серьезностью. Книга предназначена мчать ребенка куда-то вдаль с первых же томов, но она должна отвечать всем *возможностям*, сокрытым в юнце. Это особая пища, которую, однако, из одних «допотопных» [по выражению покойного талантлившего нашего критика Аполлона Григорьева] сказочных элементов не готовить для детей. Это только мы и старались отгнать.

*Яков Александров*

**ВЕЛИКИЙ СКАЗОЧНИК: НЕСКОЛЬКО СЛОВ  
О ЖИЗНИ АНДЕРСЕНА, ЕГО  
ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОМ ЗНАЧЕНИИ,  
ОБ ОТНОШЕНИИ ПОЭТА К ДЕТЯМ И  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТОИНСТВАХ ЕГО  
СКАЗОК**

*Впервые опубликовано в: Начальное обучение. 1906. № 1, янв.  
С. 23—31; № 2, февр. С. 70—78.*

Несколько слов о жизни Андерсена, его историко-литературном значении, об отношении поэта к детям и педагогических достоинствах его сказок.

Ребенок сам — с детьми я чаще всех бываю,  
Доступней волшебство невинным их сердцам,  
И маленький их сад при мне, подобно раю,  
Цвете и сладко льет душистый фимиам.  
Их тесный уголок становится чертогом,  
И аист кажется им странным полубогом,  
Когда он по двору разгуливает хмур...  
И ласточка для них — весенний трубадур...  
Мы сказки слушали, не зная лжи опасной,  
Звучали вымысли нам правдою прекрасной,  
И с херувимами — покорные мечты -  
Мы Бога видели в небесной высоте!...

Андерсен.

Жизнь и история время от времени напоминают нам о существовании великих людей, «героев ума и сильной воли», героев труда, самоотвержения и любящего сердца. Мы посмотрим на великого человека, полюбуемся им, и в нашей душе снова зазвучат могучие аккорды любви, пробудятся полузабытые идеалы честной юности, пронесутся золотые грезы детства.

В 1905 году образованные люди культурных стран вспомнили величайшего поэта Дании, всемирно известного «сказочника» — Ганса Христиана Андерсена: 1905 год является тройне юбилейным для его памяти — в апреле исполнилось сто лет со дня его рождения, а в августе — тридцать со дня кончины и семьдесят лет со времени выхода в свет первого выпуска его сказок. Андерсен прославился сказками, подобно тому, как Шекспир — трагедиями, Крылов — баснями, Кольцов и Борнс — песнями. Сказки его переведены чуть ли не на все европейские языки и читаются людьми всех званий и возрастов. Андерсен придал сказке такую совершенную форму, выше которой, кажется, и подняться нельзя. Сказочный мир — его родная стихия. Даже самая жизнь поэта не что иное, как сказка, богатая приключениями, порой веселая и радостная, порой грустная и печальная, но всегда интересная и прекрасная; не даром же свою автобиографию он озаглавил: «Сказка моей жизни.»

Андерсен принадлежал к числу редких и счастливых исключений: ему удалось видеть, как его мечты детства и юности стали действительностью. Сын бедного башмачника, одаренный золотым сердцем, поэтическим воображением и умом, парящим выше обычного уровня серой будничной жизни, он растет в необразованной, суеверной среде, в маленьком городке Одензе — на острове Финонии. Бедность страшная. Первые месяцы своей жизни будущий поэт, друг королей, провел на родительской кровати, сделанной из траурного помоста, на котором незадолго до его рождения стоял гроб с телом какого-то графа.

Маленький Ганс в детстве так напоминал воспетого им «гадкого утенка»: худой, высокий, длинноносый, погруженный в мечтательность, а потому неловкий и рассеянный, он подвергался со стороны окружающих людей, которые не могли понять его, незаслуженным горьким обидам и оскорблениям. Образования ему родной город и семья не дали; но воображение его начало рано работать: детские игры, сказки бабушки, первые прочитанные книги, а также многие празднества и обычаи старого захолустного города, обвеянные сказочной поэзией старины, не мало способствовали этому.

Мальчик подрос, мать прочит его в портные, а он — после смерти отца, будучи 14-ти лет, одетый в щегольской костюм, переделанный из пальто покойного отца, с 13 талерами (около 24 руб.) в кармане отправляется в Копенгаген искать счастья и славы. «Чего ты там добьешься?» спрашивала его мать, долго и безуспешно уговаривавшая сына остаться дома. «Я прослаблю себя!». Он рассказывает матери о замечательных людях, родившихся в бедности.

«Сначала много приходится терпеть, а потом прославишься!» добавляет он. Ганс плачет, умоляя мать отпустить его. Мать, прежде чем окончательно решиться, посылает за знахаркой — гадальщицей на картах и кофейной гуще. «Сын твой будет великим человеком!» сказала старуха: «и родной город Одензе зажжет в честь его иллюминацию!». Мать заплакала и отпустила сына, добавив: «А сделался бы он таким портным, как Стегмен, так я лучшего бы и не желала». Не трудно было предсказать, что сыну башмачника впереди предстоят всякие горести и испытания. Да, он испил полную чашу унижения и презрения: он голодал, простуживался, нося дырявое платье, из которого уже вырос, и худую обувь; с трудом попал в школу, где руководители его не поняли и убивали нежную, тепличную душу юноши холодом насмешек и презрения; а потом он отведал «критических плетей» своих земляков, когда чужеземцы начали уже ценить его.

«Безобразным утенком» он слыл,  
В камышах от пинков укрывался,  
В мире грез — утешения и сил  
Для борьбы с злом и тьмой набирался.  
У! как злобно вопил птичий хор!  
Ведь ни гуси, ни утки не знали,  
Что покинет утиный он двор  
И исчезнет в сияющей дали!  
Что не даром к чужим берегам  
Лебедь гордый полет свой направит,  
Что он славой покроется сам  
И родной уголок свой прославит!  
Что волшебною песнью своей  
Лебедь, помнящий детства невзгоды,  
Очарует весь мир, всех людей,  
Не смотря на их званье и годы!

Еще будучи на школьной скамье, он начал писать и издавать свои сочинения (романы, повести, комедии, стихи), весьма неприветливо встреченные критиками, занимавшимися подсчетом грамматических ошибок. В 1835 году выходит в свет первый выпуск сказок Андерсена. Успеха не было. Многие высказывали сожаление, что автор сделал шаг назад, взявшись за такие пустяки, как сказки.

«Нужно иметь мужество для того, чтобы обладать талантом», говорит датский критик Георг Брандес. «Нужно сметь отдаваться своему вдохновению, нужно быть убежденным в том, что то, что



вам пришло на ум, здорово, что новая форма, которая вам прилась по душе, имеет право на существование; нужно быть готовым выслушать обвинение в том, что человек старается оригинальничать или же вступил на ложный путь» и т. д. У Андерсена хватило мужества перенести все, стойко выдержать нападения людей ограниченных и злобных. Он дождался того времени, когда слава его прогремела по всему образованному миру, когда во всех странах, где не появлялся он, его встречали цветами и песнями. Немногие писатели удостоились таких почестей, какие выпали на долю Андерсена. В 1867 году родной город поэта — Одензе устроил в честь его особое празднество. Весь город был разубран флагами и гирляндами зелени; школьники были освобождены от занятий. В городской ратуше, при большом стечении народа «сказочнику» поднесли диплом на звание почетного гражданина. В честь его был устроен обед и дан бал, говорились речи, пели песни его сочинения. Вечером город вспыхнул тысячами разноцветных огней, переливавшихся чудными бриллиантами среди цветочных гирлянд, украшавших дома. Нельзя было не вспомнить предсказание старухи-гадальщицы. Андерсен, отвечая на приветствия сограждан, сказал между прочим: «Мне невольно приходит на ум Алладин в ту минуту, когда он, воздвигнув себе с помощью чудесной лампы роскошный дворец, подходит к окну и говорит: „Вон там ребенком бедным я бродил!“ И мне тоже была дарована Богом чудесная лампа — поэзия; свет от нее разливается по всем странам, радуя людей; значение ее признается всеми, все говорят, что она светит из Дании, и сердце мое бьется от радости».

Через два года, в день 50-летней годовщины прибытия Андерсена в Копенгаген, город этот устроил ему еще более торжественный праздник. Комнату его засыпали цветами и букетами, телеграммы летели со всех концов света. Андерсен чувствовал себя настолько счастливым, что больше ничего не желал. Но это еще мало. В 70-ю годовщину его рождения, незадолго до смерти, к нему явилась депутация и прочла адрес, в котором говорилось, что по приказу короля в королевском саду ему будет воздвигнут памятник. А было время, когда он скитался в этом саду, оборванный, голодный, без денег и занятий, питаясь сухой коркой. Это-ли еще не сказка!

Если бы Андерсен мог взглянуть на свои похороны, то увидел бы, как у гроба «сказочника» собирались лучшие люди страны, сплоченные в общем горе, как явился король, чтобы отдать ему последний долг, увидел бы, как перед его утопающим в цветах прахом опустили окутанные черным крепом знамена, увидел бы

слезы на глазах короля, а ведь это, по словам поэта, лучшая награда («Соловей»).

Такие почести! — а ведь Андерсен был только — что поэт, притом сказочник. Он нашел лампу Алладина в сказке, считающейся многими присущей лишь детскому возрасту. В чем же тайна его необыкновенного успеха? Чем привлекает он сердца людей, маленьких особенно?

Прежде всего, Андерсен — поэт, настоящий поэт, поэт «Божьей милостью». В его сказках и путевых очерках сказывается изящество без всяких усилий. Ничего кричащего, эффектного, все просто, обыкновенно. Но сколько в этой простоте художественного проникновения, какое понимание жизни и ее смысла. Читатель прежде всего любит красоту формы, чувствуя полную гармонию между мыслью и ее выражением; у Андерсена нигде нельзя сказать, что «вымысел пригнут за волосы» ради тенденции. Он сумел, как истинный художник, удержаться на середине между безыдейностью и сухостью аллегорий. И детей, и взрослых пленяет тонкая поэтичность его произведений. Кроме того, сказки его нравятся взрослым своей идейностью, «солью», своим порой довольно колким сатирическим оттенком, как, например, нравятся сатирические сказки Салтыкова, Дорошевича, Амфитеатрова и т. под. (Мы несколько не думаем сравнивать этих писателей и лишь хотим указать в данном случае качество интереса). Напомним такие сказки, как «Буря перемещает вывески», «Платье короля», «Тень», «Дворовой петух и флюгерный», «Скакуны» и др. Можно сказать, что чем развитее человек, тем больше он оценит идейную сторону сказок Андерсена. Андерсен — величайший лирик. Аллегорическая форма произведений позволяет ему касаться самых разнообразных предметов и вызывает в читателях самые разнообразные настроения. У него мы встречаем возвышенные, трогательные рассказы («Мать», «Колокол», «Соловей»), веселые, юмористические («Буря перемещает вывески», «Свинья», «Воротничок», «Штопальная игла»), фантастические («Дриада», «Эльф», «Большой морской змей») и взятые из области истории («Тернистый путь славы», «Старый церковный колокол»). У него в небольшой рамке сказки нашло себе место все то из области настроений и чувств, что лежит между гимном и эпиграммой. Вот до какого небывалого совершенства довел он сказку, и вот в чем заключается его историко-литературное значение.

В настоящем очерке нас главным образом интересуют педагогические элементы в жизни и произведениях Андерсена. Андерсен не любил, когда его называли детским писателем; ему не нравился

ни один из проектов памятника, где он изображался окруженным детьми. И прав: исключительно детским писателем он не был и не может быть. Но это нисколько еще не дает основания говорить, что поэт не любил детей. Наоборот, он их любил самой горячей, искренней любовью, иначе откуда-бы он взял тот нежный, чудный язык, которым он говорит о детях и с детьми. Сам он говорит: «Я могу собирать пригоршнями золото; но это золото особого рода: а черпаю свое богатство из блестящих детских глазок, из улыбок их невинных уст». Известно множество фактов, показывающих теплое отношение поэта к детям. Куда ни приходил он, его сейчас же облепляла детвора. Поэт усаживался с ними в уголок, и начинались рассказы. «О чем же тебе рассказать?» — спрашивал «дедушка» ребенка. «Ну вон видишь цветок на окне; хочешь, я расскажу тебе, как цветы ночью справляли свой бал?» И начиналась сказка. Однажды он и художник Шпектер, иллюстратор его сказок, собрались в оперу. Дорогой художник пригласил Андерсена зайти в одно семейство, где взрослые и дети были в восторге от его сказок. Андерсен согласился, хотя не был знаком с этим семейством. В доме его окружили дети, видевшие его в первый раз, и пристали к нему с просьбой: «Сказку! Сказку! Только одну!» Добрый старик с обычным свойственным ему мастерством и задушевной простотой рассказал интереснейшую сказку и затем быстро ушел, так-как уже должен был начаться спектакль... Дети никогда не могли забыть этого неожиданного посещения, столь похожего на сказку. Отношения взрослого человека к детям, своим и чужим, его любовь и ласка к ним — пробный камень его доброты и сердечности. Это верно подметил Н. А. Некрасов, у которого из души вырвались следующие строки в стихотворении «Похороны»:

Мать по сыну рекой разливается,  
Плачет муж по жене молодой —  
Как не плавать им? Диво велико-ли?  
Своему-то свои хороши!  
А вот по ком ребятишки захныкали,  
Тот, верно, был доброй души.

Сын поэта Мозена очень любил слушать сказки из уст самого Андерсена и крепко привязался к нему. Когда он узнал, что Андерсен уезжает надолго, мальчик горько заплакал и на прощанье подарил своему большому другу одного из своих двух оловянных солдатиков. Андерсен берег этого солдатика наравне с ценными подарками. Вспомним и еще факт из жизни поэта. Во время пу-

тешества по Швеции он останавливается на постоялом дворе. К нему в комнату заходит внучка хозяйки, премилый ребенок. Поэт вырезает ей из бумаги турецкую мечеть с минаретом и открытыми окнами, чем приводит малютку в неописуемый восторг. Своим милым отношением к детям Андерсен очень напоминает нашего И. С. Тургенева<sup>1</sup>. Оба великих писателя чувствовали себя в детском возрасте гораздо легче, свободнее, чем с взрослыми. Уезжая, и тот и другой получали от маленьких друзей письма, и сами писали им. Г. Феоктистов в своей книге «К вопросу о детском чтении» сообщает, что Андерсену писала малолетняя дочь известного Ливингстона<sup>2</sup>; к сожалению, Г. Феоктистов не знает письма целиком и лишь приводит его приблизительное начало: «Милый Андерсен, я очень, очень люблю и вас и ваши сказки»... Андерсен много путешествовал. В своих путевых очерках он часто вспоминает встретившихся ему детей. На пароход в Дарданельском проливе поэт знакомится с шестилетней турчанкой. Поэт предложил ей фруктов... Но пусть лучше он сам расскажет об этом знакомстве: «Она уговаривала младшую сестру взять от меня фрукты, но та не хотела. Я велел слуге принести разных сластей, и скоро мы со старшей девочкой подружились. Она показала мне свою игрушку, глиняный кувшинчик для питья, изображавший лошадку с маленькой птичкой на каждом ухе. Говори я по-турецки, я бы не замедлил рассказать ей об этой лошадке сказочку! Я усадил девочку к себе на колени; она гладила меня ручонками по щекам и так доверчиво и ласково глядела мне в глаза, что я не мог не заговорить с ней. Говорил я, конечно, по-датски, а она, слушая меня, заливалась смехом; такого забавного языка она, конечно, еще никогда не слыхала и верно полагала, что это просто тарабарщина какая-то. Ее маленькие ноготки были по обычаю турчанок выкрашены в черный цвет, поперек ладони тоже была проведена черная полоса. Я указал на нее пальцем, и девочка тотчас протянула поперек моей ладони кончик своей кошечки, чтобы и у меня на руке была такая же полоска. Она пыталась подманить к нам и младшую сестренку, но та, весело переговариваясь с ней, продолжала держаться на почтительном расстоянии. Отец позвал старшую девочку к себе и, вежливо поклонившись мне на европейский манер, т. е. сняв с головы феску, шепнул что-то малютке на ухо. Та кивнула головкой, взяла из рук слуги чашку

<sup>1</sup> См. статью проф. И. И. Иванова «И. С. Тургенев. Детские годы великого писателя и его отношение к детям.» Сборник «На трудовом пути.» 1901 г.

<sup>2</sup> Английский путешественник по Африке. Род. в 1813 г., умер в 1873 г.

кофе и поднесла ее мне. Затем мне была предложена и огромная турецкая трубка. Я не курю, поэтому взял лишь кофе и расположился с ним на подушке рядом с любезным турком, дочку которого успел обворовать. Милую девочку звали Зюлейкой, и я смело могу теперь сказать, что сорвал в Дарданельском проливе поцелуй с уст дочери Азии!» («Базар поэта»). Ребенок инстинктивно чувствует любовь взрослого человека и идет к нему, не справляясь с рассудком. На улице Копенгагена маленький мальчик поздоровался с Андерсеном. Мать сделала ему выговор: «Что ты здороваешься с незнакомым человеком?» — «Как незнакомым?!» удивился мальчик — «Это Андерсен. Его все мальчики знают!»... Подобные случаи бывали не раз. Известный детский писатель А. В. Круглов<sup>3</sup>, увлекшись произведениями датского сказочника, задумал вместе с приятелем посетить и самого поэта, «поклониться» ему. Рассказывая об этом посещении и описывая обстановку его скромной квартиры, А. В. Круглов говорит, что на столе, возле роскошно убранных яиц, присланных поэту к Пасхе от короля и королевы, занимал видное место почти завядший букет цветов, присланный ему девятилетней девочкой из деревни Гельзингер ко дню его рождения со следующей надписью: «Дорогому другу Андерсену в знак благодарности за хорошие сказочки, которые мне так нравятся и которые я часто читаю». У поэта таких бесценных подарков было много. Вот такая тесная связь существовала между ним и маленькими читателями. Существует эта связь между детьми и душой великого старца и теперь. Брандес<sup>4</sup> говорит, что ни один из поэтов не может похвалиться таким внимательным и чутким кругом читателей, как Андерсен. «И как, должно быть, было приятно для Андерсена видеть скучившимися вокруг его рабочей лампы эти тысячи детских личик; видеть из перед собой, богатых и бедных, разбирающих по складам, читающих, слушающих, во всех странах, на всех языках, то здоровых, веселых, наигравшихся, то слабеньких, бледных, еле оправляющихся после одной из многочисленных детских болезней, жадно протягивающих свои беленькие и смуглые ручки за каждой переворачиваемой страницей. Никакой другой писатель не найдет такой доверчивой, внимательной, неутомимой публики, и

<sup>3</sup> См. книгу — «Литература маленького народа.» 1897 г., два выпуска. Книга — полезная для учителя.

<sup>4</sup> Перу Брандеса принадлежит лучший и, можно сказать, единственный разбор сказок Андерсена из того, что существует на русском языке. Перев. см. в книге «Новые веяния», 1889 год; или — «Русская Мысль», 1888 г., № 3.

притом публики до такой степени достойной уважения, потому что дело достойно уважения даже в большей мере, чем старость».

Зато Андерсен и умеет говорить с этой публикой, как никто, — языком простым, даже наивным, но в высшей степени поэтичным и образным; он не пишет, а разговаривает и, где только возможно, помогает образности выражений звукоподражанием. «Шел солдат по дороге: раз-два! Раз-два!» — «Послушай, — сказала старая улитка, — какую дробь дождик выбивает на листьях: рун-дум-дум, рун-дум-дум!» — «И вырезанные из бумаги трубачи трубили: Тра-тарата, вон он, мальчик, тра-тарата!»

«Кар-кар! Здррравствуй!» кричит девочке ворон. — «Коакс, коакс, брекке-ке-кекс!» разговаривают жабы между собой. «Кви-вить! кви-вить!» чирикает птичка. — Детям чрезвычайно нравятся подобные звукоподражания: так они понятны, доступны и заняты им. Помню, как один мой маленький ученик быстро запомнил и потом часто любил повторять следующую фразу из сказки «Мать»: «В углу глухо зашипели старинные часы; тяжелая свинцовая гиря опустилась до полу... Бум! — и часы остановились». И это многозначительное для него- «бум!» повторялось мальчиком каждый раз с неослабевающим эффектом.

Часто сказки начинаются с такими остроумными, неожиданными оборотами речи, что внимание читателя приковывается сразу. Приведем несколько подобных начальных фраз: «Ну, слушайте!» — «Дело было давно, но потому то и стоит послушать эту историю; к счастью, она еще не забылась». «Ну, начнем! Дойдя до конца истории, мы будем знать больше, чем теперь. Так вот»... — «Слышали вы историю о старом уличном фонаре?» «Она не то, чтобы очень была забавна, но и разок все таки ее послушать можно»... — «Право, можно было подумать, что то случилось, на самом-то деле ровно ничего». — «Откуда мы взяли эту историю? Хочешь знать? Из бочки мелочного торговца, что битком набита старыми бумагами». — Ища простоты, спустившись до ребяческого, поэт убедился в том, что ребяческое то и есть сама поэзия: общепонятный, наивный, образный способ выражения гораздо поэтичнее того, что переносит паст в область умственного отвлечения. Обыкновенный человек, рассказывая детям сказку, начнет так: «Дети одни поехали гулять»... — «Совсем не так это было!» скажет поэт рассказчику: «Вот сели дети в экипаж...» «Прощай, мама! Прощай, папа!» Бич — щелк, щелк! И поехали... «Ну! пошел!» Вот, как надо говорить с детьми, вот, как нужно детскому писателю и воспитателю понимать детскую душу.

*Великий сказочник*<sup>5</sup>

Несколько слов о жизни Андерсена, его историко-литературном значении, об отношении поэта к детям и педагогических достоинствах его сказок.

Андерсен тонко понимал все способности детской психики, потому что, беседуя с детьми, он — по его словам — бывал ребенком сам. Он чудесно умеет изображать природную грациозную наивность ребенка. Покажем это на примерах. Девочка — шалунья прыгала на насадке с цыплятами. На шум явился отец и стал ее бранить. Вечером она отправилась в курятник и стала ловить наседку. Входит отец. «Зачем ты забралась сюда?» Она заплакала: «Я... я хотела поцеловать курицу и попросить у нее прощения за вчерашнее, да боялась сказать тебе!» — Четырехлетняя девочка сияет счастьем: на ней надеты новое голубое платьице и новая розовая шляпка. «Завтра я тебя выпущу так на улицу!» сказала ей мать. Малютка подняла глаза на шляпку, потом перевела на платьице, блаженно улыбнулась и проговорила: «Мама! А что скажут собачки, когда увидят меня такой нарядной!» — Малютка, ложась спать, читает вслед за мамой молитву «Постой!» перебила ее вдруг мать. «Что это ты сказала после слова — „хлеб наш засушенный даждь на днесь?“ „Ты что-то прибавила, но я не слышала. Повтори!“» малютка молчала, смущенно глядя на мать. «Что же ты сказала еще, кроме „хлеб наш засушенный“? Настаивала мать. „Не сердись, мамочка!“ пролепетала крошка. „Я попросила на хлеб маслица!“». Неправда ли, как эти тонкие штрихи детской наивности переданы верно? И в сказках, и в других произведениях много подобных юмористических анекдотов из детской жизни, свидетельствующих о гениальной способности автора чутко понимать детскую душу.

Влад. Майнов передает («Новости», № 300 за 1887 г.) трогательный эпизод, ярко иллюстрирующий отношения поэта к детям и дающим нам возможность видеть, где и как черпал он материал для своих произведений. Г. Майнов приехал в Копенгаген ко дню школьного праздника. Выйдя за город, он увидел множество школьников, группами, со знаменами впереди, взбирающихся на гору. Среди этой шумной, жизнерадостной толпы виднелась широко поляя пуховая шляпа, из-под не развивались белые, как серебро, волосы, принадлежавшие какому-то маленькому челове-

<sup>5</sup>Окончание. См. № 1-й «Нач. Обуч.» 1906 г.

ку в сереньком пиджаке. Дети пели, человек, что-то кричал и махал шляпой. Когда он отставал от толпы и примыкал к следующей, то передние кричали ему: «Опять отстал, добрый гуввэ (дед)! Лучше мы подождем тебя, чем уступать нашего гуввэ другим!» а другие поднимали спор с первыми из-за доброго гуввэ, но спор моментально оканчивался, когда старик схватывал за руки знаменосцев обеих партий и взбегал с ними несколько шагов вверх на гору, оглашая воздух криками: «Да здравствует земля старого Данеброга!»<sup>6</sup>.

Старик этот был Андерсен. Он чуть не всех школьников знал по именам и успел уже заметить, кто из них здоров или болен, поух-дел или поправился... После нескольких речей детский хор тысячи в две голоса пропел народный гимн, а затем толпа сдвинулась густой массой, и над ней появилась белая голова старика. Гениальный писатель, друг детей и взрослых, стоял на столе. «Добродушное лицо, озаренное счастливой улыбкой понятного и любимого своим народом писателя, вдохновенные, хотя и потускневшие от лет голубые глаза, вся эта несколько неуклюжая фигура, оживленная на время тем, что совершается перед ее глазами, но все-таки и усталая жизнью, произвели на меня сильное впечатление. Но вряд ли кто знает, что сказку можно сказывать так, что и Андреевы-Бурлаки<sup>7</sup> и все другие мастера-чтецы окажутся неумельцами передатчиками чужих произведений... Читал Андерсен свою сказку об оловянном солдатике. Все смолкло: слышно было, как шумят крылышками стрекозы в воздухе; детвора вся превратилась в слух... Сцена любви солдатика к балерин-кукле и минутное увлечение ей, в следствии которого она попадает в камин, а в особенности отчаяние героя и его решительный прыжок туда же, вслед за околдовавшей его женщиной, вышли изумительно трогательнее, и в голосе Андерсена слышалась такая нотка, которая показывала, что чуть ли поэт когда-нибудь, в лета своей юности, не испытал мучений солдатика, с той лишь разницей, что он был сделан не из олова, а из крови и нервов». Вечером г. Майнов со знакомым профессором В. подслушали разговор поэта с крестьянской девочкой лет 13-ти. Они сидели на берегу моря, под огромным буком. Голова старого поэта лежала на коленях девочки; глаза подняты к небу, он словно всматривался в звезды. Приведем конец их разговора. «Только любовь и одна лишь чистая, честная, беззаветная любовь, дитя мое, способна делать чудеса и воскресить человека», проговорил задумчиво старик.

<sup>6</sup> Данеброг — датское государственное знамя.

<sup>7</sup> Андреев-Бурлак — талантливый артист, замечательный чтец (1843–1888 гг.).



«Отчего же я так именно любила Гесту, а он, несмотря на мою любовь, все-таки помер на прошлой неделе?» — спросила девочка и в упор посмотрела поэту в глаза.

«Умерло только его тело, а душа его жива... Вон, гляди! Как ярко и ясно глядит на тебя та вон звездочка! Это твой брат Геста смотрит на тебя и радуется, что ты меня, старика, утешила, приласкала и пригрела мою старую голову на своих коленях... И всякий раз, как ты делаешь что-нибудь хорошее, знай, что твой невинный Геста там на небе радуется и мигает тебе любовно, точь в точь, как мигает теперь его звездочка.» И девочка, и старик усталились на звездочку, и слышен был лишь шелест бука да шорох моря об известковые утесы. Шепот стихии, наступил момент созерцания и глубокой думы. «Так вот как — добавляет г. Майнов — собирал Андерсен сюжеты своих бессмертных сказок».

Андерсен в человека ценит выше всего сердце, а это черта — чисто детская. Он преследует черствость сердца, сталкивает с пьедестала гордость и сухость, а на их место возводит кротость и скромность. Он любит все слабое, беспомощное; может быть, и детей любит особенно, потому что они слабы и беспомощны. Руководимый чувством сострадания к слабым и забытым, он как английский романист Диккенс или наш Ф. М. Достоевский, часто выводит в своих произведениях лиц из беднейших классов, простых по происхождению, но благородных сердцем: старая прачка в «Маленьком Туке», сторож и его жена в «Старом уличном фонаре», бедный учитель в сказке «Все на своем месте» и т. д. и т. д. Две истории — «Пропащая» и «Девочка со спичками» вызывают те же настроения, какие мы испытываем при чтении некоторых произведений Ф. М. Достоевского. В первой, как в знаменитом рассказе — «Мальчик у Христа на елке», рассказывается, как на улице большого города в ночь на новый год замерзла девочка — нищенка. Сравните оба рассказа, и вы найдете в них одинаковые детали, они и заканчиваются почти одним и теми же словами, в рассказе «Пропащая» передается трогательная история прачки, жизнь которой сложилась так тяжело, что она обратилась к обычному в этих случаях утешитель — вину. В холодный день несчастная умирает на реке за работой. Почти никто не понял страданий прачки, лишь дали ей кличку: «Пропащая». Двое поняли ее. Сын ее Петька, забитый, загнанный мальчик, заплакал над ее могилой: «Мамочка моя! Правда ли, что она была пропащая?» Хромая бедная старуха, ухаживавшая за больной прачкой, отвечает: «Неправда! Хорошая она была женщина! И Господь Бог скажет то же самое, когда примет ее

в царство небесное! А Люди пусть называют ее пропащей!» Вспомните последние слова монолога Мармеладова из «Преступления и наказания»: «А пожалеет наст Тот, Кто всех пожалел, и Кто вся и всех понимал... И всех рассудить и простит» и т. д.

Страдания, перенесенные поэтом в жизни, не сделали его черствым, наоборот, еще больше развили в нем участие и внимательность к горю других. Это участие было так велико, что он не пропускал без любящего взгляда ни малейшей птички, ни «безобразного» утенка, ни даже гусеницы, которую злой человек столкнул с моста в воду. Можно привести много мест из произведений Андерсена, где он учит состраданию, любви, жалости ко всем обделенным судьбой живым существам. Его сказки — могучее средство к развитию альтруистических чувств.

Андерсен любит и животных за их слабость и непосредственность. Животные Андерсена, каковы бы они ни были, никогда не являются зверями, хотя, надо заметить, что он изображает почти только ручных, домашних животных, наиболее доступных его наблюдениям, а потому хорошо ему известных; давно живя среди людей, они словно получили человеческий отпечаток. «Андерсен изображает не животное в человеке, а человека в животном», метко выразился Брандес. Вот эта самая человечность, мягкость, разлитые широкой волной во всех произведения Андерсена, и покоряют юное сердце, а нас заставляют признать его величайшим воспитателем, первым сказочником мира. В его сказках чаще встречаются птицы, нежели млекопитающие; это объясняется тем, что птицы самые короткие, самые благородные и вместе с тем красивые существа. Соловей, лебедь, аист — вот любимцы поэта, но всего больше в природе он любит, кажется, растения, цветы. Растение не оскорбит, не расстроит; все в нем спокойно, мирно, гармонично и красиво. Любя природу и прекрасно ее зная Андерсен мастерски изображает ее, и в каждом отдельном индивидууме, и в общем. В описаниях природы у него нет ничего кричащего, эффектного; они словно набросаны легкой, тонкой акварелью и таят в себе тихую, ласкающую грусть северной природы; они так напоминают описание наших — инициалы И. С. Тургенева и А. П. Чехова. Прочтите, напр., «На крепостном балу» и «Картинки-невидимки», — вы вспомните тургеневские «стихотворения в прозе», прочтите некоторые маленькие рассказы и путевые очерки — вы вспомните миниатюры А. П. Чехова. Поэт любит все живущее: и пышную розу, и душистую яблоню, и скромную маргаритку, и «чертовы подойники», и жука, и ящерицу, говоря: «Все это дети одного царства

прекрасного». Вы никогда не услышите от него, чтобы он назвал, напр., жабу или лягушку гадкой, отвратительной, как это делают иные: в природе все красиво, говорит поэт.

Слова Баратынского, сказанные о Гете, могут относиться с неменьшим правом и к Андерсену:

С природой одной он жизнью дышал:  
Ручья разумел лепетанье,  
И говорит древесных листовых понимал,  
И чувствовал трав прозябанье,  
Была ему звездная книга ясна,  
И с ним говорила морская волна.

Андерсен умеет оживить — еще детская черта — не только природу, но и неодушевленные предметы: «Ветряная мельница», «Свечи», «Штопольная игла», «Чайник», «Солнечный луч», «Ветер», «Воротничок», «Церковный колокол», «Старый дуб», «Лучи месяца», одухотворяются, получают особую жизнь, смысл и рассказывают нам, через посредство волшебника-сказочника, то трогательные, то веселые истории. Это поистине гениальное воображение. Быстро переходя от одного предмета к другому, поэт умеет единственный случай ввести в область общего. Андерсен — поэт мыслитель; но его философия проста, доступна детскому сердцу. Любовь к Богу, природе и людям, юношеская вера в силу добра и знания — вот сущность его философии, с которой мы, взрослые, должны познакомиться каждого ребенка. А познакомиться в такой интересной, чарующей форме так легко.

Многое множество писателей<sup>8</sup> бралось за детскую сказку, но Андерсен остается до сих пор первым и единственным. Авторы, лишенные художественной меры и педагогической чуткости, исходя из того основания, что в детях необходимо развивать воображение, рисуют ужасные, чудовищные образы, праздно раздражая нервы детей и пагубно поддерживая суеверия вместо того, чтобы дать детям возможность найти интерес и красоту в действительности. Андерсен удержался от ужасающей фантастики; сюжеты его сказок просты, образы близки каждому ребенку; пруд, сад, поле, птичий двор, детская, барская усадьба и т. под. — вот сфера его

---

<sup>8</sup>Из русских писателей талантливыми учениками Андерсена могут считаться — безвременно угасший В. М. Гаршин, написавший четыре прелестных сказки, и Д. Н. Мамин-Сибиряк — один из лучших детских писателей. В. М. Гаршин считал Андерсена своим учителем.

наблюдений. Он говорит читателю все простое, обыкновенное, мимо чего ты часто проходишь, не замечая, к чему часто относишься равнодушно — поле, лес, каждое деревцо, травинка, жук, цветок, бабочка, домашняя обстановка — все это полно самого живого интереса, полно красоты: лишь умей видеть, учись, понимай, люби, сочувствуй! «Да, картинам нет конца, мир вокруг нас полон красоты; она проявляется даже в мельчайших мимолетных образах, которых толпа и не примечает.

В капле воды, взятой из лужи, кишит целый мир, живых существ; сутки — капля, выхваченная из будничной жизни, тоже содержит в себе целый мир в картинах, полных красоты и поэзии. Открой только глаза и гляди!

Провидец-поэт и должен указывать на них, или, лучше сказать, как бы накладывать на них микроскоп, чтобы сделать их видимыми толпе. Потом она мало-помалу, и сама привыкнет вглядываться, прозреет, и жизнь ее таким образом обогатится — обогатится красотой.» Эту мысль как нельзя лучше поэт иллюстрирует всего лишь на одной страничке, изображая часть поездки, один из тех часов, в которые, собственно говоря, ничего такого и не случилось, о чем бы стоило рассказать, на что стоило бы обратить особенное внимание. Ехали через лес, а затем по большой дороге. Нечего, собственно, рассказать! Между тем, поэт дает ряд чудных миниатюр, наводящих на мысль и пробуждающих лучшие чувства: тут и свиньи всех размеров и сам босоногий, оборванный свинопас, с книжкой в руках, весь ушедший в чтение, может быть, будущий ученый; картина смерти молоденького деревца, ту и жирный паук в своем воздушном замке и юная деревенская красавица и неутешное горе матери — смерть ребенка; и все это на фоне природы: холмы при дороге, поросшие можжевельником, поле, лесная поляна, сплошь покрытая ландышами, воздух так напоенный их ароматами, что трудно дышать, строй высоких сосен, через просветы которых льются яркие солнечные лучи. Сам поэт говорит: «Картины без конца — и в лесу, и в поле, и в мыслях, всюду!» Учись наблюдать жизнь, учись понимать ее и будь в жизни светлым деятелем, вооруженным основательными, верными знаниями. По своей художественной простоте и в то же время чарующей увлекательности сказки Андерсена представляют исключительное явление в мировой детской литературе. Прочтите, например, его сказку «Медный кабан». В ней нет и признака чудесных сил; а между тем эта трогательная история превращения бесприютного оборвыша-мальчугана в прославленного художника так поразительно-волшебна!

Вообще Андерсен любил рассказывать о том, как люди из нужды и бедности выбивались силой своего таланта и труда на широкий путь света и славы.

Такова история жизни датского скульптора Бартеля Торвальдсена, который, подобно Андерсену, перенес в жизни много тяжелого и горького, прежде чем стал знаменит. Такова же и сказка «Старый церковный колокол». В ней рассказывается о юности поэта Шиллера, которой, сбежал из города Штутгарта, где воспитывался: в его груди звучал колокол идеализма, а в ушах раздавались суровые оклики: «Марш! Стройся! Во фронт!» «Сказка и действительность очень схожи; но в сказке счастливая развязка наступает здесь же на земле, тогда как в действительности человек может рассчитывать на нее чаще всего лишь там, в жизни вечной и бесконечной», говорит поэт в сказке «Тернистый путь славы». «Всемирная история — волшебный фонарь, показывающий нам на темном фоне жизнь светлые образы благодетелей человечества, мучеников ума, пробравшихся по тернистому пути славы». И на поэтическом экране волшебного фонаря сказки проходят эти мученики, эти благодетели человечества: Сократ, Гомер, Фирдуси, Камоэнс, Колумб, Галилей, Жанна Д'Арк, Тихо-Браге, Фультон и др. Это все яркие звезды на черном фоне тернистого пути славы.

В сказке «Гадкий утенок», имеющей автобиографическое значение, в аллегорической форме представлена все та же история о том, как человек, богато одаренный, с чуткой и светлой душой, борется с тяжелыми жизненными условиями, и несмотря на унижения и страдания, выходит из этой борьбы победителем, превращаясь в гордого, белоснежного лебедя. Этот лебедь — сам Андерсен.

«Моя жизнь», говорит он, «прекрасная роскошная сказка. Если бы в то время, когда я вступил в свет маленьким, бедным, одиноким мальчиком, ко мне явилась всемогущая фея и сказала: „Выбирай свою цель и направление, а я буду тебя наставлять и защищать“ — моя судьба не могла бы быть счастливее, умнее и лучше». Моя жизнь скажет миру то же, то она сказала мне: «Есть милосердный Бог, который все приводит к лучшему». Последняя фраза характерна для мирозозерцания Андерсена: светлый и радостный оптимизм мягкой волной разлит во всех произведениях Андерсена, несмотря на их грустный — местами — тон. «Все — к лучшему!» «Скрыто — не забыто!» любит повторять поэт. Он религиозен в высшей степени, его религиозность, светлый радостный взгляд на жизнь, величайшее искусство рисовать положительные

стороны жизни, умение отыскать красоту и добро в самых будничных предметах — все это увеличивает педагогические достоинства его произведений, особенно сказок. Андерсен — именно поэт Божией милостью.

Пишущий эти строки не может забыть того сильного впечатления, какое произвело на него и его товарищей в детстве, когда он учился в первом классе городского училища, чтение учителем в классе сказок Андерсена.

Позже, будучи сам учителем начальной школы, автором имел возможность видеть на своих учениках влияние чтения сказок Андерсена и свидетельствует, что ученики выслушивают их с величайшим интересом. Особенно нравятся сказки: «Гадкий утенок» и «Соловей». Нечего и говорить о том, как сильно впечатление, когда чтение происходит с волшебным фонарем. Пишущий эти строки не раз читал и рассказывал эти сказки по памяти в различных учебных заведениях, даже «детям улиц» дошкольного возраста и находит, что устный рассказ выслушивается легко даже и маленькими, лет пяти-шести. Аудитория замирает, в темноте лишь слышно сдержанное дыхание толпы ребятишек; все глядят на экран, где одна за другой появляются картины, и нет-нет да вырвется чье-нибудь невольное замечание, показывающее, как участливо к судьбе «героев» сказки относится толпа не дисциплинированных ребятишек, человек в 200–300. Маленькая беседа, уясняющая, что «гадкий утенок», превратившийся в «дивного лебедя», — сам Андерсен, заставляет детей заинтересоваться жизнью поэта, и они охотно выслушивают «сказку его жизни». Известен факт, что произведение, раз прочитанное в классе, школьники второй раз слушают не охотно. Занимаясь в течение почти 10 лет в различных учебных заведениях, начиная с приходской школы, городского училища и кончая средним учебным заведением, я каждый год уступал настойчивым просьбам ребятишек (в возрасте 9–15 лет) и прочитывал сказку «Соловей» два, иногда три раза в течение года (без фонаря). И каждый раз то же внимание, то же удовольствие, словно сказка является в новой чарующей красоте. Вот она тайна гения! Я знаю еще только два-три произведения, равных по силе впечатления, которые выслушиваются детьми с таким же вниманием.

В заключение нельзя не пожелать, чтобы сказки Андерсена, в хорошем переводе, были бы в каждой школьной библиотеке. Мальчикам, прошедшим курс начальной школы и развитым, можно давать путевые очерки, «Картинки-невидимки», повести — «Им-

провизатор» и «Петька-счастливец» и стихотворения Андерсена<sup>9</sup>, правда, менее замечательные произведения, чем сказки, но все же поэтичная по форме и глубоко воспитательные по проникающему их теплоту чувству. Но пусть учитель сначала сам перечитает их и, познакомив своих учеников с жизнью «добротого деда», научит их любить его и его сказки. Тогда ученики могут записать в свои тетради для стихотворений (такие тетради должны быть заведены в каждой благоустроенной школе) и выучить наизусть те слова, которые пели дети в честь великого сказочника на празднике в Одензе:

Хотя мала рука у нас,  
Но пожмем двумя зараза  
Руку сказочника-друга!  
Велика его заслуга:  
Он развел волшебный сад  
Где найдет и стар и млад  
Тень и отдых, и прохладу,  
Утешение и отраду!  
Другом мы его зовем,  
В честь его мы песню поем!

---

<sup>9</sup>Лучшими переводчиками сочинений Андерсена, прямо с датского подлинника, считаются А. и П. Ганзен. Сказка «Соловей» очень поэтично переведена Л. И. Поливановым; см. «Русская хрестоматия», для 2 перв. классов сред. уч. заведений.

*Дмитрий Галанин*

## ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ

*Впервые опубликовано в: Педагогический листок. 1910. № 3.  
С. 172–192; № 5. С. 315–326.*

Прежде чем рассматривать вопрос о детском чтении, полезно установить момент, с которого можно считать, что дети читают. В статье «Первоначальное образование»<sup>1</sup> я пытался установить, что этот момент не совпадает с моментом научения грамот; он не совпадает также и с моментом беглого, свободного чтения. Оба эти момента показывают нам лишь то, что ребенок овладел искусством чтения, но вызывает ли это новое для него искусство творческую фантазию, ряд самостоятельных мыслей, — мы не знаем.

Вот почему я думаю, что моментом начала детского чтения следует считать период, когда книжка становится для ребенка предметом увлечения, когда для чтения книжки забываются игры, да и сон. Конечно, у разных детей этот момент наступает в различное время, иногда, быть может, очень поздно: быть может, даже есть люди, которые никогда не способны увлечься книжкой до самозабвения, — но таких людей, я думаю, очень мало среди тех, кому доступна литература в самом широком смысле. С другой стороны, этот момент увлечения у разных лиц, конечно, не одинаково интенсивен; он наступает не вдруг и как бы постепенно накапливается, и, наконец, проявляется во всей своей силе. Вот что говорят мои молодые наблюдатели.

1) «Около 7-ми лет я начал читать журнал „Задушевное Слово“ и рассказы, и статьи из разных хрестоматий (Поливанова, Соколова и др.). 11-ти лет прочел полное сочинение М. Рида и Ж. Верна и многое из В. Скотта, Купера, Эмара и Карла Мая. С этих пор я заинтересовался чтением и читал много книг всевозможных сортов и авторов»

2) «Читать выучился 4½ лет. Сначала (лет до 6) читал мелкие сказки, стихотворения (Старец-годовик и др.) и лет до 7 различные лубочные издания (напр., Еруслан Лазаревич), которые продают

---

<sup>1</sup>См. «Пед. Лист.» № 2, 3, 4. 1908 г.



ценой от 1–15 коп. У Ильинских ворот и Сухаревой башни. Потом до 10 лет читал сказки Гримма, Андерсена, Пушкина. Лермонтова, различные хрестоматии и постоянно журнал „Задушевное Слово“ – до 9 лет младшего, а после старшего возраста»

3) «Любимыми моими сказками, пишет третий, были сказки Гауфа. Особенно зачитывался я „Приключениями Саида“ и „Маленьким Муком“, их я перечитывал не меньше двадцати раз. Когда я читал сказку Андерсена „Бедный Иван“, то мне приходилось удерживаться от слез в том месте, где Иван прощается с умершим отцом; а, читая о жестокости маленькой разбойницы в „Снежной королеве“ и Гельды в „Дочери болотного царя“, меня всегда брало зло на них».

Из приведенных выписок, мне думается, ясно, какой именно момент я считаю моментом начала детского чтения.

Это будет именно тот момент, когда книга открывает ребенку новый мир. Ранее ему недоступный и неизвестный, когда она становится властительницей его дум, когда он живет жизнью героев рассказа, болеет их неудачами, радуется их успехам. То, что раньше он почерпал из устных рассказов, все это он теперь находит в книге, и уже не нуждается в постороннем рассказчике, но скорее нуждается в слушателе, а всего чаще требует уединения, когда он может жить особенной жизнью, вне обычных условий своего существования.

«Лет 7–8, пишет один, я познакомился со сказками Гримма и Андерсена, которые произвели на меня необыкновенно отрадное впечатление. Разыгравшееся воображение уносило все помыслы и желания, весь мой внутренний мир, куда-то далеко, за пределы грубой прозаичной реальности. Как наяву воздвигалась предо мной чудесно-роскошные дворцы, дивные сады наполняли воздух благоуханиями своих цветов, среди зелени ярко выделялись хрустальные бассейны, из которых временами являли миру свои прелестные очаровательные лики маленькие никсы».

Мы, конечно, здесь слышим голос взрослого человека, передающего свои воспоминания; но этот голос говорит нам сразу и о силе детского впечатления, и о том удовольствии, которое оно доставляло маленькому читателю. Впечатления врезалось в памяти, легло прочным камнем в постройки внутреннего мирозерцания осталось светлым и чистым; о нем приятно вспомнить; оно бодрит человека в минуту грусти.

Интересно, с чего начинается эта новая жизнь? Какие книжки способны вызвать эту творческую жизнь воображение? Прежде

чем ответить на этот вопрос, я укажу, что в начальном процессе детского чтения играет видную роль именно творческая фантазия. Как на примере и пояснение этого, сошлюсь на напоминания С. Аксакова в «Детстве Багрова-внука», где он говорит, что, читая Россиаду, он «так живо воспроизводил лица любимых героев: Мстиславского, князя Курбского и Палецкого, что как будто видел и знал их давно». «Я дорисовывал их образы, говорит он, — дополнял их жизнь и с увлечением описывал их наружность; я подробно рассказывал, что они делали перед сражением и после сражения, как советовался с ними царь, как благодарил их храбрые подвиги». Все это было до поступления в гимназию, т.е. как думать, до 8-ми лет.

Чтобы вызвать к жизни такую мощь воображения и фантазии, быть может, нужно какое-нибудь особенно сильное впечатление, какой-нибудь мощный толчок, сильное художественное произведение; или, быть может, для этого нужно особо одаренную натуру, исключительное внутреннее строение. По этому поводу мне хочется заметить, что тот психологический процесс, который вскрывают перед нами люди незаурядные, каков Аксаков, этот процесс в скрытой форме переживается и самими обыкновенными детьми, но они только не могут так хорошо его формулировать, так передать нам, чтобы его почувствовали. Писатель передает нам то, что он переживал, и мы вспоминаем, что и мы сами переживали нечто подобное. Вследствие того я думаю, что не надо быть особо выдающимся ребенком, чтобы чувствовать мощное влияние чтения, что это влияние чувствуют все читающие дети и чувствуют в общих основных чертах одинаково. С другой стороны, для этого оказывается ненужным и особо художественное произведение. Сам автор «Семейной хроники» рассказывает, что он увлекался приблизительно в то же время и «Сонником», который знал почти наизусть, и истории о Младшем Кире, и о возвратном походе 10000 греков, соч. Ксенофонта.

В моих материалах есть любопытное воспоминание, которое я позволю себе привести целиком:

Учить азбуке меня начали с 5½ лет, так что в 6 лет я уже бегло читал все, что попадалось под руку. Сперва, конечно, читал буквари, вроде «Родного Слова», но так как их читал по требованью матери, и притом в них очень мало интересного даже для понимающих читаемое, то они на меня не производили никакого впечатления и были как бы поверкой моего знания азбуки. Не то совсем было, когда мне пришлось прочесть книжку, заключающую в себе нечто целое. Эта книжка за-

ключала — в себе описание жизни крестьян, под заглавием «Кровавый след», не помню какого автора. Содержание состояло в том, что один мужик убил жену и, чтобы скрыть свое злодеяние, упаковал труп в сани и повез его в лес. Но кровь еще не переставала сочиться, а мужик был так поглощен своим преступлением, что и не заметил, какой след «прокладывается» от его избы до лесу. Этот то след и выдал его. Эта книжка мне так понравилась, что я перечитал ее несколько раз. С тех пор у меня явилась любовь к чтению. Так как мы были люди очень бедные, то у меня бывали в руках только случайные деньги, все их я тратил на покупку дешевых народных книжек. Вот я при поступлении в гимназию и перешел к чтению «Записок охотника» Тургенева и стал читать уже литературу взрослых.

В этом показании много любопытного, но самое главное — это неожиданное и сильное впечатление народной книжки, содержание, которое мы навряд ли бы одобрили для первого чтения наших детей. Другие дети выбирают другие произведения, и иногда довольно оригинальный: так, например., у меня есть указания, что такого же рода душевный перелом у одного произошел при чтении стихотворения «Дедушка» и «Вчера я отворил темницу воздушной пленницы моей», помещенных в хрестоматии.

Если мы теперь соберем все эти показания в одно целое, то с несомненностью придем к убеждению, что увлечение чтением является в тот момент, когда перевертывается новая страница жизни, и ребенок вступает в новый мир, ранее ему как бы недоступный. Это тот момент, вообще говоря, наступает довольно рано и психологически совпадает с сильным развитием фантазии и мечты.

Как бы то ни было, но к этому вопросу близко примыкает чтение сказок. По этому поводу я сделал небольшое исследование и получил 220 ответов. Из 220 ребят — только 5 не имело сказок в детстве; таким образом можно думать, что одной из первых книг для детского чтения является сказка. Из этих 215, читавших сказки, 26 читало мало, 37 читало много, и остальные 152 вообще читали. Следовательно, сказка не занимает какого-нибудь особого места в детской литературе и является лишь одной из книг для чтения. Какое же впечатление производили сказки? 26-и они не нравились; 65-и очень нравились и 107-и вообще нравились, но, очевидно, не производили какого-нибудь резкого впечатления, ни положительного, ни отрицательного. Этим еще более подтверждается факт, что сказка, не составляя преобладающей книги для чтения, в то же время не играет и особенной роли по своему содержанию. Чтобы еще более проверить это положение, я спросил: насколько сохранилась

любовь к чтению сказок? На это получил 206 ответов, из них у 94 сохранилось и у 112 пропало. Все это показывает, что чтение сказок мы не должны выделять в особую группу детского чтения и рассматривать сказки просто, как один из сюжетов детского чтения по роду с другими, как, напр., сочиненья М. Риды, Ж. Верна и т. п.

Но к сказкам присоединяется еще один вопрос о страхе. В этом отношении мое наблюдение дает следующие цифровые данные: не испытывали страха 74 мальчика, испытывали 131, из них 9 — сильней. Этот страх испытывали при чтении 30 и после чтения 30, остальные не могли указать, когда именно.

И так, хотя мы и не можем выделить сказку, как преобладающее детское чтение, но, несомненно, должны отнести их к таким книгам, которые способны у большинства детей вызвать чувство страха, и иногда очень сильного.

Исследуя вопрос о страхе, я нашел, что чувствование страха является прирождённым человеку; оно несколько больше чем у девушек у которых в возраста от 8 до 14 оно приблизительно постоянно, и меньше у мальчиков, у которых оно постоянно падает в возрасте от 9–16 лет; в 16 лет мальчики, нормально развитые, почти не испытывают страха (число не боящихся 37 из 44, при чем у 84,09 % страх к этому возрасту пропал). Что касается до специально страшных рассказов, то я получил следующие цифровые данные

Лет	Мальчики			Девушки		
	Число опрошен.	Число боящихся	% отн.	Число опрошен.	Число боящихся	% отн.
8	–	–	–	24	10	41,5
9	11	3	27,3	43	25	58,1
10	18	5	27,8	75	46	61,3
11	62	25	40,4	81	47	58,0
12	82	34	41,4	56	36	64,3
13	71	23	32,4	16	11	68,6
14	36	6	16,7	71	2	28,6
15	48	3	6,3	–	–	–
16	44	–	1	–	–	–

К сожалению, мое исследование о чтении ограничивается только мальчиками, и я не могу проверить, насколько справедливо столь высокий процент страха у девушек; но должен заметить, что материал для исследования страха у детей был взят мною

из различных общественных слоев, и в то время, как среди мальчиков преобладала группа учеников средних учебных заведений, девушки же были исключительно ученицы городских школ. Быть может, это обстоятельство, не отразившись на общем характере исследования вопроса о страхе, отразилось более резко в вопросе о страхе при чтении. Как бы то ни было, но здесь видно, что страх у мальчиков получает наивысшее напряжение к 11–12 годам, затем падает. Страх же у девушек остается приблизительно постоянными<sup>2</sup>.

Кроме того, то же исследование привело меня к убеждению, что страх — или, лучше сказать, нормальная боязливость — является результатами развитая фантазии, яркости мыслимых образов и обширности возможностей, допустимых человеком. Таки, напр., если случилось с вами какое-нибудь событие, приятное или неприятное — все равно, то вы невольно прикидываете в уме ряд возможных последствий; если событие неприятное, то в вашем уме возникает ряд возможных несчастий, вероятность которых обуславливается жизненным положением и ясностью их представления. Люди с сильными воображением и широко развитою мыслью страдают от этого более, чем те, у которых воображение беднее и мысль уже. Если человек не замечает опасности, то остается покойными; но когда они заметили ее, ему трудно сохранить самообладанье и не допустить себя до боязней возможных случайностей!

При чтении сохраняется приблизительно тоже, только читаемый рассказ переводится в житейские образы, которые, уже и дают человеку то или иное отношенье к рассказу. Таки в одной из приведенных выписок, мальчики особенно чувствовали горе при чтении сцены прощанья с отцом. Из не приведенного мною места письма видно, что своего отца они очень любили и, очевидно, отождествляли образ читаемого с образом действительного. Точно также и страх является результатом действительно пережитых чувствований и зависит от силы колебания от мысли и силы воображения. Я бы далее позволил себе сказать, что страх испытывают дети более одаренные, с более тонкой организацией; и если ребенок здоров нервно, то этот страх даже приятен и нисколько не опасен для здоровья, конечно, в пределах силы природы.

---

<sup>2</sup>Колебания от 41 % до 68 % я не считаю существенным в виду очень малого числа наблюдений; последнее же число 28,6 могло быть совершенно случайным. Средний % без него даст 58,6 %, а при нем — 54,3 %, так что и это число не являет заметно на средний процент.

Однако, в силу вообще спорности вопроса о влиянии чтения сказок, с одной стороны, а с другой, в силу только что указанного значенья чувствование страха, я позволю себе несколько остановиться на вопросе о сказках и привести меньше молодых наблюдателей. Эти мнения делятся на две категории: на сочувствующих и не сочувствующих чтению сказок; начнем с первых.

Лет 7–8 я познакомился со сказками Гримма и Андерсена. Не знаю, но на меня произвели необыкновенно-отрадное впечатление все эти сказки и легенды. Разыгравшееся воображенье уносило все помыслы и желанья, весь мой внутренней мир, куда-то далеко, за пределы грубой прозаической реальности.

Такая картина, — созданная воображением, казалось бы, должна была мешать учиться; но это пишет лучший ученик класса, который в течении всего курса был всегда одним из первых. Он вдумчиво относится к этой стороне своей внутренней жизни и говорит дальше: «Мне кажется, что сказки являлись лишь ближайшим средством к развитию той искры вдумчивой мечтательности, которая, по моему личному мнению, была заложена в мою душу с самого дня рожденья по всеильным ненарушимым предначертанием судьбы. Может быть, это и несправедливо, но поразительно то явленье, что эта тихая, грустная; но в то же время сладкая мечтательность проходить та прерывную нитью через всю эпоху моей ранней юности до настоящего времени». Я не знаю, насколько прав автор в своем внутреннем анализе, с ним можно спорить, но нельзя отказать ему в том, что явленье было отмечено как объяснение его была приложена одна из возможных гипотез.

Вот что говорит другой поклонник сказок: «Сказки „Тысяча и одна ночь“ носят фантастический характер и на мое воображение действовали двойко: с одной стороны, волшебные образы разных великанов, чародеев и карликов наводили на меня страх, как в высшей степени злые существа, с другой, прельщающие и чарующие картины приводили в восторг. Само собою разумеется, что все это казалось мне естественным, и я верил и в пещеры, наполненные драгоценностями, и в сундук-самолет. Читая сказки, я принимал сторону героя и желал ему всякого благополучия; к врагам и недоброжелателям его я чувствовал то презрение, то трепет, смотря на то, какую роль занимали они в сказке. Когда герой брал верх, я как будто разделял его радость, как будто жил с ним. Я точно сам переносил все ужасы, испытываемые моим любимцем, и мысленно мстил его врагам и изменникам».

«Я любил фантастичность, таинственность, — добавляет автор, — и уносился в мечтах в тот волшебный мир, из которого скучно возвращаться к действительности».

Позвольте еще привести мнение защитника сказок: «Рос я под надзором матери, которая нельзя сказать, чтобы была очень строгая, но все-таки она старалась, чтобы дети ее лучше запоминали молитвы, чем набивали свои головы такими пустяками, как сказки. На девятом году я поступил в школу. Выучившись читать, я но любил чтения, а особенно сильно меня увлекали сказки. И теперь еще припоминаю, как проводил, бывало, почти все свободное от уроков время я над какой-нибудь простой народной сказкой. Эти последние нравились мне гораздо больше, чем сказки Андерсена, братьев Гримм и т. п., потому что слог их был для меня понятнее. Все вообще сказки производили на меня сильное впечатление: я, если так можно выразиться, жил одной жизнью с героями их: в решительных случаях, например, бой богатыря с драконом, за которым должна последовать ужасная расправа, у меня сжималось сердце; при чтении веселых и забавных сказок, как, напр., про богатыря Фармазона, который запрятал черта в бутылку, я от души смеялся. Но наши сказки, в которых герой не терпит никаких неудач я не любил, потому что они казались мне слишком однообразными; мне нравилось, чтобы герой, пройдя так сказать, через огонь и воду, благополучно возвращался на родину. Между тем как по мере того, как я рос, сказки теряли интерес для меня все более и более, а когда я перешел в 3-й класс гимназии, то совсем перестал интересоваться ими».

Резюмируя приведенный мнения сторонников сказок, мы должны отметить в них Две особенности: 1) читатель живет одной жизнью с автором, автор покоряет читателя, захватывает его; 2) благодаря этому, читатель уносится в волшебный мир фантазий и как бы исчезает из действительной жизни.

Противники чтения сказок нападают на них именно за этот захватывающий интерес, уносящий читателя из области действительной жизни, но они также указывают и на страх, возбуждаемый сказкой. Вот что, напр., пишет один: «Без сомнения, большинство читало в детском возрасте сказки. Большинство также испытывало страх при чтении, и, переходя на личную почву я скажу, что и мне приходилось испытывать страх, только больше не от самого чтения сказок, а впоследствии, когда, напр., приходилось проходить через темные комнаты; так и казалось, что из того или другого угла появится какое-нибудь приведение; или просто было страшно, —

какой-то безотчетный страх. Можно сказать, что у детей даже и таких, которые не читали сказок, является боязливость перед темнотой; но это, по-моему, неверно, так как без чтения сказок они не стали бы населять ее разными сверхъестественными существами и бояться не самой темноты, а определенных существ — леших, домовых, ведьм и т. п. Но большинству в детстве читают сказки или рассказывают и при этом прибавляют многое от себя. Я лично могу сказать про себя, что мне сначала читали сказки, и читали, не особенно-то соображаясь с моими желаниями и наклонностями, а то, что казалось более подходящим к моему возрасту. Но как только я сам выучился читать, меня уже перестали интересовать сказки». «Приносят ли сказки пользу или вред?» — спрашивает автор, и отвечает: «Смотря какие! Некоторые идейные не бывают поняты в детском возрасте; хотя они и приучают думать над тем или другим, хотя в них и торжествует в конце концов добро над злом, но все-таки в большинстве случаев мало обращается внимания на это. Я говорю, если так можно выразиться, о настоящих сказках. В детском возрасте, когда все и без того представляется неопределенным, новым и страшным, сказки еще усиливают эту неопределенность и боязнь. К этому времени ребенку обыкновенно начинают внушать еще и догматы веры. И здесь он видит в большинстве случаев совсем не то, чего желали. Ему говорят обыкновенно про злых духов и про карающего Бога, а о милосердии и любви обыкновенно забывают. Ребенок знает только, что надо молиться, ходить в церковь и т. д. и то, что если кого-то рассердишь, то получишь наказание. Кроме того, нечистая сила, сказочные существа, боязнь провиниться чем-нибудь перед старшими, все это вместе Делает то, что впечатлительный ребенок все время находится в боязни, у него все время; почти расстроены нервы. По-моему, большинство сказок производит на впечатлительные натуры удручающее действие, а потому, если они приносят пользу, то; далеко не всем, и надо, мне кажется, строго сообразоваться с самим субъектом, а тогда уже и говорить о пользе или вреде, приносимых сказками».

В этом мнении много справедливого, тем не менее нельзя его принять целиком, не выслушав по этому вопросу другую сторону. Вот что говорить сторонники сказок:

1. Страх, который не редко приходится испытывать одному читателю сказок, имеет немаловажное значение. Этот страх дает чувствовать читателю, что в жизни приходится встречаться не только с ее хорошими явлениями, но и такими, который заставляют



человека действовать осмотрительно, и иметь страх перед ними, а следовательно, стараться избегать их.

2. Фантастически! элемент, входящий в содержание сказок, делает их безусловно интересными и привлекательными — это, с одной стороны, а, с другой, подобный сказки, вводя, читателя в мир, совершенно ему чуждый, рисуют перед ним все в идеальном виде, а это имеет также, не малое, значение.

Все сказки, какого бы они ни были характера, заставляют читателя переживать или испытывать те или иные ощущения, а этим, мне кажется, сказка достигает своей цели. Правда, что вопрос о степени влияния этих ощущений на того или другого субъекта является спорными.

Чтобы вполне исчерпать свою литературу по вопросу о сказках, я приведу последнее показание юного автора; оно немного длинно, но очень интересно, так как затрагивает не один важный вопрос и устанавливает на многое новую точку зрения.

«Когда мне было около 7-ми лет, мне начали давать для чтения книжки так называемой „библиотеки Ступина“. Среди них были, например, след. книжки: „Матушка-Москва“, „Сборники стихотворений о Москве“, „Старики годовик“, „Собака“, „Кошка“, „Обезьяна“, книжки, которые содержали в себе рассказы об этих животных, „Удивительный червяк“ — описание жизни шелковичного червя, и затем несколько книжек исторического содержания, как, напр., „Царь-богатырь“, „Илья Муромец“ и др. Я упомянул об этих книжках потому, что мне думается, что они оказали влияние. на позднейшее чтение мною сказок. В содержание этих книжек нет ничего сказочного, а напротив — все. очень реально, а потому, когда я вскоре после этого начал читать сказки, то и явился более или менее подготовленным к этому. Другими, словами, с самого начала чтения сказок я отлично понимали, что такое, сказка, и мог свободно отличить сказку от рассказа, вымысел — от правды. Я отчетливо понимали, что ничего написанного в сказках на самом деле не было и не могло быть; но, несмотря на это, я все же очень сильно увлекался сказками. Не могу понять, что меня к ним, привлекало, но я читал их без усталости, и для меня не могло быть лучшего, подарка, как книжки с хорошими сказочками. Надо мной смеялись, что я прочитывал книжки одну за другой, и действительно я их читал так, как голодный глотает куски пищи. После чтения я страшно любили пофантазировать на тему прочтенной сказки. Я представлял обыкновенно себя на месте героев сказки и думали, что бы сделал бы я в том или другом случае, и меня особенно сердило, когда

герой сказки, делал какую-нибудь оплошность; это являлось для меня неистощимой темой для размышления, и, представляя себя на его месте, я непременно старался додуматься, как бы надо было постудить герою, чтобы не попасть в какое-нибудь неприятное положение. Без сомнения такие размышления должны развивать ум ребенка, но они также очень сильно развивают и его воображение. Говорить, что это вредно для дальнейшего развития ребенка, не могу этого сказать про себя. Правда, воображение у меня развивалось очень сильно, но потому, может быть, это и не приносило мне никакого ущерба, что я, как бы сильно ни разыгралась моя фантазия, все время помнил, что ничего этого нет и не будет, и потому ни на минуту не отступал от мира действительности.

Говоря о развитии воображения при чтении сказок, я не могу не сказать несколько слов об иллюстрациях к сказкам, которые, без сомнения, имеют очень и очень большое значение. Приведу один пример. Один раз я читал сказку, — какую именно теперь совершенно не могу вспомнить, — и в ней попалось описание какой-то скалы, стоявшей на берегу озера. Вся местность была описана поразительно хорошо, и воображение до того ясно нарисовало мне эту картину, что мне казалось, будто я сам был когда-то там, у этой скалы, в чудном лесу, с красивыми пестреющими цветами, лужайками и голубым прозрачным озером. Дальше в сказке говорилось, как какой-то витязь или волшебник явился к этой скале и посредством чудесных чар превратил ее в роскошный дворец. Описание дворца, следовавшее за этим в сказке, было чуть ли не лучше, чем описание скалы и леса, — и снова воображение рисует чудную картинку волшебного дворца. Перевертываю страницу книжки, — и там нарисованы две картины: одна изображает скалу до превращения ее во дворец, другая — сам дворец. Но картинки эти были до того бледны в сравнении с нарисованными моим воображением, что я готов был расплакаться. Правда, что я сейчас же вспомнил, что этого ничего не было, но все же долго потом не мог забыть обиды этого разочарования».

Я хотел бы привести еще примеры к вопросу об иллюстрациях в сказках, но прежде я должен сказать немного о том, приходилось ли мне вообще испытывать страх при чтении или после чтения сказок.

Среди большого количества проглоченных мною сказок, конечно, мне попадалось немало страшных, но страха я естественно тогда не испытывал. Правда, в самых страшных местах сказки у меня захватывало дыхание, и дрожь пробегала по спине; но это проис-

ходило вернее от лихорадочного интереса: что будет дальше, чем это кончится? Мне приходилось слышать, что дети, наслушавшись и начитавшись сказок, боятся оставаться одни в темной комнате. Этого я тоже никогда не испытывали. Я не любил оставаться один в темной комнате потому, что при этом всегда испытывали какое-то неприятное чувство: мне казалось, что эта комната как-то давит и душит меня. Чувство это было совершенно безотчетное, но могу с уверенностью сказать, что это не было последствием сказок. Другие дети потому и боятся оставаться одни в комнате, что им всюду чудятся разные морды, чудовища и т. п. Я, как уже сказали выше, никогда не боялся темной комнаты, и мне никогда не представлялись в темноте ни морды, ни чудовища — никогда, за исключением одного случая, о котором собственно я и хочу рассказать. Я читал сказку Аксакова «Аленький цветочек». Сказка эта сама по себе очень занимательная и читалась мною с большими интересом. В ней есть следующее описание одного чудовища: «зверь, не зверь, человек не человек, — а таки какое-то чудище страшное и мохнатое», описание его наружности очень краткое, и нельзя сказать, чтобы читатель по прочтении этого описания представляли себе чудовище очень страшными; но на следующей странице фантазия художника таки разрисовала этот портрет, что и вообразить невозможно. Со мной повторилась почти та же история, что и с предыдущей сказкой, только в обратном смысле. Там, воображение нарисовало мне чудными яркими красками волшебный дворец, а рисунок испортили всю иллюзию; здесь же, наоборот, воображение почти совершенно мне не нарисовало чудовища, но на картинке перед моими глазами оно предстало такими отвратительными, что меня дрожь пробрала, и мне после этого повсюду в темноте мерещилось это чудовище, тогда как прежде я этого никогда не испытывал. Какое сильное впечатление произвели на меня тогда эти картинки, можно судить по тому, что, когда недавно мне случайно попала в руки опять эта книжка и я взглянули на пресловутую картинку, то же самое чувство неодолимого страха, что и в детстве, на секунду охватило меня<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup>Этот факт страшного действия картинки я могу подтвердить из материала опроса о страхе. Там, между прочим, ученицы одной городской школы в огромном большинстве показали, что на них сильное и страшное впечатление произвела картина «Страшного Суда»: они долго ее себе представляли и боялись ходить в темные комнаты. Точно так же, один юноша мне писал, что на него сильное впечатление страха произвела картина, где изображен Фауст, а около него дух. На другого сильное впечатление произвела иллюстрация к басне Крылова «Крестьянин и Смерть».

Из этих двух примеров видно, как картинки в сказках могут сплошь да рядом принести совсем нежелательные результаты. Я не могу, конечно, сказать того же, про все сказки с картинками, так как между ними мне попадались настолько хорошо иллюстрированный, что я подолгу просиживал над книгой, только смотря на одну какую-нибудь картинку. Такая иллюстрация не разрушала картин, созданных моим воображением, а напротив дополняла их. Вообще иллюстрация как-то пестрят сказку и придают ей большую занимательность<sup>4</sup>.

Здесь мне приходится затронуть вопрос о занимательности сказок. Мне кажется, что нельзя вообще сказать, что та или другая сказка Занимательна или не занимательна для детей. Для одного ребенка данная сказка может быть занимательна, а другому она покажется очень скучной. Принято, напр., думать, что сказки Перро занимательны для детей, а меня они никогда не занимали, и даже многие из них не нравились. Одной из самых распространенных сказок Перро является «Красная Шапочка». Прочтя ее в первый раз, я подумал, что, стало быть, «Красная Шапочка» поступила не хорошо, отправившись навестить бабушку, и если бы она не пошла к ней, то и сама осталась бы цела, и бабушку бы волк не съел. Когда я читал эту же сказку второй раз, уже значительно позже, то поняли, что главная мысль сказки заключается в том, что «Красная Шапочка» не должна была разговаривать с волком. Но, во-первых, мысль эта выражена только одной фразой в начале сказки и потому может остаться незамеченной, и, во-вторых, и эта мысль является несостоятельной, так как «Красной Шапочке» никто никогда не говорил об опасности разговора с волком, значит, само собой выходит, что она пострадала вследствие того, что пошла навестить бабушку. Другие сказки Перро также или не нравились мне, или я не находил в них ничего занимательного, за исключением сказки «Золушка», которую я перечитал, кажется, раза три или четыре. Обыкновенно, те сказки, которые мне особенно нравились, я перечитывал несколько раз. Вообще я читал сказок очень много, и нет никакой возможности перечислить их все здесь, поэтому я ограничусь только теми, которые почему-либо меня интересовали или, напротив, не нравились мне. Из всех иностранных сказок нравились мне более всего сказки бр. Гримм. В сказках этих есть

---

<sup>4</sup>Очень было бы интересно разобраться в общем вопросе: нужны ли картины при художественном произведении, что они — помогают читателю или мешают ему? Быть может, хорошо было бы прилагать картины в конце книги, так, чтобы читатель вновь переживал прочитанное в образах не слова, а рисунка?..

что-то особенное, что дает возможность без скуки перечитывать их несколько раз. У них слог какой-то особенно живой и увлекательный, и сюжета всегда очень интересен и в то же время замечательно проста и ясен. Я, как уже говорил раньше, во время чтения сказок очень хорошо понимал, что такое сказка, и никогда ей не верили, но, читая сказки Гримм, я совершенно забывал, что это не выдумка, и мне казалось, напротив, что все это было, что в них описывается действительная жизнь, а между тем сказочного элемента в них очень много. Сказки Гримм всегда производили на меня хорошее впечатление, что, может быть, большею частью обуславливалось их хорошими окончаниями, т. е. главные герои сказки в конце, после долгих мытарств, получали удовлетворено своими желаниями, и все кончалось общими миром и любовью. Не то в сказках Андерсена. У него непременно в сказке кто-нибудь умирали, если не в конце, то в середине, а конец большею частью плохой, возбуждающий в юном читателе горькое разочарование. Поэтому сказки Андерсена мне никогда не нравились, и я вообще не любил их читать. После мне как-то пришлось читать об Андерсене, что его сказки с удовольствием читаются и взрослыми. Дальше была объяснена причина этого явления, что он затрагивал в своих сказках многие общественные вопросы. В детстве я этого, конечно, понимать не мог и, обращая более всего внимание на самую фабулу, выносили из него только одно неприятное чувство, какое-то разочарование, смешанное с безотчетной грустью. Вообще, на меня всегда наиболее сильно действовало окончание, и потому из других иностранных сказок я ставил наравне с бр. Гримм сказки Гауфа, которые почти все отличаются хорошим окончанием.

Но более всех иностранных сказок я любил наши русские народные. В иностранных сказках, даже в сказках Гримм, мне попадались места, которые я не мог понять, здесь же в русских сказках все было ясно, как Божий день.

Я отлично понимал каждое слово, да оно и понятно, так как сам язык, которым написаны сказки, — свой родной, гладки и плавный, чего ни в каком случае не может быть в переводных сказках, как бы хорошо не были переведены. Я говорю сейчас об русских сказках, собранных Афанасьевыми, которые собственно прежде мне и пришлось читать. Самые сюжеты русских сказок отличаются необыкновенной простотой и в то же время замечательными разнообразиями. Русские народные сказки мне очень нравились, и я их всегда отличал от русских же, но не народных. Последнее я также любил, но далеко не так сильно, как народные.

Когда я кончил чтение сказок, определенной грани провести невозможно, но кажется около 13-ти лет, хотя я и после, будучи уже старше, еще долго интересовался сказками. Помню только вполне ясно, что когда был в 5-м классе, то сказок уже не читали. Я не мог отказать себе в удовольствии привести почти целиком это талантливо изложенное мнение одного из моих корреспондентов; оно, по-моему, не только затрагивает, но и решает важный вопрос о том, какую роль играет сказка в детской жизни, и вместе с ними и то, что дает ребенку чтение книжки. Но мне могут здесь поставить в упрёки, что это написано уже взрослыми человеком, человеком, который установил известную точку зрения, а потому переносить его мнение всецело в детство рискованно. Подобный упрек ли не считаю вполне основательным, ибо детскую душу мы должны всегда преломить через заключение взрослых, но это преломление мы можем сделать или через наблюдение постороннего человека, стоящего вне жизни ребенка, или через воспоминание самого выросшего ребенка. На мой взгляд, хорошо и то и другое; но у меня есть только последнее, и я могу только этим поделиться. А что касается до приведенного последнего мнения, то оно, несомненно, правдиво, ибо автор заканчивает его так:

«Теперь мне часто доставляет удовольствие взять и прочесть какую-нибудь из тех сказок, который я читал прежде. Самая сказка меня, конечно, уже не занимает, но при чтении ее сплошь да рядом с поразительной ясностью встают в моей памяти картины того времени, когда впервые читалась мною эта сказка. Если я иногда роюсь в книжном шкафу, то непременно достаю кучку сказочной библиотеки и, перебирая одну за другой эти книжки, читаю их название. И с каждым почти названием предстает перед моими глазами та или другая картина моего раннего детства, и я как бы вновь переживаю то счастливое время, когда меня занимала самая маленькая сказка, открывавшая перед моими изумленными взорами хотя и не действительные, но все же новые, а потому занимательные для меня миры».

Просмотрев ряд приведенных выдержек из воспоминаний детства различных! лиц, мы, как мне думается, невольно приходим к убеждению, что лучшей книгой для чтения ребенка будет та, которая ему нравится. Бояться развития фантазии, по моему, не следует, а равно не следует придавать особого значения и чувствуются страх, конечно, не усиливая его искусственным путем. Из исследования страха я пришел к убеждению, что для Мальчикова возраст от 11–13 лет является таким, когда воображение и фантазия особенно

сильно чувствуются, имеют наибольшее напряжение. Исследование детского чтения подтверждает это положение. Мы рассмотрели шрифт; сказок; но чем от сказок отличаются рассказы М. Рида, Купера, Ж. Верна и других? Это те же сказки, только облеченные в новую форму. «Сначала сказки производили на меня впечатлительные вполне правдивого рассказа, — пишет один — но потом, когда я стал уже читать, я скоро понял всю невозможность в жизни тех событий, про которые я читал. Поэтому я бросил чтение сказок и стал увлекаться разными фантастическими путешествиями которые мне казались вполне, осуществимыми».

Это ценное замечание приоткрывает для нас внутреннюю мысль юного читателя. Если его не удовлетворяет художественность рассказа, если его воображение фантазия отказываются идти по знакомой дороге и воспроизводить те образы, которые вполне разрушены анализом мысли, то он бросает занятие, которое ему очень нравилось, и ищет другого, где бы можно было вполне приложить свое духовное творчество. Рассказы Купера и др. заменяют сказку; здесь нет положительно невероятных событий: все то, что написано в книге, может быть и в жизни, и юный читатель идет по новой дороге, становится на новую: ступеньку своего развития. Здесь следует особенно отметить то что и в 1-м, и во 2-м периоде жизни ребенок подчиняется собственной мысли, которая идет у него вместе с его возрастом.

«К сказкам у меня осталось до сих пор хорошее чувство» — пишет один — «они много содействовали моему развитию своею, картинностью, и гораздо больше, чем книги, на мое развитие оказала природа. Я жил на краю города и потому имел часто непосредственное общение с нею. И вследствие этого я полюбил ее и с большой охотой читал и старался понять статейки из „Детского Мира“ и „Хрестоматии“ ч. II. Отрывочные знания, которые я вынес из этого чтения, еще более увеличили мою, любовь к природе, а когда я впервые (6 класс.) познакомился с теорией Дарвина, когда вся природа явилась для меня объединенной, — я прямо благоговею перед ней».

«Увлекался Ж. Верном, М. Ридом, — говорит другой, — читал журнал „Вокруг Света“ и вообще сочинения, богатые приключениями. В М. Риде меня также интересовали описания животных, так, как у меня с малых лет проявлялось влечение к естественной истории, но только исключительно к зоологии». «Моими любимыми книгами», — пишет третий, — «в самом раннем детстве были Робинзон Крузо и сказки Гримма. Когда я уже сам мог достаточно

хорошо читать, я их читал и перечитывал по многу раз. В сказках же мне преимущественно нравились похождения и приключения героев, нежели необыкновенное и чудесное. Потом, приблизительно лет с 8, у меня появилась страсть к чтению описанию путешествий, и я начинал зачитываться сперва „Новым швейцарским Робинзоном“, потом рассказами и романами Ж. Верна. Он был мне полезен тем, что рано познакомил меня с описаниями стран и вообще географией. Его я почти всего прочел. Затем я читал М. Рида; Купера вовсе не читал и лет 11-и стал читать В. Скотта. Его я прочел почти всего. Он мне нравился не как романист, но как писатель, художественно описывающий известную эпоху, переносящий читателя в описываемый им мир».

Вот еще любопытное замечание молодого корреспондента. Перечислив книги, прочтенные им в детстве, он говорит: «Я привел имена писателей тех книг, которых я больше всего любил в возрасте 8–10 лет; это преимущественно книги, занимающиеся описанием школьной жизни, так, напр., „Товарищ“, „Дневник школьника“ и т. п. Эти рассказы всегда принимались мной близко к сердцу. Жизнь учащихся мальчиков, их похождения, поступки — все ясно представлялось мне чем-то очень привлекательными. С 9-ти лет детей отдают в гимназию, вообще говоря, в школу; но и раньше этого им в семье постоянно твердят о школьных товарищах, об их жизни, об их поступках, в которых, несмотря на ранний младенческий возраст, видна уже общественная жилка. Естественно, что я пережил такой момент в моей жизни, когда чувства и мысли ребенка единственно направлены на будущих школьных товарищей. Когда я читаю какую-нибудь книгу, где слабый воспитанник терпит обиды от более сильных, то воображение разгоралось, я воображал себя героем; я ясно воображал себе, как я отомщу сильному за его оскорбление, как за это товарищи будут ко мне хорошо относиться... и чего я только ни воображали себе. Уже в более старшем возрасте, помню, я читал „Детство Темы“ Гарина. Как дороги и мила был этот рассказ, как знакомы школьные отношения к товарищам!»

Таким образом мы видим, что не только работает воображение или фантазия, но и мысль: в чтении зарождается изучение, удовольствие переходит в полезное знание. Вспомним из последней длинной выдержки рассказа автора, как он во прочтении сказки долго обдумывал ее, как он, становясь на место героя, соображал, как бы он поступил, что бы сделал для избегания беды для помощи ближнему, и нам станет ясно, что сказка уясняет смысл жизни, закидывает первыми основы будущих нравственных идеалов, дает



опорные пункты для практических жизненных правил. Но все это бывает только тогда, когда чтение идет изнутри ребенка, а не извне его. Здесь, в живой области своей внутренней жизни, ребенок не может подчиниться никакой регламентации, никакому авторитету; он перерабатывает внешний мир, осмысливает внешние впечатления и свои наблюдения переносит в книгу, и там ищет ответов. Если книга уносит его в фантастический мир волшебного царства, переносит его в новую страну, далеко от родины, знакомит его с новыми людьми, с новыми положениями, то этим она отнюдь не уничтожает работы мысли, а только расширяет горизонт, дает более особых точек зрения; она связывается с мыслью, и фантастические, даже сказочные образы являются лишь воплощением идей, а не поработителями их. Разговор ребенка еще не развился, у него мало слов для выражения мысли, но мысль работает, идеи текут своим чередом. И в этом случае трудно сказать, что читать детям, что им полезнее — То, что нравится, ибо только это не производит насилия над мыслью, только это прочно с ней связывается.

### *Детское чтение*<sup>5</sup>

Здесь мы приходим к очень важному вопросу о руководстве чтением и о детской литературе. Признавая за чтение очень важное воспитательное значение и желая направить подрастающее поколение по тому пути, который данному поколению взрослых кажется наилучшим, они, т.е. взрослые люди, решили взять детское чтение под свое покровительство и регламентации. С этой целью мало-помалу образовалась особая детская литература.

На первых порах эта литература мало удовлетворяла детей и по наблюдениям лиц, близко стоящих к детям, не приносила ни пользы, ни интереса. Однако, мало-помалу, наблюдения над детской жизнью выяснили потребности детского возраста, и детская литература стала интересней.

В настоящее время к детской книжке предъявляются совершенно определенный и ясно сформулированные требования: 1) она должна быть доступна по содержанию, т.-е. вполне соответствовать уровню развития детей того возраста, для которого предназначается; 2) интересна, т.-е. должна вызывать в читателе работу мысли, чувства и воображения; 3) правдива в изображении явлений жиз-

---

<sup>5</sup>Окончание. См. «Педагогич. Листок», № 3, 1910 г.

ни и 4) художественна<sup>6</sup>. Детская литература почти возвысилась до этого требования. Были составлены и составляются, особенно в последнее время, каталоги, где книги распределены по возрастам. Это распределение книг имеет по существу две основы: 1) психологическую или детскую, полученную из наблюдений над детской жизнью и 2) педагогическую или основу взрослых, имеющую в виду, воспитательный элемент. Дети, в том периоде роста, который мы рассматриваем, еще не чувствуют тяжести этого воспитательного элемента и покорно следуют за указаниями взрослых. Они зачитываются темп книгами, которые им подсовывают их заботливые родители, но думают свою думу и из воспитательных и нравственных рассказов выводить свои заключения.

Эти заключения иногда поразили бы воспитателей своей неожиданностью и своей необычностью, но воспитатели их не знают, и новая жизнь пробивает свои новые ростки вне того шаблона, по которому хотело бы ее направить взрослое поколение. Но как же из нравственной книги выводится безнравственное заключение? Дело в том, что книга связывается с жизнью, и молодой читатель среди заоблачных и сказочных мечтаний не лишен логической мысли, которая составляет жизненный опыт и наблюдает с прочитанным рассказом. Он усматривает противоречие своей мечты и действительности, а разрешая ясно противоречие, находит иногда тот ответ, который так не нравится взрослым.

Но, как бы то ни было, во всяком случае, этим воспитательным благодеянием особо отобранного чтения может пользоваться только небольшая часть детей интеллигенции, где материальная забота не так велика, и взрослые могут уделять или сами, или при помощи наемных людей большую часть времени малым; но там, где взрослые заняты добыванием средств к жизни, и где дети рано делаются самостоятельными, они остаются вне воспитательного руководства и читают исключительно то, что попадает в руки. Здесь нет отобранных книг, нет даже детских книг, а есть рынок и случайность.

Ребенок читает все, что попадает к нему, и из этого чтения также выводит свои заключения. Эти заключения иногда бывают также поразительны и так же неожиданны, Вот, напр., что пишет Герцен: «Не могу сказать, чтобы романы имели на меня большое влияние, я бросался с жадностью на все двусмысленные или несколько

---

<sup>6</sup>«Каталог избранных книг», составленный комиссией по детскому чтению при У. О. О. Р. Т. Зн. 1908.

растрепанные сцены, как все мальчики, но они не занимали меня особенно. Гораздо сильнейшее влияние имела на меня пьеса, которую я любил без ума, перечитывал 20 раз и при том в русском переводе театра „Свадьба Фигаро“. Я был влюблен в Херубима и в графиню, и, сверх того, я сам был Херубим; „У меня замирало сердце при чтении и, не давая себе никакого отчета, я чувствовал какое-то новое ощущение. Как упоительна казалась мне сцена, где паяца одевают в женское платье; мне страшно хотелось спрятать на груди чью-либо ленту и тайком целовать ее»<sup>7</sup>.

Таким образом, для детей прежнего времени, а теперь для огромного большинства детей народа нет разделения литературы на детскую и не детскую, а есть только литература. Но и дети интеллигенции не всегда следуют указаниям взрослых и часто начинают читать книги для взрослых раньше, чем это им позволено. С целью узнать, когда начинается чтение литературы взрослых, я собрал небольшое число ответов, которые можно представить в виде следующей таблицы:

Года.	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Число ответов.	1	3	9	19	12	11	15	7	2	1	80 ответ.
Дополнит. исследований.	1	1	7	14	11	10	1				45 ответ.

Само по себе это маленькое число ответов не дает еще возможности установить факта, когда дети начинают знакомиться с литературой взрослых, но в связи с общежитийским наблюдением можно сказать, что это знакомство начинается с периода около 10-ти — 13-лет, т.-е. когда дети считаются, вообще говоря, недостойными, чтобы читать Пушкина, Гоголя, Тургенева и т. п. Так было еще недавно, теперь вопрос еще более усложняется. Еще недавно родители приходили в ужас, когда их дети начинали зачитываться Тургеневым и Толстым; но теперь, когда на сцену выступили Арцыбашев, Соллогуб и прочие, такие писатели как Чехов, Толстой, Достоевский отступили на второй план, и весь вопрос о доступности литературы взрослых для детей всплыл в новой форм. Литература разделилась на школьную и внешкольную, и вот школьная литература не только стала доступна, но и желательна. Теперь все более и более появляется родителей и даже учителей, которые требуют

<sup>7</sup> Сочинения Герцена. Т. II, стр. 34.

детей приблизительно в те же года, от 10–13, знакомства с произведениями Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого. Вопрос чтения стал таким образом вопросом обучения, и ребенок, не читавший и не читающий, явился как бы отсталым. В настоящее время, говоря о литературе взрослых, надо говорить о внешкольной литературе, где затрагиваются и половые вопросы, и вопросы социальной жизни. Такого исследования я не сделал, да и само исследование относится не к детскому, а юношескому чтению. Что же касается до детского чтения, то здесь имеется еще одна очень важная сторона.

Литература больших отличается от детской литературы, главным образом, психологическим анализом переживаний и разработкой социальных вопросов общественной жизни. Ни то, ни другое не доступно детям, так как они не имеют соответственного житейского опыта, и потому у них нет еще сюда относящихся вопросов. Вот почему очень многие, отмечая раннее чтение произведений Пушкина, Гоголя и др., указывали мне, что они не понимают их, хотя читали с интересом; потом, когда они вновь перечитывали то же самое, то они выносили новые и более глубокие впечатления. Детство захватывает фабула, приключения, господство личности в связи с пособием высших сил. Там, где есть эта фабула, где в рассказе есть действующие лица, там произведете интересно и интересно именно этой стороной. Таковы, напр., все рассказы Купера, Эмара, Майн-Рида и новейший Шерлок-Холмс. Они интересны в силу развитая приключений, деятельности героев. Также интересен «Тарас-Бульба» Гоголя; но «Мертвые души», многие рассказы Тургенева, сочинения Достоевского, отличаясь богатым психологическим анализом, — малодоступны, а потому и малоинтересны. Вот почему заинтересованность многих этими писателями показывает, что уже в этих годах начинает развиваться психологический анализ, и, хотя нельзя утверждать, что все ответы были однородны, но можно сказать, что большинство их, помнит содержание, уже не возвращалось вновь в прочитанному, довольствуясь неполным впечатлением первого чтения. Тогда можно сказать, что такое раннее чтение скорее вредно, чем полезно. Но это едва ли будет верно. Здесь в основе всего чтения лежат глубже вопросы всего человечества о счастье, и, на мой взгляд, совершенно неважно, будет ли думать кто-либо об этих вопросах под влиянием чтения Арцыбашева или Тургенева, а между тем знакомство с Тургеневым необходимо, а потому, если человек познакомится с ним нисколько рано, то это будет лучше, чем если совсем не познакомится, что всегда возможно, при обилии новой литературы.

Итак, вопрос о детском чтении сам собою разбивается на ряд вопросов:

1) Что читают дети сами по себе, подчиняясь своей внутренней потребности? Что их увлекает в чтении, и что оно им дает?

2) Что имеют дети, подчиняясь воспитательной идее взрослых людей, как они относятся к этому и что выносят из чтения особо, указанных литературных произведений?

3) Какую роль играет чтение, как метод обучения? Основывается ли оно на внутренней потребности личности или представляет собою как бы особый предмет обучения?

Ответ на первый вопрос содержит в себе все вышеизложенное, из которого ясно, что у детей есть органическая потребность чтения, которая необходима для их психологического самосознания. Эта потребность тесно примыкает к творческой фантазии: путем чтения ребенок ищет возможности выяснить свои идеи жизни, представив их в своеобразных художественных образах. В этом отношении чтение связывается с сочинением собственных рассказов, с мечтой, т.-е. с созданием своих личных художественных образов и их передачей. Здесь мы наблюдаем развитие игры, стремление к рассказыванию; и в том и другом проявляется одна и та же психологическая потребность. Это зачатки художественных дарований, проявление творческой фантазии. Чтение произведений, для детей не предназначенных, литературы больших, показывает лишь то, что вся литература не чужда этому мотиву. Но есть дети, не любят читать и не читают; это значить, что или не пришло их время, или их психический они иначе настроены.

Вот по отношению к этим детям два других вопроса приобретают особое значение. Для детей первой категории, которые любят читать и увлекаются чтением, насилие взрослых не является тяжелым, они и здесь находят то, к чему стремятся сами по себе, и только, когда воспитательные идеалы взрослых начинают сильно противоречить внутренним потребностям ребенка, то он переходит в другую категорию: здесь просто сказалось неумение взрослых взяться за дело.

Эта другая категория заслуживает того, чтобы на ней особо остановиться. В моих наблюдениях есть три конкретных случая, когда дети не читали, не любили читать и не читают. Первый пример представляешь собою девицу лет 15-ти с болезненной организацией, ненормальным ростом, с асимметрическим развитием. Она слабо и очень туго училась, хотя обладает хорошей памятью; при своей нервности не можешь сосредоточиться не только

на одной мысли, но , и на одном деле: ей одинаково скоро надоедаешь как шитье, вышивание, так и игра. Читала она исключительно по приказанию взрослых, и книги ее, нисколько не увлекали. Натура в высшей степени упрямая, и в своем упрямстве жестокая. Здесь отсутствие чтения можно объяснить слабостью и ненормальностью психического развития. Хотя и у нее замечались внутренние глубокие переживания, и в воспитании ее, быть может, сказалось то, что с ней никто не занимался и никто не пытался вызвать любовь к чтению.

Второй пример представляешь собой молодого человека 16-ти лет, атлетического сложения, с немалым музыкальным дарованием. Он горько сожалел, что все детство провел на дворе в забавах и играх, и книжка никогда его не привлекала, она не привлекаешь его и теперь. Но он большой любитель театра, и здесь впитываешь и переживаешь то, что другие почерпают из книг. Театр его поглощает так же, как других поглощает книга.

Но вот рассказ матери, по-моему, в высшей степени поучительный.

Сын мой, мальчик крайне нервный и малокровный, в раннем детстве совсем не любил чтение. Главной причиной этого было, мне кажется, какое-то болезненно-отрицательное отношение к печальным рассказам. Иногда случалось заинтересовать его, читая ему вслух какой-нибудь рассказ, и дело обходилось благополучно до тех пор, пока в рассказе не звучало никаких печальных ноток, — но как только таковые появлялись, то картина быстро менялась: интерес к рассказу моментально утрачивался, мальчик начинал сильно волноваться, плакал и иногда раздражался до того, что бросался на меня с кулаками, и кричал: «Какая ты нехорошая, мама! Ты меня обманула! Сказала, что это интересно, а это совсем не интересно!» Чтение, конечно, прекращалось и приходилось с трудом успокаивать плачущего и взволнованного ребенка.

Благодаря такой болезненной чувствительности к печальным рассказам приходилось очень ограничить их число и иногда изменять их, исключая все печальное, и в таком резанном виде предлагать их ребенку. — Любовь в прекрасном была у него развита очень слабо: он не любил ни музыки, ни пения, ни картин, и описания природы, как бы художественны они ни были, наводили на него скуку даже в школьном возрасте. Так как он рос очень слабым, болезненным нервным ребенком, я в детском возрасте никогда не настаивала на чтении и заботилась только о том, чтобы он окреп физически. Но когда наступил школьный возраст (11–12 лет), то такая необыкновенная нелюбовь

к книге меня начала беспокоить. Я старалась приохотить его к чтению. Сам он никогда не читал. Приходилось читать ему понемногу. Прочла я ему «Тараса Бульбу», «Мертвые души», «Катакомбы» Евг. Тур, — все это очень небольшими порциями, так что чтение каждой книги растягивалось иногда на месяц, а то и дальше. 12-ти лет он начал читать со мной «Записки Охотника», которые ему совсем не понравились. Он относился к ним, как к очень невкусному лекарству, которое принять необходимо, и говорил: «Хорошо! прочту я „Записки Охотника“, если надо, чтобы ко мне больше не приставали и не говорили, что я их не читал!» При чтении «Антон Горемыка» он волновался, слегка навернулись слезы, но он сдержался и дослушал рассказ до конца. К романам Вальтер Скотта, «Квентин Дорварт» и «Айвенго», он отнесся с большим интересом, а «Тартарен из Тараскона» прочел с удовольствием. Когда ему было лет 13–14, я хотела прочесть с ним что-нибудь из Шекспира, но совершенно напрасно преследовала его «Королем Лиром» и «Гамлетом» целое лето, — мы из Шекспира так ничего и не прочли.

Я стала приходиться в полное отчаяние и решила, что он навсегда останется односторонним и ограниченным человеком, для которого сокрыты будут все сокровища литературы, как в друг. совершенно неожиданно для меня и без всякого вмешательства с моей стороны сын мой, лет с 15-ти, принялся за чтение: быстро и толково познакомился с беллетристикой, прочел Писарева, Добролюбова и других критиков и перешел к чтению серьезных книг. Теперь его от КНИГ не оторвешь, и читает он с толком и осмысленно.

Разбираясь в сказанном, мы должны признать, что первые два примера могут явиться не достаточно обследованной психологической индивидуальностью. А это заставить нас глубже всматриваться в суждения о тех детях, которых мы склонны считать ненормальными.

Теперь я попытаюсь ответить на 3-й вопрос. Благодаря любезности учителя Майкопского реального училища Г. Харламова, доставившего мне печатные оттиски своих наблюдений, я могу дать некоторый сведения о чтении в школе<sup>8</sup>.

Для контроля за этим чтением г. Харламов предложил ученика вести особые контрольные тетради, в которых они должны были записать: 1) заглавие прочитанной книги. 2) Какого числа начато и какого окончено чтение? 3) Каждый ли день читал и в какое время (т.е. после обеда, после чая, вечером)? 4) сколько часов в день

<sup>8</sup> Считаю долгом поблагодарить г. Харламова за доставленные мне оттиски из приложения к № 10 циркуляра Кавк. Уч. Окр. за 1902 год, а также и за взятую на себя нелегкую задачу исследования внешкольного чтения учеником.

употреблял на чтение? 5) Сколько страниц прочитывал в день? 6) Что мешало чтению? 7) Дочитал ли книгу до конца? 8) Пропускал ли страницы при чтении, и если пропускал, то почему? 9) Написать пересказ прочитанного произведения или наиболее интересной его части. 10) Какие лица понравились в прочитанном произведении и почему? 11) Какие лица не понравились и почему? 12) Какие места понравились в прочитанной книги? (Если не длинные, то выписать.) 13) Выписать наиболее интересные слова и выражения, которые желал бы выучить. 14) Чего не понял в прочитанном (мысли, слова, выражения, причины поступков действующих лиц. . .)? 15) Принялся ли после чтения книги за новую, или почему-либо сделал перерыв в чтении? «Учащиеся должны были давать ответы одновременно не на все вопросы. Сначала, в течение трех недель, они отвечали только на первые 8 вопросов, а затем только на остальные, притом не на все сразу, но лишь на те, которые наиболее было удобно приспособить к данному произведению. Таким образом, иногда учащийся ограничивался пересказом, иногда выписывал какое-либо место и т. д. Тетради время от времени просматривались преподавателем и делались соответствующие замечания устно или письменно».

Грешный человек, я боюсь контроля, и слова — «контрольная тетрадь» меня ужасно испугали; но когда я подробнее ознакомился с тем, как велось дело, то совершенно переменяю свое мнение. Надо отдать справедливость г. Харламову, что благодаря его любви к детям он, несомненно, возбудил к себе полное доверие, и, хотя из 39 учеников в классе только 17 завели у себя эти тетради, но число их, без сомнения, будет возрастать. Конечно, многие вопросы придется изменить, некоторые, быть может, опустить; но, ведение при чтении тетради является делом безусловно очень важным и ценным; эта тетрадь может не без пользы просматриваться учителем, но при том условии, если учитель будет пользоваться полным доверием ученика и не позволит себе злоупотребить этим доверием.

Самая идея ведения таких тетрадей очень интересна. Оказывается, что число прочитанных за год книг достигает 110. У меня есть любители, из которых один с 5 до 11 лет прочитал 130 книг, другой к тем же годам 121; третий к 14 годам 200 и т. д. Среди этих книг много очень толстых, хотя бы романы М. Рида, В. Скотта и т. д. Очевидно, что как бы ни была обширна память, упомянуть такое большое количество содержания невозможно, а без этого чтения не дает всего того, что из него можно получить. Тетрадь дает возможность упорядочить чтение и при случай разобратся



в прочитанном. Мало того, лучше прочитать одну книгу и выбрать из нее все, что можно, чем 100 поверхностно и без достаточного внимания. Кроме того, запись прочитанного дает великолепное упражнение в изложении содержания и получает к более точной формулировке своих мыслей. Но, тем не менее, я думаю, что ведение таких тетрадей не всем будет одинаково доступно, отчасти по естественной лени, отчасти потому, что натура будет против этого. Малейшее принуждение, и мальчик скорее откажется читать, чтобы не вести скучной тетради. Другое дело, если руководителю удастся вызвать охоту, если ученики почувствуют от этого несомненную пользу, если оно войдет, так сказать, в моду, тогда оно и принесет все хорошие плоды.

Г. Харламов сделал еще очень интересную попытку. Он переплетал книгу с чистой бумагой. На свободном листе писал вопрос или пояснение непонятных слов. Такими вопросами были снабжены: «Гнедко» Ахшарумова, «Емеля Охотник» Мамина-Сибиряка, «Дети подземелья» Короленко и многие другие. По прочтении мальчики должны были дать ответы на эти вопросы.

Приветствуя от всей души почин г. Харламова, я не могу не заметить, что здесь мы от детского чтения переходим к детскому научению, от удовольствия к труду. Этот переход, как мы видим, можно сделать также незаметным, и труд будет только приятен. Но вопрос все-таки остается и требует того, чтобы на нем остановиться.

Было время, когда на детское чтение смотрели исключительно, как на средство обогатить свой ум познаниями. С этой целью рекомендовалось давать детям исключительно серьезное чтение, посильное им по возрасту. «О странствовавших в природе», «Воздушное электричество», «Финские племена в России» и т. п.<sup>9</sup>

При этом говорилось, что рационально-нормальное направление по отношению к воображению, состоит в сообщении картинам его того характера истинности, который, не исключая элемента чудесного, напротив самым этим элементом пополняет недоступные для нашего положительного познания стороны жизни, но в то же время чужд произвола и уродливости. В природе столько тайн, для которых в одной только фантазии мы можем найти хоть приблизительное откровение, что сказочный мир должен почитаться не только лишним, но даже вредным для детей, потому что знакомство с ним отымает у дитяти много времени, нужного

<sup>9</sup> «Детский журнал» за 1859 год.

на другие предметы, с другой — притупляет восприимчивость фантазии слишком прямой и острой пищей и тем приготавливает путь к разочарованию и байронизму, наконец, отвлекая эту способность от тех областей, в которых деятельность ее может существенно споспешествовать общей гармонии нравственного мира, приводить ее в раздор как к окружающей повседневности, так и с высшей идеальной действительностью<sup>10</sup>. Таким образом ребенок не должен жить, а тем более читать, сообразуясь с личными склонностями и желаниями; он должен с ранних лет обречь себя на нечто, что в туманной дали, неясными чертами, как смутный идеал, носится перед умственным взором воспитателя.

Но я уверен, что тот же воспитатель с удовольствием впоследствии читал сказки Кота Мурлыки, равно как и поэтические произведения Л. Н. Толстого и др. Эту потребность ума мы должны удовлетворить, и нужно верить, что она не зря дана человеку что она необходима в его развитии. Но вместе с тем и серьезное чтение должно иметь место. Здесь, именно в этом возрасте, об этом должен быть поставлен вопрос, ибо дальше он, с одной стороны, уже выходит из-под нашего контроля, и мы не в силах направить его по тому пути, который нам казался бы лучшим, а с другой — здесь, в этом возрасте, закладывается фундамент для дальнейшего.

Так думает педагог, и в его мысли много логической стройности и логической правды; но есть ли это правда по существу? Несомненно, это есть гипотеза воспитания; согласна ли она с опытом? Вот зреет яблоко, наливаясь в лучах солнца впитывая в себя соки земли, мы терпеливо ждем того времени, когда процесс созревания окончится, и яблоня, исполнив свою функцию, начнет стремиться избавить себя от лишней траты сил. Но должны ли мы точно так же терпеливо подождать, когда созреет организм отбросить мечты фантазии и сам будет стремиться к серьезному чтению, стараясь разрешить те вопросы, которые заполнили в нем жизнь?

Организм проходить через физиологическая стадии развития, в это время психически мир точно отвечает этим физиологическим изменениям. Здесь развитие фантазии есть обязательный переходный момент; мы хотим нарушить этот порядок, создать иной, более лучший, но этот лучший порядок не годится для данного момента развития, и мы вмешиваемся в т процессы, которых не понимаем, и только портим все дело.

---

<sup>10</sup> «Воспитание» № 5, 1860. «Обзор детских журналов».

*Цезарь Балталон*

## ВОПРОС О ДЕТСКОМ ВООБРАЖЕНИИ И ЕГО ВОСПИТАНИИ

*Впервые опубликовано в: Воспитательное чтение. Беседы по методике начального обучения. Изд. 3-е с портретом и со вступительной статьей В. Е. Ермилова. М.: Тип. Вильде, 1913. С. 113–130.*

### **Вопрос о детском воображении и его воспитании. — Наглядность. — Сочинения по картинам.**

К числу психологических вопросов, еще недостаточно разъясненных в науке, решение которых в ту или другую сторону способно вызвать наибольшие сомнения, принадлежит вопрос об отношении памяти к воображению, о роли воображения в области умственной и научной деятельности вообще, в области искусства, в особенности, и, в частности, о наилучших условиях воспитания детского воображения при выборе материала для чтения детям.

В педагогической литературе еще существует ложный взгляд, будто в раннем детстве память отличается особенной силой. Иначе смотрит на это экспериментальная психология. «Это мнение не подтверждается ни результатами экспериментальных исследований, ни общими соображениями психофизиологического характера. До сих пор еще ни одному психологу не удалось найти метода, при помощи которого можно было бы научным образом убедиться в особенной силе детской памяти в каком бы то ни было отношении. С другой стороны, предполагая, что в детстве память отличается наибольшей силой, мы этим самым допускаем, что процессы памяти (имеющие такое существенное значение для всего душевного мира) представляют собой какое-то непонятное исключение из общего развития психической жизни»<sup>1</sup>. Если в самом деле после работ Болтона в Америке, Бинэ и Анри во Франции, Джэкобза в Англии, Лабзина и Кэмзиса в Германии, Меймана в Швейцарии и Нечаева в России в настоящее время не остается сомнения, что

---

<sup>1</sup> А. Нечаев. «Очерки психологии для воспитателей и учителей». СПб. 1904 г., стр. 70.

развитие памяти ребенка прогрессирует вместе с развитием мозга и что память взрослого значительно превосходит память детей, то, по-видимому, теперь наступает очередь для научного выяснения вопроса о богатстве и силе, предписываемых детскому воображению, сравнительно с воображением взрослого человека.

Не мало сомнений по этому вопросу способно внушить читателю известное у нас сочинение Джемса Селли «Очерки по психологии детства»<sup>2</sup>. Автор пишет его в такой период развития вопроса, когда научная и практическая потребность ясного понимания детской природы встречает еще препятствие в слишком эмоциональном отношении наблюдателей к детству, делающем из ребенка предмет скорее любовно-эстетического созерцания, нежели научного исследования. На многих страницах этого интересного, и в то же время богатого противоречиями трактата, заметна непосильная борьба с влиянием материала, доставленного автору наблюдениями родных над своими детьми. Селли не сомневается, по-видимому, что «поклонение ребенку, сентиментальное обоготворение всего детского в высшей степени неблагоприятно для спокойного и беспристрастного наблюдения», что «милые трогательные рассказы о детях могут способствовать, но могут и не способствовать нашему знакомству со своеобразным механизмом детской души». Однако, предостерегая читателей против скороспелых обобщений, сам автор впадает в лирический тон восторженных характеристик детского воображения, называя возраст детства тем счастливым временем, когда «новый и чудесный мир целиком созданный волшебною силой живого воображения, соперничает по яркости, отчетливости подробностей и даже по прочности с непосредственно видимым миром, в который глядят наши телесные очи». Но в труде Джемса Селли поучительными, в психологическом отношении, являются не те страницы, в которых он, вместе с родными, поет поэтические песни в честь детских грез и сказочных чудес, но, скорее, те, в которых им делаются попытки психологического анализа изучаемого явления. Он признает, например, что у подрастающего ребенка наблюдения бывают иногда «поразительно точны в некоторых направлениях, но что самые направления в высшей степени немногочисленны и ограничены узкими пределами немногих, особенно привлекательных черт» (стр. 70 и др.). По его словам, детские фантастические аналогии объясняются, с одной стороны, ограниченностью детского ума, но, с другой — он видит в них какое-то

---

<sup>2</sup>Джемс Селли «Очерки по психологии детства». Перев. А. Громбах. М. 1901 г.

превосходство над взрослыми. Таким образом, хотя автор продолжает и здесь идеализировать значение детского воображения, тем не менее, им намечены уже две реальные черты, обуславливающие детское воображение; бедность и односторонность наблюдений, на которых основываются его проявления. В самом деле, откуда могли бы взяться у ребенка «живые краски» воображения для разукрашивания окружающего мира, как не из того же самого мира реальных явлений, еще так мало ему известного и для него недоступного?

Не должны ли зависеть богатство и живость, детского воображения от запасов наблюдений и воспоминаний, из которых оно черпает свой материал? Когда память слаба и бедна, каким образом может быть богато и живо воображение? Не состоит ли сущность воспроизводящего воображения в способности восстановления, оживления наибольшего числа воспоминаний о предмете, с наибольшей, ясностью, подробностью, полнотой? Откуда же предрассудок, будто при ничтожных запасах памяти у детей может быть чудная, живая, даже волшебная сила воображения? Не следует ли педагогам раз навсегда согласиться с психологами в том, что резких определенных границ между памятью и воображением вообще провести нельзя, и что так часто высказываемое мнение, будто ребенок обладает большей силой фантазии, чем взрослый, относится к числу совершенно неправильных предположений<sup>3</sup>. Если ребенок заметил, указывая на букву L, что она *сидит*, и на буквы F F<sup>4</sup>, что они *друг с другом разговаривают*, то здесь проявилось, без сомнения, нечто большее, нежели простое воспроизведение представлений; здесь обнаружилось действие психического закона ассоциации представлений *по сходству*; ребенок нашел сходство между фигурами сидящего человека, двух разговаривающих, с одной стороны, и формой букв — с другой. Но следует заметить, что ассоциация по сходству в этом случае действует так, как она может действовать только в уме, крайне бедном образами воспоминания, деталями, красками; — в воображении, крайне одностороннем, поддающемся внушению случайных, поверхностных аналогий: схватив отрывочную схему линии, образуемой согнутыми ногами сидящего или обращенными друг к другу частями головы двух разговаривающих лиц, воображение ребенка оставляет без внимания целую массу

<sup>3</sup>Педагогич. библ., под ред. А. П. Нечаева, вып. IV Карл Грос, «Душевная жизнь детей». СПб, 1909 г. стр. 175, 233.

<sup>4</sup>Вторую букву следует вообразить перевернутой к первой.

живых различий между этими образами. Когда ребенок, подчиняясь мгновенному внушению того же закона ассоциации, легко и наивно одухотворяет и олицетворяет (уподобляясь в этом отношении дикарям) все окружающие его неодушевленные предметы и явления, то и в этом случае едва ли есть какое-либо основание признавать превосходство детского воображения над воображением образованного взрослого, или завидовать крыльям, уносящим детское воображение в область поверхностных аналогий, искажающих реальные представления о природе и жизни. Если детское внимание еще слишком узко, если оно способно сосредоточиваться, как признает Селли, только на одном или двух признаках (стр. 40), оставляя без внимания все остальные, то не ясно ли, что получаемые таким путем продукты детского воображения, иначе сказать, искажения действительности, нельзя оценивать, как положительную творческую силу, как чудное, волшебное прикосновение живой фантазии. Живое проявление какой-нибудь ассоциации представленной у детей, случайной и беспорядочной, не есть, конечно, признак сильного воображения! Чувство, при помощи которого ребенок подмечает сходство, хотя и живо, но обыкновенно еще мало развито и потому грубовато, неразборчиво.

Не менее запутана сеть противоречий, в которые впадает Селли, пытаясь характеризовать природу детской игры. С одной стороны, автор, по-видимому сознает, как психолог, что детская игра возникает обыкновенно из случайной ассоциации, на какую наталкивает ребенка вид какого-нибудь предмета; так, например, впечатление, производимое веревочкой, протянутой от спинки стула, совершенно достаточно, чтобы напомнить ему о кучере с лошадью и натолкнуть на целый ряд подражательных кучерских движений, удовлетворяющих потребность его в деятельности физической и умственной. При виде неумолимых подражательных движений ребенка, окружающие и, еще чаще, вспоминаящие о давно прошедшем детстве думают, что ребенок создает себе при этом целый фантастический мир, что пред ним рисуются дорога, лошади, прохожие, кучер и т. д. Напротив, бедность и невзыскательность детского воображения не позволяют ребенку ясно и живо представить себе настоящую лошадь с ногами, хвостом, туловищем, гривой, головою, упряжью и т. д., и он не чувствует, как мало может напомнить собою все это спинка стула, к которой привязана его веревочка. По поводу примера, представляемого мальчиком, целый вечер занятого раскрашиванием мебели сухим концом веревочки, Селли совершенно справедливо на этот раз замечает, что «нет нужды полагать, что в такого

рода игре, представляющей простое подражание, дети сознательно играют какую-нибудь роль» (стр. 46). Но это не мешает автору, несколькими строками далее, высказать прямо противоположный взгляд на этот предмет и утверждать, что «сущность детской игры заключается именно в исполнении какой-нибудь роли, в том, чтобы создать какое-нибудь новое положение, в стремлении быть чем-нибудь... осуществить привлекательную мысль и т. д.» (стр. 45, 47). Переходя к проявлениям детского воображения при слушании сказок, Селли называет сказочную страну «областью более свободного творчества фантазии», упуская из виду, что дети, в большинстве случаев, не сами создают сказки, а слушают те, которые им рассказывают взрослые. Вообще эта глава может ввести в некоторое заблуждение читателей-педагогов. Дело в том, что автор, определяя сказку, как «словесное воспроизведение какой-нибудь сцены или какого-нибудь действия» (стр. 67), не проводит необходимого различия между фантастической сказкой, исполненной чудесного, мифического, демонического содержания, и художественным рассказом, фантастические черты которого не идут далее общепринятых в языке метафор или олицетворений доступного детям мира животных и растений. Селли относит к сказкам и Робинзона Дефоэ, и Вальтера Скотта, и Гримма, и рассказы молодого Диккенса. Поэтому нижеследующее его восторженное восклицание требует с нашей стороны, по крайней мере, редакционной поправки: «Кто может противостоять ребенку, когда он жадно требует»... *рассказов*, а не «сказки», как утверждает Селли. (См. данные опроса 1600 детей в предыдущей главе).

Поправка эта, кроме того, необходима в виду существующей у нас склонности вносить в систему воспитания детей чтение фантастических сказок, под предлогом (никем еще не доказанной) неодолимой будто бы потребности детей в фантастических сказках.

В высшей степени поучительными для характеристики слабости детского воображения являются детские рисунки, на изучение которых обращено в последнее время внимание многими психологами. Так, например, в интересном исследовании Зигфрида Левинштейна<sup>5</sup>, основанном на изучении нескольких тысяч детских рисунков, исполненных детьми в Германии и Англии, можно проследить, как постепенно и как медленно растут силы и богатство детского воображения, выражающиеся в попытках воспроизвести

<sup>5</sup>Dr. Phil. Siegfried Levinstein. Kinderzeichnungen. Leipzig 1905.

фигуру человека, как они развиваются одновременно с естественным ростом и обогащением детской памяти. Маленькие дети, в возрасте от 2 до 4 лет, изображая человека, вообще мало заботятся о туловище, ступнях и руках, — у них человеческая фигура состоит из головы и ног! И в то время, как туловища и ступни появляются довольно скоро, руки показываются в их рисунках гораздо медленнее. Частота появления туловищ, ступней и рук в детских рисунках выражается в следующих процентных отношениях:

Возраст	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Туловища	50	82	92	93	98	99	98	99	100	100 %
Ступни	39	83	92	93	94	98	98	97	98	98 %
Руки	45	67	71	80	76	85	93	90	95	95 %

Такие принадлежности человеческой фигуры, как шея, волосы на голове и бороде, появляются еще медленнее:

Возраст	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Шея	8	22	20	37	51	63	79	79	90	93 %
Волосы	6	26	27	32	38	58	70	65	75	82 %
Борода	1	12	15	12	18	34	40	36	60	51 %

Одевание человека, в детских рисунках, играет, с одной стороны, роль орнамента, с другой, — служит к различению полов. Самые маленькие дети не делают никакого различия между последними: они рисуют только людей, и лишь постепенно ими вносятся различие. Фигуры женщин наделяются платьем, длинными волосами или каким-нибудь головным убором. Следующая таблица показывает постепенное возрастание внимания к таким подробностям в детских рисунках.

Возраст	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Волосы женщин	24	49	52	55	68	83	90	87	90	96 %
Платье женщин	16	29	42	56	63	77	82	91	93	99 %
Головной убор	14	28	30	36	42	55	63	71	73	66 %



Эти факты и наблюдения показывают, что проявляющаяся уже в детском рисовании ранняя склонность человека подмечать сходства и создавать подобия вещей встречает препятствие не в одном только несовершенстве техники рисования, но также в неполноте, в незрелости психического процесса, лежащего в основе этого искусства, именно — в крайней скудости и отрывочности образов воспоминания, на основании которых юные рисовальщики выполняют свои свободные рисунки. Селли, также посвящающий X главу своего сочинения детским рисункам, затрудняется сделать какое-нибудь определенное заключение по вопросу о том, составляют ли детские рисунки действительное начало искусства, или не имеют с ним ничего общего? Казалось бы, что не может быть сомнения, что и в первых детских попытках, ищущих слабых подобий, уже заложены начала искусства... Но он и здесь идеализирует силу детского воображения, утверждая, по поводу детских каракулек, что они получают в этом возрасте какой-нибудь смысл лишь «*благодаря игре сильного детского воображения*» (стр. 375). Не получают ли, наоборот, эти каракули для детей некоторый смысл лишь благодаря слабости, неполноте, невзыскательности детского воображения? В этой главе, как и в других, автор, по-видимому, не подозревает, что «инстинктивная склонность находить сходства и создавать подобия вещей» — она-то и составляет не только основу искусства, но и основной закон творческого воображения, сила которого заключается не в том, чтобы изменять, искажать естественные отношения вещей и явлений, но, наоборот, в том, чтобы накапливать подобия, сходства и соответствия с действительностью и придавать этим сходствам, подобиям и соответствиям как можно больше полноты и выразительности.

Наибольшее отношение к вопросу о свойствах детского воображения имеют уже упомянутые (стр. 95) опыты А. Нечаева, организованные им в среде учащихся в военно-учебных заведениях, в возрасте от 11 до 18 лет, для изучения преобладающих ассоциаций на «приятное», и опыт опроса тех же юношей о любимой ими книге или любимом роде чтения<sup>6</sup>.

К числу научных достоинств постановки первого из этих исследований следует отнести ясность и простоту экспериментальной задачи: ученикам было предложено написать быстро, в течение одной приблизительно минуты, все, что они знают «приятного»; от них

---

<sup>6</sup> А. Нечаев. Современная экспериментальная психология в ее отношении к вопросам школьного обучения. СПб. 1909 г., т. I, стр. 252 и др.

не требовалось никакого сложного анализа своих душевных состояний; единственным условием выполнения опыта была скорость письма, поэтому они не могли подвергаться обдумыванию и выбору возникающие у них представления; опыт приобретал форму свободного состязания в скорости мыслей и письма, и, таким образом, живой процесс ассоциации мог быть, так сказать, застигнут врасплох. Гораздо труднее оказалось произвести точную классификацию полученных ответов, из которых было образовано 15 рубрик, долженствовавших характеризовать различного рода *интересы* учащихся: 1) спанье; 2) еда, питье, сладкое; 3) куренье; 4) отпуск; 5) танцы, бал; 6) мундир, оружие; 7) гимнастика; 8) спорт, подвижные игры, путешествие; 9) любовь к природе; 10) коллекции, музеи, рисование; 11) искусство; 12) чтение; 13) уроки, науки; 14) хорошие баллы; 15) нравственное удовлетворение, между которыми многие, например, рубрики: отпуск, бал, оружие имеют довольно неопределенный смысл: неизвестно собственно, какие заключаются в них интересы: несомненно, например, что ассоциирование *отпуска* может столько же считаться ассоциацией внешнего характера, сколько внутреннего. Вследствие этого пользоваться полученными данными в некоторых отношениях довольно затруднительно. Например, если бы мы попытались проследить (по таблицам 14 и 15) за тем, как выразился в ассоциациях учащихся их интерес к искусству, то мы должны были бы искать ответа в четырех различных группах интересов: чтение, искусство, рисование, танцы; и вследствие такой неудобной классификации ответов, получаются сомнительные, мало правдоподобные данные, характеризующие, например, интерес к искусству в возрасте 15 и 16 лет слишком низким отношением 14 и 16 %, которое могло бы повыситься до 40,5 и 38 %, если бы с этим отделом были слиты данные из других аналогичных групп. Более значительные недостатки в способе классификации полученных данных замечаются в опыте опроса о любимой книге. Прежде всего в постановке этого опыта была допущена неопределенность самой задачи опроса: ведь одно дело требовать у пишущего свой ответ только обозначения *заглавия любимой книги*; другой, гораздо более расплывчатый материал должен получиться при указании только любимого *автора* вообще, и, наконец, третье, совсем иное, еще более неопределенное направление получит опрос, если учащийся сам укажет только *род сочинений*, которые он любит читать. Здесь же приходится складывать величины, вполне разнородные, из которых каждая представляет собою слишком сложный материал для психологической характеристики связанных с этим материалом интересов.

При таких условиях опроса, полученные затем ответы были разделены на 5 групп: К первой из этих групп, кроме ответов, называвших любимой книгой для чтения «путешествия» (без имени автора), относились указания на сочинения Майн-Рида, Ж. Верна, Г. Эмара и Купера. Сюда же относится и «Робинзон». Ко второй группе причислялись все ответы, заключавшие указание на «исторические» и «военные» книги, а также упоминания исторических романов Данилевского, Вальтера Скотта, Эберса, Лажечникова, Загоскина, Сенкевича, Тур («Катакомбы»), А. Толстого («Князь Серебряный»), Пушкина («Капитанская дочка») и Л. Толстого («Война и мир»). К третьей группе относились бытовые повести и рассказы современных беллетристов, сочинения Тургенева, Гоголя, Гончарова, Григоровича, Л. Толстого, Диккенса и т. п. Четвертую группу составляли указания на лирические произведения Пушкина, Некрасова, Лермонтова, Жуковского и А. Толстого, романы Достоевского, драмы Шекспира и А. Толстого и т. п. Среди ответов пятой группы особенно часто упоминались книги по естествоведению.

Результаты этой работы показаны в следующей таблице:

Опрос о любимой книге (табл. 18).

Какие книги больше нравятся?	Возраст							
	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Путешествия и приключения	36	41	38	23	9	4	5	2
2. Исторические	11	16	26	26	35	27	14	23
3. Бытовые	32	19	18	27	33	38	41	37
4. Лирические и моральные	15	19	12	15	18	26	36	34
5. Научные и учебные	6	5	6	8	5	5	4	4
Итого	100	100	100	100(?)	100	100	100	100

Существенный недостаток этой классификации ответов составляет отсутствие в ней какого-либо выдержанного принципа классификации: при таком делении, сочинения разнородные, как, например, фантастические путешествия, научные и этнографические экспедиции в разные страны, могут встретиться в одной и той же группе, между тем как сочинения, принадлежащие к одной и

той же области художественного творчества, напр., романы, драмы, разбросаны по разным отделам без какого-либо психологического основания... Из этого вытекает недостоверность полученных числовых данных и неправильность некоторых сделанных из опроса выводов. Сомнительным, например, является сделанный вывод, что «в те годы, когда замечается преобладание ассоциаций внутреннего характера, сильно растет количество ответов, указывающих на интерес к лирическим, моральным и бытовым сочинениям. Напротив, ученики того возраста, когда, по нашим опытам, преобладают внешние ассоциации, обнаруживают интерес по преимуществу к сочинениям, описывающим внешние явления (исторические книги, путешествия и приключения)».

Заметим, что данные, полученные в предыдущих опытах, на которые здесь делается ссылка (табл. LXX), совсем не обнаружили, на наш взгляд, возраста, в котором *преобладали бы* ассоциации внутреннего характера, так как даже у 17 и 18-летних отношение между ассоциациями внешнего и внутреннего характера выразилось, как отношение 63 к 37 и 60,5 к 39,5. Кроме того, из данных таблицы ХСII не видно особенно сильного возрастания интереса у детей 13 лет к путешествиям и историческим сочинениям, а в 17 и 18 л. — к лирическим, моральным (?) и бытовым. Но если бы мы, пользуясь этими данными, внесли надлежащую поправку в их классификацию, соединив 2, 3 и 4 группы в одну под общим названием: произведения художественного творчества, то получилась бы совершенно иная картина, более соответствующая прочитанному учениками материалу и обычной библиотечной статистике по этому вопросу:

		Возраст							
		11	12	13	14	15	16	17	18
2. Исторические	Произв. худож. творч.								
3. Бытовые									
4. Лирические и драматические		58	54	56	68	86	91	91	94%

т.-е. мы получили бы, быть может, более правдоподобное заключение, состоящее в том, что вообще в возрасте учащихся от 11 до 18 лет преобладающее место принадлежит интересу к чтению художественных произведений, и что этот интерес постепенно возрастает.

Заметим вообще, что, применяя методы и критикуя приемы экспериментальной педагогической психологии, мы тем самым

подчеркиваем великое преимущество, которое имеют и будут иметь ее выводы, основанные на точно произведенных и всесторонне проверенных наблюдениях.

Ограниченность жизненного опыта детей, бедность их воображения, соединенные с живой потребностью в новых впечатлениях, — требуют приемов начального обучения, основанных на наглядности. Отдельные предметы и фигуры, при обучении счету, картины, карты, схемы модели, прогулки, связанные с непосредственными наблюдениями и классные опыты — могут, несомненно, служить для этой цели. Но понятие наглядности требует расширения своего содержания; значение, связанное с этим словом, слишком узко; оно указывает исключительно на зрительные впечатления, как на основу методических приемов обучения и, вследствие этого, далеко не исчерпывает сущности того пути, по которому, в этом отношении, должна идти современная школа. Приемы обучения, чтобы быть истинно воспитательными, должны основываться не только на зрительных, но вообще на живых впечатлениях и переживаниях, в которых принимают участие все способности детей: их движения, связанные с осязательными и мышечными ощущениями, вкус, обоняние, слух в особенности, чувство и воля, следовательно личная самостоятельность. Наглядным, конкретным, в противоположность всему отвлеченному, является, в этом смысле, не только то, что можно видеть глазами, но то, что может дать толчок мыслям, беседам, действиям, поступкам — словом, всесторонним переживаниям детей. Обновление внутреннего строя нашей школы может быть только результатом взаимодействия между самостоятельностью самого учителя и самостоятельностью учеников, и потому, задача начального обучения сводится к организации в школе ряда таких занятий и впечатлений, которые, действуя всесторонне на природу детей, вызывали бы их к самостоятельности.

Рисунки детей, иллюстрирующие прочитанный им рассказ, или заданную задачу; упражнения в рисовании с натуры, предваряемые лепкой тех же предметов из глины, могут содействовать обогащению их воображения и представлений. Разного рода картины, соответствующие кругу детских интересов, должны иллюстрировать рассказы и чтения учеников и учителя. Наконец, иногда, принесенная в класс или розданная детям картина, или какой-нибудь предмет, могут служить основным впечатлением для самостоятельной письменной работы учеников, которая доставит учителю интересный материал, характеризующий различные типы пишу-

ших. Такие работы были произведены в школах и исследованы Бинэ, Леклером, Агапитовым, Лубенцом<sup>7</sup>.

В последние годы увлечение мыслью о важной роли картин в школьном обучении породило ряд попыток положить вообще классное описание картин в основу обучения письменному изложению мыслей, т. е. возвести в систему упражнение, которому может принадлежать в учебной жизни лишь эпизодический, а не постоянный интерес. Изданы хрестоматии и альбомы: в них картины сгруппированы так, чтобы из сопоставления картин каждой группы можно было бы сделать заключение о совершившихся происшествиях. Содержание этих картин обнаруживает какую-нибудь нравоучительную тенденцию или же иллюстрирует несколько моментов из «хрестоматийного» анекдота. Можно ли, однако, допустить, чтобы при писании письменных изложений дети постоянно исходили из таких поверхностных, односторонних впечатлений, лишенных внутреннего содержания и, следовательно, истинно воспитательного и образовательного значения? Придумывать имена к рисункам и сочинять происшествия, без всякой связи этих происшествий с изображаемыми характерами, с внутренними побуждениями и бытовыми условиями изображаемой жизни — это значило бы порождать дурную привычку фантазирования, не имеющую ничего общего с процессом художественного творчества, которому нельзя обучать. Пользоваться искусством, как могучим орудием воспитания в системе начального обучения, конечно, необходимо. Но односторонне было бы останавливаться, для этой цели, исключительно на произведениях живописи, не связанных с словесным художественным творчеством и другими искусствами, как например, лепкой и рисованием. Непосредственное действие живописи воображение детей ограничено: она неподвижна и нема, а дети любят движение и живую речь. Исключительно красочный мир, мир света и теней, на плоскости, — требует тонкого, вдумчивого истолкования (при том, даже у критиков искусства, — приблизительного, неопределенного), для которого у детей хватает достаточного запаса материалов. Очевидно, что, при этом условии, преждевременные потуги детского воображения, направленные в эту сторону, были бы

---

<sup>7</sup> А. Binet. Psychologie individuelle. La description d'un objet. (L'année psych. III. 1897). А. Leclère. Description d'un objet. Expérience faite sur des jeunes filles. (L'année psych. IV. 1898). Н. Агапитов. Психическая деятельность учащихся при описании предмета. Приложение к отчету о состоянии Калишского реального училища за 1899 год. Варшава. 1900 г. Т. Лубенец. Детские сочинения, как фактор развития языка. Журн. М. Н. П. 1909 г.

бесплодны. Много ли скажет детям, например, картина Богданова-Бельского «На пороге школы»? Для понимания глубокого смысла, они не достигли еще соответствующего эстетического и общественного развития. Почувствуют ли, поймут ли они психологический и социальный смысл затронутой в ней темы: беспризорность и нищенство детей школьного возраста? Для детей — это просто нищий — мальчик, стоящий у порога школы, а вовсе не обнищавшая крестьянская Русь, жаждущая духовного хлеба. Вообще произведения этого художника, так усердно эксплуатируемые хрестоматиями, стоят слишком высоко над уровнем детских художественных интересов.

Более правильным кажется путь, по которому шли в этом отношении известные педагоги, например, Ушинский. У них картина весьма редко, лишь при первых шагах обучения играла самостоятельную роль, как материал для устной беседы. В книгах же для чтения картинам принадлежала вспомогательная роль — иллюстрации рассказов и статей. Воспитательное действие произведений живописи тогда будет вполне достигать своей цели, когда издаваемые для детей картины, не отступая от основных требований искусства, будут согласоваться с содержанием читаемых произведений, с особенностями развития детского воображения, детских интересов. Они будут оказывать наилучшее влияние на способность сперва устного, затем письменного выражения своих впечатлений, когда исходным моментом в системе письменных упражнений будет чтение произведений детской художественной литературы, богатых содержанием и оборотами живого языка, — чтение, подкрепленное действием относящихся к ним картин, предметов, движений, мимики и других вспомогательных приемов воспитания.

В заключение этой главы предлагаю несколько тезисов к вопросу о детском воображении и его воспитании.

Между *явлениями памяти*, воспоминания, как воспроизведения в сознании пережитых нами душевных состояний, ощущений, восприятий, образов, и *силою, богатством воображения* не существует никакого коренного, генетического различия; напротив, всякое живое воображение черпает материалы из запасов памяти и на них основывает свою деятельность.

Различие между простым, схематическим воспоминанием о предмете или явлении и соответствующим ему живым продуктом воображения состоит лишь в количестве, полноте и яркости восстановленных в сознании элементов воспоминания.

Поэтому, не существует иного способа здорового развития детского воображения, кроме постепенного, организованного обогащения памяти ребенка путем реальных восприятий, расширяющих его кругозор, знакомящих с окружающим миром и жизнью.

Чем скуднее запас реальных впечатлений и знаний, тем беднее воображение, тем более склонно оно к иллюзиям, к искажениям представлений об окружающей действительности, которых нельзя смешивать с работой развитого творческого воображения.

Отличительными чертами, характеризующими недостатки детского воображения, являются следующие: податливость его внушениям, отрывочность, неорганизованность образов и бесконтрольное к ним отношение.

Основной закон творческого воображения, действующий в области практической, научной и художественной, — это закон ассимиляции, уподобления, проявляющийся в накоплении, открытии, организации воспоминаний по закону сходства (Бэн, Рибо, Дюга). Развитие воображения зависит от степени утонченности ума в схватывании сходств между предметами, в искусстве их расположения в известном порядке или отношении.

Гораздо больше энергии воображения требуется для того, чтобы составить себе ясное, типическое представление о действительности, такой, как она есть, нежели для того, чтобы исказить ее на тысячи ладов; и потому исторические эпохи критики и положительного знания, сравнительно с эпохами мифов и легенд, являются временем пышного расцвета, а не упадка силы воображения.

Продукты отживших культурных эпох и легенд могут служить предметом изучения для юношества лишь в период пробуждения критической мысли; до наступления же этого периода развития, для воспитания детского воображения, неспособного еще защищаться от силы внушения, не следует вовсе пользоваться образами, заимствованными из отжившего мира, «где чудеса, где леший бродит».

Поэтому, при выборе материала для детского чтения, следует провести строгое различие между вредными в воспитательном отношении сказками и рассказами, наполненными чудесами, волшебниками, феями, демонами, засоряющими детское воображение, и здоровыми, реальными образами, расширяющими детский кругозор и укрепляющими нравственные и общественные чувства.



*Александра Калмыкова*

## ЕЩЕ РАЗ О СКАЗКЕ, КАК МАТЕРИАЛЕ ДЛЯ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ

*Впервые опубликовано в: Что и как читать детям. 1913.  
№ 3. С. 7–9.*

Сказка, как материал для детского чтения, имеет таких же горячих сторонников, как и противников и не скоро еще закончится между ними столетия длящийся спор.

Одной из причин, поддерживающих враждебное отношение к народной сказке, нельзя не признать необдуманное, нецелесообразное составление сборников сказок для детского чтения, сборников наиболее известных, раскупаемых на детском книжном рынке.

Между тем научные исследования в области фольклора, современное понимание основ художественного творчества и научные данные о душевной жизни детей дают нам достаточно точные указания для тщательного выбора из народных сказок пригодного для чтения детям материал.

Указания эти должны быть известны составителям сборников сказок и их издателям, и мы в праве предъявлять им следующие требования:

1) Русские народные сказки должны доходить до детей в лучших вариантах, сохранив всю глубину смысла, красоту образов и языка старого оригинала.

2) В сборниках сказки должны быть подобраны или сгруппированы в соответственно различном возрастам читателей.

3) Значительное число старых народных сказок, как продукт духовной жизни давно минувших культурных периодов, содержат много грубого, жесткого, темного, совершенно неприемлемого для души ребенка нашего времени, а потому всем таким сказкам отнюдь не должно давать места в сборниках сказок для детей.

4) В такие сборники вовсе не должны входить и народные сказки позднейшего происхождения, в которых над сказочным элементом преобладают черты реальной бытовой жизни. В сказках этого типа меркнут краски, образы таинственного, идеального и выступают

на первый план грубые подробности будничной жизни; герои же их являются носителями тех качеств, которые в борьбе за существование обеспечивают победу низшим инстинктам над высшими чувствами и стремлениями.

Исполнение этих требований значительно уменьшит количество сказок в сборниках для детского чтения. Об этом не приходится жалеть. Те десятки сказок, которые будут избраны, своими достоинствами вполне вознаградят детей за убыль в их количестве.

### **I. Для маленьких детей (дошкольный возраст).**

Репка. — Волк и коза. — Лиса ночлежница. — Теремок мышки. — Лиса, заяц и петух. — Кот, петух и лиса. — Зимовье зверей. — Старик и вол. — Кочет и курица. — Смерть петушка. — Колобок. — Медвежья лапа. — (Из сборников Афанасьева<sup>1</sup>, Жиркова<sup>2</sup>, Свентицкой<sup>3</sup>).

Мужик и медведь. — Лиса и козел. — Петух и собака. — (Из сборника Тулупова<sup>4</sup>).

Война грибов. — Гуси. — Дочь и падчерица. — (Из сборн. Жиркова кн. 1-я).

Царевич-козленочек — (Из сборника Афанасьева) или Братец Иванушка и сестрица Аленушка. (Из сборника Свентицкой).

### **II. Для детей школьного возраста (младший возраст).**

Кроме выше названных сказок пригодны еще следующие:

Солнце, мороз и ветер. — Два мороза. — Ворона и рак. — Лиса и Тетерев. — Переправа или Пузырь, Лапоть и Соломинка. — У страха глаза велики — (из сборника Тулупова).

Щука зубастая. — Волга и Возуза. — Волк и козел (Из сборн. Роговой<sup>5</sup>).

Мизгирь. — Никита Кожемяка (из сборника Жиркова кн. 2-я).

Золотая рыбка. — Девка семилетка. — Знахарь. — (Из сб. Афанасьева).

Из сказок с более сложной фабулой и яркими образами героев и героинь лучшие:

Царевна-Лягушка. (Сборник Афанасьева, Жиркова кн. 2-я, Тулупова).

<sup>1</sup> А. Афанасьев. Русские детские сказки. Изд. «Сотрудник Школы» 3 части. Ц. 1 р. 75 к.

<sup>2</sup> Жирков. Избранные русские сказки. Книга I и II. Ц. по 20 к.

<sup>3</sup> М. Свентицкая. Русские народные сказки. Изд. Кнебеля. Ц. 1 р.

<sup>4</sup> Н. Тулупов. Родные сказки. Изд. Сытина. Ц. 1 р. 20 к.

<sup>5</sup> О. Рогова. Русские сказки для маленьких детей. Изд. Ступина. Ц. 1 р. 25 к.

Сивка-Бурка. — Баба Яга. — Кошей бессмертный. — О серебряном блюдечке и наливном яблочке. — (Сборн. Жиркова кн. 2-я).

Сказка о золотой горе. — Симеон-богатырь. — (Сб. Е. Н. Опочинина<sup>6</sup>).

Аленький цветочек. (В пересказе Аксакова со словом ключницы Пелагеи. Изд. Сытина Ц. 3 К. То же — изд. Вятск. Т-ва — ц. 5 к., то же — изд. Горб. — Посад. ц. 30 к).

Из немецких народных сказок в русском переводе заслуживают выбора в первую очередь сказки:

Семь воронов. — Бабушка Голле. (Метелица). Гензель и Гретьель. — Братец и сестрица. — Красная шапочка. — Беляночка и Розочка. — Лесная избушка. — Нищая. — Волк и человек. — Бременские музыканты. — Мудрые ответы пастушка. — Золушка. — Шесть лебедей. — Спящая красавица (Шиповничек). Верный Иван. — Гусятница. — Железная печь. — Король. — Дроздова борода. — Золотая птица (Жар-птица). — Живая вода. — Белая змея. — Королевич, который ничего не боится. — Железный Ганс. — Царица пчел. — Три пера.

Все эти сказки помещены в издания: Бр. Grimm Сказки и легенды в 2-х томах. Спб. издание О. Н. Поповой. Ц. 2 р. 40 к. Бр. Grimm. Сказки. Спб. Изд. Маркса. Ц. 4 р. 50 к.

Из сборников, изданных для детей, можно пользоваться следующими. Двадцать сказок для детей младшего возраста. Бр. Grimm. Изд. Сытина. Ц. 1 р. и библиотека сказок, собранных братьями Grimm. Под редакцией Терешкевича. Изд. Клюкина. Десять книжек по 20 к.

Из французских народных сказок имеются в детской литературе лишь сказки в пересказе Перро, лишившего старые оригиналы сказок простоты, поэтичности. Неизменно во всех сборниках в числе других помещается сказка «Синяя борода» по изложению и содержанию настолько грубая и жестокая, что трудно понять, как она может до сих пор попадать в книги, предназначенные детям. Наибольшей известностью из сказок Перро пользуется: Красная Шапочка, Кот в сапогах, Золушка и Мальчик с пальчик; имеются они в дешевых изданиях различных фирм. Можно только пожелать, чтобы дети ознакомились с ними не иначе, как в пересказе взрослых и с теми изменениями и сокращениями, которые диктуются чувством и разумением педагогическим.

---

<sup>6</sup>Е. Н. Опочинин. Русские народные сказки.

Из материала, собранного работающими по фольклору на всем земном шаре, на долю детей должно быть выделено много ценного, но эта работа требует большой обдуманности. И теперь уже начали появляться на детском книжном рынке сборники сказок ирландских, английских, чешских, итальянских и др. Но они-то по неразборчивости в выборе сказок и служат лучшим доказательством, что это дело трудное и ответственное и что так — его делать не следует.

Вышеперечисленных по заглавиям сказок совершенно достаточно, чтобы обогатить душу детей художественными и моральными ценностями сказочного народного эпоса, а дальнейшее знакомство с ним должно совершаться позже, в годы юношеские.

Народная сказка, как один из совершеннейших типов художественного творчества, должна занять ей подобающее место при систематическом изучении произведений, как отечественной литературы, так и всеобщей. Это дает возможность своевременно внести в сознание юношества представление о великой мощи и значении творческого духа народной массы, той темной «неграмотной» массы, которая на протяжении веков создает родной язык — это орудие для всей дальнейшей духовной жизни нации в ее высших проявлениях — в области научной работы и в области художественного творчества<sup>7</sup>).

---

<sup>7</sup>См. газету «Школа и Жизнь» 1913 г. № 3 мою статью «Сказка, как материал для детского чтения».

*Анна Удинцева, Василий Зеленко*

## В ЗАЩИТУ СКАЗКИ

*Впервые опубликовано в: Новости детской литературы.  
1913. № 2. С. 1–2.*

На сказку, как материал для чтения детей, существует два диаметрально противоположных взгляда: одни отрицают всякое значение сказки, а другие горячо защищают ее.

Покойный педагог Ц. П. Балталон в своей книге «Воспитательное Чтение»<sup>1</sup> приводит результаты экспериментального исследования, повторенные несколько раз, Балталон пришел к тому выводу, что сказки, как материал для детского чтения, совершенно не пригодны. Свои выводы он основывает на том, что опрошенные дети сами очень мало интересуются сказкой.

После Балталона в этом направлении экспериментировало много педагогов и, несмотря на то, что первый опрашивал детей в Москве, а другие — в провинции, результаты получились почти одни и те же. Уже одно это обстоятельство должно заставить отнестись к выводам Балталона с большой осторожностью. Изучая данные, собранные Балталоном и его последователями, мы еще более убедимся в необходимости самого критического и осторожного отношения к его выводам. Из таблицы второй<sup>2</sup> видно, что возраст детей, опрошенных Балталоном, колеблется между 7 и 15 годами. Вывод сделан был исследователем не для каждого возраста в отдельности, а для всех опрошенных. Естественно, что при таком способе обобщений можно получить какие угодно данные. Ни для кого не секрет, что, чем старше ребенок, тем меньше читает он сказки. В 14–15 лет человек уже настолько развит, что ему и в голову не придет браться за сказку. То же самое, что он получил при чтении сказок, теперь он может черпать из рассказов, повестей

---

<sup>1</sup>Ц. и В. Балталон «Беседы по методике начального обучения. Воспитательное чтение». Москва, 1911 г.

<sup>2</sup>Балталон. «Воспит. чт.», стр. 103.

и книг научного содержания. Если бы опросить детей в возрасте от 7 до 9 лет, данные получились бы совсем другие. Но и в этом случае таким данным особого особенного значения придавать нельзя, — необходимо помнить, что в этом именно возрасте дитя очень легко поддается влиянию. Кроме того, трудно предположить, чтобы в эти годы у ребенка было уже вполне ясное, отчетливое представление о том, о чем его спрашивают. Наконец, пользуясь тем же методом, которым пользовался Балталон и его сторонники, можно без всякого труда доказать, что детям трудно изучать арифметику, географию, естествознание и др. науки, в значении которых для детей никому и в голову не приходило сомневаться. Ясно, что плохая постановка преподавания в школе какого-нибудь предмета будет неизменно давать показатель отрицательного отношение к этому предмету. Точно также навязывание детям в семье или школе сказок, неумение ими пользоваться приведет к таким же последствиям.

Таким образом, исследование Балталона имеет значение попытки, стремления поставить вопрос на научную почву, но ни в каком случае не дают право на широкие обобщения.

Другие противники сказок указывают, главным образом, на то, что сказка развивает воображение, причем, как совершенно справедливо замечает И. Феоктистов, воображение и фантазию обыкновенно смешивают воедино.

Сказка, говорят ее противники, удаляет ребенка от мира реального, а в наш век, век торжества положительных знаний, точных наук, когда даже неуловимо тонкие процессы нашей интеллектуальной жизни поддаются наблюдениям, изменениям и постановке точных экспериментов, разве позволительно прививать ребенку нелепости?

На это, в свою очередь, можно было бы ответить также вопросом: кто же мешает при помощи ковра-самолета или какой-нибудь волшебной палочки подчеркнуть именно то, на что опирается в настоящий момент положительные знания? Разве могли бы наши знания в настоящее время достигнуть такого расцвета, если бы не было свободного полета нашей творческой мысли? Могли бы мы преодолеть такую массу препятствий, так дерзко бросить вызов природе и даже пространству, если бы не проникновение мысли в область неизвестного? Кто мешает при помощи сказки в раннем детстве, тогда, когда ребенок еще не может подолгу останавливаться на отвлечениях, но тем не менее его мыслительная деятельность постоянно обращается на эту сторону, давать ему возможность изощрять в этом направлении свой разум?

Человек в бессознательном творчестве за много веков до нас уже провидел то, к чему мы подходим исподволь. Почему же не использовать те процессы, которые происходят в детях, и утилизируя красивую форму, смелые переходы, не давать повода к возбуждению мысли, т. е. к тому именно, что оставляет одну из самых неотъемлемых из самых основных особенностей книги. Научить ребенка читать, это не значит определить лишь механизм чтения, нет, это значит дать человеку ряд навыков при помощи книг изоощрять свои способности, толкать человека на путь сознание, на творческие моменты.

Сказка, разумно использованная руководителем<sup>3</sup>, не только не будет в дальнейшем препятствовать правильному развитию личности, а, наоборот будет первой ступенью из мира идеального в мир реальный. «Сказка является единственным проводником высших чувств и понятий, к которым бессознательно, но сильно стремится душа каждого здорового ребенка: сказка — источник эмоций, которых не могут еще дать детям ни исторические образы, ни отвлеченные понятия, ни впечатлений обыденной жизни».

Возражая против сказок, указывают иногда на то, что ими можно запугать ребенка. Но с таким же успехом можно указать множество примеров, когда посредством сказок детей совсем не запугивают. Стало быть, этот аргумент, сам по себе, как аргумент чисто субъективного происхождения значения не имеет. Кроме того, при несовершенствах систем нашего воспитания мы знаем, что запугивают детей самыми благороднейшими вещами, которые, казалось бы, для этой цели не могут иметь никакого применения. Приведенный аргумент, если говорит о чем-нибудь, то лишь о том, к чему может привести неумелое руководство чем бы то ни было.

Какое основание мы имеем предполагать, что дети, читая сказку, непременно обратят внимание на устрашающий элемент, или, как говорит А. М. Калмыкова, на неестественные превращения, например, конька (в сказке «Конек-Горбунок»)?

Почему не предположить (а это на самом деле и бывает), что Иван-Дурак с лохмотьями в сознании детей будет таким же символом страданий униженных и обиженных, каким он на самом деле в творчестве народном и является?

Детям доступные моральные ценности в форме народный сказки, а, поэтому, они ее читают.

---

<sup>3</sup>См. А. М. Калмыкова. «Сказка как материал для детского чтения». Газ. «Школа и Жизнь». № 3, от 21 января 1913 г.

*Итак, в известном возрасте сказка нужна и полезна, только при выборе сказок как материала для чтения, необходимо восстанавливать свое внимание на сказках народных и тех из искусственных, которые не являются грубой подделкой под сказки народные.*